

ВЕХИ ИСТОРИОГРАФИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

АМЕРИКАНСКАЯ РУСИСТИКА

АМЕРИКАНСКИЙ СОВЕТ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АМЕРИКАНСКАЯ РУСИСТИКА:

**ВЕХИ ИСТОРИОГРАФИИ
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ.
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД**

Антология

Самара
Издательство «Самарский университет»
2001

УДК 947.084

ББК 63.3(2)7

А 617

Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2001. 376 с.

ISBN 5-86465-185-0

Публикация этого сборника осуществлена в рамках программы сотрудничества с российскими университетами в области общественных наук, осуществляемой Американским советом по сотрудничеству в области образования и изучения языков (АСПРЯЛ/АКСЕЛС) при финансовой поддержке Информационного Агентства Соединенных Штатов (USIA).

This publication was made possible by the Russian University Social Science Partnership Program, which is administered by the American Councils for International Education: ACTR/ACCELS and funded by the United States Information Agency.

• Peter Holquist, «“Information is the Alfa and Omega of our Work”: Bolshevik Surveillance in its Pan-European Context». Translated from *Journal of Modern History* 69 (September 1997): 415-450, by permission of the University of Chicago Press.

• Alfred J. Rieber, «Persistent Factors in Russian Foreign Policy: An Interpretive Essay». Translated from *Imperial Russian Foreign Policy*, ed. Hugh Ragsdale (New York: Cambridge University Press and Woodrow Wilson Center Press, 1993): 315-359, by permission of Cambridge University Press and Woodrow Wilson Center Press.

• Katerina Clark, «The Establishment of Soviet Culture». Translated from Chapter 8 of Katerina Clark, *Petersburg, Crucible of Cultural Revolution* (Cambridge: Harvard University Press, 1995), 183-200, 342-346, by permission of Harvard University Press.

• Sheila Fitzpatrick, «Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia». Translated from *Journal of Modern History* 65 (December 1993): 745-770, by permission of the University of Chicago Press.

• David Joravsky, «The Stalinist Mentality and the Higher Learning». Translated from *Slavic Review* 42 (Winter 1993): 575-600, by permission of the American Association for the Advancement of Slavic Studies.

• Stephen Kotkin, «Speaking Bolshevik». Translated from Chapter 5 of Stephen Kotkin, *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization* (Berkeley: University of California Press, 1995): 198-237, 488-515, by permission of the University of California Press.

• Yuri Slezkine, «The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism». Translated from *Slavic Review* 53 (Summer 1994): 414-452, by permission of the American Association for the Advancement of Slavic Studies.

Составитель проф. университета штата Мэриленд *Майкл Дэвид-Фокс*

Ред. коллегия: доктор *Джордж П. Маджеска*, доктор *Майкл Дэвид-Фокс*, доктор *Петр Кабытов*, доцент *Ольга Леонтьева*, директор издательства *Людмила Крылова*

ISBN 5-86465-185-0

©Издательство «Самарский университет», 2001

© Дэвид-Фокс М., составление, 2001

*П.С.Кабытов, О.Б.Леонтьева**

ВВЕДЕНИЕ

Зенит «прекрасной эпохи»:

СТАЛИНИЗМ ГЛАЗАМИ АМЕРИКАНСКИХ ИСТОРИКОВ

Советский период нашей отечественной истории в застойные годы мог показаться непрозорливому наблюдателю слишком «скучным» объектом для исторического исследования. Но с середины 1980-х годов ситуация резко изменилась: советская история превратилась в неизведанную и загадочную эпоху. Как выяснилось, до сих пор мы знали о ней недостаточно: слишком много было табуированных тем, слишком часто историкам приходилось воспроизводить заранее заданные идеологические конструкции, и, когда прежняя мировоззренческая система, основанная на марксистско-ленинских догмах, рухнула, многие «объективные» научные знания на поверку оказались историческими мифами, сконструированными ради вполне определенных политических целей... Не случайно уже в первые годы перестройки стали раздаваться призывы осмыслить опыт советского периода, «понять, что с нами произошло»; причем эти призывы были чуть ли не главным лозунгом времен перестройки.

В общественном сознании миссию осмысления исторического опыта XX века взяла на себя литература, большей частью та, что сформировалась еще в недрах советского периода, в традиции осознанного противостояния властям, в чем бы это противостояние ни проявлялось: от трагического пафоса «Жизни и судьбы» В.Гроссмана до пародийно-раешной эстетики «Представления» Иосифа Бродского. Но, если русская литература за последние два столетия достигла такой силы и глубины, что смогла бесстрашно освещать самые «пограничные» ситуации человеческого бытия, то историку, чтобы достойно

* © Кабытов П.С., Леонтьева О.Б., 2001

выполнить задачу осмысления советской эпохи, необходимо решить ряд методологических проблем, не только проверить, но и, пожалуй, обновить научный инструментарий. (Без выверенной теоретической и методологической рефлексии наше вполне естественное стремление произвести свой суд над уходящей в прошлое эпохой может перерасти – и часто перерастает – в новое историческое мифотворчество, столь же безудержное, как и прежнее). И при поиске новых подходов и концептуальных решений интеллектуально плодотворным может оказаться обращение к иной традиции научных исследований.

Как не без иронии отмечали в те годы, когда Советский Союз еще существовал, «всем известно, что лучшие места для написания книг по советской истории – это Стэнфорд и Принстон в гораздо большей степени, чем Москва и Ленинград»[1]. Темы, которые у нас находились под идеологическим запретом, в зарубежной исторической науке, наоборот, становились предметом исследований; отсутствовал жесткий идеологический догматизм; существовала возможность вести научный диалог с зарубежными коллегами... Но лишь теперь мы можем детально ознакомиться с тем, что было написано по нашей истории «там», сравнить и поразмыслить. Конечно, взгляд со стороны на наше историческое прошлое может шокировать российского читателя непривычностью ракурса, но он будоражит ум историка, заставляя обратить внимание на ту проблематику, которая ранее оставалась в тени нашего исторического сознания.

Настоящее издание представляет собой очередной том антологии работ американских ученых по истории нашей страны – «Американская русистика. Вехи историографии последних лет», задуманной совместно историками университета штата Мэриленд (США) и Самарского государственного университета. (Первый том антологии, посвященный императорскому периоду российской истории, XVIII – нач. XX вв., вышел в свет в 2000 г.). Для перевода и публикации на русском языке были выбраны исследования, вышедшие в 1990-е годы, за исключением работы Д.Джоравски, увидевшей свет в 1983 г. Все они уже успели стать классикой в своей отрасли науки или положили начало плодотворной дискуссии по тем или иным аспектам советской истории; кроме того, эти исследования наиболее рельефно воплощают особенности современной американской историографии [2].

Статьи, вошедшие в настоящий том антологии, в отличие от предыдущего тома, охватывают достаточно краткий временной период: от 1914 года до конца 30-х гг. XX века. При этом в центре внимания большинства исследователей оказывается проблема «истоков сталинизма» или же сама эпоха «сталинизма», то есть конец 20-х – 30-е гг.

XX века. В истории советского общества, несомненно, именно этому периоду принадлежит ключевая роль: то был зенит «прекрасной эпохи», по выражению Бродского; именно тогда сложились социальная структура советского общества и методика управления экономикой и духовной жизнью страны. Составитель антологии – профессор университета штата Мэриленд Майкл Дэвид-Фокс – умело выстроил сборник, создав впечатление преднамеренного тематического «разделения труда» между его участниками. Так, статья Альфреда Рибера посвящена внешней политике России и СССР; Питер Холквист анализирует практику тотального политического надзора за «настроениями» советских граждан; исследование Шейлы Фицпатрик посвящено политике советского государства в отношении общественных классов, а работа Юрия Слезкина – национальной политике в СССР; Дэвид Джоравски рассматривает вопрос о судьбе профессиональной науки в сталинскую эпоху; Катерина Кларк рассказывает о «культурном строительстве» и о судьбе творческой интеллигенции; наконец, Стивен Коткин – о самоидентификации советского человека и о рождении особой социальной общности, «советского рабочего класса». Таким образом, статьи в совокупности позволяют представить широкую панораму советской жизни той эпохи.

Но, констатируя тематическую целостность антологии, можно задать вопросом: насколько монолитна антология в концептуальном плане? Выступают ли ее авторы как единомышленники или же придерживаются различных и даже противоположных подходов? Статьи представляют чрезвычайно удобное поле для такого методологического сравнения: перед всеми авторами стоит одна и та же теоретическая проблема – вопрос о сущности сталинизма или о месте этого феномена в каком-либо более широком историческом контексте.

Статьи А.Рибера и П.Холквиста посвящены развенчанию исторических мифов, сложившихся в общественном сознании. Рибер подвергает критике мифы о русской угрозе, которые превалировали в западном сознании с середины XIX века и до конца «холодной войны»; Холквист же в качестве отправной точки своего анализа выбирает тот стереотип, который сейчас доминирует в российском сознании: миф о нашей исключительности, об особом, совершенно уникальном историческом пути и предназначении России.

Жанр статьи Альфреда Рибера российский читатель может определить как историософский; хотя следует отметить, что самому исследователю в традиции русской мысли гораздо больше импонирует строгий профессионализм П.Н.Милюкова, чем вдохновенная эссеистика Н.А.Бердяева. Энциклопедическая широта проблематики исследова-

ния выделяет эту работу из всех остальных статей сборника. Рибер видит сквозную линию преемственности в российской внешней политике со времен Московского княжества и до краха СССР. Эта преемственность, по мнению историка, объясняется не сознательными устремлениями российских властей всех времен, а существованием «устойчивых геокультурных факторов» – проблем, которые невозможно преодолеть на протяжении жизни нескольких поколений, и которые «не так легко поддаются воздействию политической власти, какой бы всемогущей она себя не считала». В числе таких проблем исследователь выделяет относительную экономическую отсталость России по сравнению с ведущими державами мира (что заставляло власть, постоянно сознававшую потребность «догнать и перегнать», встраивать в систему российского общества разнообразные инновационные структуры); уязвимые границы государства, опоясанного зонами этнических «фронтиров» [3] – переходных, приграничных областей с неустойчивой политической лояльностью; поликультурный характер общества и государства, состоящих из разнородных этнотерриториальных блоков (что вынуждало проявлять недюжинную изобретательность в науке властвования); маргинальность русской культуры, распростертой, по словам поэтессы Юнны Мориц, «между Блоком и Хэфизом, между Польшей и Китаем», а значит, допускающей выбор любого культурного эталона, любых поведенческих стандартов.

Рибер исходит из той установки, что геополитическое положение России – это наш своеобразный генофонд, определяющий направление политических шагов и в известной степени диктующий методы и способы практических действий любой российской власти, какую бы идеологию эта власть не исповедовала. В конечном итоге, исследование Рибера укрепляет ту идею, опровержение которой ставит своей целью Холквист: идею «Sonderweg» (особого исторического пути) России.

Темой исследования Питера Холквиста стала практика политического надзора за населением СССР: казалось бы, вот идеальный материал, на котором можно показать бесчеловечную сущность режима – и только. Однако Холквист стремится разоблачить миф о том, что подобный надзор, тотальный по своему характеру, был отличительной особенностью именно советского государства. Работа построена на остроумном сочетании методики лонгитюдного и компаративного анализа («вертикального» и «горизонтального» исторического среза): Холквист доказывает, что методика политического надзора, которую обычно считают чисто большевистским изобретением, была разработана еще в недрах царской России, и что в годы гражданской

войны ее активно применяли как красные, так и белые. Исследователь предостерегает и от возможной трактовки этих фактов как доводов в пользу концепции «особого пути России». Он демонстрирует, что контроль за настроениями населения и стремление конструктивно воздействовать на эти настроения, – та практика, которая воспринимается как специфическая для России или для социалистического строя, – в действительности носила в XX веке более широкий, общеевропейский или даже всемирный характер; что в период между двумя мировыми войнами тоталитарные по своей сути мероприятия проводила и нацистская Германия, и цитадель либерализма – Англия.

Надзор за населением, как подчеркивает исследователь, ни в одной из этих стран не был пассивным наблюдением. Он служил целям эффективного управления, а потому носил конструктивный характер: политическая власть насаждала в обществе определенный «дискурс», те или иные формы самовыражения и самоидентификации, и, таким образом, властный контроль внедрялся в сознание самого человека, в идеале – в сознание каждого подданного. Несомненно, в трактовке этой проблемы определенное влияние на исследование Питера Холквиста оказала концепция Мишеля Фуко, одного из самых глубоких и бескомпромиссных обличителей современной цивилизации [4]. Холквист разделяет убеждение знаменитого философа-структуралиста в том, что определяющей чертой современных государств, разительно отличающей их от «старых режимов», является стремление изменять сознание и мировоззрение подданных, «управлять» людьми, а не просто «править» землями. Такое представление о масштабах компетенции власти сформировалось задолго до начала XX века; но оно, как показывает Холквист, было институционально закреплено только в ходе первой мировой войны и послевоенного периода, когда все европейские страны перешли к системе «государства национальной безопасности» со свойственным ему аппаратом политического контроля. «Надзор за настроениями населения, таким образом, надо понимать не просто как “русский феномен”, а как вспомогательную функцию политики современной эпохи (одним из вариантов которой является тоталитаризм)», – так формулирует Холквист свой основной вывод.

Заметим, что в конце работы автор делает примечательную оговорку: «То была огромная разница – попасть ли под надзор британской организации “Массовое наблюдение” или стать объектом наблюдения со стороны секретных политотделов НКВД». Разница эта, по Холквисту, определялась не методикой надзора и не изначальной злокозненностью властей, а конструктивным аспектом перевоспитания населения: «Вместо того, чтобы воздействовать на *национальные об-*

разования (как входящие в его состав, так и зарубежные) и стремиться к обеспечению национальной безопасности, Советский Союз предпочитал использовать современную технику управления в отношении классов (как вне своих пределов, так и, особенно, внутри них) для построения социализма».

Но тезис, завершающий статью Холквиста, становится исходной точкой для других исследований. Как утверждают следующие участники антологии, Шейла Фицпатрик и Юрий Слезкин, сами понятия «нации» и «класса» в Советском Союзе приобретали свою специфику, настолько яркую, что можно поставить вопрос о том, существовали ли в СССР «нации» или «классы» в общепринятом смысле слова.

Работы Шейлы Фицпатрик и Юрия Слезкина роднит общность методологического подхода. Исследователи воспринимают категории «класса» или «национальности» не как отражение объективной реальности, но как наименования общностей, которые существуют в нашем сознании и нигде более (оба автора придерживаются концепции *imaginary societies* – «воображенных сообществ» [5]). Если, согласно традиционному позитивистскому и марксистскому подходу, большие человеческие сообщества – нации или классы – существуют «объективно» и лишь «осознаются» людьми с большей или меньшей степенью отчетливости («бытие определяет сознание»), то современный историк чаще рассматривает такие сообщества как результат сознательного «конструирования», целенаправленного насаждения в человеческих умах определенной групповой идентичности. Обычно таким конструированием социальной идентичности занимается интеллектуальная элита общества; власть принимает или отвергает созданные ею конструкции, а народ становится объектом перевоспитания по навязанным ему стандартам. Эту нетрадиционную (с нашей точки зрения) логику постмодернистской исторической науки необходимо постоянно иметь в виду при анализе концепций современной зарубежной историографии.

Как показывает Шейла Фицпатрик, во внутренней политике Советской России 20-30-х гг. причудливо сочетались два несовместимых принципа выделения социальных групп: социально-правовой статус, который можно с легкостью «приписать» тому или иному индивиду, и класс в его марксистском понимании, определяющийся объективно сложившимся отношением людей к средствам производства. Исследовательница обращает внимание на следующий исторический парадокс: после ликвидации частной собственности на средства производства (то есть после исчезновения объективных классовых различий)

власть в СССР начинает поиск формальных признаков, по которым можно было бы установить классовую принадлежность индивида. Фицпатрик прослеживает, как в ходе этих поисков возник, развивался и усложнялся своеобразный институт «приписывания к классу» (заставляющий вспомнить екатерининскую политику искусственной стратификации городских обывателей) и феномен наследственного «клейма классовой принадлежности»; она приходит к выводу, что советское общество в то время структурировалось отнюдь не по Марксу: появившиеся после революции социальные группы «выглядели как классы в марксистском смысле этого слова и именно так описывались современниками, но более точно их можно было бы охарактеризовать как *советские сословия*». Показательно, что, пытаясь выразить в эмоциональном эпитете сущность положения «лишенцев» в сталинском обществе, Шейла Фицпатрик сравнивает их даже не с сословием, а с кастой «неприкасаемых».

Как можно констатировать, тема исторической преемственности в российской истории на страницах работы Фицпатрик получает новое звучание: социальная роль «советских сословий» заставляет исследовательницу вспомнить даже не екатерининскую империю, а практику «закрепощения сословий» в допетровские времена. (Отсюда следует интересный методологический вывод: возможно, для адекватного описания советского общества пригоден не только категориальный аппарат современной социологии, но и язык русской «государственной школы» времен Б.Н.Чичерина и А.Д.Градовского?..).

В свою очередь, Юрий Слезкин рассматривает историю советской национальной политики – с момента образования Союза Советских Социалистических Республик и до его распада – как хронику планомерного «конструирования» наций, сознательной борьбы большевиков за этническое разнообразие и этническую обособленность. «Сознательной» эту политику можно считать уже потому, подчеркивает автор, что у большевиков, бесспорно, был выбор: сплошная русификация окраин или культивирование местных национальных особенностей. «Конструирование» наций осуществлялось тщательно и всесторонне: власть создавала не только национально-территориальные объединения, «коренную» бюрократию, национальные учебные заведения и кадры национальной интеллигенции, но даже языки (искусственно сегрегируя наречия и диалекты одного языка, например, среднеазиатского тюрки), а также культурную традицию и национальную иконографию. Автор приводит примеры Фирдоуси или Навои, которых считали классиками то одной, то другой национальной литературы. По мнению Слезкина, власти в своем поведении руководство

вались следующим силлогизмом: так как социалистическое содержание доступно представителям угнетенных народов только в национальной форме, то, чем аккуратнее произведено «национальное размежевание», тем прямее дорога к пролетарскому интернационализму. (Хотя, конечно, сделанный в 20-30-е гг. выбор в пользу поощрения этнического разнообразия можно объяснять самыми разными мотивами: от ленинского культуртрегерства до вполне логичного желания местной номенклатуры «выбить» для себя как можно больше новых должностей).

При этом оборотной стороной энергичной политики «национального строительства», как считает Слезкин, стала катастрофическая неудача, которую потерпели власти в создании чисто «советской» идентичности. По Слезкину, за столь бурными проявлениями государственной «любви» к национальным культурам скрывалась неспособность создать культурную традицию, приемлемую для всех обитателей советской «коммунальной квартиры», «и когда Горбачев избавился от марксистской словесной шелухи, единственным осмысленным средством общения был всем хорошо знакомый язык национализма» [6].

Как мы можем заключить, и Фицпатрик, и Слезкин отмечают амбивалентность поведения советской власти: с одной стороны, классы и нации провозглашаются естественными, «онтологически объективными» образованиями, которые не могут быть созданы по человеческому произволу; с другой стороны, власть активно «конструирует» их, скрывая, таким образом, истинную логику своего поведения не только от подданных, но и от себя самой. Язык советской идеологии не позволял адекватно описать реалии советской действительности; в таком случае, чтобы вскрыть истинное положение вещей, необходимо мастерство историка и скепсис диссидента.

Вопреки мнению Слезкина, следующий участник антологии, Стивен Коткин, считает, что советская идентичность была вполне успешно сформирована: «В самом деле, – пишет он, – что отчетливо просматривается в удивительно мощном новом национальном сознании, развившемся при Сталине, это его советский, а не исключительно русский характер; это то, как чувство принадлежности к Советскому Союзу было сплавлено воедино с параллельным, но подчиненным усилением этнических или национальных черт: люди считали себя советскими гражданами русской, украинской, татарской или узбекской национальности».

Работа Стивена Коткина, вошедшая в настоящее издание, является главой его монографии «Магнитная гора: Сталинизм как цивили-

зация», посвященной истории строительства и первого десятилетия работы Магнитогорского металлургического комбината. Здесь представлено еще одно перспективное направление современной зарубежной науки: «история повседневности». Историк воссоздает текущую жизнь рядовых людей с ее вроде бы незначительными событиями, но это позволяет поднять концептуально важную проблему исторического понимания в философском смысле слова (понять – значит реконструировать ментальные структуры эпохи, восстановить внутреннюю логику мышления и самоидентификации людей прошлого). Географическое название «Магнитная гора» обретает у Коткина переносный смысл: в центре его исследования – вопрос о том, как и почему пирамида сталинского государства, словно магнит, притягивала к себе умы и души людей.

Несомненно, интересна сама методика, которую использует Коткин для решения этой задачи, умелое совмещение им нескольких планов исследования. Отметим прежде всего микроисторический уровень: рассказ о ходе какой-либо крупной политической кампании – борьбы за повышение производительности труда или организации «агитационной работы» в цехах – сопровождается у Коткина своеобразными «миниатюрами на полях», информацией о том, как отразилась эта кампания на жизни реальных людей. Инженер Кудрявцев, репрессированный за нежелание тратить рабочее время на проведение «бесполезных» профсоюзных собраний; «бежавший» из Магнитогорска стахановец Огородников, которого сам нарком Орджоникидзе лично уговаривал вернуться; преступник-рецидивист Еркин, успешно «перевоспитавшийся» на строительстве Магнитогорской плотины, – подобные живые штрихи конкретизируют масштабное историческое полотно, создавая эффект личного соприкосновения читателя с «повседневностью» 30-х годов.

В историографической преамбуле к своей работе Коткин констатирует, что в западной исторической науке за прошедшие полвека сложились противоречащие друг другу представления о взаимоотношениях сталинского режима и его подданных. С 50-х годов (времени, когда методологической основой исследований по советской истории была концепция тоталитарного общества) в западной историографии господствовало мнение, что «лояльность граждан при советском режиме все время была под вопросом» и основывалась лишь на страхе перед репрессивной мощью власти. Эта точка зрения воскресает в зарубежной историографии в настоящее время, когда историки рассматривают «тактику повседневного выживания» – например, текучесть кадров, прогулы и пьянство – как признаки массового сопротивления

сталинизму [7]. С 70-х годов на смену ей пришло убеждение историков так называемой «ревизионистской школы» (поколения «детей», по определению М.Дэвид-Фокса [8]), что широкая народная поддержка Сталина и его политики была реальностью, а не пропагандистской иллюзией, поскольку режим выражал по крайней мере некоторые интересы рабочего класса [9].

В этом историографическом диспуте Коткин занимает своего рода «среднюю» позицию: его цель – реконструировать самоидентификацию советского рабочего *во всей ее возможной парадоксальности и внутренней противоречивости*. Источниками для решения этой задачи стали материалы заводской многотиражки, где официоз удивительным образом уживался с откровенными рассказами о реальном положении дел; архивные фонды Магнитогорска (особое внимание исследователь обращает на историю конфликтных ситуаций на производстве); воспоминания рабочих, собранные для написания истории комбината; личные дневники некоторых рабочих и инженеров. (Конечно, Коткин учитывает и внешнюю, и внутреннюю цензуру, которой подвергались подобные материалы). На конкретных примерах историк прослеживает, как искусственно созданные категории идеологического языка становились частью обыденного сознания людей, как внешний контроль перерастал во внутренний самоконтроль, и рядовые граждане начинали «говорить по-большевистски» – выражать свои мысли и настроения неким формальным языком. Мотивы, по которым люди того времени учились «говорить по-большевистски», предполагает историк, могли поразительным образом переплетаться, не исключая друг друга. Но делалось ли это из страха или же ради осязаемых житейских выгод, или же с искренним энтузиазмом – результат был один: «Необходимости верить не было. Но было необходимо, тем не менее, демонстрировать, что ты веришь». Не опережая выводов исследователя, с которыми еще предстоит познакомиться читателю, отметим лишь, что Коткин тщательно и с тонким пониманием реконструирует технику повседневного советского «двоемыслия», воскрешающую в памяти знаменитую антиутопию Оруэлла: «Жизнь превращалась в расколотое существование: то одна правда, то другая... и постепенно у людей развилось чувство опасности от смешивания одной с другой и определенная способность переключаться туда и обратно».

Структура властных отношений предстает на страницах этой работы более сложной и гибкой, чем традиционная «тоталитарная» модель. Стивен Коткин исходит из того, что властный контроль не может быть вседесущим: всегда существует некий зазор между тем, чего хочет добиться государство, и тем, что происходит на самом деле.

Поэтому практика взаимоотношений государства и его подданных, какими бы тоталитарными не были претензии этого государства, неизбежно оборачивается чередой компромиссов; у граждан сохраняется возможность «поторговаться» и заключить сделку с властью при условии, что они не оспаривают основных «правил игры». В таком случае для исследователя логично поставить вопрос: существовала ли подобная тактика повседневных компромиссов во взаимоотношениях политической власти с иными социальными группами, или же она применялась лишь по отношению к рабочему классу, официально провозглашенному хозяином нового общества?

«Интеллигенция и власть» – так, в соответствии с веховской традицией, можно было бы определить стержневую тему работ Катерины Кларк и Дэвида Джоравски: у Кларк объектом исследования становится взаимодействие партийного руководства и интеллигенции в сфере художественного творчества, у Джоравски – в сфере академической науки.

Глава из книги Катерины Кларк «Петербург: тигель культурной революции» освещает историю ленинградской творческой интеллигенции середины 1920-х годов. Исследовательница рассматривает эти годы как переломный момент в становлении советской культуры: авангардные искания начала 20-х годов еще продолжались, но в пестрой картине культурной жизни уже можно было различить «контуры тех моделей – институциональных, идеологических и эстетических», которые в 1930-е годы станут определяющими признаками культуры «сталинизма». Главным и наиболее тревожным признаком надвигающихся перемен Кларк считает то, что в сфере культурной политики тогда развернулся активный поиск эталонов нового, социалистического искусства, «новых икон, которые могли бы выдержать испытание временем»; то есть в центре внимания Кларк – смена типов культуры, хронологически совпавшая с «великим переломом» или «сталинским термидором» 1928-1932 гг.

Вопрос о сущности социалистического искусства давно уже занимал умы ученых-гуманитариев. Обычно исследователи (и в том числе такие безусловно авторитетные эксперты, как Владимир Набоков и Андрей Синявский) воспринимали социалистический реализм как некий «большой стиль», который идеально соответствует природе социалистического строя и к которому советское искусство тяготело с первых, младенческих своих шагов [10]. Эволюция стиля советского искусства в таком случае зеркально отражала эволюцию общества: как обычно считают искусствоведы и культурологи, для 20-х годов с

их азартной ломкой устоявшихся традиций идеально подходило авангардное искусство, а канонически застывшие формы социалистического реализма, утвердившегося с 30-х годов, точно передавали диктаторскую мощь и официозную тяжеловесность сталинизма [11].

Кларк, вопреки этой точке зрения, не считает, что социалистическое искусство неизбежно должно было соответствовать какому-либо определенному стилю, что у партийных идеологов заранее имелось сколько-нибудь четкое представление о желательных формах социалистической культуры, или что власть преднамеренно уничтожала именно те модели культуры, которые предоставляли наибольший простор для самовыражения интеллигенции. Исследовательница подчеркивает элементы случайности и противоречивости в выборе эталонов нового социалистического искусства: стилизованный классицизм живописца И.И.Бродского пришелся руководству так же «ко двору», как и выполненный в авангардно-экспериментальной манере фильм С.С.Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”». В вопросах поиска форм новой культуры, как констатирует историк, власть часто попросту шла на поводу у массового вкуса (ведь большинство-то политических лидеров, за исключением немногочисленных ценителей элитарной культуры – Л.Д.Троцкого или А.В.Луначарского, по своим вкусам недалеко ушли от рядового городского «обывателя»). Кларк подметила забавный парадокс тех лет: «Цемент», эталон соцреалистического романа, угодил массовому вкусу тем, что его главный герой – Глеб Чумалов – был обрисован не только «в соответствии с иконографией русского былинного богатыря», но и по образу и подобию лихого авантюриста из фильмов Дугласа Фербенкса, невероятно популярных тогда как в США, так и в СССР [12] ... В то же время власть и интеллигенция выступают на страницах исследования Кларк отнюдь не как непримиримые антагонисты. Их, с точки зрения историка, объединяла одна глобальная цель: идея создания последовательно антибуржуазной культуры и стремление «перевоспитать» зрителя или читателя в соответствии со вновь изобретенными культурными стандартами; разочарованность интеллигенции часто объяснялась лишь тем, что власть выбрала «не то» из предложенных ей моделей новой культуры.

«История культуры – не роман, написанный по канонам социалистического реализма», – заключает Катерина Кларк; скорее это – хроника спонтанного эволюционного развития, где нет заранее известной развязки, и «именно то, что когда-то обеспечило успех эволюционных изменений в рамках данного вида, может стать позже причиной его гибели».

Непреднамеренность, спонтанность, отсутствие заранее продуманной стратегии действий – эти понятия становятся ключевыми и в работе Дэвида Джоравски «Сталинистский менталитет и научное знание». Здесь исследователь выступает в роли критика еще одного расхожего исторического мифа: о том, что деспотическое вмешательство в научную жизнь, которое осуществляла власть в эпоху сталинизма, было изначально заложено в самой природе социалистического общества или марксистской идеологии. Привлекая обширный материал по истории точных, естественных, гуманитарных наук в СССР, Джоравски доказывает, что власть, определяя свое отношение к тем или иным научным дисциплинам, руководствовалась скорее конъюнктурой момента, чем фундаментальными идеологическими ценностями, и потому ее «генеральная линия» часто напоминала след змеи на песке. Ведь если ученым предписывалось руководствоваться в своих изысканиях «странной смесью схоластики и прагматизма», то это означает, что в определенные моменты на первый план выступали соображения идеологической чистоты, а в иное время – соображения практической ценности научных изысканий. И у руководителей, и у подвластных им специалистов оставалось, таким образом, поле для маневра; именно историю этих маневров и метаний Джоравски делает смысловым центром своего исследования, описывая их со значительной долей сарказма, но только ли на советские реалии обращен при этом сарказм историка?

Как и статья Холквиста, исследование Джоравски приобретает сравнительно-исторический аспект и перерастает в грустное размышление о судьбе современного мира. «Культ личности» Сталина, по мнению историка, был далеко не так важен для судеб советской науки, как «культ технологий», ставший в XX веке определяющей чертой современной цивилизации в мировом масштабе. Этот «культ» наглядно проявился в стремлении преобразовать науки о человеке по образу и подобию технических дисциплин, устранив из них ценностные суждения, проблемы морального выбора: выводы науки сводятся «к утверждениям экономистов, что они владеют *технологией* государственного планирования; к утверждениям психологов, что они овладели *технологией* воспитания детей или контроля над поведением взрослых; к утверждениям врачей, что в их руках – *технология* предотвращения или лечения болезней». Из сферы гуманитарных наук изгоняется само ощущение человеческой жизни как тайны: взамен воцаряется самодовольная уверенность, что главное – разработать эффективную систему управления человеком как одушевленным механизмом. В конечном итоге, заключает Джоравски, мы становимся свидетелями и со-

участниками трусливой попытки современного человека сбежать от мучительной необходимости делать самостоятельный ценностный выбор... Специфика СССР состояла лишь в том, что здесь «вытеснение» человеческого содержания из гуманитарных наук было произведено несколько нетрадиционным образом: его заменила вера не только в технологии, но и в идеологию, единоспасающую и неподвластную критике.

Таким образом, исследования, собранные на страницах антологии, отражают не только восприятие современными американскими историками советского общества, но и ту методологическую эволюцию, которую претерпела зарубежная историческая наука к концу XX века. Спектр концептуальных подходов, представленных здесь, весьма широк: историческая компаративистика, теория воображенных сообществ, концепция технократического общества, геокультурная история и история повседневности; наконец, объединяющий всех авторов данного сборника интерес к проблеме идентичности... Тем не менее, несмотря на разнообразие методологии (или именно благодаря ей), перед нами – целостная научная традиция; мы в своем «Введении» выявили лишь некоторые отправные точки непрерывного диалога, который ведут друг с другом современные американские историки-руссисты.

При всем несходстве методов и концепций в центре внимания большинства участников данной антологии находится проблема власти в социалистическом обществе. Американские историки оставляют в стороне вопрос о «классовой» природе советской власти, решение которого казалось отечественным гуманитариям в первые годы перестройки универсальным подходом ко всем загадкам сталинизма. Власть выступает для авторов антологии как надклассовая («надсловная», уточнила бы Шейла Фицпатрик) сила, миссия которой, в соответствии с парадигмой Нового времени, состоит в том, чтобы предписывать подданным некие общезначимые цели и консолидировать их для достижения этих целей, а значит, конструировать индивидуальную и групповую идентичность людей. Такой теоретический подход позволяет сделать концептуальным стержнем исследования историю создания и постепенного воплощения в жизнь определенного «проекта» мира и человека. Впрочем, американские историки не мыслят власть как некую демоническую, всемогущую силу, а, напротив, описывают ее усилия со значительной долей скепсиса и иронии, подчеркивая элементы случайности, непоследовательности, амбивалентности в ее действиях и даже в самом выборе целей [13]. Тема человека и власти приобрета-

ет в таком случае гуманистическое звучание: у любого проекта глобального переустройства мира, сколь тоталитарным бы он ни был, есть свой предел возможностей, свой резерв прочности, и любая «прекрасная эпоха», сколь вечной бы она ни казалась, рано или поздно не выдержит тяжести собственных противоречий.

И, наконец, хотелось бы обратить внимание наших читателей на следующее обстоятельство. Сталинизм для американских историков-русистов предстает не как некое досадное отклонение от магистральной линии хода всемирной истории, а как ключевая тема для понимания природы современного общества вообще, какова бы ни была его идеология. Принимаем ли мы сделанные ими выводы или, наоборот, желаем их оспорить, – данный подход, бесспорно, раздвигает теоретические горизонты наших представлений о характере советского периода отечественной истории. Трудно осмыслить опыт нашего исторического прошлого, искусственно изолируя его от истории мировой и не пытаясь понять смысл тех перемен, которые произошли в XX веке в масштабах всего мира. Для решения таких задач необходимо не только профессиональное мастерство историка, но и философская, ценностная рефлексия, *гуманитарное* – то есть очеловеченное – знание в исходном смысле этого слова. И, возможно, этапом на пути к рождению такого знания станет диалог академических культур, в том числе и знакомство российского историка с традицией американской русистики.

Примечания

1. Слова итальянского политика и ученого Р.Тоскано цит. по: Медведев Р.А. Они окружали Сталина. М., 1990. С.8.

2. Надеемся, нашему читателю хорошо известно, что «русистика», как отрасль профессиональной исторической науки в Америке, не тождественна советологии: советология представляет собой отрасль политологии, и традиционно является несравненно более политически ангажированной дисциплиной, чем история.

3. Подробнее о концепции «фронтيرا» в американской исторической науке см.: Барретт Т. Линии неопределенности: северокавказский «фронтир» России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период. Самара, 2000. С.163-194.

4. Согласно Фуко, под псевдогуманистической личиной государства и общества «нового времени» скрывается тщательно разработанная механика тотального надзора и дисциплинарного воздействия, настолько въевшаяся в плоть и кровь современного человека, что мы воспринимаем ее как часть обыденности. «Исторически сложилось так, – пишет Фуко, – что процесс, приведший в XVIII веке к политическому господству класса буржуазии, прикрывался установлением ясной, кодифицированной и формально эгалитарной юридической структуры, которая стала возможной благодаря созданию ре-

жима парламентского, представительного типа. Но развитие и распространение дисциплинарных устройств стало обратной, темной стороной этих процессов... Нормализующая власть становится одной из основных функций нашего общества. Судьи нормальности окружают нас со всех сторон. Мы живем в обществе учителя-судьи, врача-судьи, воспитателя-судьи и “социального работника”-судьи; именно на них основывается повсеместное господство нормативного; каждый индивид, где бы он ни находился, подчиняет ему свое тело, жесты, поведение, поступки, способности и успехи». – Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М., 1999. С.325, 448-449. Заметим, что, если Фуко – философ-структуралист – рассматривал надзор и дисциплину как универсальные организующие начала общества, «растворенные» во всех сферах повседневной жизни, то Холквист заостряет внимание на государственном, институционально закреплённом и функционально регламентированном политическом надзоре.

5. «“Воображенными” называют все сообщества, члены которых не знают и заведомо не могут знать лично или даже “понаслышке” большинства других его членов, однако имеют представление о таком сообществе, его образ. “Воображенная” природа таких сообществ вовсе не свидетельствует об их ложности, нереальности. Крупные сообщества, а к ним относятся не только нации, но и классы, можно классифицировать по стилям и способам их воображения». – Миллер А.И. Национализм и формирование наций. Теоретические исследования 80-90-х годов // Нация и национализм. М., 1999. С.9-10.

6. Заметим, что концепция Слезкина весьма оригинальна и с российской, и с американской точки зрения: господствующим в историографии остается мнение, звучащее на страницах нашей антологии из уст Д.Джоравски: «На практике проводилась одна и та же политика – чуть прикрытая русификация».

7. О тех трудностях, которые подстерегают исследователя при попытке выявить наличие пассивного сопротивления сталинскому режиму, рассказывает Линн Виола в своем аналитическом обзоре современной западной историографии вопроса: Lynne Viola. «Popular Resistance in the Stalinist 1930s: Soliloquy of a Devil's Advocate». *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History* 1 (1), Winter 2000. P.45-70.

8. Дэвид-Фокс М. Введение: отцы, дети и внуки в американской историографии царской России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период. Самара, 2000. С.10-14.

9. Заметим, что сходная дискуссия шла в нашей отечественной публицистике в годы перестройки; но, в соответствии с нормами марксистского подхода, здесь споры развернулись вокруг проблемы классовой природе власти при социалистическом строе. В центре внимания участников дискуссии оказался вопрос о том, был ли сталинский режим политическим воплощением революционного нетерпения «молодого рабочего класса», или же следует признать справедливой теорию классового господства бюрократии («нового класса») в социалистическом обществе, выдвинутую М.Джиласом. О ходе этой дискуссии см., напр.: Лацис О.Р. Перелом: Опыт прочтения несекретных документов. М., 1990. С.369-395.

10. Торжество добродетели // Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1999. С.402; Что такое социалистический реализм? // Терц, Абрам (Синявский А.Д.). Путешествие на Черную Речку и другие произведения. М., 1999. С.122-168.

11. Именно так видел эволюцию советского искусства, например, П.Н. Миллюков: Миллюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 тт. Т.2, ч.1. М., 1994. С.355-409. Подобные воззрения оспаривает философ Борис Гройс в своем исследовании «Стиль Сталин». Как утверждает Гройс, эстетика социалистического реализма сталинских времен представляла собой прямое продолжение авангардистских исканий: «в сталинское время действительно удалось воплотить мечту авангарда и организовать всю жизнь общества в единых художественных формах, хотя, разумеется, не в тех, которые казались желательными самому авангарду». – Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993. С.16. Исследование Кларк во многом перекликается с выводами Гройса, но при этом историк ни в коей мере не разделяет главный постулат философа: о том, что переход к социалистическому реализму совершился вследствие некоей предопределенной «имманентной логики развития».

12. Заметим, что с идеями Катерины Кларк о родстве форм советской и западной массовой культуры перекликается наблюдение Шейлы Фицпатрик, назвавшей мелодраму «одним из стандартных жанров советской массовой культуры» 30-х годов: при идеологизированной «соцреалистической» фабуле приемы воздействия на чувства зрителей были вполне мелодраматическими.

13. Уместно будет обратиться к мнению самого составителя антологии, М. Дэвид-Фокса, высказанному в его монографии «Революция духа: Большевицкое высшее образование, 1918-1929»: «...Преобладающее большинство исследователей, сталкиваясь с феноменом однопартийной монополии на власть, склонно рассматривать партию исключительно как инициатора преобразований. Безусловно, она выступала и в этой роли. Но взгляд на проблему “изнутри”, сквозь призму предпринятого нами исследования системы партийного высшего образования, позволяет утверждать, что многоуровневые перемены, развернувшиеся в 20-е годы, не могут быть объяснены лишь намерениями политических лидеров, даже самых влиятельных из них. В данном случае партия предстает не только как активный деятель и победитель, но также и как движение, в самом буквальном смысле слова запутавшееся в собственной паутине, зажатое в тисках партийной политической практики и политической культуры. Большевицкая система культуры не только порождала, но и широко внедряла множество новых способов поведения, речи и мышления; ее развитие зашло столь далеко, что оказалось вне зоны досягаемости для индивидуального воздействия, даже когда большевики предпринимали самые волюнтаристские попытки преобразований в культурной сфере, – в конце концов установленные партией институциональные структуры и традиции повседневной жизни действительно начали доминировать в жизни ее членов. Путиами, которые едва ли могли отчетливо осознавать сами современники, интенсивное давление возникшей системы и ее привычки подчинили себе даже самую активную, вездесущую партию, которая когда-то и создала эту систему». – Michael David-Fox. *Revolution of the Mind. Higher Learning among the Bolsheviks, 1918-1929.* Cornell University Press, Ithaca and London, 1997. P.271.

**СЕМЬ ПОДХОДОВ К ФЕНОМЕНУ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ:
Разные взгляды на первую половину «краткого» XX века**

По мнению американского составителя данной антологии, российских читателей могла бы заинтересовать более подробная информация об авторах опубликованных здесь исторических исследований, а также о том, как соотносятся эти работы с общим направлением их научной деятельности. Кроме того, поскольку антология «Американская русистика» является результатом плодотворного сотрудничества российских и американских ученых, возможно, российской аудитории было бы небезыntenесно ознакомиться с некоторыми моими размышлениями о том, какая историографическая картина складывается из представленных в сборнике материалов. Эти размышления, как мне представляется, подкрепляют и развивают тезисы, содержащиеся в содержательном и глубоком предисловии моих многоуважаемых коллег П.С.Кабытова и О.Б.Леонтьевой.

Неудивительно, что все особенности формирования американской русистики, столь поздно возникшей и столь интенсивно развивавшейся, воплотились в американской исторической литературе, посвященной советскому периоду, в большей степени, чем в других областях исторической науки. В самом деле, исследования по истории Советского Союза стали проводиться в США только с начала 50-х годов. В то время, однако, они зачастую были вотчиной не профессиональных историков (первоочередной задачей которых является серьезная и систематическая работа с первоисточниками), а политологов - так называемых «советологов» - и интересующихся политикой интеллектуалов [1]. Несмотря на такое положение дел, уже в 20-30-е годы отдельные ученые-историки смогли внести существенный вклад в изучение советской истории (хотя сегодня их труды в большинстве случаев забыты) [2]. Историки продолжали заниматься изучением советского

периода и в 40-50-е годы; некоторые из появившихся тогда работ стали побудительным импульсом, вызвавшим впоследствии интенсивный рост объема исследований по истории Советского Союза. В частности, девятитомное исследование по истории раннего советского периода, принадлежавшее перу британского дипломата и историка Э.Г.Карра, заложило основы серьезного, основанного на работе с источниками, изучения политической и экономической истории СССР [3].

Изучение истории советского периода значительно активизировалось в 60-е годы, но лишь позже, в 70-80-е, оно стало полем действительно плодотворной деятельности многочисленной интернациональной когорты ученых-историков. Когда в 80-е годы я решил посвятить себя советской истории, многие влиятельные американские историки-русисты по-прежнему были убеждены, что в условиях отсутствия свободного доступа к архивным материалам советский период российской истории должен быть предметом изучения политологии, другими словами, что это еще не история, а скорее политика. Немало пионеров «советологии», продолжавших изучение политической истории Советского Союза в 70-80-е годы, например, автор биографии Сталина Роберт К. Таккер или биограф Бухарина Стивен Ф. Козн не были профессиональными историками: они работали на факультетах политологии, избрав сферой своей научной специализации советский «регион». Таким образом, в то время как в самом СССР, по понятным причинам, изучение истории советского периода развивалось крайне слабо, центром притяжения интересов американских историков-русистов явно был период между 1855 г., началом эпохи реформ, и революциями 1917 г.; именно этому временному отрезку были посвящены лучшие работы по истории России, появлявшиеся в США. И та схема чередования поколений историков - «отцов», «детей» и «внуков», - которую я предложил в своем предисловии к первому тому «Американской русистики», посвященному императорскому периоду истории России, еще более точно описывает эволюцию западной историографии советского периода. Именно в этой сфере в 40-50-е годы неожиданно заставило говорить о себе поколение «отцов», в 60 - 80-е годы произошла явная перегруппировка сил в пользу «сыновей», а 90-е годы характеризовались еще более значительными изменениями в связи с открытием архивов и дальнейшей реконцептуализацией исторической науки [4].

В конце 80-х и в 90-е годы, когда были открыты ранее недоступные исследователям архивы - событие, полностью трансформировавшее процесс изучения советской истории, - круг интересов американской историографии России стал заметно меняться: внимание историков

переместилось от XIX столетия к XX веку, с изучения царской России - к изучению России советской. Результатом этого стало появление существенно новой историографии по периоду с 1914 г. до 30-х гг. Именно этот период привлекает в настоящий момент преимущественное внимание исследователей, и именно в этой области достигнуты наибольшие успехи. Этому периоду - эпохе беспрецедентных социальных потрясений и беспрецедентного насилия, быстрого возникновения и формирования советской системы, эпохе перманентного кризиса и постоянных перемен - посвящен и данный том. Если Эрик Хобсбаум метко назвал период с первой мировой войны до краха коммунизма «кратким XX веком», то в нашем издании речь пойдет о первой половине этого «века» [5].

Следует отметить, что в настоящий момент в историографической сфере назревает еще одна переменная: англо-американская историческая наука начинает комплексное освоение новой тематики - послевоенной истории СССР, 40-60-х гг. [6] Однако в этой области исследований еще не появились какие-либо «классические» работы: решающий перелом явно близок, но пока рано его констатировать. Сейчас, когда я пишу эти строки, историография послевоенной советской истории гораздо более широко представлена в самой России. Работы, которые вошли в «золотой фонд» американской историографии советской истории, посвящены, как правило, изучению межвоенного периода; именно они, следовательно, должны представлять наибольший интерес для российского читателя. Отобранные для нашего издания научные исследования посвящены преимущественно сталинской эпохе и в той или иной степени ее предыстории - периоду с 1914 г. до конца 1930-х гг. Впрочем, в некоторых из представленных здесь работ, например в статье Юрия Слезкина, затрагиваются и более поздние времена. Исключение представляет работа Альфреда Рибера, посвященная вопросам внешней политики и охватывающая значительные временные интервалы как до, так и после 1917 года. Такой подход, однако, тоже отражает определенную тенденцию развития исторической литературы, зародившуюся лишь недавно, после распада Советского Союза в 1991 году.

Здесь необходимо отметить еще одну немаловажную особенность современной историографической ситуации. По иронии судьбы, с концом «холодной войны», именно когда американская историография раннего советского периода вступила в стадию наиболее интенсивного развития, в более широких кругах американского общества история этого времени во многом потеряла свою политическую актуальность и, как следствие, перестала вызывать былой общественный ре-

зонанс. Можно сказать, что утрата политической актуальности стала платой за возможность развития нового научного направления. Впрочем, как мне кажется, наши читатели смогут прийти к выводу, что такое развитие событий имело свои положительные стороны.

Каждое из исследований, отобранных для публикации в настоящем томе, представляет собой сочетание эмпирического и концептуального подходов; это либо работы, уже оказавшие ощутимое влияние на развитие англоязычной историографии, либо - если они были опубликованы недавно - потенциально способные оказать такое влияние. Кроме того, есть еще один аспект, сближающий представленные в данном издании тексты (и он, на наш взгляд, еще более важен, чем то, что хронологические рамки этого тома несравненно уже двух столетий, освещенных в томе по императорскому периоду). Именно этот аспект проступил, когда данные статьи были собраны на страницах одного издания, отчетливее и рельефнее, чем в каждой из них в отдельности: их внутренняя взаимосвязь с одним из основных вопросов, занимающих как советологов, так и профессиональных историков с самого начала изучения истории СССР. В упрощенном виде вопрос этот звучит так: каковы были движущие силы формирования советской системы? Конечно, такая постановка вопроса предполагает, что историкам уже известно, что представляла собой «советская система» как таковая, как она возникла и чем стала впоследствии.

Было время, когда вопрос этот задавался в американской историографии под углом выяснения «первопричин», а также в рамках дихотомии «или-или». Одни ведущие специалисты по данному вопросу настаивали, что движущей силой в процессе возникновения советской системы была «политика»; другие считали ею «идеологию»; третьи настаивали, что главным фактором были «общественные силы» [7]. Как известно, ход ранней советской истории трактовали (особенно в 70-80-е годы, время наиболее политизированных дебатов) либо как «прямую линию», ведущую от Ленина к Сталину, либо как серию альтернатив, упущенных возможностей, либо как революцию «сверху» или же «снизу». И хотя, конечно же, представленные здесь работы сохранили явный отпечаток этих дискуссий, определявших развитие исторической науки и в различных формах продолжающихся по сей день, подобные бинарные оппозиции и однофакторные интерпретации истории в настоящее время в целом утратили свою силу. Включенные в данный сборник статьи стали опытом преодоления тех упрощенных подходов, которые были в центре внимания участников бурных дискуссий прошлого. Таким образом, статьи эти могут рассматриваться как свидетельства «возмужания» американской историографии совет-

ской истории. Но, несмотря на это сходство, все предлагаемые здесь российскому читателю исследования посвящены различным сферам формирования ранней советской, а затем сталинской системы. Каждое из них предлагает свой подход к проблеме истоков советской системы: важнейшей исторической проблеме, которая, несомненно, и в будущем сохранит свое исключительное значение, и которая, в конечном итоге, не поддается решению именно из-за своей исключительной исторической важности.

Питер Холквист, чья работа посвящена сопоставлению политического надзора над населением в России со сходной практикой в других европейских странах, работает в Корнельском университете. Темой его диссертации, которую он защитил в 1995 году, была история Донской области в революционный период. Большая часть его работ посвящена 1914-1921 годам - эпохе в истории России, которую он сравнивает со всемирным потоком [8]. Сфера научных интересов Холквиста включает историю революционного периода, различные аспекты зарождения эпохи новейшего времени («модернизма»), политику в области народонаселения, проблему государственного насилия [9]. Опубликованная в настоящем издании работа позволяет составить представление о нескольких сторонах исследовательской деятельности этого историка. Во-первых, Холквист прослеживает значение развернутой в 1914 году «тотальной войны» для формирования такой характерной для эпохи модернизма практики, как надзор за настроениями населения, - практики, которая ранее при изучении русской истории почти исключительно ассоциировалась с советским идеократическим государством. Таким образом, в работе Холквиста 1914 год предстает не менее важной исторической вехой, чем год 1917: игнорировать роль первой мировой войны в становлении советской системы, уделяя основное внимание революции, после появления этой работы уже вряд ли логично. Во-вторых, ученый широко использует метод сопоставления исторического развития России и европейских стран; компаративный анализ составляет неотъемлемую часть его работы. Сравнительно-исторические исследования и прежде были представлены в американской историографии российской истории (одним из лучших примеров здесь являются исследования Марка Раева по истории России XVIII и начала XIX столетий, всегда характеризовавшиеся компаративистским подходом) [10]. Но нужно отметить, что, как только речь заходит о XX столетии, историки-русисты настаивают на «своеобразии» или даже «уникальности» советского пути развития. Холквист, таким образом, стал одним из первых истори-

ков, решивших применить компаративный анализ с целью переосмысления некоторых аспектов русской и советской истории XX века.

В данном случае Холквист прослеживает, как Россия совершенствовала практику надзора и изучения настроений населения одновременно с другими европейскими государствами, и как государства заимствовали друг у друга опыт в этой области, создавая некий международный континуум. Наконец, он выдвигает предположение, что в годы гражданской войны как красные, так и белые придавали равное значение оценке состояния «сознательности» населения и воздействию на эту «сознательность»; это утверждение представляет собой явное новшество в историографии «белого движения» [11]. По мнению Холквиста, все современные государства практикуют надзор за населением, но цели, которые они при этом преследуют, могут быть самыми различными. Именно здесь, согласно концепции ученого, в игру вступает идеология. Практика молодого большевистского государства в этом отношении ни в коей мере не была уникальной; уникальными были цели, которым служила эта практика. Крайне важно и то, что даже в мирное время, когда другие режимы отказывались от «чрезвычайных» или временных мер, внутренняя политика Советского Союза - режима, возникшего во время великой катастрофы, вызванной мировой войной, революцией и гражданской войной, - прочно несла в себе черты военного времени, сыгравшего столь важную роль при его зарождении. Война была позади; но для оправдания прежней политики можно было ссылаться на необходимость подготовки к новой войне или борьбы на «внутреннем фронте».

Работа Альфреда Рибера посвящена внешней политике, но автор ищет корни советского феномена не в первой мировой войне и не в универсальной практике модернизма, а в существовании устойчивых структурных факторов, с которыми правителям России приходилось сталкиваться на протяжении нескольких веков. Таким образом, широкомасштабное исследование Рибера не только охватывает период до и после 1917 года, что, как уже отмечалось, является важной тенденцией развития современной историографии, но и связывает воедино историю внешней и внутренней политики. Такой подход свойствен лишь небольшому числу работ, но квалификация Рибера вполне позволяет ему успешно преодолевать хронологические и тематические барьеры. Рибер - профессор Центрально-Европейского университета в Будапеште, значительная часть его научной карьеры связана с Пенсильванским университетом. Первая монография ученого была посвящена исследованию отношений между Советским Союзом и Французской Коммунистической партией в 40-е годы; затем он обратился к

изучению более раннего исторического периода. Тематика его многочисленных работ по истории XVIII и XIX веков впечатляюще разнообразна: она включает историю международных отношений, а также социальную, политическую и интеллектуальную историю [12].

В опубликованной здесь работе Рибер попытался предложить альтернативу трем «мифам» зарубежной мысли, трем попыткам объяснить внешний экспансионизм России и СССР: мифу о геополитическом стремлении России к портам южных морей; о российской политической системе как особой разновидности восточного деспотизма; и о неизбежном русском мессианизме, связанном с идеей «Москвы - третьего Рима». Эрудированно и, я бы сказал, элегантно ученый анализирует все эти три варианта историографических мифов и демонстрирует, что во всех трех случаях давно бытовавшие на Западе антирусские идеи были механически применены в отношении Советского Союза (конечно, нельзя забывать и то, что в создание мифов о «восточном деспотизме» и «третьем Риме» внесли свой вклад также влиятельные русские и советские мыслители). Все эти историографические мифы, как отмечает Рибер, носят детерминистский характер и монокаузальны по своей сути: в каждом случае для объяснения политики России и Советского Союза используется одна-единственная схема, которая, как подразумевается, остается справедливой на всем протяжении истории. Предпринятая Рибером критика эссенциалистских теорий преемственности исторического развития актуальна не только при изучении истории внешней политики; подобный подход можно использовать и для критики других бытующих в западной исторической науке теорий преемственности, например, выдвинутой Кенаном концепции, согласно которой допетровские русские политические «обычаи» оставались основной политической моделью и на протяжении последующих столетий; или предложенной Пайпсом теории «патримониального государства» (кстати, Рибер считает ее одной из разновидностей концепции «восточного деспотизма») [13].

Отрицая «мифотворчество», Рибер предпочитает говорить об «устойчивых факторах», влиявших на формирование российской, а затем и советской внешней политики. Он называет четыре таких фактора: относительную экономическую отсталость; плохо защищенные, уязвимые границы; разнородность структуры российского общества, вобравшего в себя различные этнические культуры; и культурную маргинальность России. Следует заметить, что воздействие каждого из этих факторов можно проследить и во внешней, и во внутренней сферах жизни страны. Например, экономическая отсталость страны ведет к поиску и разработке периферийных природных ресурсов и к раз-

виту торговли, но также заставляет прибегать к услугам иностранных специалистов и предпринимать усилия по устранению технического отставания. Уязвимость границ не только способствует внешней экспансии, но и ослабляет государственную власть и стимулирует центробежное движение населения, а в моменты кризиса создает угрозу децентрализации. Тот факт, что царская Россия и Советский Союз представляли собой многонациональные государства, а точнее империи, состоявшие из так и не абсорбированных полностью этнотерриториальных единиц, означает, что внутренние восстания и конфликты неизбежно подвергались интернационализации. Под «культурной маргинальностью» Рибер подразумевает не культурную неполноценность, а тот факт, что Россия находится на периферии великих очагов культуры: то, что в стране шли и продолжают идти дебаты о ее промежуточном положении на стыке восточной и западной культур, а также феномен параллельного взаимодействия России с совершенно разными международными системами. Этот последний фактор под пером Рибера также приобретает и внутренний, и внешний аспект: речь идет как о страстных спорах о месте России в мире, например, о развернувшихся на заре советского периода ожесточенных дебатах по поводу выбора наиболее подходящего момента для всемирной пролетарской революции, так и о той крайней подозрительности, с которой западная дипломатия относилась к России, а затем к СССР, в связи с нарушением последними «цивилизованных» норм международного поведения.

Рибер выбирает в данном случае структурный подход, придавая наибольшее значение не поступкам людей, а поиску неких скрытых факторов. В конце концов может возникнуть вопрос: не подменил ли ученый грандиозные детерминистские схемы, выстроенные вокруг того или иного главенствующего фактора, более гибкой концепцией, где число таких факторов увеличилось до четырех? Но - и в этом отличие представленного здесь исследования от историографических мифов с их неизменными, заранее готовыми объяснениями - выделенные Рибером факторы могут рассматриваться не столько как движущие силы истории, сколько как способы понять ее. Более того, историк предполагает, что перечисленные им устойчивые факторы могут со временем претерпеть существенные изменения, хотя для этого и потребуются огромные усилия. Ведь даже советское государство с его тотальными амбициями не смогло их преодолеть. Кстати, в свете предложенной Рибером концепции опыт Советского Союза становится отражением традиционного российского «парадокса власти», порожденно-го вышеупомянутыми стойкими факторами с их противоречиями и

дилеммами, и может быть истолкован как неудачная попытка устранить этот парадокс. Разумеется, вопрос о неспособности советской власти совладать с «российскими реалиями» поднимался в историографии неоднократно (открывшиеся российские архивы предоставили историкам многочисленные свидетельства слабости советской бюрократической сверхдержавы), но Альфред Рибер представил один из наиболее полных опытов анализа данной проблемы.

Внимание Катерины Кларк, профессора Йельского университета и одного из самых известных западных специалистов в области истории русской культуры XX века, привлекла та значительная роль, которую играла сфера культуры в формировании советской системы. Кларк была одним из соавторов биографического исследования о Михаиле Бахтине, публикация которого вызвала невероятный интерес к наследию этого мыслителя в англоязычном научном мире. Ее работа о соцреалистическом романе изменила устоявшийся подход к изучению советской литературы, заставив исследователей выделить антропологические и культурологические аспекты проблемы и сосредоточить внимание на тех эстетически «беспомощных» произведениях социалистического реализма, которые, однако, были невероятно влиятельными в контексте сталинской культуры и способны многое повесть об этой культуре в целом (в наше время такой метод исследования стал нормой, но во время публикации книги Кларк он делал свои первые шаги) [14]. В настоящее время Кларк завершает работу над монографией «Москва - четвертый Рим», посвященной истории культуры этого города в советский период; эта книга должна стать смысловым продолжением ее труда «Петербург - тигель культурной революции».

В публикуемой здесь главе из книги «Петербург» Кларк анализирует культурную жизнь середины 20-х годов - времени, которое она считает эпохой важнейшего культурного сдвига. Здесь отражен ряд главных тем ее книги, посвященной роли петербургской/ленинградской интеллигенции в формировании системы советской культуры - со времени, предшествовавшего первой мировой войне и до второй половины 30-х годов. Кларк, в отличие от большинства исследователей, не делает смысловым центром своей работы привычную дихотомию «власть - интеллигенция» и не считает эти силы полярно противоположными друг другу (подробнее об этом будет сказано ниже); она предпочитает проследить эволюцию сложной культурной системы. Метод исследователя - сопоставление хода развития различных искусств, искусствоведения, интеллектуальной жизни, идеологии и проведение неожиданных параллелей между ними. Исходя из таких по-

стулатов, Кларк выделяет несколько аспектов культурного сдвига середины 20-х годов: на место интернационалистской культуры авангарда, пережившей свой расцвет в первые годы революции, приходит более «русоцентристская» культура; иконоборчество уступает место иконотворчеству; усиливающееся влияние московских пролетарских и революционных культурных группировок, в целом выступающих за более традиционную, реалистическую эстетику, ведет к тому, что борьба за создание «истинно советской» культуры становится все более нетерпимой и воинствующей.

Здесь можно проследить ряд тем и подходов, характерных для исследовательской работы Катерины Кларк в целом. Во-первых, автор анализирует не только феномен властного вмешательства в культурную жизнь, но и борьбу между различными группировками интеллигенции, считая такую борьбу важнейшим фактором развития советской культуры (этим обусловлен и ее интерес к проблеме покровительства в культурной сфере и к проблеме безработицы - не только к непосредственному производству культурной продукции, но и к более прозаической стороне культурной жизни). Во-вторых, Кларк выделяет те ключевые пункты, где интересы интеллигенции и советской политической элиты до определенной степени совпадали (что, таким образом, помогает понять ход формирования системы советской культуры): например, и властная элита, и интеллигенция отрицали «легкие», наиболее популярные формы массовой культуры как «хлам» (параллельный анализ элитарной и массовой культуры, «высоких» и «низких» жанров типичен для Кларк). И, наконец, историк по-новому подходит к проблеме взаимосвязи между изменениями в культурной сфере и в сфере политики. По мнению Кларк, обе эти сферы как явно, так и скрыто воздействовали друг на друга, создавая своеобразную «экологию революции», но перемены в культурной сфере характеризовались своей собственной, особой динамикой.

Многие из выводов Кларк носят в высшей степени полемический характер и выдвинуты в противовес традиционным теориям; но при этом ее заключения не похожи на стандартные аргументы западных «ревизионистов», направленные против «тоталитарной» школы. Например, одна из главных задач Кларк при изучении перемен в культурной жизни того времени - показать, что многочисленные черты так называемой «культуры сталинизма» фактически зародились уже в середине 20-х годов. Если Холквист считает, что ключевым аспектом становления советской системы была политическая практика модернизма, а Рибер подчеркивает значение устойчивых факторов рос-

сийской политики, то Кларк обращает наше внимание на ключевую роль интеллигенции и новой революционной культуры.

Начиная с 70-х годов в центре научных дискуссий о советской истории всегда оказываются концепции профессора Чикагского университета Шейлы Фицпатрик. Ее многочисленные работы охватывают широкий спектр вопросов социальной, политической и культурной истории советского времени: от гражданской войны и до периода после второй мировой войны [15]. Помещенная в данном сборнике работа посвящена процессу формирования в 20-30-е годы своеобразной советской «сословной системы» и может рассматриваться как дополнение к опубликованной в первом томе «Американской русистики» работе Грегори Фриза о сословной парадигме в России [16]. В определенном смысле статья Фицпатрик обозначила точку наивысшего подъема того интереса к изучению социальной истории раннего советского периода, который в 70-80-е годы изменил и значительно обогатил историографию всей советской эпохи. С другой стороны, это исследование отступает от традиционных тем социальной истории того периода, отражая в первую очередь сферу научных интересов самой Фицпатрик, сформировавшуюся в ходе многолетней работы. На первый взгляд, представленная в ее работе концепция «советских сословий», возникших в результате целенаправленных усилий большевиков по «классовой стратификации» общества, и продолжительного существования института «государственной приписки» индивидов к классам опирается на значительный массив литературы, посвященной проблемам социальной структуры и класса - как на научные работы по социальной истории советского периода, так и на идеи и концепции молодого советского режима. Однако, в отличие от многих работавших в 70 - 80-е годы специалистов в области социальной истории - и от некоторых предыдущих собственных работ, Фицпатрик не ищет ключа к советской истории в деятельности «общественных сил». Скорее, она доказывает, что именно замыслы государства и государственная идеология - потребность в создании, «изобретении» классового общества в условиях социальной нестабильности - привели к образованию так называемых «мнимых классов», то есть статистической иллюзии существования классового общества. В финале своей статьи Фицпатрик все же обращается к концепции «общественных сил» (правда, в очень деликатной форме): она высказывает предположение, что сохранению института «сословности» в новых, послереволюционных условиях способствовали настроения и ожидания самого населения. И, тем не менее, скептицизм по отношению к любым марк-

систским и неомарксистским концепциям «объективных общественных сил» у Фицпатрик явно преобладает.

Ряд тем, затронутых в работе Шейлы Фицпатрик, также указывает на давний интерес исследовательницы к той сфере, где смыкаются политические, социальные и культурные аспекты советской истории. Например, в контексте ее прежних работ характерно то внимание, которое Фицпатрик уделяет трудностям определения и регистрации социального происхождения и социального статуса на начальном этапе развития советского общества. Широко известна работа Фицпатрик о феномене «выдвижения» и о социальной мобильности как ключевом факторе формирования «сталинского поколения» советской политической элиты; в другом своем исследовании она обратила внимание на то, как большевистская теория классов превращалась в смысловой стержень дебатов о «пролетарской культуре» и «пролетарском государстве», по мере того как идеологические ожидания вступали в конфликт с социальными реалиями [17]. Она обращалась и к истории попыток различных социальных групп и индивидуумов избежать социального «клеймения» и уйти от связанных с ним «разоблачений». Подводя итог, можно сказать, что большая часть проделанной этим историком работы посвящена основным этапам советской социальной и культурной политики 20-30-х годов [18], и ее труды сотканы из разнообразных, сложно переплетающихся мотивов и тем. Характерно для творческого почерка Фицпатрик стремление исследователя показать, как рассмотренные ей события и явления воспринимались самими советскими людьми, их современниками. Вывод о том, что элементы дореволюционного общества - в данном случае «сословность» - сумели уцелеть даже в период революционных потрясений, вытекает из предложенного Фицпатрик понимания сталинизма как феномена, вобравшего в себя многочисленные устойчивые черты российских реалий предшествующих эпох: к примеру, такие, как «блат» и покровительство [19]. Именно поиск «корней» советской системы в прошлом России (хотя Фицпатрик редко прибегает к прямому сравнению послереволюционной и дореволюционной практики) отличает интерпретацию истории, предложенную Фицпатрик, от воззрений Холквиста, уделяющего первоочередное внимание статистским методам управления в общеевропейском масштабе и их интенсификации в годы первой мировой войны, или от концепции Стивена Коткина, воспринимающего сталинизм как некую новую цивилизацию (см. ниже).

Предпринятый Дэвидом Джоравски анализ «сталинистского менталитета» относится к жанру научного эссе; эта работа, написанная

еще до «открытия» советских архивов, наглядно демонстрирует процесс научной рефлексии западного ученого, изучающего советскую историю. В данном случае такое осмысление пройденного исследовательского пути предпринято одним из крупнейших западных специалистов по истории науки. Джоравски преподавал в Северо-Западном университете в городе Чикаго; он является автором многочисленных работ по истории различных научных дисциплин, среди которых - одна из первых крупных работ, посвященных влиянию советского марксизма на естествознание 20-х годов, фундаментальное исследование «лысенковщины», и история психологии в СССР [20]. Интересно проследить, как ненавязчиво в этом эссе Джоравски проводит противопоставление власти и интеллигенции, идеологии и науки. Подобное противопоставление было традиционным для более ранней западной и сегодняшней русскоязычной историографии; именно оно было поставлено под сомнение Катериной Кларк в ее работах, посвященных творческой интеллигенции, а также другими западными историками в недавних работах о послереволюционной научной элите [21]. Однако эссе Джоравски во многих отношениях сохраняет свое научное значение и сегодня. Во-первых, основная его тема - исследование сталинистского видения науки (в котором сочетались два важнейших аспекта: «партийность» и «практика») как отражения тех колебаний и явных противоречий, которые на протяжении десятилетий проявлялись в отношении советского государства к различным научным дисциплинам. Один из самых убедительных тезисов Джоравски гласит, что само понятие «практика» было идеологическим построением, которое приобрело особую популярность после сталинской «второй революции». Несомненно, другим столпом сталинской идеологии науки была «партийность»; и здесь Джоравски развивает ранее выдвинутый им тезис о том, что та форма, которую эта идея «партийности в науке» получила в сталинскую эпоху, только внешне напоминает ее более раннюю, дореволюционную ленинскую версию [22]. Таким образом, в сталинский период был взят на вооружение своеобразный сплав схоластики и прагматизма - сплав, который определял отношение режима к науке, но в различных научных дисциплинах применялся в неодинаковом соотношении. Биология оказалась исключением потому, что советское сельское хозяйство находилось в тяжелом кризисе: именно характерная для сталинской эпохи крайняя нужда в «практических» научных результатах приводила к чрезмерному увлечению «партийностью». Предпринятый Джоравски параллельный анализ различных сфер научной деятельности отличает его работу от многих других исследований по истории советской науки и политики в отно-

шении науки, в этой области исследований подобный подход применяется реже, чем, например, в трудах по истории советской культуры (пример такого исследования - работа Катерины Кларк) [23].

В конце концов, те напряженные метания сталинского менталитета между двумя различными полюсами, которые прослеживает Джоравски, где страстное желание контролировать практические результаты (которые, кстати, можно было трактовать весьма различно) сочеталось с необходимостью соблюдения их идеологической «чистоты» и, следовательно, подавления инакомыслия, - безусловно, задают угол зрения, под которым можно рассмотреть всю историю советского периода, а не только историю науки. Попытки прослеживать концептуальные различия между «умеренными» и «радикалами», утопистами и прагматиками, теоретиками и практиками, крайне распространены и по сей день в литературе о сталинизме; однако, если исходить из выдвинутых Джоравски тезисов, становится очевидным, что тенденция к абсолютизации таких «удобных» ярлыков или просто к некритическому их употреблению в качестве демаркационных линий совершенно необоснованна. Наконец, Джоравски подчеркивает, что при рассмотрении идеологии и политики советского периода вопросы науки и технологий должны занимать центральное место, напоминая нам о том, что феномен советского строя, несмотря на активное подавление им истинной науки, заключался в попытке научной организации жизни. Таким образом, историк намечает еще один подход к пониманию советской системы - ключевой теме нашей антологии.

Анализ сталинизма, предложенный Стивенем Коткиным в работе «Говорить по-большевистски» (главе его монографии о Магнитогорске, опубликованной в 1995 году), - одно из самых ярких достижений западной историографии 90-х гг. по истории сталинского периода. Коткин, профессор Принстонского университета, в 80-е годы стал первым американцем, посетившим Магнитогорск, со времен Джона Скотта, побывавшего там в 30-е годы. Его перу принадлежит также труд, посвященный истории этого города в период перестройки, и ряд работ по истории Сибири [24]. Коткин известен как блестящий исследователь-библиограф и как автор иногда резких, но всегда глубоких критических отзывов на труды других ученых или обзоров целых историографических направлений. Выбранная для нашей антологии работа посвящена вопросу, занимающему центральное место в идущих на Западе дебатах о сталинизме, - вопросу о том, каково было мировоззрение живших в эпоху Сталина «простых» трудящихся (или, говоря другими словами, оказывало ли население и его отдельные представители «общественную поддержку» режиму или же «сопротивля-

лось» ему). Идеи, выдвинутые историком в данной работе, получили широкое распространение и оказали значительное влияние на других исследователей: например, обозначенная в самом названии работы мысль о том, что ключевой компонент сталинизма - требование, чтобы все население страны заговорило на новом идеологическом языке; или о том, что «верить» было необязательно, но обязательно было участвовать в жизни государства таким образом, чтобы создавалось впечатление, что ты веришь; или концепция того, что режим изобрел и внедрил сложную «идентификационную игру», оказывавшую влияние на весь процесс самоидентификации рядовых рабочих, - игру, без понимания которой процесс этот объяснить невозможно. Та целеустремленность и то чувство причастности к поистине необыкновенному времени, которые, как показывает Коткин, наполняли жизнь «образцового» нового города, возводившегося в 30-е годы, а также чувство советского патриотизма и ощущение того, что идет процесс создания прогрессивного, антикапиталистического общества, предстают в работе историка не как формы «ухода» от социалистической действительности, а, скорее, как воплощение триумфа социализма в сталинскую эпоху. В книге Коткина ярко описываются почти невероятные тяготы повседневной жизни в Магнитогорске того периода. И, тем не менее, ученый воспринимает ту цену, которую приходилось платить за неучастие в советском «крестовом походе» простым людям, и те конкретные бытовые преимущества, которые участие в нем им давало, как доказательства относительно спокойного существования советского рабочего класса. В то же самое время Коткин утверждает, что неизбежной и неотъемлемой частью сталинского «режима правды» было амбивалентное отношение к режиму со стороны советских граждан. Даже тогда, когда люди действительно «верили», они вынуждены были каким-то образом соотносить свою веру с той разницей, которая существовала между пропагандируемыми режимом идеями и видимой реальностью.

Несомненно, что все эти постулаты, заставляющие читателя по-новому взглянуть на проблему, но не всегда сопровождаемые соответствующим анализом или же анализируемые недостаточно подробно (несмотря на то, что книга Коткина представляет собой 639-страничный труд), как и другие идеи, выдвинутые историком в ходе поистине эпического рассказа о строительстве Магнитогорска, поддаются различным интерпретациям. Подобно многим столь же значительным работам, исследование Коткина вызвало полемику и резкую критику сразу с двух противоположных сторон. С одной стороны, некоторые ученые утверждают, что он недооценил степень сопротивления

режиму со стороны простых граждан, что он приводил факты их самоотжествления с системой, не располагая теми архивными данными о рабочих забастовках и движениях протеста, которые стали известны только во второй половине 90-х годов [25]. С другой стороны, Коткин подвергся критике за то, что он постулировал сам факт наличия сопротивления режиму, сделав понятие «сопротивляющегося субъекта» краеугольным камнем своих представлений о личности «нового советского человека», и, таким образом, продолжил либеральную традицию понимания личности как автономной и обладающей самостоятельной ценностью единицы. Таким образом, утверждают критики, он сосредоточил внимание на фактах манипуляций и «маневрирования» со стороны homo sovieticus, игнорируя разразившийся в тот период кризис личности, эволюционировавшей в соответствии с потребностями эпохи [26]. И проблема сопротивления режиму, и проблема существования «сталинской личности» в целом связаны с ключевыми вопросами современной западной исторической науки. Однако в соответствии с тематикой нашей антологии - историей формирования советской системы - центральное значение приобретает та проблема, которую сам Коткин осознанно сделал смысловым стержнем своего исследования и которая отражена в подзаголовке его труда: «Сталинизм как цивилизация». В то же время, несмотря на огромное количество комментариев и критических возражений, которые работа Коткина вызвала в среде историков, именно эта сторона его труда до сих пор не подверглась детальному анализу.

В публикуемом здесь фрагменте монографии Коткина затрагивается ряд аспектов формирования новой цивилизации: формирование нового советского «языка», новой идентичности советского человека, нового отношения к труду. В других главах своей книги Коткин анализирует другие аспекты, которые приобретали особенно важную роль в заново создававшемся городе, - архитектуру, жилищное строительство, городское планирование и городскую среду; разногласия между соперничающими партийно-государственными институтами - партийным комитетом, завкомом и органами внутренних дел; политическую экономию и повседневную жизнь города. Таким образом, образцовый сталинский город Магнитогорск фигурирует здесь как яркий пример новой советской социалистической цивилизации. Именно это определяет оригинальность подхода Коткина к изучению советской системы и выделяет его исследование из всех работ, выбранных для нашей антологии: ученый анализирует результаты кампании по индустриализации, создания новой городской среды и процесса «омассовления», благодаря которому в 30-е годы советская система

охватила своим воздействием подавляющую часть населения страны. Однако само предложенное Коткиным понятие «новой цивилизации» вызывает ряд вопросов. Во-первых, Магнитогорск выступает на страницах работы как классический пример этой цивилизации; но ведь до 1929 года город этот просто не существовал, а когда он создавался, в нем практически не было интеллигенции и традиций «высокой» культуры, которые, как показывает Кларк, играли столь важную роль в процессе создания советской системы в Ленинграде. Во-вторых, очевидно (хотя, возможно, в представленной здесь работе это менее заметно, чем в других трудах Коткина), что значительная часть новизны и пафоса этой цивилизации была связана с ее претензиями на роль творца нового, социалистического модернизма - одной из разнообразных форм «нелиберального модернизма», появившихся на свет в период между двумя мировыми войнами [27]. Понятие цивилизации, однако, подразумевает уникальную культурную систему (не говоря уже о традициях, которые она вбирает в себя, - в данном случае русских), в то время как осмысление феномена «модернизма» обычно базируется на компаративном анализе исторической жизни европейских и развивающихся стран. И, тем не менее, введенное Коткиным понятие новой цивилизации, порожденной тоталитарными стремлениями нового режима, еще полностью не ассимилировалось в исторической литературе. Если Советский Союз представлял собой завершенную альтернативную форму современной цивилизации, не прошедшую через привычные «стадии» западного модернизма, то в таком случае изучение советской истории потребует от ученого иного подхода, более «целостного» или «тотального», чем это позволяет сделать современная профессиональная специализация гуманитарного знания.

Статья Юрия Слезкина помещена в конец сборника не в подражание социал-демократам, которые обычно ставили «национальный вопрос» в конец повестки дня, а потому, что по своим хронологическим рамкам и по характеру выводов она, в отличие от других представленных здесь статей, затрагивает проблемы «позднесоветского» периода. Безусловно, переосмысление вопроса о сущности советской национальной политики и о природе советского многонационального государства (что и сделало часто цитируемую работу Слезкина заметной вехой в развитии историографии) стало возможным вследствие уникального совпадения двух обстоятельств. Первое из них - крушение Советского Союза и его распад на отдельные республики в результате подъема национально-освободительных движений на исходе 80-х годов. Второе - широко распространившаяся в последние два

десятилетия концепция нации как «конструируемого», «воображаемого» сообщества, не отражающего (вопреки категоричным утверждениям Ленина и Сталина) объективно существующей реальности [28]. Слезкин (уехав из Советского Союза, в 80-е годы он защитил докторскую диссертацию в Техасском университете под руководством Шейлы Фицпатрик и ныне преподает в Беркли, в Университете штата Калифорния) - единственный участник антологии «Американская русистика», сам выполнивший перевод своей статьи. Самая значительная монография Слезкина, «Арктические зеркала», посвящена широкомасштабному исследованию истории малых народов Севера. Автор рассматривает там, как в процессе завоевания и освоения Россией Крайнего Севера (с XVIII по XX вв.) и выработки ею концептуальной и практической политики по отношению к этому региону выявлялась русская национальная идентичность [29]. Работа эта примечательна как представленным в ней анализом экономических факторов и направлений российской хозяйственной политики, так и тем, что автор фокусирует свое внимание на истории одного региона, весьма специфического. Слезкин также уделяет значительное внимание детальным сопоставлениям политики и идей дореволюционного и советского периодов, конкретизируя и развивая там многие проблемы, затронутые в публикуемой статье: например, вопрос о «системе Ильминского» как предшественнице ленинской национальной политики; или то, как представления об отсталости русских крестьян и нерусских народностей иногда вели к сходным политическим шагам в отношении этих групп населения, а иногда - к противоположным. Вся исследовательская деятельность Слезкина характеризуется одной примечательной особенностью: этот ученый с легкостью пересекает хронологические границы исторических периодов, которые другие историки, с более узкой специализацией, воспринимают как нечто неприкосновенное.

Ценность и интерес работы «СССР как коммунальная квартира» определяется попыткой ее автора предложить новый взгляд на национальную политику, проводившуюся на протяжении трех периодов советской истории: нэпа, «великого перелома» и сталинизма (с заключительным экскурсом в послесталинскую эпоху). Возражая большинству своих предшественников, которые писали об угнетении национальностей и преследовании национализма в СССР, Слезкин - с его любовью к иронии и парадоксам и пристальным вниманием к культам советской идеологии - выдвинул гипотезу, которая, благодаря его исследованиям, в последние годы приобретает все большее признание: советское социалистическое государство, утверждает иссле-

дователь, на самом деле проводило политику «этнической обособленности». Придавая существенное значение зигзагообразным изменениям национальной политики, ученый прослеживает развитие ее теории и практики с момента образования Советского Союза до «коренизации» и «национального строительства» времен нэпа; и далее - через хаотическое содействие развитию «национальных меньшинств» в ущерб титульным национальностям союзных республик и через этническую дифференциацию периода «великого перелома» - к сокращению числа официально признанных национальных образований, созданию формальной этнической иерархии, снижению этнических квот, свертыванию политики развития национальностей и их культур и восстановлению главенствующей роли русской нации в период развитого сталинизма. Однако, несмотря на все эти повороты, Советский Союз продолжал осуществлять процесс «национального строительства»: тезис об объективности понятия «национальность» по-прежнему существовал как в теории, так и на практике. Слезкину удастся сочетать анализ подобных философских постулатов с оценкой реального влияния марксистско-ленинской идеологии на практическую национальную политику, а также проследить формы взаимодействия этих факторов на различных стадиях эволюции советской системы.

Разворачивая уже ставшую знаменитой метафору, согласно которой СССР напоминал коммунальную квартиру, Юрий Слезкин, среди прочего, привлекает наше внимание к аномальному по сути своему положению русской нации в Советском Союзе. За последние годы историки так и не пришли к согласию по вопросу о том, можно ли считать Советский Союз империей. Некоторые из них утверждают, что с течением времени государственная система может приобретать все большее количество «имперских» признаков, и что в 30-е годы, в результате усилившейся экономической централизации и частичного возрождения русского национализма, Советский Союз действительно стал походить на традиционную империю [30]. Слезкин же, пожалуй, относится к подобным формулировкам скептически, он особо подчеркивает двусмысленное положение русских жильцов «центра» (то есть «кухни и коридора») коммунальной квартиры. Как бы читатели не восприняли парадоксальную концепцию «антиимпериалистической» империи, статья Слезкина затрагивает еще один аспект формирования «советской системы» - ее существование в форме многонационального государства. Анализ того положения, которое занимали в Советском Союзе нерусские национальности, будет, по-видимому, играть все большую роль в исследованиях по истории советского периода - его политических структур, идеологии, культуры, и, нако-

нец, в диспутах о сущности самой системы. Таким образом, во многих отношениях статья Слезкина является одной из первых вех на неизведанном пути, который должен привести ученых к новым интерпретациям советской истории.

Представленными в данном сборнике различными подходами к феномену советской системы далеко не исчерпываются те направления в современной исторической науке, которые получили признание в последние годы. Например, в книге отсутствуют развернутый анализ советской нерыночной экономики и ее связи с военными потребностями государства. За пределами нашего тома остались многие аспекты истории повседневной жизни и обыденного сознания, хотя эти сферы составляют сегодня перспективные направления развития исторической науки. Не представлен в сборнике и еще один интенсивно развивающийся раздел современной историографии - история религии и народных форм религиозности. Но, в какой-то мере, именно в этом и состоит смысл осуществленного нами издания: ни одна из опубликованных здесь работ не претендует на то, чтобы подобрать один-единственный ключ к тайнам советской системы, исключив все другие возможные варианты. В этом смысле все представленные здесь исследования могут быть охарактеризованы как «постревизионистские».

Новая историография советской истории обладает еще одной характерной особенностью, которая, возможно, не отразилась в самом содержании опубликованных в данном сборнике работ, но которая приобретает особую важность в связи с самим фактом перевода их на русский язык. Особенность эта - одна из интереснейших черт современного этапа развития этой историографической области, но пока еще она остается практически незамеченной (или, по крайней мере, о ней пока сравнительно мало говорится): в настоящее время идет процесс создания новой, интернациональной историографии России, и процесс этот особенно активизировался в 90-е годы. Я имею в виду происходящее сейчас заметное стирание национальных границ между тремя основными центрами исследований в данной области исторической науки - между англо-американской, русскоязычной и европейской (в первую очередь, немецкой и французской) историографией. В некоторых случаях границы эти исчезают совершенно. Хотя такая практика еще относительно редка, историки разных стран уже имеют возможность прочитать одну и ту же историческую литературу, опубликованную на нескольких языках, примерно в одно и то же время; происходит постоянное научное общение и взаимное обогащение идеями между разноязычными аванпостами современной историографии и т. д. Именно в этом смысле мы можем говорить о формировании

подлинно интернациональной историографии России; а ведь еще недавно подобные слова показались бы лишь туманным пророчеством. Лежащая перед Вами книга - один из зримых результатов этого еще только набирающего силу, но уже многообещающего процесса.

Пер. с англ. С. Кантерева

Примечания

1. Например, автора биографического исследования о Л.Д.Троцком Исаака Дейчера часто считают одним из самых влиятельных исследователей советской истории того периода именно потому, что он отказался от тогдашних ортодоксальных идей «тоталитарной школы». Дейчер вел работу с первоисточниками - с архивом Троцкого, хранящемся в Хоутоновской библиотеке Гарвардского университета, но труд его все же содержит множество фактических ошибок. Первый том его трехтомной биографии Троцкого «Пророк с оружием в руках» был опубликован в 1954 году: Isaac Deutscher, *The Prophet Armed. Trotsky: 1879-1921*. New York and London: Oxford University Press, 1954.

2. К примеру, работая над своей монографией об учебных и научно-исследовательских институтах большевистской партии, - Michael David-Fox, *Revolution of the Mind: Higher Learning among the Bolsheviks, 1918-1929* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997), - я использовал когда-то новаторские, но сегодня по большей части забытые работы американских историков 20-х годов, посвященные высшему образованию в СССР. См., например: Samuel Harper, *Civic Training in Soviet Russia* (Chicago: University of Chicago Press, 1928); Samuel Harper, *Making Bolsheviks* (Chicago: University of Chicago Press, 1931), а также: George S. Counts, *Dare the School Build a New Social Order?* (New York: Day, 1932). Кстати, и в других областях исследований имело место «возрождение» отдельных работ предшествующего периода - как это произошло с опубликованной в 1926 году книгой венгерского культуролога, впервые изданной на английском языке еще в 1928 году: René Fülöp-Miller, *The Mind and Face of Bolshevism: An Examination of Cultural Life in Soviet Russia* (New York: Alfred A. Knopf, 1928).

3. E. H. Carr, *A History of Soviet Russia*, 9 vols. (New York: MacMillan, 1950-1969). Недавно увидела свет биография Карра, написанная одним из его учеников: Jonathan Haslam, *The Vices of Integrity: E. H. Carr, 1892-1982* (London: Verso, 1999).

4. Дэвид-Фокс М. Введение: отцы, дети и внуки в американской историографии царской России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период. Самара, 2000. С.5-47. О недавних переменах в историографической области см.: Stephen Kotkin, «1991 and the Russian Revolution: Sources, Conceptual Categories, Analytical Frameworks», *Journal of Modern History* 70: 2 (1998). P.384-426; а также предисловие и редакторские комментарии Шейлы Фитцпатрик к работе: Sheila Fitzpatrick, ed. *Stalinism: New Directions* (London and New York: Routledge, 2000). Интересные матери-

алы о научной деятельности представителей поколения «детей» в 70-80-е годы (их часто характеризуют как «ревизионистов» и «социальных историков») содержатся в следующей работе: Кодин Е.В. «Смоленский архив» и американская советология. Смоленск, 1998, и в отзыве на эту работу Габора Риттерспорна (Gábor T. Rittersporn); см.: *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History* 2: 1 (Winter 2001).

5. Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991* (New York: Pantheon Books, 1984).

6. Однако, в столь интенсивном освоении истории послевоенного периода кроется определенная опасность: не получившие еще надлежащего размаха западные исследования по истории второй мировой войны могут остаться временно «замороженными». По данной проблеме см.: Amir Weiner, «Saving Private Ivan: From What, When, and How?», *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History* 1: 2 (Spring 2000). P.305-336.

7. Мнение о том, что ключевое значение для понимания советской истории имеют политические факторы, неоднократно высказывал Ричард Пайпс - см., например: Richard Pipes, *Russia under the Bolshevik Regime* (New York: A.A. Knopf, 1993). Утверждение, что первопричиной здесь была идеология, настойчиво проводится в работе Мартина Малиа: Martin Malia, *The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917-1991* (New York: Free Press, 1994). «Социальные силы» были представлены как «ключ к новой парадигме» в работе, ставшей своего рода катехизисом исповедовавшегося поколением «детей» «ревизионистского» взгляда на историю - Ronald Grigor Suny, «Toward a Social History of the October Revolution», *American Historical Review* 88 (1983). P.31-52.

8. См.: Peter Holquist, «A Russian Vendée: The Practice of Politics in the Don Countryside, 1917-1921», Ph.D. dissertation, Columbia University, 1995; а также готовящуюся к печати его книгу «Making War, Forging Revolution: Political Practices in the Don Territory during Russia's Deluge, 1914-1921», - исследование политической практики в период первой мировой войны, революции и гражданской войны. Холквист - автор раздела «Россия в эпоху насилия» в опубликованном недавно во Франции под редакцией Клаудио Серджио Ингерфлома крупном труде по истории мирового коммунизма: Claudio Sergio Ingerflom, ed., *Le siècle des communismes* (Paris: Les editions de l'Atelier, 2000). P.123-143.

9. Холквист П. Российская катастрофа (1914-1921) в европейском контексте: тотальная мобилизация и «политика населения» // *Россия: XXI век*. 1998. № 11/12. С.26-54. См. также: Peter Holquist and David Hoffmann, *Sculpting the Masses: the Modern Social State in Russia, 1914-1941* (Ithaca: Cornell University Press, книга готовится к печати). В этом монографическом исследовании Россия представлена как один из вариантов общеевропейского феномена «социального государства», которое черпает обоснование своей легитимности и своего предназначения в социальной сфере.

10. См., например: Раев М. Регулярное полицейское государство и понятие модернизма в Европе XVII-XVIII веков: попытка сравнительного подхо-

да к проблеме // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период. Самара, 2000. С.48-79.

11. См.: Peter Kenez, *Civil War in South Russia, 1919-1920: The Defeat of the Whites* (Berkeley: University of California Press, 1977), англоязычный труд о белом движении, долгое время считавшийся классическим; а также более позднюю обобщающую работу: Orlando Figes, *A People's Tragedy: The Russian Revolution, 1891-1924* (New York: Penguin Books, 1996), в которой белые по-прежнему изображаются исключительно как «бывшие», испытывающие ностальгию по старому порядку.

12. Alfred Rieber, *Stalin and the French Communist Party, 1941-1947* (New York: Columbia University Press, 1962); из более поздних трудов ученого наиболее значительным является книга: Alfred Rieber, *Merchants and Entrepreneurs in Imperial Russia* (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1982). Еще большую известность Риберу принесли его эссе и статьи, такие как: Alfred Rieber, «The Struggle over the Borderlands», S. Frederick Starr, ed. *The Legacy of History in Russia and the New States of Eurasia* (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1994), «Interest-Group Politics in the Era of the Great Reforms», Ben Ekloff et al., eds. *Russia's Great Reforms, 1855-1881* (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1994); «Russia as a Sedimentary Society», Edith Clowes et al., eds. *Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia* (Princeton: Princeton University Press, 1991).

13. Edward L. Keenan, «Muscovite Political Folkways», *Russian Review* 46: 2 (1987). P.157-209; Richard Pipes, *Russia under the Old Regime* (New York: Charles Scribner's, 1974).

14. Katerina Klark and Michael Holquist, *Mikhail Bakhtin* (Cambridge: Harvard University Press, 1984); Katerina Klark, *The Soviet Novel: History as Ritual* (Chicago: University of Chicago Press, 1985).

15. К наиболее значительным работам Фицпатрик относятся: Sheila Fitzpatrick, *The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky, October 1917-1921* (Cambridge: Cambridge University Press, 1971); *Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921-1934* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979); *The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992); *Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization* (New York: Oxford University Press, 1994).

16. Фриз Г.Л. Сословная парадигма и социальная история России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период. Самара, 2000. С.121-162.

17. См., например, статьи Фицпатрик: «The Bolsheviks' Dilemma: Class, Culture and Politics in the Early Soviet Years» и «Stalin and the Making of a New Elite» в сборнике: *The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992).

18. См., к примеру, мой отзыв на работу Фицпатрик, посвященную «культурной революции»: Michael David-Fox, «What is Cultural Revolution?», *Russian Review* 58 (April 1999). P.181-201; а также наш последующий обмен мнениями:

Sheila Fitzpatrick, «Cultural Revolution Revisited»; Michael David-Fox, «Mentalité or Cultural System: A Reply to Sheila Fitzpatrick», *Russian Review* 58 (April 1999). P.202-209, 210-211.

19. Sheila Fitzpatrick, *Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s* (New York: Oxford Press, 1999).

20. David Joravsky, *Soviet Marxism and Natural Science, 1917-1932* (New York: Columbia University Press, 1961); *The Lysenko Affair* (Cambridge: Harvard University Press, 1970); *Russian Psychology: A Cultural History* (Oxford: Blackwell, 1999).

21. Среди последних работ на эту тему - Michael David-Fox and György Péteri, eds. *Academia in Upheaval: Origins, Transfers, and Transformations of the Communist Academic Regime in Russia and East Central Europe* (Westport, CT: Bergen and Garvey, 2000).

22. См. классический анализ данной проблемы во второй главе («Lenin and the Partyness of Philosophy») монографии Джоравски: David Joravsky, *Soviet Marxism and Natural Science, 1917-1932*. P.24-44.

23. Проблема сравнительного анализа результатов, достигнутых в различных научных дисциплинах в сталинский период, была в фокусе внимания следующей статьи: Robert Lewis, «Science, Nonscience, and the Cultural Revolution», *Slavic Review* 45 (Summer 1986). P.268-292. Ведущими американскими специалистами по истории российской науки являются Лорен Грэм (Loren Graham) и Александр Вусинич (Alexander Vucinich); их работы затрагивают широкий спектр научных дисциплин.

24. Stephen Kotkin, *Steeltown USSR: Soviet Society in the Gorbachev Era* (Berkeley: University of California, 1991); Stephen Kotkin and David Wolff, eds. *Rediscovering Russia in Asia: Siberia and the Russian Far East* (Armonk, NY: M.E.Sharpe, 1995). Недавно под редакцией Коткина и с его предисловием вышло в свет новое издание мемуаров Джона Скотта: John Scott, *Behind the Urals: An American Worker in Russia's City of Steel* (Bloomington: Indiana University Press, 1999).

25. См., например: Jeffrey J. Rossman, «The Teikovo Cotton Workers' Strike of April 1932: Class, Gender and Identity Politics in Stalin's Russia», *Russian Review* 56: 1 (1997). P.44-69.

26. См.: Anna Krylova, «The Tenacious Liberal Subject in Soviet Studies», *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History* 1: 1 (Winter 2000). P.140-144. См. также: Igal Halfin and Jochen Hellbeck, «Rethinking the Stalinist Subject: Stephen Kotkin's "Magnetic Mountain" and the State of Soviet Studies», *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas* 44: 3 (1996).

27. Stephen Kotkin, «Modern Times: The Soviet Union and the Interwar Conjecture», *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History* 2: 1 (Winter 2001).

28. Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 1983). Наиболее значительные работы о нациях и национализме опубликованы в следующих изданиях: John F. Hutchinson and Anthony D. Smith, eds. *Nationalism* (Oxford: Oxford University

Press, 1994); Ronald Grigor Suny and Geoff Eley, eds. *Becoming National: A Reader* (New York: Oxford University Press, 1996). Публикацию как классических, так и современных западных и русскоязычных работ по национальным вопросам в контексте имперской и российской истории осуществляет сейчас новый журнал «Ab Imperio», издающийся в Казани.

29. Yuri Slezkine, *Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North* (Ithaca: Cornell University Press, 1994).

30. См., например, опыт анализа данной проблемы в сборнике: Mark von Hagen and Karen Barkey, eds. *After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires* (Boulder, CO: Westview Press, 1997).

Питер Холквист*

«ОСВЕДОМЛЕНИЕ – ЭТО АЛЬФА И ОМЕГА НАШЕЙ РАБОТЫ»:

Надзор за настроениями населения в годы большевистского режима
и его общеевропейский контекст**

Осведомление - это альфа и омега нашей работы[...]

Центр тяжести нашей работы возлагается в настоящее время на осведомительный аппарат, ибо только при условии, когда ЧК будет достаточно осведомлена, будет иметь точные сведения, освещающие как организацию, так и отдельных ее членов, она сможет... принять своевременные нужные меры для ликвидации как группы, так и отдельного лица, действительно вредного и опасного.

Из циркуляров ЧК, 1920-1921 гг.[1]

Когда открылись российские архивы, ученые получили, наконец, более или менее свободный доступ к материалам, накопленным за годы советского режима. Один из видов доступной сегодняшним исследователям документации вызывает особый интерес: доклады и сообщения органов надзора за населением, делавшиеся в форме сводок о настроениях масс, выдержки из перехваченной переписки и отчеты о подслушанных разговорах. Интерес этот

* Холквист Питер, 2001

** Я хочу поблагодарить Омера Бартова, Джошина Хеллбека, Кристин Хантер, Стивена Коткина и Ричарда Стайтса за их поддержку и критику ранних вариантов данной статьи. Я также благодарен Хирояки Куромия и Амиру Вейнеру за их полезные замечания. Хочу также выразить благодарность АЙ-РЕКС и Институту им. Кеннана за ту поддержку, которую эти учреждения оказывали моим исследованиям и воплощению данного проекта.

не так трудно объяснить. Имеющиеся материалы могут помочь ответить на вопрос, который исследователи, занимающиеся данной областью советской истории, задают вот уже несколько лет: как люди в действительности воспринимали советскую власть [2]? (Хотя я не имею возможности рассмотреть здесь данный вопрос, я хотел бы отметить, что при исследовании данной проблематики обычно оперируют предположениями, которые почерпнуты из опыта американского общества и не обязательно распространяются на Советскую Россию [3]).

Однако связанные с надзором за населением материалы должны служить не только ответом на вопросы, поставленные до того, как был открыт доступ к архивам, - вопросы, сформулированные в контексте «холодной войны»; они также дают возможность иначе взглянуть на саму сущность режима, а следовательно, и переосмыслить значение таких связанных с надзором материалов. В противном случае мы бы просто ограничились добавлением новых сносок к старым парадигмам.

Таким образом, в дополнение к тому, что мы получаем обширные источниковые данные относительно людских настроений, эти столь важные для историка материалы дают богатую пищу для размышлений о том, что это за система, которая могла дать нам такое количество информации в такой форме. Подобная переоценка требует компаративного исследования - хотя бы для того, чтобы избежать ошибочной интерпретации тех черт, которые могут носить повсеместный, общеевропейский характер, как специфических для России или для российской версии социализма (оба этих аргумента использовались для того, чтобы дополнительно подтвердить «исключительность» или «самобытность» Советской России). Короче говоря, надзор за настроениями населения как тема для исторического исследования (а не просто как особый вид исторического источника) требует аналитического подхода. А такой аналитический подход требует, чтобы исследования проблемы надзора велись как в лонгитюдном, так и в компаративном контексте (под лонгитюдным контекстом я подразумеваю синхроническое исследование в масштабе русской истории; под компаративным - диахроническое исследование в масштабе общеевропейского, или даже всемирного, политического развития).

В настоящей статье сделана попытка, во-первых, охарактеризовать те основные принципы, которые побуждали советское государство заниматься надзором за населением - практикой, в процессе которой и были накоплены столь интересующие сегодняшних историков материалы; во-вторых, рассмотреть проблему надзора в более широком, общеевропейском контексте. Статья имеет целью доказать, что стрем-

ление к получению и созданию подобных материалов фактически имеет гораздо большее значение, чем сами эти материалы. Ибо, как показал Роберт Геллейтли в своем исследовании по нацистской Германии, режим, глубоко заинтересованный в знании мыслей и чувств подвластного ему населения, не обязательно заинтересован в поддержке со стороны своих граждан или хотя бы их большинства - более того, он даже может и не нуждаться в такой поддержке. Для нацистской Германии - как, несомненно, и для сталинской России - «"популярность" системы не была решающим фактором»[4]. Можно со всей определенностью сказать, что понятия «популярность» и «общественное мнение» (по крайней мере, в том аспекте, в котором их понимают в Америке конца XX века) не были основными мотивами осуществлявшегося надзора [5]. Советский и нацистский режим собирали соответствующую информацию не для приведения своей политики в соответствие с общественным мнением и не для того, чтобы заручиться поддержкой населения. Настроения, выявлявшиеся в процессе надзора, возникали отнюдь не в рамках систем, признающих важность поддержки со стороны населения или уважающих общественное мнение (опять же, в том смысле, который мы вкладываем в данные понятия сегодня). Системы, о которых идет здесь речь, были заинтересованы не в этом, а в формировании и «взрачивании» (этот удачный термин был использован Зигмунтом Бауманом) более совершенного, нравственно безупречного общества, и в одновременном превращении образующего это общество человеческого материала в более эмансипированных, сознательных и вообще лучших индивидуумов, то есть в создании «нового человека». Поэтому надзор за населением был предназначен не просто для выявления мнений и настроений населения, как не сводился он и просто к контролю над этим населением; вся его цель заключалась в том, чтобы воздействовать на людей, чтобы их изменить [6]. Так что мероприятия по надзору включают в себя в данном случае и попытки сбора информации о настроениях населения, и меры, направленные на трансформацию этих настроений [7].

Надзор за настроениями населения, таким образом, надо понимать не просто как «русский феномен», а как вспомогательную функцию политики современной эпохи (одним из вариантов которой является тоталитаризм) [8]. С этой точки зрения большевизм действительно может рассматриваться как нечто своеобразное. Но само его своеобразие было исторически обусловлено конкретным европейским контекстом. Итак, хотя большевизм и представлял собой особый тип цивилизации, он был далеко не уникален и не самобытен [9].

Донская область эпохи русской революции и гражданской войны представляет собой некое идеальное пространство, в рамках которого можно изучать осведомление как политическую практику, ибо именно здесь возможно провести необходимый сравнительный анализ (под «политической практикой» я подразумеваю совокупность мер, используемых государством для реализации поставленных целей). Донская область не просто время от времени переходила под военный контроль то красных, то белых; она подолгу находилась под гражданским контролем то одной, то другой стороны. Кроме того, все стороны оставили после себя обширную и разнообразную источниковую базу, документирующую их деятельность. Это важно, поскольку в ходе анализа советского опыта зачастую утверждалось, что «идеология» играла в нем абсолютно главенствующую роль; но лишь немногие исследователи занимались более или менее скрупулезной работой по выявлению специфики большевизма. Очень часто все объяснения сводились к следующему: «То, что делали большевики, было большевистским потому, что это делали именно большевики», то есть к обычной тавтологии [10]. Тезис о своеобразии большевизма выдвигается часто, но редко подтверждается доказательствами. Совершенно иной взгляд на проблему складывается, если попытаться исследовать, насколько практика советской власти выросла из мероприятий царского режима (особенно его последней фазы - тотальной войны) и можно ли обнаружить некоторые параллели ей в мероприятиях современных большевизму антисоветских движений.

Что включает в себя понятие надзора за населением? В том смысле, в котором оно употребляется в данной статье, понятие это означает особый тип сбора и обработки информации - информации о всей совокупности настроений населения для тех или иных политических целей (политика рассматривается здесь как сознательные усилия, направленные в первую очередь на то, чтобы изменить мир). То есть надзор за населением представляет собой сбор информации не ради простого описания состояния умов населения, а в целях управления этим состоянием и придания ему определенной формы [11]. С этой точки зрения надзор необходимо рассматривать как составную часть более глубокого процесса изменения целей власти: процесса смещения акцентов с «территориальной» концепции власти на концепцию «правительственную». Строящееся на «правительственной» концепции государство стремится не просто править землями, но управлять населением [12]. Конечно же, «население» всегда состояло из людей, но люди эти не всегда воспринимались в качестве отдельного, целостного объекта. Государство, основанное на правительственной концеп-

ции, стремится управлять подвластным ему населением не столько в соответствии с принципами законности и справедливости, сколько в соответствии с принципами эффективности и экономичности. Как только российская политическая элита стала рассматривать политически организованную людскую массу как «население» (а не как, например, установленную свыше сословную иерархию), ее долгом стало служить стремлениям и нуждам этого нового средоточия легитимности [13]. В процессе изучения этих нужд при помощи различных механизмов (переписей, сельскохозяйственных обследований, данных статистической отчетности) политическая элита и создавала «население» как специфическую общность [14].

В России революция стала особенно резким водоразделом между прежним, территориальным государством, и новым государством, основанным на правительственном принципе. Николай II был императором «Всероссийским, Царем Польским, Великим Князем Финляндским и прочая, и прочая, и прочая». Он управлял территориальными единицами, а не общностью граждан. После 1917 года все политические движения (Временное правительство, Учредительное Собрание, Совет Народных Комиссаров и почти все антисоветские движения эпохи гражданской войны) претендовали на то, чтобы представлять не территорию, а проживающих на ней людей. И для наиболее продуктивного вовлечения населения в нужную им деятельность государства нуждались в новой дисциплине, регулирующей мнения масс: в надзоре за настроениями населения.

Важно отметить, что понятие «надзор» не является изобретением историков, сделанным уже постфактум. Еще современники - как можно судить по употребляемой ими терминологии - различали «охрану порядка» (донесения о правонарушителях, недовольных и даже революционерах - в индивидуальном порядке - с целью защиты существующего строя) и «надзор» за населением (донесения обо всем населении и накопление совокупных, а не отрывочных данных о настроениях масс с целью корректировки своего воздействия на общество) [15]. Меры по охране порядка были направлены на защиту членов общества от вредных влияний - будь то какие-либо ереси, книги или идеи [16]. Надзор же, хотя он и продолжал выполнять полицейские функции, по своему характеру выходил далеко за рамки полицейских мер с их чисто негативной направленностью. Идеал «правительственной» концепции власти заключался в том, чтобы вооруженное надлежащей информацией и правильно использующее ее государство могло изменять в лучшую сторону как общество в целом, так и отдельных гражд-

дан [17]. В то время как полицейские меры были направлены на «поддержание порядка» в обществе, надзор - как составная часть правительственной концепции власти - был призван это общество трансформировать.

Государство собирало сведения, необходимые для выполнения этой новой задачи, посредством двух основных механизмов. Во-первых, им были созданы непосредственно занимавшиеся надзором бюрократические структуры, в задачи которых входило составление регулярных донесений о настроениях населения. Во-вторых, государство занималось повседневной перлюстрацией почтовых отправок (перлюстрация включала в себя перехват и просмотр почты специально для того, чтобы знать, о чем люди пишут и что они думают, в отличие от цензуры, которая ставит своей целью контроль над содержанием). Создание специальных органов, перед которыми стояла задача квантификации и анализа настроений населения (как проправительственных, так и антиправительственных или даже индифферентных настроений), было качественно новым мероприятием. Ведь такие категории, как «общественная поддержка» и особенно «апатия», попросту не являлись (по крайней мере, до начала XX века) элементами образа мыслей царских бюрократов. Подданные были «благонадежными» или «неблагонадежными». Целью администрирования было добиться уступчивости, а не убежденности. В противоположность этому, советские чиновники проявляли жгучий интерес не столько к поведению людей, сколько к тому, что эти люди думают и во что верят [18].

Таким образом, надзор за настроениями населения важен для историка не столько потому, что благодаря ему мы располагаем всевозможными материалами о состоянии общественного мнения или общественной нравственности, сколько потому, что само существование практики надзора демонстрирует усиливающийся интерес государства к данной сфере. Поэтому мы должны исследовать не только сами эти источники, но и причины, по которым в таких материалах возникла потребность и по которым они смогли появиться. Изучение феномена надзора за населением не является вопросом моды или анахронизма. Надзор представлял собой комплекс мероприятий, для обозначения которых современники активно изобретали новую терминологию, а для воплощения в жизнь создавали новые бюрократические структуры.

I. Надзор за настроениями населения в 1913 и 1920 годах

Чтобы убедиться в интенсивном характере процесса становления надзора за населением как практики управления, достаточно просто сравнить, как практиковался надзор в течение двух различных периодов времени: в эпоху Российской Империи и при советском режиме. Известно, что в 1913 году царский режим занимался перлюстрацией переписки посредством так называемых «черных кабинетов» [19]. Самодержавие, однако, при вскрытии и тщательном прочтении почтовых отправлений ограничивалось перепиской подозреваемых в революционной деятельности и оппозиционеров (а также, конечно, дипломатической корреспонденцией). То есть оно практиковало перлюстрацию в целях охраны порядка и сбора разведывательных данных. Общее число служивших в таких «черных кабинетах» технократов-наблюдателей насчитывало по всей территории империи всего 49 человек.

Семь лет спустя, в 1920 году, мы уже имеем дело с совсем другой практикой надзора. Советский режим перехватывал и читал не только письма подозрительных лиц, но и почти всю проходившую через почтовые отделения корреспонденцию. Целью этих масштабных усилий было не просто уничтожение тех писем, где плохо говорилось о режиме, и даже не выявление диссидентов; кроме вышеперечисленного, они имели своей целью составление «кратких отчетов» с включением в них пространных выдержек из наиболее типичных писем. Для этого советский режим использовал - в самом разгаре гражданской войны, когда решался вопрос о самом его существовании - где-то около десяти тысяч надежных и специально подготовленных чиновников, которые вскрывали и анализировали письма граждан. А в 1921 году, после окончания гражданской войны, ответственность за перлюстрацию была переложена с военных почтовых коллегий на информационные отделы ЧК и ОГПУ. На протяжении 20-х годов режим продолжал тщательно проверять отправляемые по почте письма, делая из них все более обширные выдержки и составляя на их основе все более подробные отчеты [20].

Перед нами - две доступных для сравнения картины деятельности бюрократических структур, в чьи обязанности входил надзор за населением. В Российской Империи доклады губернаторов и тайной полиции время от времени затрагивали тему настроений населения в целом. Но имперская администрация проявляла мало интереса к тому, что думало население, если только оно не оказывало поддержки рево-

люционному движению [21]. Излишне говорить о том, что царское самодержавие не считало нужным иметь что-либо похожее на те органы советского государства, основной задачей которых было составление регулярных обзоров политических настроений населения: на информационные подотделы ОГПУ, функционировавшие в 20-е годы, или на секретные политические отделы НКВД, выполнявшие ту же задачу в 30-е годы [22].

Влечение советского режима к информации было настолько непреодолимым и всепоглощающим, что он занялся созданием так называемых «осведомительных сетей», которые были призваны следить за изменениями настроений даже среди обитателей ГУЛАГа и лагерей для военнопленных. Степень разветвленности таких сетей была поистине ошеломляющей. Согласно одному из донесений, к 1944 году осведомительная сеть в лагерной системе ГУЛАГа охватывала почти 8% общей численности населения лагерей. Согласно другому донесению, каждый третий немец, содержавшийся после войны в лагерях для военнопленных, в тот или иной момент участвовал в деятельности охватывавшей эти лагеря осведомительной сети [23]. Очевидно, что в данном случае «осведомление» использовалось не для выявления потенциальных врагов (данные группы населения уже заранее считались врагами) и даже не для упреждения враждебных действий (ведь враждебные элементы уже находились в заключении). Данные цифры свидетельствуют скорее о сильнейшем желании режима иметь в своем распоряжении всеобъемлющую (хочется даже сказать, «тотальную») информацию о «политических настроениях»: не для того, чтобы осуществлять контроль над населением или защищать собственные интересы, а чтобы использовать полученную информацию для «переделки» даже этих - находящихся в заключении, но все-таки способных исправиться людей.

Более того, режим в равной степени ценил информацию и о тех, кто уже не мог исправиться. Так, советский режим учинил в Катыни массовые расстрелы польских военнопленных еще в 1940 году, но соответствующие судебные дела и другие связанные с расстрелянными поляками материалы хранились до 1959 года. Также во время наступления немецких войск советский режим осмотрительно вывез на безопасную территорию множество дел, заведенных на арестованных. Многие из проходивших по этим делам заключенных были тогда же просто расстреляны [24]. Нельзя не прийти к выводу, что информация об этих людях была для режима более важна, чем сами люди. И опять-

таки эта информация абсолютно не была использована в профилактических целях, поскольку те, на кого имелась соответствующая документация, были уже мертвы. Таким образом, наблюдение за настроениями населения и сбор информации не рассматривались советским государством только как меры защиты.

В любом случае сопоставление цифр - 49 бюрократов, вскрывавших почту граждан в 1913 году, и 10 000 чиновников, занимавшихся тем же самым в 1920 году, - должно было бы привести нас к простому и удобному выводу: что именно большевизм (как бы мы его ни определяли) несет ответственность за институционализацию надзора за населением. Действительно, ученые часто считают надзор классическим проявлением тоталитаризма и свидетельством уникальности большевистской России.

Такой взгляд на Россию как на нечто исключительное, в самом деле, довольно распространен - хотя объясняют это самым различным образом. Чаще всего исключительность России связывают с некими предполагаемыми аномалиями в развитии этой страны - будь то аномалии в экономической, социальной, политической или культурной сферах [25]. В последнее время сторонники нового, но уже претендующего на ортодоксальность подхода утверждают, что уникальность советского эксперимента связана не с самобытностью России, а скорее с сущностью социализма [26]. Однако не столь важно, видят ли ученые корни своеобразия большевизма в отсталости России или в российском социализме. В зависимости от взглядов того или иного исследователя надзор или превращается в свидетельство того, как безнадежно одряхлевший самодержавный порядок использовал порочную практику с целью сохранения контроля над обществом (довод в пользу Sonderweg - «особого пути» России), или рассматривается как неизбежный результат современной - хотя и сюрреалистической - попытки воплотить социализм на практике (тезис о Sonderweg марксизма). Но говорит ли историк об отсталости России в той или иной сфере, рассуждает ли об уникальности ее попыток построить социализм - в любом случае Советская Россия изображается как нечто исключительное. И такой факт, как существование системы надзора за населением, подтверждает уникальную природу большевистской - или даже тоталитарной - системы.

II. Надзор за настроениями населения в 1915 и 1920 годах

Если мы, однако, возьмем для сравнения другие годы, то возникает совершенно иная картина. Вместо противопоставления империи образца 1913 года ее советской наследнице поучительно сравнить Советскую Россию с той формой царского политического строя, которую он принял в условиях тотальной войны [27]. Стремление к организации надзора возникло еще до социализма - и даже до начала войны. В годы, предшествовавшие началу первой мировой войны, как имперский режим, так и земства делали первые робкие шаги в направлении создания системы государственного надзора за населением. Самодержавие стало беспокоиться не только о мнениях двора и о революционном движении; оно старалось получить все больше и больше сведений о «настрое» земств и промышленных кругов через сеть тайных осведомителей. Государственная власть, однако, не была в этом стремлении монополистом. Так, земство Уфимского края накануне войны решило создать в деревнях целую сеть изб-читален - конечно же, с целью превратить отсталых крестьян в просвещенных граждан [28].

Таким образом, еще до 1914 года российские политики явно обдумывали вопрос организации надзора за населением; они даже сделали несколько пробных шагов в направлении практической реализации этого замысла. Однако эти планы управления обществом находились тогда в зачаточном состоянии; широкомасштабное практическое воплощение они получили лишь во время первой мировой войны. Через тринадцать месяцев после начала войны, которая быстро превращалась в войну тотальную, царская администрация пересмотрела свое отношение к ее ведению и пришла к выводу, что действовать одними командными методами больше нельзя, что необходимо впрячь в военную колесницу все «живые силы» нации [29]. В соответствии с этим в октябре 1915 года российский министр внутренних дел отдал приказание губернским и уездным чиновникам составлять ежемесячные доклады о «настроениях» населения и издал стандартную анкету, которой надлежало пользоваться при составлении таких докладов («отношение рабочих и крестьян к войне и какие-либо изменения в их настроении»; «настроение земских работников и чиновников»; «настроение педагогического персонала и студентов» и т.д.). Из-за того, что местное чиновничество до этого момента работало в условиях иной институциональной культуры, оно оказалось плохо подготовленным к такому мероприятию. Чиновники довольно лаконично отметили, что «настроение удовлетворительно», и после этого, месяц за месяцем

цем, вплоть до самой Февральской революции 1917 года, просто добавляли к своим первоначальным комментариям фразы типа «никаких изменений не произошло» [30]. Однако тот факт, что бюрократия была не в состоянии справиться с непривычной задачей, не должен заслонять значительный сдвиг, произошедший во взглядах правительства: теперь оно было заинтересовано в подобной информации и принимало меры по организации ее сбора.

Земские круги также предпринимали попытки «окунуться» в массовые настроения деревни. В 1915 году костромское земство распространяло свои собственные анкеты, где, в частности, респондентам предлагалось: «напишите подробно вообще, как отразилась война на благосостоянии и настроении населения..., что думают и говорят в деревне о войне?». Информация, полученная на основе почти шестисот ответов на вопросы анкеты, была затем использована для определения того, «как воспринимается война сознанием деревни» и каковы в деревне «преобладающие настроения» [31]. Данное мероприятие земства имело своей целью, помимо самого сбора информации, разработать на ее основе комплекс эффективных мер по максимальному использованию экономических, физических и духовных ресурсов деревни в деле борьбы за победу.

Наиболее разработанной практика надзора за настроениями была, однако, не в тылу, а в русской армии. К 1915 году армия начала составлять свои собственные «сводки о настроении» рядовых солдат, а также населения в целом [32]. Но основным армейским источником информации о настроениях масс были военно-цензурные отделения. Они были созданы в армии в начале первой мировой войны для иллюстрации всей проходящей через почту переписки [33]. Перед ними стояла масштабная задача. Одно полевое цензурное отделение одного армейского корпуса в течение двух недель должно было вскрыть, просмотреть и проанализировать более 13 тысяч писем [34]. Цензурные отделы каждый день вскрывали, просматривали и оценивали 50 тысяч писем, отправлявшихся русскими военнопленными (это не считая обычной внутренней почтовой переписки!). Потребность в военных цензорах была настолько велика, что власти оказывали давление на почтовых служащих и чиновников Министерства внутренних дел, принуждая их идти служить цензорами. Но объем работ устрашающе возрастал, и после более чем двух лет войны власти смягчили, наконец, свою позицию, допустив с апреля 1916 года к исполнению этих важных и секретных обязанностей лиц женского пола [35].

Задачей данных органов был не контроль над содержанием переписки, а описание и - насколько это было возможным - объяснение настроений людей. На основе десятков тысяч досконально изученных писем работавшие в каждом воинском соединении и в каждом военном округе Российской Империи чиновники составляли «отчеты» (с использованием напечатанных на mimeографе форм) и определяли в общем числе корреспонденции процентное соотношение «бодрых», «угнетенных» и «уравновешенных» писем. Один такой отчет, составленный в 1916 году, с комичной точностью зарегистрировал 30,25% всех писем как «бодрые», 2,15% - как «угнетенные» и 67,6% - как «уравновешенные» [36]. И, подобно своим британским коллегам, российские власти стремились не просто выяснить, какие средства самовыражения используют солдаты-отправители писем (и что они представляют собой как личности), но и придать этим средствам самовыражения надлежащую форму при помощи стандартизированных писем и открыток [37].

Солдаты осознавали тот интерес, который власти вдруг стали проявлять к их письмам. Многие из них избегали военной почты, стараясь пользоваться только почтой гражданской [38]. Один солдат решил испробовать иной путь: он напрямую обратился к цензору, сделав в конце своего письма следующую приписку: «Милостивый государь, господин цензор, пропусти это письмо, потому что вы сами знаете, что нас бьют, как баранов на бойне, не знают за что» [39]. Таким образом, надзор за настроениями означал не только сбор соответствующих материалов; он начинал влиять уже и на представления людей о том, как им следует выражать свои мысли, и в то же время наводил этих людей на мысль, что их взгляды имеют определенное значение.

Характерно, что цензурные отделения не были отменены и после Февральской революции 1917 года; они продолжали свою деятельность в течение всего 1917 года, при Временном правительстве. Их отменили лишь после Октябрьской революции 1917 года. Советские власти, однако, вскоре обнаружили, что они не могут обходиться без информации, предоставляемой органами почтовой цензуры, и в 1918 году снова ввели соответствующие органы - теперь уже в Красной Армии. Это не означает, что между старыми и новыми органами не было существенных различий. Советский режим определял политическую сферу как нечто более масштабное, и поэтому его, в отличие от царской власти, интересовал намного больший круг вопросов. Но по задачам и структуре советские органы цензуры коренным образом не отличались от своих дореволюционных предшественников. Как и прежде, их задачей было не столько предупреждение беспорядков, сколько оценка общественного мнения в практических целях. Советские военные цензоры делали извлечения из всех тех

писем, которые так или иначе - позитивно, негативно или индифферентно - характеризовали политические настроения их авторов. Затем сделанные выдержки систематизировались и превращались в источник для регулярных, составлявшихся раз в два месяца, тематических и региональных докладов. Существовали доклады на тему о дезертирстве, о снабжении, о злоупотреблениях служебным положением, но наибольшее распространение получили политические доклады [40].

Нетрудно продемонстрировать, насколько советский режим был заинтересован в надзоре за настроениями населения. Надзор охватывал практически весь советский аппарат. В ходе гражданской войны во всех основных советских институтах - в армии, в партии, в советском гражданском аппарате, в ЧК - составлялись «сводки о настроениях населения». ЧК не просто требовала регулярных отчетов; она также распространяла критические отзывы на неполные или неудовлетворительные доклады, где указывались типичные ошибки и разъяснялось, как надо оформлять подобные доклады в будущем. В частности, ЧК сурово предостерегала своих служащих, что простого описания настроений недостаточно; они должны были также указать, «чем *объясняются*» эти настроения [41]. Подобным же образом отделы почтовой цензуры не только составляли «сводки», но и неизменно прилагали к каждой из них обзор, содержащий аналитическое толкование ее содержания [42]. Эти вездесущие «сводки о настроениях населения» и стандартизированные категории, разработанные с целью типизации данных настроений (категории, с такой легкостью используемые сегодняшними историками), превратились в особый жанр советской бюрократической литературы и представляют собой классику «культуры надзора» [43]. :

Однако «советская» система надзора являлась лишь развитием той практики, которая получила распространение в годы первой мировой войны и уже тогда была институционализована в рамках государственных структур. Таким образом, практические мероприятия самодержавного режима в условиях тотальной войны не только не являлись собой резкого контраста по отношению к подобным мероприятиям советской власти, но и были скорее промежуточным звеном, связующим довоенный административный порядок Российской Империи с построенным на правительственной концепции советским государством. Следовательно, модные сегодня сравнения советской практики надзора с аналогичной деятельностью царской охраны (в особенности ее «черных кабинетов») неправомерны. С точки зрения их компетенции, масштаба деятельности и даже генеалогии советскую систему наблюдения следовало бы сравнивать с практикой периода первой мировой войны [44]. В самом деле, на всем протяжении 20-х годов сами Со-

веты при обсуждении и разработке методики ведения политической работы и экономического планирования считали целесообразным обращаться к опыту первой мировой войны [45].

III. Осведомление красное и осведомление белое

В предыдущей части нашего исследования мы рассматривали становление системы надзора лонгитюдно, следуя за хронологическим потоком русской истории. Но феномен надзора можно также рассмотреть в рамках компаративного анализа. Вначале следует выявить, какую роль играло осведомление в практике противоборствующих политических движений в России в ходе революции и гражданской войны. Если оно было по своей природе чисто большевистским феноменом (пусть даже истоки этой системы можно проследить в более ранний период), можно ожидать, что противники большевизма не прибегали к осведомлению или, по крайней мере, не использовали его столь же широко.

Здесь, однако, нас ждет крупный сюрприз. Помня недвусмысленное заявление Сталина, что большевики должны быть инженерами человеческих душ, ученые готовы к тому, что советский режим всегда должен был настойчиво собирать информацию о внутренней жизни людей. Но как тогда объяснить тот факт, что соответствующие органы, созданные антисоветскими движениями, накапливали целые подтайные склады донесений о настроениях населения [46]?

Можно утверждать, что белые просто пытались противодействовать мероприятиям советского режима в области надзора за населением. Несомненно, такое соображение имело место. Но белые начали свою деятельность по организации надзора за настроениями населения еще до того, как Советы создали и привели в действие свой аппарат надзора. На Дону, к примеру, даже во время локальных антисоветских восстаний их лидеры считали необходимым создать свои собственные органы надзора [47]. Белые проявляли аналогичную заинтересованность в том, чтобы иметь представление об уровне сознательности масс населения (а не об «общественном мнении» или о «массовой поддержке») и развивать эту сознательность в нужном им направлении. Именно это, в конце концов, было главной целью: нельзя воздействовать на сознательность людей (как бы ни определять понятие «сознательности»), если вначале не установить, на каком уровне она находится. Все политические движения прошли через опыт первой мировой войны, и все они вышли из нее с мыслью, что для эффективного управления людьми необходим надзор за их настроениями. Ибо хотя бесчисленные движения, возникавшие в годы гражданской вой-

ны, искали опору в различных слоях общества и стремились воплотить в жизнь несхожие мировоззрения, все они действовали в рамках правительственной парадигмы. Это означает, что все они практиковали ту форму политики, которая основана на теории социального представительства и идее народного суверенитета как обоснования легитимности власти. И хотя движения эти значительно различались в своих взглядах на то, каким конкретно должен быть окружающий мир, все они рассматривали политику как орудие формирования общества и как инструмент воздействия на население с тем, чтобы сделать свой идеал реальностью [48].

Для антисоветских движений осведомление о настроениях населения было такой же упорядоченной и организованной процедурой, как и для большевиков. Среди самых первых законодательных актов антисоветского Донского правительства был акт о создании «Донского осведомительного отдела» (ДОО). Сообщая населению о создании нового органа, власти характеризовали его задачи как двойственные. Во-первых, это было «осведомление жителей области о положении военном, политическом», а также о деятельности правительства; во-вторых, «осведомление правительственных органов о жизни, событиях и настроениях в области» [49]. В ведении нового отдела было приблизительно двести подотделов, шестьдесят отделов и девять уездных отделов - в дополнение к центральной администрации [50]. Таким образом, сеть органов ДОО, охватывавшая всего одну губернию, по численности и масштабам своей деятельности могла бы дать фору царской тайной полиции, действовавшей на территории целой империи. И вызвано это было не тем, что белые располагали большими ресурсами, чем царский режим, а тем, что осведомительные органы белых преследовали совершенно иные цели, чем царские охранные отделения.

«Осведомление» - понятие, созданное новой политикой, - должно было циркулировать в двух направлениях: от власти к населению и от населения (или, скорее, «про население») - к властям. Выполнение первой задачи - информирования населения - должно было способствовать вовлечению граждан в мероприятия властей и, в конечном итоге, трансформации их сознания. С этой целью ДОО выпускало несколько собственных газет, контролировало содержание всех остальных сообщений прессы и создало по всему краю сеть информационных подцентров [51]. Наиболее любопытно для нас, однако, другое орудие, направленное на своевременное ознакомление населения с деятельностью правительства: речь идет об избе-читальне - скромном деревянном доме в какой-нибудь глухой деревушке, где имелись газе-

ты и политические брошюры [52]. Создание подобного оплота политических знаний в отсталой деревенской среде до сих пор ассоциировалось только с большевиками [53]. Как мы, однако, уже видели, земские активисты перед первой мировой войной - и белые в ходе гражданской войны - также создавали информационные сети для просветительской работы среди населения. И, что очень важно, и красные, и белые характеризовали стоявшую перед ними задачу не как «пропаганду», а как «просвещение» [54]. Пропагандистское - или, точнее, просветительское - государство не было исключительно большевистским идеалом.

Но поток информации должен был двигаться и в другом направлении, предоставляя правительству сведения о «настроениях» населения. Для выполнения этой задачи ДОО создало целую сеть тайных осведомителей и организовало специальные курсы для их подготовки. По окончании курсов эти агенты тайно перемещались по всему Донскому краю под видом актеров, беженцев, учащихся, железнодорожников, учителей и даже акушеров. Именно на основе регулярных донесений этих агентов и работников подотделов ДОО руководство отделов составляло собственные ежедневные сводки [55]. Сводки эти группировали по тематическому принципу; каждой теме соответствовала определенная буква алфавита. Не случайно, что литерой «А» обозначали донесения о «настроении населения».

Но белых роднила с красными не только практика надзора за населением. Технократов надзора объединяла друг с другом также заинтересованность в повышении человеческой «сознательности» (того самого качества, о повышении которого в народных массах в последние годы империи все активнее заботились царские чиновники). Таким образом, проект превращения невежественных подданных в эмансипированных и просвещенных граждан был выдвинут не только в рамках социалистической системы; он был вызван к жизни значительно более мощным тектоническим сдвигом в политической сфере (сущность политики определялась теперь не территориальной, а правительственной концепцией); социализм просто оказался наиболее действенным и успешным воплощением произошедших перемен.

С точки зрения белых, как и с точки зрения красных, надзор должен был охватывать сферу не только поступков, но и мыслей населения. Например, одно донесение, касающееся недавно освобожденной белыми местности, гласит: «Круги сельского населения в большинстве своем вполне искренно подчинились и присоединились законной русской власти [орфография подлинника. - Прим. авт.], но пребывает все же в положении только признающих и сочувствующих. Широкие

массы деревни, вполне искренно встречающие добровольческие и казачьи части, т.к. с приходом их избавлялись от произвола и насилия большевиков..., но теперь относятся к освободившим их совершенно пассивно, не чувствуя духовной потребности принять участие в этой борьбе... Нередко можно слышать в разговоре крестьян, что «Ваши (т.е. казаки) там-то или делали то-то, а большевики то-то». Он не скажет «Наши...» [56]. Составивший это донесение чиновник выражает неудовлетворение тем, что население проявляет сочувственную покорность - именно те настроения, которые совершенно удовлетворили бы чаяния чиновников ушедшего в прошлое царского режима. Но теперь власть волнуют убеждения людей, а не только их поведение. В другом донесении содержатся жалобы осведомителя на то, что «отношение к мобилизации разное: одни сознают необходимость борьбы до полной победы, другие... идут неохотно на призыв... В общем, процент уклоняющихся не велик, 2-3%» [57]. Агент описывает регион, где степень явки на воинскую службу (с учетом того, что речь идет о гражданской войне) невероятно высока: на приказ о мобилизации откликнулось 97-98% призывников (такого высокого показателя не мог добиться даже царский режим в 1914 году). Однако наш технократ-наблюдатель не удовлетворен успехом в снабжении войск «пушечным мясом»: его больше интересует сердечное и душевное состояние призывников.

И, конечно, люди ощущали тот интерес, который власти стали проявлять к их мыслям, чувствам и высказываниям. Надо отметить, что не все обрадовались, когда новые властные структуры устремили на них свое недреманое око. В одном из донесений ДОО отмечалось, что в станице Чернышевской «мобилизовано все население»; что «настроение - твердое»; что «отношения с иногородними обостренны»; и, среди прочего, - что «отношение к организации Освед[омительного] отдела, как станичного атамана, так и станичников - отрицательное» [58]. Многие постепенно стали выражать свое мнение более сдержанно. ДОО (а позже - и ОГПУ-НКВД), конечно же, придавало значение даже тому, как неохотно люди раскрывали свои мысли и настроения, и вследствие этого должным образом докладывало, что население боится «свободно выражать свои мысли», «вступает в политические дискуссии крайне неохотно»; «высказываются... неохотно, сдержанно, осторожно» [59]. Подобные формулировки не означают, что люди перестали говорить о политике; они просто знали, что теперь им надо быть более сдержанными в выражении своих мыслей, поскольку их высказывания внимательно слушают представители власти - как красной, так и белой.

Хотя практика осведомления о настроениях населения у белых и у красных была во многом схожей, следует отметить и важные различия. Без сомнения, советский режим вкладывал в понятие «политической сферы» гораздо более широкое содержание, и, следовательно, созданная им система надзора была всеобъемлющей. Тем не менее стремление к созданию такой системы и конкретное институциональное воплощение этого стремления были свойственны не только большевикам. Специфика большевизма гораздо ярче проявилась в формулировке тех целей, ради достижения которых следовало практиковать надзор и содержать осведомителей.

IV. Осведомление в России и Европе

Таким образом, надзор за настроениями населения нельзя считать присущим исключительно социализму или большевистской идеологии. Однако мои оппоненты все же могут настаивать на том, что склонность к такому надзору была типично русской особенностью: просто в данном случае традиционный для России авторитаризм принял новую, более действенную форму [60]. Именно поэтому я хочу еще раз прибегнуть к компаративному методу и сопоставить проводившиеся в России мероприятия по надзору за населением с такими же мероприятиями, практиковавшимися в тот период другими великими державами.

С самого начала необходимо заметить, что, хотя царскую охранку часто изображают как характерный институт русского самодержавия, находившиеся в ее ведении «черные кабинеты» были созданы по образцу французских «cabinets noirs», учрежденных Наполеоном и усовершенствованных в течение XIX века французским государством (мы видим, что в России воспользовались даже французским названием данных учреждений) [61]. Составление государственной картотеки противников существующего строя, включавшей в себя фотографии смутьянов - те самые фотографии, которые сегодня используются для «украшения» биографий ведущих революционеров, - также стало применяться в России далеко не спонтанно. Эта усовершенствованная форма «человеческого архива» появилась только после того, как российское государство решило упорядочить поток поступающей к нему информации при помощи введения системы каталогизации, предложенной французом А.Бертильоном [62]. (Между прочим, бертильоновская система каталогизации была еще одной формой практики, не совсем четко вписывавшейся в определенные хронологические или иде-

ологические границы, она также начала свое существование еще при царском режиме и продолжала применяться в советский период). И так, полицейский надзор за населением - сбор индивидуальной информации о противниках существующего строя как превентивная мера - не был чем-то уникальным, присущим только российскому самодержавию. Но как же обстоит дело с правительственным надзором - сбором информации с целью ознакомления с настроениями населения и управления ими? Граница здесь пролегает не столько между Россией и Европой, сколько между Европой до мировой катастрофы 1914 года и Европой после начала катастрофы - включая сюда и Россию.

В ходе войны все державы приступили к широкомасштабной, строго упорядоченной перлюстрации внутренней почты; все они практиковали перлюстрацию в целях надзора за настроениями населения. С развитием военных действий немецкие военные власти, подобно своим русским коллегам, «занимались активным чтением солдатских писем с фронта, [и] зачастую были глубоко обеспокоены их содержанием». Немецкие власти также перехватывали и анализировали письма, отправлявшиеся на фронт и с фронта для составления регулярных донесений о настроениях (*Stimmung*) и моральном духе (*Geist*) [63]. В течение десятидневного отчетного периода один армейский отдел почтовой цензуры тщательно просматривал более 54 тысяч писем - и все для того, чтобы составить требовавшийся раз в два месяца обзор морального духа армии [64]. Необходимо отметить, что донесения немецкой цензуры были почти идентичны по форме тем донесениям, которые составляли цензурные отделения русской армии.

Французское командование начало активно использовать надзор за настроениями людей лишь в начале 1917 года, когда оно стало проявлять глубокий интерес к моральному духу и настроению как в войсках, так и среди мирного населения. Чтобы более эффективно предугадывать и направлять *opinion publique* (французский эквивалент русскому «настроению» и немецкому *Stimmung*), французская армия учредила свои собственные отделения почтовой цензуры, «специальной целью которых были чтение и анализ почты, проходившей через руки их сотрудников» [65]. А с середины 1917 года главный разведывательный отдел Генерального штаба французской армии начал составлять регулярные «конфиденциальные бюллетени о моральном духе внутри страны», используя в основном материалы, поставлявшиеся отделениями почтовой цензуры, действовавшими на фронте и по всей стране [66].

Британская армия прибегла к аналогичным мерам, хотя и несколько позже, чем другие державы (эта задержка была вызвана не столько неким прирожденным либерализмом англичан, сколько тем фактом, что всеобщая воинская повинность была введена в Великобритании только в ходе войны; именно для армии, комплектуемой на основе гражданского населения, моральный дух как в тылу, так и на фронте, становится предметом особой заботы). Здесь четко выявляется различие между цензурой как таковой и надзором за настроениями населения. Почти с самого начала войны, напоминает нам Пол Фасселл, офицеры подвергали цензуре письма рядового состава вверенных им воинских частей (солдатам было хорошо известно о том внимании, которое привлекали их письма) [67]. Количество сотрудников почтовой цензуры росло в Британии, как грибы после дождя: со 170 человек в конце 1914 года до 1453 человек в 1915 году и до 4861 человека к ноябрю 1918 года, то есть достигло примерно 50% того количества сотрудников, которое в начале 20-х годов использовал для аналогичных целей советский режим (при значительно большей численности населения) [68]. Но только в начале 1918 года британская армия приступила к подлинному надзору, основанному на правительственной концепции: именно тогда цензурный отдел Генерального штаба начал составлять трехмесячные сводки о солдатских настроениях, основанные на выдержках из перехваченных писем [69].

По всей Европе, так же как и в Российской Империи, а позже - в СССР, первая мировая война вызвала к жизни занимавшиеся надзором за настроениями бюрократические системы, подобные созданному Донским правительством ДОО и учрежденным советским режимом информационным отделам ЧК и ГПУ. И, как и в СССР, целью сбора такой информации было использование ее для построения общества определенного типа.

Французы, как и русские, вступили в войну, не располагаястройной системой осведомления. В нашем распоряжении имеются некоторые материалы о настроениях людей в первые месяцы войны; но они появились только потому, что министр образования потребовал от всех подчиняющихся ему преподавателей собирать сведения о реакции населения на начало войны и мобилизации [70]. Некоторое время, однако, в официальных донесениях о настроениях населения внимание концентрировалось только на рабочем классе - причем преимущественно в Париже. Но к 1916 году некоторые префекты (эпизодически и по собственной инициативе) начали следить за общими настроениями населения, а с середины 1917 года министр внутренних дел стал требовать от всех префектов донесений о настроениях насе-

ления во вверенных им округах [71]. Одновременно командующие военными округами по всей стране начали составление ежемесячных бюллетеней о моральном духе населения, основанных на донесениях их подчиненных из рядов военной и гражданской иерархии. С этого времени различные гражданские и военные органы власти неустанно «прощупывали» французское общественное мнение; именно это стремление привело к возникновению (к концу 30-х годов) Отдела Методов Контроля (Service du contrôle technique) [72].

В Англии, как и во Франции, 1917 год стал годом возникновения «сложной системы сбора данных в целях наблюдения за общественным мнением и контроля над ним». Службы безопасности перенесли центр своего внимания с контрразведки как таковой на составление политических донесений. С конца 1917 года до начала 1920 года штабные офицеры разведки занимались составлением «еженедельных разведывательных сводок», которые затем отправлялись в разведотделы Генерального штаба. Еженедельные сводки состояли из трех разделов. Первый из них касался выполнения Законов о защите королевства (DORA), а третий был посвящен исключительно беспорядкам в промышленности. Второй раздел имел аналитический характер; содержащаяся в нем информация была распределена, в свою очередь, по восьми рубрикам. Как и в сводках ДОО или в сводках, составлявшихся немецкими военными (см. ниже), первая рубрика была следующей: «Преобладающее общественное мнение в отношении войны» (а после войны - «Преобладающее общественное мнение в отношении демобилизации»). По окончании войны масштабы надзора за настроениями населения не только не сократились, а, наоборот, увеличились: на деле демобилизация «расширила сферу наблюдения» [73]. Собранная таким образом информация применялась затем для управления рабочей силой, для борьбы с «антиправительственной агитацией» и вообще для направленного воздействия на настроения масс. К 1918 году британское Министерство информации начинает вести активную пропагандистскую работу в тылу - до этого правительство никогда еще не уделяло внимания подобным задачам (деятельность Бюро прессы до сих пор была ограничена чисто негативной функцией запрещения тех сообщений, которые могли оказаться полезными для врага) [74].

В Германии политическая полиция время от времени, начиная с 1850-х годов, собирала комплексную информацию о политических настроениях, но и здесь качественные перемены принесла первая мировая война [75]. В ноябре 1915 года Военное министерство приказало командующим всех военных округов Германии докладывать об общей обстановке в подчиненных им округах. Три месяца спустя, в

марте 1916 года, немецкое командование дополнило свои инструкции, дав указание командующим составлять подробные донесения о настроениях или моральном духе населения. Первая рубрика регулярных докладов, которые должны были составлять военные губернаторы, касалась «настроений гражданского населения» [76]. (Вспомним, что правительство Российской Империи дало указание гражданским должностным лицам начать сбор такой информации в октябре 1915 года, опередив, таким образом, немецкие власти всего на несколько месяцев).

Не случайно вскоре после этого немецкое командование обратилось к новой форме воздействия на солдат и на гражданских лиц; знаменательно, что новые мероприятия были названы «просветительная деятельность» (*Aufklärungstätigkeit*), а позже переименованы в «патриотическое воспитание». Они были задуманы как нечто, в корне отличающееся от пропаганды (то есть от ознакомления иностранной аудитории со своей собственной версией происходящих событий и от противодействия вражеской пропаганде), которой Германия занималась с начала войны. В отличие от пропаганды, «просветительная деятельность» была направлена на то, чтобы в полной мере использовать духовные ресурсы своих солдат и гражданского населения и превратить их из подданных, исполняющих отведенную им роль в рамках установленного порядка, в лучших, более сознательных деятелей [77]. В общем и целом «просветительная деятельность» преследовала цели, не слишком отличающиеся от целей «политически-просветительной работы» Красной Армии [78]. Показательно, что оба государства определили стоявшую перед ними задачу как «просвещение» (*Aufklärung*) граждан. И немецкая «просветительная деятельность», и советская «политически-просветительная работа» были продолжением мероприятий по осведомлению. Осведомление это было направлено не только на изучение «общественного мнения»; оно ставило своей целью описание духовного состояния людей с тем, чтобы изменить его в нужном направлении посредством подобной просветительной практики, осуществляющейся под эгидой государства.

V. Осведомление и «государство национальной безопасности»

Итак, осведомление представляло собой явление, присущее не только одной России или развернувшимся там социалистическим преобразованиям. Хотя практика надзора заклеяна позором как одно из наиболее пагубных проявлений тоталитарного мышления, она не яв-

ляется чем-то специфически «большевистским», «марксистским» или даже «тоталитарным»; перед нами - практика, свойственная современному периоду мировой истории. Приведенные выше исторические сопоставления указывают на то, что для меня важным рубежом в эволюции тех методов, которые государства использовали для управления населением, является первая мировая война [79].

Великая война создала не только индустрию массового уничтожения. Она привела к институционализации особой формы современной политики, основанной на правительственном принципе, - к созданию «государства национальной безопасности». Несомненно, правительственная концепция появилась задолго до начала XX века, но именно в ходе первой мировой войны и послевоенного периода стало возможным ее широкомасштабное осуществление на государственной основе. Совершенно очевидно, что стремление к руководству обществом и соответствующие практические мероприятия были не просто реакцией на острые нужды военного времени, вызванной к жизни исключительными обстоятельствами войны. Но важно то, что именно в контексте военного времени государства приступили к массированному внедрению в жизнь подобной практики [80]. Впервые населению разных стран пришлось изо дня в день ощущать на себе политические последствия перехода к «правительственному стилю» в его статистической форме: в практической политике, в деятельности конкретных учреждений, в повседневной жизни. Независимо от того, что думало по этому поводу население, оно не могло избежать новых государственных притязаний. Государства навязывали себя все большему числу людей все в новых и новых сферах. Они стремились придать организованность большим секторам экономики и общественной жизни (как бы ни называлась такая деятельность - *Kriegswirtschaft*, «военный коммунизм» или Закон о защите королевства). Они демонстрировали общую для них склонность к восприятию и использованию самого населения в качестве «ресурса» (эта тенденция отражена в таких терминах, как *Menschenmaterial* - «человеческий материал», русском выражении «людская сила» или в концепции «*economy of manpower*» - «экономии живой силы», принятой на вооружение британским правительством). Они, что наиболее показательно, предпринимали попытки вовлечь население в свои мероприятия не просто как объект, но также и в качестве активного субъекта; и добивались этого, манипулируя новоизобретенным ресурсом - национальной волей или духом, определенными количественно и описанными качественно при помощи нового комплекса мероприятий: надзора за настроениями населения.

Более того, с окончанием войны меры эти не превратились в достояние истории. Надзор за населением ни в коей мере не был географически ограничен Россией или СССР, как не был он хронологически ограничен первой мировой войной. Государства национальной безопасности, возникшие, чтобы осуществлять управление обществом в условиях тотальной войны, прошли путь не от войны к миру, а от войны к подготовке будущих войн. Европейские государства национальной безопасности обнаружили, что меры, применявшиеся в период войны, в равной степени полезны и для управления населением в мирное время. В веймарской Германии «появившиеся в ходе войны стратегии надзора за населением стали активно внедряться в послевоенную гражданскую жизнь» [81]. Позже немцы оказались под наблюдением неисчислимых нацистских институтов, а также институтов «идеологического» оппонента режима - Социал-демократической партии Германии (которая действовала в этом качестве не иначе как из-за рубежа) [82]. В ходе второй мировой войны, как и в годы первой мировой, немецкие власти преследовали не только негативную цель цензуры солдатских писем, но и позитивную цель направленного конструктивного воздействия на их содержание и воспитания, посредством этих писем, чувства национальной общности, а также насаждения среди самих солдат определенных форм самовыражения и даже самоидентификации [83]. В вишистской Франции Петен использовал в своих целях информацию, собранную Отделом Методов Контроля путем вскрытия писем граждан, чтения отправленных ими телеграмм и прослушивания их телефонных разговоров (только в декабре 1943 года Отделом было прочитано 2 448 554 письма, просмотрено 1 771 330 телеграмм и подслушано 20 811 телефонных разговоров). Но сам Отдел был учрежден еще во времена Третьей республики [84]. Даже в Англии, на родине эмпиризма и здравого смысла, была создана организация «Массовое наблюдение» (Mass observation), непосредственной целью которой было «наблюдение за каждым со стороны каждого - включая наблюдение за самим собой» [85]. Вряд ли является простым совпадением и тот факт, что опросы общественного мнения (в том значении, в котором мы понимаем данный термин сегодня, а не в том, в котором они практиковались французской армией в 1917 году) начались в конце 30-х - начале 40-х годов [86]. Необходимо отметить, что подобные мероприятия - в отличие от периода первой мировой войны - широко проводились еще до начала военных действий. Перспектива тотальной войны и возникновение режимов национальной

безопасности, призванных осуществлять ведение такой войны, требовали мобилизации собственного населения и сбора информации о нем не только в ходе войны, но и в мирное время [87].

По всей Европе, как отмечает Майкл Гейер, «всеохватывающая и всесторонняя мобилизация нации с целью ведения войны была свойственна всем основным участницам первой мировой войны... Все нации использовали сложную сеть принуждения и уговоров и разрабатывали собственные, национальные формы управления» [88]. Первая мировая война была той матрицей, с помощью которой различные государства оттачивали свои индивидуальные стремления и создавали механизмы для их реализации. В общем, наблюдения Гейера относительно Европы полностью распространяются и на Россию. Однако, когда мы обращаемся к истории этой страны, революция 1917 года часто заслоняет от нас те перемены, которые произошли в ходе войны. Ведь если рассматривать гражданскую войну в России как продолжение той всеобщей катастрофы, которая обрушилась на Европу в 1914-1918 годах, то окажется, что русская революция не прекратила войну в 1918 году в Брест-Литовске, а лишь отложила окончание российской катастрофы до 1921 года, то есть что Россия вела войну на три года дольше, чем остальная Европа. Такое положение дел знаменательно потому, что оно позволяет логически объяснить факт долгого существования военизированного режима национальной безопасности (иными словами, режима тотальной войны), который провел Россию через горнило революции. Россия постфактум получила возможность предложить свою собственную трактовку тех перемен, которые она претерпела вместе с другими европейскими странами. Революция 1917 года позволила утверждать, что модернизация российского государства, превратившая его в государство национальной безопасности (а такой стиль модернизации был характерен и для многих других европейских держав), выросла не из общеевропейского опыта первой мировой, а из уникальных событий русской революции. Ведя споры о произошедших в мире изменениях, Европа и Россия теперь могли предложить два разных коротких ответа на вопрос о том, что за всемирный потоп захлестнул их. Европа приписывала перемены в мире «Великой войне»; Россия - своей революции.

А как же идеология? Была ли большевистская Россия после 1918 года такой же, как и любая другая европейская страна? Очевидно, нет. И различие между политическим и институциональным развитием Европы и России не исчезнет, сколько бы риторических рассуждений о некой «общей форме модернизации» не прозвучало из уст ученых. Российское институциональное воплощение принципов Нового вре-

мени - в их этатистском варианте - было перенесено в революцию; а революция (конечно же, здесь речь идет о революции в большевистском ее понимании), в свою очередь, концептуально оформила и заострила те цели, достижению которых должна была служить деятельность модернизированных институтов. Вместо того чтобы воздействовать на национальные образования (как входящие в его состав, так и зарубежные) и стремиться к обеспечению национальной безопасности, Советский Союз предпочитал использовать современную технику управления в отношении классов (как вне своих пределов, так и, особенно, внутри их) для построения социализма [89]. «Революция» стала шаблоном, в соответствии с которым развивались - и при помощи которого получали объяснение - все те новые черты, которые появились в период с 1914 по 1921 гг. Поэтому не только историки воспринимают избыточность и донесения о настроениях населения как продукты революции; современники также определяли эти явления как «революционные».

Но компаративное исследование практики различных государств показывает, что расхожие представления о специфике большевизма зачастую не отражают реальности: так, в рамках модели тоталитаризма, созданной К.Фридрихом и З.Бжезинским, большевизму приписывается некая особая практика. Но специфика большевизма скорее заключается в том, как и в каких целях он использовал такую практику. К примеру, тот факт, что советский режим весьма широко определял политическую сферу - большевистское определение «политики» практически охватывало все остальные сферы человеческой деятельности, - привел к тому, что и большевистский надзор за населением охватывал намного более широкий спектр вопросов, чем это было у белых технологов надзора (или же у их французских, немецких и английских коллег).

Если большевики разделяли с другими общую, основанную на правительственной концепции, веру в то, что государство может изменить окружающий мир, и видели в революционной политике идеальное орудие для осуществления данной цели, то марксизм был той идеологией, которая предлагала конкретное видение этого мира. Марксизм утверждал, что изменить этот мир - задача морально правомерная и не терпящая отлагательства. Более того, марксизм ставил четкие цели политических действий и разъяснял, кому быть объектом государственного попечения или государственного преследования. Возможно, особое значение имеет тот факт, что он задавал некие временные рамки для достижения провозглашенных им целей - построения социалистического общества и создания нового человека (понятие «новый человек» в данном случае предполагало и «нового мужчину»),

и «новую женщину») [90]. Отличительной особенностью советского эксперимента было использование общеевропейского набора практических мероприятий с целью усовершенствования граждан самым коренным образом и в течение определенного временного периода. Это означает, что большевизм использовал не открытую, а закрытую модель исторического прогресса [91].

Марксистское мировоззрение влияло и на то, каким образом большевики осуществляли практику управления. В области продовольственного снабжения, например, как красные, так и белые стремились осуществлять управление экономикой и обеспечить эффективность рынка при помощи планирования и контроля (точно так же, как во время первой мировой войны это делали Российская Империя и другие европейские державы) [92]. Специфика большевистского режима заключалась не в том, что он претендовал на управление экономикой (это стремление он разделял со многими другими), а в том, как он пытался это делать. Ибо, в отличие от других государств, целью советских мероприятий в сфере продовольственного снабжения было не столько преодоление реального дефицита, сколько борьба с тем индивидуумом, который не смог выполнить поставленного перед ним задания. Поскольку существовало убеждение, что если люди к чему-то стремятся, то они могут, как сказал позже Сталин, «взять штурмом любую крепость», неудача воспринималась как свидетельство нежелания человека выполнить что-либо, а не его неспособности к этому. Большее значение, придававшееся человеческому фактору, вело и к увеличению ответственности (а зачастую - к почти полной невыполнимости поставленных задач). В глазах режима любой дефицит свидетельствовал не о нехватке зерна, а о нехватке воли: он полагал, что непокорные крестьяне не хотят сдавать зерно, но не допускал, что зерна просто не было. Именно поэтому в ходе кампании продразверстки в 1920-1921 годах советское государство просто-напросто отказывалось считать засуху оправданной причиной неспособности крестьян сдать зерно государству, передавая таких крестьян революционным трибуналам и зачастую расстреливая их за это «преступление» [93]. Попытки управления экономикой и рынком были тогда обычным делом; необычным было то, как осуществлялись эти попытки. Таким образом, советская система была особенной не из-за ее практических мероприятий, ее технических орудий или даже ее стремлений. Особенность ее заключалась в той специфической форме, которую эти стремления приобрели: она стремилась привести общество к социализму, одновременно формируя его «человеческий материал» - и как коллективную общность, и как отдельных личностей. Таким образом, над-

зор за населением был лишь частью более обширной кампании, направленной одновременно на строительство коммунизма и на создание нового человека.

В настоящей статье сделана попытка сконцентрировать внимание читателей на двух основных вопросах. Во-первых, хотя материалы по надзору за населением сами по себе имеют огромную важность, истинное их значение может остаться незамеченным, если исследовать их просто методом «открытой разработки» с тем, чтобы выявить проявления «общественного мнения» или степень «массовой поддержки». Я утверждаю, что подобный подход к этим источникам лишь как к хранилищу информации не позволяет понять основную цель создания таких документов и существования того общества, частью которого они были. Ибо сбор информации не был сам по себе главной целью: надзор за настроениями населения не предназначался преимущественно для изучения общественного мнения, как не был он и превентивной, защитной мерой, направленной на предупреждение любых оппозиционных выступлений (хотя, конечно же, он использовался и в этих целях тоже). Надзор представлял собой комплекс практических мероприятий [94], необходимых для выполнения задачи переделки общества и трансформации каждого его отдельного члена. И даже когда осведомление использовалось для выявления оппонентов (с тем, чтобы уделять им особое внимание) и для последующего определения, кто из них не поддается «усовершенствованию» (с тем, чтобы устранить их и лишить возможности «вредить» обществу), - это было лишь частью реализации более обширных планов трансформации каждого индивидуума [95]. Таким образом, когда материалы надзора за населением используются лишь как источник сведений об общественных настроениях (показательно, что в самих документах при описании главного предмета их изысканий не употребляются ни термин «мнение», ни термин «поддержка»), - вне поля зрения остаются те цели, для которых собиралась данная информация, и тот контекст, который эту информацию порождал. Речь идет не о каком-то незначительном или чисто семантическом отличии. Советским гражданам было известно, что надзор за ними ведется в практических целях. Они знали (хотя могли только гадать, насколько обширна была сеть наблюдения), что с помощью практики надзора государство не только составляет донесения о том, что говорят и пишут его граждане, но и старается использовать полученную информацию для изменения и исправления их самих и их взглядов. Надзор за населением не был пассивным наблюдением; он носил активный, конструктивный характер.

Но в настоящей статье я также стремился показать, что мероприятия по надзору и те проекты, на реализацию которых они были направлены, не могут рассматриваться как некая аномалия, проявление российской самобытности или даже как специфическая особенность тоталитарных режимов в целом. Устраивает нас это или нет, но ученые просто не могут свести все к противопоставлению «хороших» государств, воздерживавшихся от надзора за населением, и «плохих» государств, прибегавших к такой практике. На протяжении межвоенного периода практику надзора и осведомления использовали все государства. Поэтому вместо однозначных сравнений мы должны исследовать различия - и различия эти имеют решающий характер - в том, как и в каких целях все эти режимы осуществляли надзор. И эти различия на практике действительно были очень глубокими как с точки зрения историка, так и (в еще большей степени) с точки зрения тех граждан, на чью жизнь они влияли. То была огромная разница - попасть ли под надзор британской организации «Массовое наблюдение» или стать объектом наблюдения со стороны секретных политотделов НКВД. Но для того чтобы определить степень и характер этих различий, необходимо рассматривать большевистские мероприятия в сфере надзора как в контексте русской истории, так и в более широком общеевропейском контексте.

Иен Кершоу, говоря об этической стороне использования сравнительно-исторического подхода при изучении нацистской Германии, утверждает, что комплексное использование «лонгитюдного и компаративного подходов не просто закономерно (и необходимо)... Это непосредственно способствует более четкому вычленению специфически нацистской сущности социальной политики (...). Лонгитюдный подход обнажает именно политико-идеолого-моральную структуру» [96]. Именно по этой причине изучение советских материалов, связанных с практикой надзора, и порождавших их институтов может существенно выиграть за счет использования трудов Геллейтли и Кершоу, посвященных нацистской Германии, а также обширной немецкой литературы о Feldpostbriefe - военно-полевой почте. И, конечно, подобные сравнения не должны ограничиваться тоталитарными режимами. Работа Беккера о Франции времен первой мировой войны, исследование Лаборье о вишистской Франции и работа Маклейна, посвященная британскому «министерству морального духа», также могут многое поведать об общеевропейской склонности государств управлять не только экономическими, социальными и физическими ресурсами населения, но и его психическими и духовными ресурсами.

Мы не рассматриваем Советскую Россию ни как некое уникальное порождение социализма, ни как русское отклонение от европейских норм; мы воспринимаем ее как чрезвычайно специфическое проявление новой правительственной модальности в сфере политики. В данной статье подчеркивается значение первой мировой войны, в условиях которой многие черты правительственной концепции получили конкретное воплощение. Особенности советского режима объясняются не «идеологией» в общем смысле этого слова и не его особой тоталитарной сущностью, а скорее взаимодействием конкретной идеологии и опыта практической реализации специфически «современного» понимания политики, говоря коротко, такого ее понимания, при котором население рассматривается и как средство, и как цель некоего эмансипационного проекта [97]. Преимущество данной позиции состоит в том, что она позволяет переместить центр тяжести научной дискуссии с категоричных оценок тоталитарных режимов на изучение того, как именно те или иные государства практиковали (или не практиковали) тоталитарные по своей сути мероприятия. Задача в таком случае состоит не в поиске причин, по которым Россию можно было бы считать аномалией, а в определении специфики российского воплощения общеевропейской практики. Советский опыт не может быть сведен ни к частному проявлению российской отсталости, ни к сюрреалистической попытке строительства социализма. Поскольку Советская Россия представляет собой проблему, ключ к ее решению необходимо искать в контексте явления, обозначенного термином «современность».

Пер. с англ. С. Кантерева

Примечания

1. Цитируется по: Измозик В. Глаза и уши режима: Государственный политический контроль за населением советской России в 1918-1928 годах. Спб., 1995. С.71; Фашистский меч ковался в СССР / Под ред. Ю.Дьяконова и Т.Бушуевой. М., 1992. С.40.

2. О работах, где используются материалы наблюдений за населением, см. ниже (прим. 20 и 22). Однако задолго до того, как вышеуказанные материалы стали доступны, появился ряд работ, ставших важным вкладом в освещение данного вопроса. Незаслуженно недооцененным источником является здесь труд В.Зензинова «Встреча с Россией: Как и чем живут в Советском

Союзе - письма в Красную Армию» (Нью-Йорк, 1945), представляющий собой компиляцию и анализ писем и автобиографических материалов, найденных на телах солдат, погибших во время советско-финской войны.

3. Это особенно касается применения таких понятий, как «общественная поддержка», а также разграничений между государством и обществом, между общественным и личным. Так, исследования по истории нацистской Германии позволили выдвинуть предположение, что нацистский режим подталкивал людей к участию в общественной жизни не столько для того, чтобы получить поддержку своей политики, сколько затем, чтобы придать их поведению скульптурно четкие формы; см. Robert Gellately, *The Gestapo and German Society* (Oxford, 1991). О неприменимости в отношении тоталитарных режимов дихотомии «государство/общество» - дихотомии, на основе которой строятся многочисленные трактовки связанных с надзором материалов, - см.: Stephen Kotkin, *Magnetic Mountain* (Berkeley and Los Angeles, 1995); Michael Geyer, «The State in National Socialist Germany», *Statemaking and Social Movements*, eds. Charles Bright and Susan Harding (Ann Arbor, Mich., 1984); Gellately, *The Gestapo and German Society*. Критика склонности переносить западные понятия «личного» и «общественного» на сталинскую Россию содержится в таких исследованиях, как Jochen Hellbeck, «Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubny, 1931-1939», *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas* 44 (1996). P.344-373; Vera Dunham, *In Stalin's Time*, updated ed. (Durham, N.C., 1990). P.59-74; Svetlana Boym, *Common Places*. (Cambridge, 1994). P.73-95. Существует также обширная литература по проблеме «нового человека» (обозначенного Юнгером как *Tyrus*), формировавшегося в Германии после первой мировой войны, - человека, решительно отвергавшего «буржуазное» и «мелкое» понятие «личной сферы»; среди многочисленных трудов по данному вопросу хотелось бы отметить такие работы, как Brigitte Werneburg, «Ernst Jünger and the Transformed World», *October* 62 (1992). P.43-64; Bernd Hüppauf, «Langemarck, Verdun and the Myth of a New Man in Germany after the First World War», *War and Society* 6 (1988). P.70-103.

4. Robert Gellately, «Enforcing Racial Policy in Nazi Germany», *Reevaluating the Third Reich*, ed. Thomas Childers and Jane Caplan (New York, 1993). P.50, 57-58; Robert Gellately, *The Gestapo and German Society*. P.259-261.

5. Показательно, что органы надзора за населением в России и по всей Европе характеризовали предмет своего исследования как «духовное», «моральное» или «нравственное состояние» или, позже, как «сознательность» населения (для сравнения можно привести немецкое выражение *das geistige Leben*, бытовавшее в годы первой мировой войны, и немецкое же выражение *geistige und seelische Betreuung*, использовавшееся во время второй мировой войны). Органы эти редко рассматривали свою задачу как выявление «общественного мнения» или степени «поддержки со стороны населения». Проблематика, связанная с изучением общественного мнения, рассматривается в работе: Pierre Laborie, «De l'opinion publique à l'imaginaire social», *Vingtième Siècle* 18 (1988). P.101-117.

6. См. Zygmunt Bauman, *Modernity and the Holocaust*, expanded ed. (Ithaca, N.Y., 1991). P.13, 18, 70-82. Аргументы в пользу того, что деятельность советского режима в основе своей была направлена на трансформацию общества и индивидуумов, можно почерпнуть в следующих работах: Stephen Kotkin, *Magnetic Mountain*; Katerina Clark, *Petersburg: Crucible of Cultural Revolution* (Cambridge, 1995); Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России (Спб., 1993); Boris Groys, *The Total Art of Stalinism* (Princeton, N.J., 1992). В работе Мартина Малиа - Martin Malia, *The Soviet Tragedy* (New York, 1994) - убедительно показано, что это идеологическое стремление определяло все своеобразие советского эксперимента. Можно согласиться с утверждением автора, что в основе советского эксперимента лежала именно идеология, но из этого не обязательно следует, что стремление к созданию нового общества было уникальной чертой социализма (работа Кларк вносит в данный вопрос полезные коррективы). Несмотря на ту настойчивость, с которой Малиа доказывает уникальность большевизма, можно отметить его многочисленные сопоставления процессов, развернувшихся в Советской России, с аналогичными процессами в Германии (С.210-211, 246, 249, 253, 291, 306).

7. В работе Питера Кенеза - Peter Kenez, *The Birth of the Propaganda State* (Cambridge, 1985) отмечается стремление большевиков трансформировать мышление людей, и то центральное место, которое в числе мероприятий установленного им режима занимали вопросы знаний и информации. Однако, как свидетельствует название его работы, автор отождествляет это стремление исключительно с большевизмом.

8. По этому вопросу см.: Zygmunt Bauman, *Modernity and the Holocaust*; Omer Bartov, *Murder in Our Midst: The Holocaust, Industrial Killing and Representation* (New York, 1996); George Mosse, *Nationalization of the Masses* (Ithaca, N.Y., 1975); Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (New York, 1977); Jacob Talmon, *The Origins of Totalitarian Democracy* (New York, 1952); Michael Halberstam, *Totalitarianism, Liberalism and the Aesthetic* (New Haven, Conn., в настоящее время готовится к публикации). Во всех перечисленных работах тоталитаризм рассматривается как этос, крайне проблематично соотносящийся с современными формами политики; они контрастируют с более традиционным, социологическим определением тоталитаризма, наиболее типичным примером которого является работа: Carl Friedrich and Zbigniew Brzezinski, *Totalitarian Dictatorship and Autocracy* (New York, 1956).

9. Работа Коткина содержит наиболее глубоко разработанное определение большевистского эксперимента как одной из боковых ветвей цивилизации нового времени - как конкретизации определенных черт философии Просвещения и как социалистического варианта «государства всеобщего благоденствия».

10. Наиболее часто большевизм и его идеологические конкуренты изучают изолированно друг от друга. Так, в исследовании Джона Кипа - John Keep, *The Russian Revolution: A Study in Mass Mobilization* (London, 1976) - внимание целиком сосредоточено на советской стороне. Но ведь мобилизацию населения осуществляли не только большевики, но и их противники. В сборни-

ке: Party, State and Society in the Russian Civil War, ed. Diane Koenker, William Rosenberg and Ronald Suny (Bloomington, Ind., 1989), - нет ни единой статьи о каких-либо политических движениях, кроме социалистических. В таких работах, как: Richard Pipes, The Russian Revolution (New York, 1990), и Vladimir Brovkin, Behind the Front Lines of the Civil War (Princeton, N.J., 1994), были сделаны попытки осветить деятельность обеих сторон, но лишь в самом схематичном виде (в частности, в обоих упомянутых исследованиях вновь воспроизводятся стереотипные оценки белого движения). Исключением здесь является следующий труд: Orlando Figes, Peasant Russia, Civil War (New York, 1989).

11. См.: Anton Kaes, «The Cold Gaze: Notes on Mobilization and Modernity», New German Critique 59 (1993). P.105-117. В данной работе подчеркивается «связь между военной мобилизацией, надзором за населением и социальным контролем над обществом» (p.116).

12. Мои взгляды на возникновение государства, основанного на правительственном принципе, сформировались под влиянием работы Мишеля Фуко: Michel Foucault, «Governmentality», The Foucault Effect, ed. Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller (London, 1991). Историки Германии эпохи Вильгельмов и Веймарской республики также отмечали возникновение у государства восприятия населения как объекта политики. См.: Detlev Peukert, The Weimar Republic (New York, 1993); Paul Weindling, Health, Race and German Politics between Unification and Nazism (Cambridge, 1989); Elisabeth Domansky, «Militarization and Reproduction in World War One Germany», Society, Culture and State in Germany, 1870-1930 (Ann Arbor, Mich., 1996). В данных работах внимание в основном сконцентрировано на социобиологическом управлении обществом; необходимо отметить, что государства в равной мере были заинтересованы и в управлении психикой подвластного им населения, что и явилось причиной организации надзора за его настроениями.

13. Важные изменения целей, значения и практики правления, произошедшие в более ранний период, анализируются в следующей новаторской статье: Marc Raeff, «The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity in Seventeenth- and Eighteenth-Century Europe», American Historical Review 80 (1975). P.1221-1243; в русском переводе - Раев М. Регулярное полицейское государство и понятие модернизма в Европе XVII-XVIII веков: Попытка сравнительного подхода к проблеме // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период. Самара, 2000. С.48-79.

14. Шейла Фицпатрик показывает, как советское государство стремилось ранжировать общество по классовому критерию. - Sheila Fitzpatrick, «Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia», Journal of Modern History 65 (1993). P.745-770 [в настоящем издании - Фицпатрик Ш. «Приписывание к классу» как система социальной идентификации. - Прим. ред.]. Многообразным механизмам, посредством которых государства и дисциплинарные системы культивируют определенный общественный порядок, посвящен-

ны следующие исследования: Marie-Noëlle Bourguet, *Déchiffrer la France* (Paris, 1988); Ian Hacking, *The Taming of Chance* (Cambridge, 1990); Benedict Anderson, *Imagined Communities*, rev.ed. (New York, 1991). P.164-170.

15. Поддержание порядка с помощью полицейских мер включало в себя и надзор, осуществлявшийся Охранным отделением: само это название означает, что речь шла о чисто негативной цели защиты существовавшей тогда общественной системы от различных опасностей. В России для обозначения мероприятий по осуществлению надзора за населением использовался особый термин - «осведомление»; он подразумевал двусторонний процесс циркуляции информации и обозначал сбор и распространение этой информации органами, недвусмысленно обозначенными как «политические». К таким органам относились, например, секретные политотделы Объединенного государственного политического управления (ОГПУ). Сходное разграничение существовало в военной области и в сфере разведки: существовали «разведывательные отделения», занимавшиеся традиционной деятельностью по сбору военной и дипломатической информации («разведкой»), и политотделы, занимавшиеся надзором в политических целях. Существование двух независимых органов было необходимо потому, что они собирали различные виды информации.

16. Блестящий анализ деятельности полицейских органов в начале правления Николая I содержится в работе: Sidney Monas, *The Third Section* (Cambridge, 1961). Автор данного труда уделяет внимание как общеевропейскому контексту, так и конкретному пониманию института полиции в камералистике и в рамках концепции правового государства (см. p.22-23, 294 - о различиях в восприятии понятия «полиция» в девятнадцатом веке и в веке двадцатом). По более позднему периоду см. следующие исследования: Frederic Zuckerman, *The Tsarist Secret Police and Russian Society, 1880-1917* (New York, 1996); Jonathan Daly, *The Watchful State: Police and Politics in Late Imperial Russia, 1896-1917* (Ph.D. diss., Harvard University, 1992). По истории становления соответствующих служб в Германии см.: Wolfram Siemann, «Deutschlands Ruhe, Sicherheit und Ordnung»: *Die Anfänge der politischen Polizei, 1806-1866* (Tübingen, 1985); название работы точно отражает негативную, профилактическую направленность полицейских мер по поддержанию порядка.

17. Данный идеал четко воплощен в следующем русском административном тексте: Дерюжинский В.Ф. *Полицейское право*. 3-е изд. Спб., 1911. Сталинский период освещен в исследовании: Jochen Hellbeck, *Fashioning the Stalinist Soul*; автор показывает, как сами граждане участвовали в этом процессе индивидуального подчинения в рамках более масштабного тоталитарного проекта.

18. См.: Peter Kenez, *The Birth of the Propaganda State*. P.10-11, где Кенез пронизательно сравнивает повседневные задачи партии большевиков с практикой католической церкви.

19. См.: Майский С. «Черный кабинет»: Из воспоминаний бывшего цензора // *Былое*. 1918. Кн.7. С.185-197; Кантор Р. К истории «черных кабинетов» // *Каторга и ссылка*. 1927. № 37. С.90-99.

20. О перлюстрации, практиковавшейся советскими органами в 20-е годы, см.: Измозик В. Перлюстрация в первые годы советской власти // Вопросы истории. 1995. № 8. С.26-35; Ченцов В. Табу - на думки, заборона - на слово: За матеріалами роботи політконтролю НК-ДПУ у 20-ті роки // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. 1994. № 1. С.12-23. Примеры отчетов, составленных на основе выдержек из писем, см.: Vladlen Izmozik, «Voices from the Twenties: Private Correspondence Intercepted by the OGPU», Russian Review 55 (1996). P.287-308; «Soviet Jewry as Reflected in Letters Intercepted by the Leningrad OGPU, 1924-25», Jews in Eastern Europe 23 (Spring 1994). P.32-45; Переписка через ГПУ // Родина. 1994. № 9. С.78-83; С питанием дело плохо // Старая площадь: Вестник. 1995. № 3. С.142-144; Давидян И., Козлов В. Частные письма эпохи гражданской войны // Неизвестная Россия / Под ред. В.А.Козлова и др. Т.2. М., 1992. С.200-250; Данилов О. Письма из прошлого // Свободная мысль. 1992. № 15. С.50-57; 1993. № 6. С.79-87. Отчеты, составленные соответствующими органами Девятой армии и Военным советом Северного Кавказа, находятся в Российском государственном военном архиве (РГВА): ф.25896, оп.2, д.11, лл.1-11, 41-43, 47-48, 94-95, 132-133, 145, 149; а также ф.192, оп.2, д.385, лл.2, 11, 17, 27-28, 38.

21. Негативные аспекты деятельности охранных отделений освещаются в следующих работах: Dominic Lieven, «The Security Police», Olga Crisp and Linda Edmondson, eds., Civil Rights in Russia (Oxford, 1989); Nurit Schleifmann, «The Internal Agency: Linchpin of the Political Police in Russia», Cahiers du Monde russe et soviétique 24 (1983). P.152-177; Richard J. Johnson, «Zagranichnaya agentura: The Tsarist Political Police in Europe», George Mosse, ed., Police Forces in History (London, 1975). О докладах губернаторов см.: George Yaney, The Systemization of Russian Government (Urbana, Ill., 1973). P.295-301; Richard G. Robbins, The Tsar's Viceroys (Ithaca, N.Y., 1987). P.65-71.

22. Работа В.Измозика «Глаза и уши режима» «обречена» стать эталоном в области изучения инфраструктуры надзора за населением, существовавшей в советском государстве в 20-е годы. О существовавшей в советском государстве практике надзора см. также следующие работы: Andrea Romano, «L'armée rouge, miroir de la société soviétique: Aperçu des sources d'archives», Communisme 42/43/44 (1995). P.35-43; Nicolas Werth, «Une source inédite: Les svodki de la Tcheka-OGPU», Revue des études slaves 66 (1994). P.17-27; Viktor Danilov and Alexis Berelowitch, «Les documents de la VChK-OGPU-NKVD sur la campagne soviétique, 1918-1937», Cahiers du Monde russe 35 (1994). p.633-682; Дніпровец В. «Катеринослав. ГубЧК»: Сустильно-політичне та економічне життя краю в документах органів державної безпеки // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. 1994. № 1. С.12-23; Кудинов А.И. Органы государственно-политической безопасности в закрытой информационной системе (20-е годы) // Известия Сибирского отделения АН СССР: Серия «История, филология и философия». 1991. № 1. С.62-64; Merle Fainsod, Smolensk Under Soviet Rule (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958). Chap.8. Среди многочисленных современных исследований, где используются материалы советских органов наблюдения за настроениями населения: Andrea Graziosi, «Collectivization, révoltes paysannes

et politiques gouvernementales à travers les rapports du GPU d'Ukraine», Cahiers du Monde russe 35 (1994). P.437-632; Jean-Paul Depretto, «L'opinion ouvrière (1928-1932)», Revue des études slaves 66 (1994). P.55-60 ; Marcus Wehner, «“Die Lage vor Ort ist unbefriedigend“: Die Informationsberichte des sowjetischen Geheimdienstes zur Lage der russischen Bauern (1921-1927)», Jahrbuch für historische Kommunismusforschung 2 (1994). P.64-87; Mordechai Altshuler and Tat'iana Chentsova, «The Party and Popular Reaction to the “Doctor's Plot“ (Dnepropetrovsk Province, Ukraine)», Jews in Eastern Europe 21 (Fall 1993). P.49-63; Кошелева Л., Тепцов Н. Смерть Ленина: Народная молва в спецдонесениях ОГПУ // Неизвестная Россия. Т.4. М., 1993. С.9-24; Козлов В. «Свергнуть власть несправедливости»: Сводка донесений местных органов НКВД об антисоветских и хулиганских проявлениях, 1945-1946 // Там же. С.468-475; Лебедев В. «Объединяйтесь вокруг Христа - большевики повысили цены»: Отношение населения СССР к повышению цен на продукты питания в 1962 г. // Там же. Т.3. С.145-176; Тепцов Н. Монархия погибла, а антисемитизм остался: Документы информационного отдела ОГПУ 1920-х годов // Там же. Т.3. С.324-360; Лазарев В. Последняя болезнь Сталина: Из отчетов МГБ СССР о настроениях в армии весной 1953 г. // Там же. Т.2. С.253-260; Хаустов В. Демократия под надзором НКВД: Обсуждение проекта конституции 1936 г. // Там же. Т.2. С.272-281; Краюшкин А., Тепцов Н. Как снижали цены в конце 40-х - начале 50-х годов и что об этом говорил народ // Там же. Т.2. С.282-296; John Barber, «Popular Reactions in Moscow to the German Invasion of June 22, 1941», Soviet Union/Union Soviétique, nos.1-3 (1991). 5-18; Mark von Hagen, «Soviet Soldiers and Officers on the Eve of the German Invasion», Soviet Union/ Union Soviétique, № 1-3 (1991). P.79-101. Подробные примеры таких донесений, составлявшихся на протяжении всей истории советского государства, содержатся в следующем сборнике: Nicolas Werth, Gaël Moullec, eds., Les rapports secrets soviétiques: La société russe dans les documents confidentiels, 1921-1991 (Paris, 1995).

23. Об осведомительной сети, действовавшей в ГУЛАГе в годы второй мировой войны см.: ГУЛАГ в годы войны: Доклад начальника ГУЛАГа НКВД СССР. Август 1944 // Исторический архив. 1994. № 3. С.60-86 и особенно с.74. В.Н.Земсков в своей работе «Кулацкая ссылка накануне и в годы Великой Отечественной войны» (Социологические исследования. 1992. № 2. С.23) приводит более низкий процент осужденных, участвовавших в работе осведомительной сети (примерно 3%). О донесениях о «политическом настрое» в лагерях для ссыльных кулаков в 1930-1931 гг. см.: Спецпереселенцы в Западной Сибири, 1930-1931 / Под ред. В.П.Данилова и С.А.Красильникова. Томск, 1992. С.114-123, 149-151, 195-196, 233-235. О донесениях по ГУЛАГу за период с 1928 по 1968 гг. См.: Nicolas Werth, Gaël Moullec, eds., Les rapports secrets soviétiques. P.355-430. О деятельности осведомительной сети в послевоенных лагерях для военнопленных см.: Ерин М.Е., Баранова Н.В. Немцы в советском плену (по архивным материалам Ярославской области) // Отечественная история. 1995. № 6. С.133-142 и в особенности С.135-136.

24. Документация по катыньским расстрелам 1940 года содержится в журнале: Вопросы истории. 1993. № 1. С.3-22. О расстрелах заключенных в 1941 году см.: Чтоб не достались врагу // Родина. 1993. № 7. С.61; Трагедия в медведевском лесу: О расстреле политзаключенных Орловской тюрьмы // Известия ЦК КПСС. 1990. № 11. С.124-131.

25. Это воззрение не связано с какой-либо определенной идеологией. В своей знаменитой работе «Русская революция» Лев Троцкий - в англ. переводе: Leon Trotsky, The Russian Revolution (New York, 1959) - утверждает, что Россия занимала особое, если не уникальное, место в мировом политэкономическом порядке [См.: Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 84-92, 323-324, 337, 359-360. - Прим. ред.]. Приверженцы «школы модернизации» (Теодор ван Лауз, Сирил Блэк, Александр Гершенкрон) также указывают на особый характер экономического развития России. В своих работах как об истории Российской Империи, так и о Советской России Ричард Пайпс определяет Россию как страну со специфически патримониальной политической культурой; см.: Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993; Пайпс Р. Русская революция. Ч.1 и 2. М., 1994; Пайпс Р. Россия при большевиках. М., 1997. Моше Левин - Moshe Lewin, The Making of Soviet System (New York, 1985) - указывает на социально-политическую отсталость России (и особенно на отсталость российского крестьянства) как на источник русского своеобразия - и как на одну из причин возникновения сталинизма. В высшей степени оригинальный и интересный тезис о том, что в России отсутствовали юридические структуры, предназначенные для защиты профессиональной автономии, содержится в работе Лоры Энгелстейн: Laura Engelstein, «Combined Underdevelopment: Discipline and the Law in Imperial and Soviet Russia», American Historical Review 98 (1993). P.338-353.

26. Здесь я в первую очередь имею в виду концепцию Мартина Малиа (Martin Malia, The Soviet Tragedy); но также можно сослаться на следующий влиятельный труд: Геллер М., Некрич А. Утопия у власти: В 2 кн. М., 1996; опубликовано также на английском языке: Mikhail Heller and Aleksandr Nekrich, Utopia in Power (New York: Summit, 1986).

27. Комментарии М.Гейера о формах тотальной мобилизации, практиковавшихся в Германии, весьма полезны и для понимания ситуации в России: Michael Geyer, «German Strategy in the Age of Machine Warfare, 1914-1945», Makers of Modern Strategy, ed. Peter Paret (Princeton, N.J., 1986).

28. Материалы наблюдения за настроениями политико-промышленных кругов можно найти в работе Б.Б.Граве «Буржуазия накануне Февральской революции» (М.; Л., 1927); см. также документы о настроениях в политических, думских, оппозиционных, революционных и городских кругах в начале 1917 г.: В январе и феврале 1917: Из донесений секретных агентов Протопова // Былое. 1918. № 13, кн.7. С.91-123. В декабре 1915 г. департамент полиции выпустил циркуляр с распоряжением всем местным жандармским отделениям составлять донесения об «организациях правого толка»; в циркуляре также указывалось, какую именно информацию надлежало предоставлять; см. Кирьянов Ю.К. Местные организации правых партий в России накануне

февраля 1917 // Отечественные архивы. 1995. № 6. С.52-59; а также: Переписка правых и другие материалы об их деятельности в 1914-1917 // Вопросы истории. 1996. № 1. С.113-115. По вопросу о надзоре царского правительства за земскими кругами и уфимского проекта создания сети изб-читален см. готовящуюся к защите докторскую диссертацию: Charles Steinwedel, «The Local Politics of Empire: State, Religion and National Identity in Ufa Province, 1865-1917» (Columbia University). В своей рукописи «Making Peasants Backwards» Яни Котсонис (Yanni Kotsonis) показывает, как агрономы старались превратить «темную массу» деревенских жителей в просвещенных граждан.

29. О данном периоде российской истории и проводившихся тогда мероприятиях см. следующие работы: Bernard Pares, *The Fall of the Russian Monarchy* (New York, 1939); W. Bruce Lincoln, *Passage through Armageddon: The Russians in War and Revolution* (New York, 1986); Lewis Siegelbaum, *The Politics of Industrial Mobilization in Russia, 1914-17* (New York, 1983). Об отражении таких взглядов в военной прессе см.: Кривцов Е. Книга и газета на войне // Военный сборник. 1915. № 11. С.85-92. Автор призывает армию признать необходимость опоры на информированных, преданных делу граждан-воинов; он подчеркивает, что «газета необходима современной армии не менее, чем приказ полководца... Роль непрерывной посредницы между народом и армией может играть только газета» (С.86). Подобные высказывания долгое время приписывали только идеологам Красной Армии; очевидно, однако, что они восходят к более раннему периоду.

30. О циркуляре министра внутренних дел за номером 976 и об образцах докладов, поступавших из Москвы и Петербурга, см.: Покровский М.Н. Политическое положение России накануне Февральской революции в жандармском освещении // Красный архив. 1926. № 17. С.3-35; и Анфимов А.М. Царская охранка о политическом положении в стране в конце 1916 г. // Исторический архив. 1960. № 1. С.203-209. Стандартная анкета, предназначенная для использования чиновниками, и полный набор ежемесячных докладов, направлявшихся из Уфимской губернии, находятся в Центральном государственном историческом архиве республики Башкортостан - ф.87, оп.1, д.551, лл.12-13, 28, 90-91, 95, 99; ф.554 данного архива содержит доклады, готовившиеся на уездном уровне, - материалы, на основе которых составлялись губернские доклады. (Я хотел бы поблагодарить моего коллегу Чарльза Стайнведела за то великодушие, с которым он поделился со мной собранными в Уфе материалами). Таким образом, Юбертус Ян прав, когда он пишет, что, «конечно же, во время первой мировой войны в России не проводилось никаких опросов общественного мнения»; как и другим странам, России предстояло заняться такими опросами лишь через несколько десятков лет. - Hubertus Jahn, *Patriotic Culture in Russia during World War I* (Ithaca, N.Y., 1995). P.4-5. Однако, когда автор утверждает, что «крайне мало известно о патриотических убеждениях русской деревни», он прав лишь в том, что информация об этих убеждениях не публиковалась. Режим, тем не менее, интересовался убеждениями крестьянства и оставил после себя значительное количество связанных с этим материалов. Как ни странно, Измозик также не обращает должного внимания на этот важный момент.

31. Оценочно-статистическое бюро Костромской губернской управы // Война и Костромская деревня (по данным анкеты статистического отделения). Кострома, 1915.

32. Анкеты, распространявшиеся в русской армии и направленные на получение информации о «поведении евреев в армии» и об «отношении еврейского населения к войне», были опубликованы вместе с другими материалами как «Документы о преследовании евреев»: Архив русской революции. Т.19. 1928. С.253, 259, 263-265. Немецкая армия проводила аналогичные опросы в расположении частей, где служили лица еврейской национальности; об этом см.: Werner Angress, «The German Army's "Juden-zählung" of 1916: Genesis-Consequences-Significance», Leo Baeck Institute Yearbook 23 (1978). P.117-137. Доклады более общего характера о «настроении» войск, составлявшиеся в русской армии в 1916-1917 гг., см.: Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне: В 2 т. Париж, 1939. Т.1. С.229-230, 232-236; и Революционное движение в армии и на флоте в годы первой мировой войны / Под ред. А.Л. Сидорова. М., 1966. С.170-172, 290-292.

33. О «Временном уставе военной цензуры» см.: Авербах О.И. Законодательные акты, вызванные войной 1914 года. Вильна, 1915. С.17-39. Относительно истории отделений военной цензуры см.: Давидян И., Козлов В. Частные письма эпохи гражданской войны. С.200-202; Протасов Л.Г. Важный источник по истории революционного движения в царской армии перед Февральской революцией // Источниковедческие работы / Под ред. Л.Г.Протасова и др. Тамбов, 1970. Т.1. С.3-18; Вахрушева Н.А. Солдатские письма и цензорские отчеты как исторический источник // Октябрь в Поволжье и Приуралье / Под ред. И.М.Ионенко. Казань, 1972. С.67-89. См. также комментарии относительно военной цензуры, содержащиеся в мемуарах М. Лемке: Лемке М. 250 дней в царской ставке. Спб., 1920; а также Alfred Knox, With the Russian Army, 2 vols. (New York, 1921).

34. Революционное движение в армии и на флоте в годы первой мировой войны. С.292.

35. Лемке М. 250 дней в царской ставке. С.405, 436-437, 442.

36. Там же. С.545. См. также: Революционное движение в армии и на флоте в годы первой мировой войны. С.296-297, 309. Костромское земство также стремилось количественно исследовать настроения деревни с помощью статистических категорий: составители отчетов сообщали, что 44% ответов свидетельствовали о настроении, которое характеризовалось ими как «угнетенное» или содержащее взгляд на войну как на бедствие; 39% классифицировались как «воодушевленные» или «уверенные»; а 17% считались «безразличными» или «равнодушными» (Война и Костромская деревня. С.66-77).

37. Безусловно, своим интересом к тому, как первая мировая война влияла на использовавшиеся в России методы и формы самовыражения, я обязан следующей работе: Paul Fussell, The Great War and Modern Memory (New York, 1975). О применении отпечатанных типографским способом писем и открыток (в Англии это были «карты полевой почты для открытых писем»), сводивших возможности самовыражения отправителей до нескольких бодрых

официальных формулировок, см.: Paul Fussell, *The Great War and Modern Memory*. P.183-186. О сходных мерах, практиковавшихся в России в период первой мировой войны, см.: Евдокимов Л.В. Народное солдатское письмо // Военный сборник. 1914. № 3. С.149-164; в этой работе автор приводит также немецкие, французские и итальянские образцы. См. также: Hubertus Jahn, *Patriotic Culture in Russia during World War I*. P.47-48. О советских фронтовых открытках периода второй мировой войны см.: Забочень М. Столетие открыток // Источник. 1995. № 6. С.54-60.

38. Протасов Л.Г. Важный источник по истории революционного движения в царской армии перед Февральской революцией. С.8-9.

39. Революционное движение в армии и на флоте в годы первой мировой войны. С.281.

40. Примеры политических отчетов и отчетов о дезертирстве, составлявшихся в середине 20-х годов, см.: РГВА, ф.25896, оп.2, д.11, лл.1-11, 41-43, 47-48, 94-95, 132-133, 145, 149; военные отчеты середины 1919 - начала 1920 гг. см.: РГВА, ф.192, оп.2, д.385, лл.2, 11, 17, 27-28, 38.

41. Государственный архив Ростовской области (далее ГАРО), ф.Р-97, оп.1, д.772, лл.19-21 (курсив оригинала). Стандартную форму регулярных отчетов ЧК в конце 1918 г. можно найти в труде: Забвению не подлежит / Под ред. Л.П.Гордеевой, В.А.Казакова и В.В.Смирнова. Нижний Новгород, 1994. Т.2. С.158-160.

42. РГВА, ф.25896, оп.2, д.11, лл.46, 98 (пояснительные записки Северокавказского военного округа к сводкам от 25 июня - 10 июля и от 10 - 25 июля 1920 г.).

43. Хотя большинство ученых относят возникновение советской системы оповещения о настроениях населения к моменту ее институционализации в рамках таких значительных учреждений, как ЧК или ОГПУ (см., к примеру: Nicolas Werth, *Une source inédite: Les svodki de la Tcheka-OGPU*. P.18; Marcus Wehner, «*“Die Lage vor Ort ist unbefriedigend“: Die Informationsberichte des sowjetischen Geheimdienstes zur Lage der russischen Bauern (1921-1927)*». P.69), первые крупномасштабные мероприятия советского режима в области надзора за населением были проведены военными. Осенью 1918 г. политические отделы военных частей (на фронтах) и военных комиссариатов (на остальной территории республики) начали составление регулярных донесений о настроениях населения. Еще более важен для нас тот факт, что тогда же статистический отдел Советского инспекционного управления под руководством М.С.Кедрова разработал систему категорий, которые впоследствии использовались для классификации общественных настроений. Именно эта дескриптивная координатная сетка стала основой всех будущих отчетов о настроениях населения. См.: Молоцыгин М.А. Рабоче-крестьянский союз. М., 1987. С.36-37. Лишь позже функции надзора за настроениями населения были переданы в исключительное ведение советских государственных органов безопасности, которые в 1922 году получили указание создать секретные бюро «в каждом государственном, общественном, кооперативном и частном учреждении или предприятии»; см.: Хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист // Старая площадь: Вестник. 1996. № 1. С.115-119.

44. Историки часто рассматривают первую мировую войну лишь в качестве катализатора революции; однако сегодня ряд исследователей обратился к изучению вопроса о том, насколько война изменила настроения людей и различные виды их практической деятельности; см. следующие работы: Alessandro Stanziani, «Spécialistes, bureaucrates et paysans: Les approvisionnements agricoles pendant la Première Guerre Mondiale, 1914-1917», Cahiers du Monde russe 36 (1995). P.71-94; Alessandro Stanziani, «Rationalité économique et rationalisation de la production en Russie, 1892-1930», Annales: Histoire, Sciences sociales, №1 (1996). P.215-239; Andrea Graziosi, «G.L.Piatakov (1890-1937): A Mirror of Soviet History», Harvard Ukrainian Studies 16, №1/2 (1992). P.102-166; Mark von Hagen, «The Great War and the Emergence of Modern Ukraine», Empire, Nations, Regions: Political Order and Change in the Former Soviet Space, ed. Richard Barnett (готовится к публикации); Ronald G. Suny, «Nation-Making, Nation-Breaking and the End of Empire: New Perspectives on the Events of 1915» (работа, представленная для Четвертых ежегодных Армянских чтений в честь дня Вардананца в Библиотеке Национального Конгресса США в Вашингтоне 1 мая 1996 г.).

45. Об уроках, почерпнутых советским режимом из эпохи первой мировой войны в области «политической работы», см.: Блюменталь Ф. Буржуазная политработа в мировую войну 1914-1919 гг.: Обработка общественного мнения. М., 1928; Денисов С., Ржезников В. Политическая обработка солдат в буржуазных армиях: Наши западные соседи. М.;Л., 1929; Алиакритский Ю., Лемешевский С. Пропаганда в армиях империалистов. М., 1931; Верховский А. Пропаганда как боевое средство в империалистической войне 1914-1918 // Военный вестник. 1924. № 43. С.5-9; Ю. Т. Культурно-просветительская работа в польской армии // Армия и революция. 1925. № 2. С.72-75 (о мероприятиях Польского легиона в годы первой мировой войны). О концепции государственного управления экономикой - концепции, основанной на принципах Kriegswirtschaft, - см.: Биншток Г. Вопросы продовольственного снабжения в военном хозяйстве Германии. М., 1918; Букшпан Я.М. Военно-хозяйственная политика: Формы и органы регулирования народного хозяйства за время мировой войны, 1914-1918. М., 1929; Хмельницкая Е. Военная экономика Германии 1914-1918: Опыт теории анализа воен. хозяйства. М.; Л., 1929. Первое русское издание труда Дж. Кейнса «Экономические последствия мира» (John Maynard Keynes, Economic Consequences of the Peace) появилось тогда же, в 1922 году, когда вышел перевод воспоминаний П.Гинденбурга; второе переводное издание труда Кейнса появилось в 1924 году. Это - лишь некоторые опубликованные в Советской России работы (как оригинальные, так и переводные), посвященные анализу различных вопросов «по опыту мировой войны».

46. Впервые факт существования бесчисленного множества различных белогвардейских органов, занимавшихся контрразведкой и надзором за населением, был выявлен Питером Кенезом: Peter Kenez, The Civil War in South Russia, 1919-1920: The Defeat of the Whites (Berkeley, 1977). P.65-78; относительно деятельности этих органов см. также работы: Viktor Bortnevskii, «White Intelligence and Counter-intelligence during the Russian Civil War», Carl Beck Papers, №1108 (1995) и осуществленные В.Бортневским публикации докумен-

тов: К истории осведомительной организации «Азбука» // Русское Прошлое. 1993. № 4. С.160-193; Из документов белогвардейской контрразведки: Секретная сводка о работе Харьковского освага // Русское Прошлое. 1991. № 2. С.339-347; Из документов белогвардейской контрразведки 1919 г. // Русское Прошлое. 1991. № 1. С.150-172.

47. Антисоветское Донское правительство создало свой собственный орган надзора за населением - Донское осведомительное отделение - в мае 1918 г. (см. ниже), в то время как советский режим занялся составлением регулярных донесений о настроениях населения только в конце лета 1918 г. О местном антисоветском движении, спонтанно сформировавшем свой собственный «политический отдел» для «осведомления» населения о целях и характере движения, см.: ГАРО, ф.856, оп.1, д.73, л.3 (резолюция №5 Усть-Медведицкого совета вольных хуторов и станиц от 17 мая 1918 г.).

48. О склонности к воспитательному воздействию на население в последний период существования Российской Империи и в советский период см.: Peter Holquist, «Conduct Merciless Mass Terror: Decossackization on the Don, 1919», Cahiers du Monde russe 38, №1-2 (1997). P.103-138. Станциани (Stanziani, «Rationalité économique») отмечает аналогичные настроения среди специалистов-аграрников. Об особенностях этой формы политики нового времени см.: Keith Michael Baker, «Introduction», «Representation», The Political Culture of the Old Regime, ed. Keith Michael Baker (New York, 1986). P.XI-XXIV, 469-492.

49. Донской край, 14 мая 1918 г. Такое стремление было практически всеобщим. Один из чиновников ОСВАГа (осведомительного агентства), пропагандистского отдела антисоветского правительства Деникина, описывал задачи ОСВАГа следующим образом: «Работу информационного отдела можно подразделить на две главные составляющие части: информацию “вверх” (начальству) и информацию “вниз” (в население). Первая часть работы заключается в составлении сводок о всех проявлениях местной политической и общественной жизни и отсылке их высшей инстанции». - Из документов ОСВАГа. С.341-342.

50. ГАРО, ф.861, оп.1, д.107, лл.52-62, 77, 80 («доклад о работе Донского осведомительного отдела, апрель-август 1919 г.»).

51. См.: Дроздов Ал. Интеллигенция на Дону // Архив русской революции. 1921. № 2. С.45-58; Роз-в. Белая печать на Юге России // Былое. 1925. № 34. С.206-221; а также ГАРО, ф.861, оп.1, д.107, л.55 («доклад о работе ДОО»). О сходной деятельности ОСВАГа см.: Из документов ОСВАГа. С.342-343. Важно подчеркнуть, что «цензура» не просто должна была предотвращать «заражение» населения вредной информацией; цензура в равной мере стремилась обеспечить людей полезной информацией, необходимой для их политического развития. Относительно активного, конструктивного аспекта цензуры в советский период см.: Stephen Kotkin, Magnetic Mountain. P.226, 358. Я, разумеется, считаю, что такой взгляд на цензуру разделяли не только большевики.

52. При белых Каменская станица располагала двумя избами-читальнями, одна из которых была организована ДОО, а другая - ОСВАГом (Вечернее время [Ростов], 8 августа 1919 г.; Донецкая жизнь [Калединск-б. Миллерово], 15 ноября 1919 г.).

53. Кенез в своей работе (Peter Kenez, *The Birth of the Propaganda State*. P.137-142) рассматривает избы-читальни как исключительно большевистский феномен. Но и агитационные поезда, которые Кенез характеризует как «необычное и, тем не менее, типично большевистское средство» (р.58), использовались незадолго перед началом войны в качестве орудия «агрономического просвещения» темных масс (см. работу Яни Котсониса - Yanni Kotsonis, *Making Peasants Backwards*).

54. О культурно-просветительной работе в Красной Армии см.: Mark von Hagen, *Soldiers in the Proletarian Dictatorship* (Ithaca, N.Y., 1990); Краткий очерк культурно-просветительной работы в Красной Армии за 1918 год. М., 1919. Относительно сходных мероприятий в среде белых см.: Peter Kenez, *The Civil War in South Russia, 1919-1920*. P.75-78 (мероприятия эти характеризуются, однако, лишь как «пропаганда»); Из документов ОСВАГа. С.344-345. По вопросу о том, отражает ли термин «пропаганда» истинное значение предпринимавшихся усилий, см. работу Моссе: George Mosse, *Nationalisation of the Masses*. P.10-11.

55. РГВА, ф.39456, оп.1, д.60, располагает достаточно полным комплектом ежедневных сводок ДОО за июнь-август 1918 г. В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), ф.452, оп.1, д.14, собран достаточно полный комплект ежедневных сводок ДОО середины 1919 г.; ГАРО, ф.861, оп.1, д.107, располагает почти полным комплектом таких сводок конца 1919 г.

56. Врангелевский военный архив - Wrangel Military Archive, Hoover Institution, box 38, folder 18 (сводка № 118 Харьковского отделения разведотдела Вооруженных сил Юга России за август 1919 г.).

57. ГАРФ. Ф.452, оп.1, д.14, л.5 (сводка ДОО за №31 от 1 июля 1919 г.). Относительно сходных донесений см.: ГАРФ, ф.452, оп.1, д.32, л.9 (агитационная сводка № 6 донского отделения ОСВАГа от 22 июня 1919 г.); Донские ведомости, 18 июня 1919 г.; ГАРФ, ф.452, оп.1, д.14, лл.19, 26 (сводки ДОО: № 41 от 12 июля 1919 г. и № 44 от 16 июля 1919 г.); ГАРФ, ф.452, оп.1, д.19, л.21 (сводка № 89 6-го управления ДОО от 18 сентября 1919 г.); Донские ведомости, 19 октября 1919 г.; ГАРО, ф.861, оп.1, д.107, л.89 (сводка ДОО за № 281 от 24 декабря 1919 г.).

58. РГВА, ф.39456, оп.1, д.60, л.7; схож с вышеприведенным донесением и л.14.

59. ГАРФ, ф.452, оп.1, д.32, л.18 (агитационная сводка № 7 донского отделения ОСВАГа от 29 июня 1919 г.); Донские ведомости, 20 июня 1919 г.; ГАРО, ф.861, оп.1, д.107, л.115 (сводка ДОО за №314 от 2 января 1920 г.). Выше уже упоминалось, что во время первой мировой войны солдатам было известно о том, что их переписку перехватывают и читают. А из писем советских граждан следует, что многие (но, безусловно, не все) осознавали, что за ними ведется «наблюдение»; об этом см.: Vladlen Izmozik, *Voices from the Twenties*. P.303-304.

60. Такой довод изначально несостоятелен потому, что для надзора за населением не требовалось абсолютно никаких технических новшеств. Для этого нужны только бюрократ, соответствующий бланк и картотечный ящик - та же самая технология, которой почти четыреста лет тому назад пользовалась

лютеранская церковь для наблюдения за своими прихожанами. Важнее было то, что надзор за настроениями населения был организован в новых политических и социальных условиях, когда каждый гражданин превращался в агента и действия каждого были значимы. Джеллейтли подчеркивает, что тоталитаризм отличался от своих предшественников не технологиями, а способностью добиваться от населения участия в своих мероприятиях и пробуждать в человеке «индивидуальный Gleichschaltung» (Robert Gellately, *Enforcing Racial Policy in Nazi Germany*. P.45, 51). Это означает, что тоталитаризм обязан своим происхождением не каким-либо техническим преобразованиям, а изменениям в целях и ориентации людей.

61. Jean Tulard, «Le “cabinet noir“ de Napoleon», *L’Histoire* 32 (1991). P.81-83. О надзоре за населением, составлении отчетов и полицейских методах охраны порядка при Наполеоне I и Наполеоне III см.: E.K. Bramstedt, *Dictatorship and Political Police* (1945; 2nd ed. - London, 1976). P.16-23, 38-47. Примечательна работа Монаса (Sidney Monas, *The Third Section*), где николаевская практика надзора рассматривается в более широком европейском контексте.

62. Allen Sekula, *The Body and the Archive*, *October* 39 (1986). P.3-64, особ. P.34-35. На смену системе Бертильона («бертильонажу») пришла система Дальтона, основанная на идентификации людей и каталогизации соответствующих данных по отпечаткам пальцев, а не по фотографиям. См. Allen Sekula, *The Body and the Archive*; Carlo Ginzburg, «Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method», *History Workshop*, 9 (1980). P.5-36.

63. Richard Bessel, *Germany after the First World War* (Oxford, 1993). P.45; об интересе официальных властей к содержанию писем см.: Wilhelm Deist, ed., *Militär und Innenpolitik im Weltkrieg, 1914-1918*, 2 vols. (Düsseldorf, 1970). Vol.1. P.295-297. О немецкой цензуре и *Feldpostbriefe* (письмах, направлявшихся по полевой почте) см.: Bernd Ulrich, «*Feldpostbriefe im Ersten Weltkrieg: Bedeutung und Zensur*», *Kriegsalltag: Die Rekonstruktion des Kriegsalltags als Aufgabe der historischen Forschung*, ed. Peter Knoch (Stuttgart, 1989). P.40-75; «“Eine wahre Pest in der öffentlichen Meinung“: Zur Rolle von Feldpostbriefen während des Ersten Weltkrieges und der Nachkriegszeit», *Lernen aus dem Krieg? Deutsche Nachkriegszeiten, 1918 und 1945*, ed. Gottfried Niedhart and Dieter Riesenberger (München, 1992). P.319-330; Peter Knoch, «*Erleben und Nacherleben: Das Kriegererlebnis im Augenzeugenbericht und im Geschichtsunterricht*», «*Keiner fühlt sich hier mehr als Mensch...*»: *Erlebnis und Wirkung des Ersten Weltkrieg*, ed. Gerhard Hirshfeld et al. (Essen, 1993). P.199-219; об использовании полевой почты в общественных целях см.: Manfred Hettling and Michael Jeismann, «*Der Weltkrieg als Epos: Philipp Witkops “Kriegsbriefe gefallener Studenten“*», «*Keiner fühlt sich hier mehr als Mensch...*». P.175-198.

64. Этот пример приводится в работе: Herbert Michaelis, ed., *Ursachen und Folgen: Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands*. Vol.2. *Der militärische Zusammenbruch und das Ende des Kaiserreichs* (Berlin, б.г.). P.300-304. О сходных донесениях периода второй мировой войны см.: O.Buchbender and R.Sterz, eds., *Das Andere Gesicht des Krieges: Deutsche Feldpostbriefe, 1939-1945* (München, 1982). P.16-24.

65. Jean-Jacques Becker, *The Great War and the French People* (Dover, N.H., 1985). P.217-218. См. также: P.J.Flood, *France, 1914-1918: Public Opinion and the War Effort* (New York, 1990). P.147-200; J.N.Jeanneney, «Les archives des commissions de contrôle postale aux armées (1916-1918)», *Revue histoire moderne et contemporaine* 15 (1968). P.209-233; David Englander, «The French Soldier, 1914-1918», *French History* 1 (1987). P.49-67. Я считаю, что перевод термина «*opinion publique*» как «общественное мнение» не слишком удачен, поскольку французский термин охватывает ту же сферу и те же методики, которые относились к ведению русских и немецких отделений почтовой цензуры, а позже - к ведению определенных отделов ОГПУ и соответствующих нацистских органов.

66. Jean-Jacques Becker, *The Great War and the French People*. P.236.

67. Paul Fussell, *The Great War and Modern Memory*. P.47, 87, 175, 181-183.

68. Nicholas Hiley, «Counter-Espionage and Security in Great Britain during the First World War», *English Historical Review* 101 (1986). P.635-670; указанные цифры приводятся на С.640.

69. John Terraine, *Impacts of War, 1914 and 1918* (London, 1970). P.170-176.

70. Jean-Jacques Becker, «Voilà le glas de nos gars qui sonne...», 1914-1918: *L'autre front*, ed. Patrick Fridenson (Paris, 1977); см. также: Jean-Jacques Becker, *The Great War and the French People*. P.125-131; и P.J.Flood, *France, 1914-1918*. P.7-34.

71. Jean-Jacques Becker, *The Great War and the French People*. P.132-133, 195, 226.

72. Ibid. P.236.

73. David Englander, «Military Intelligence and the Defense of the Realm: The Surveillance of Soldiers and Civilians in Britain during the First World War», *Bulletin of the Society for the Study of Labor History* 52 (1987). P.24-32; приведенные цитаты содержатся на С.24, 28. Статья эта очень информативна, но Инглендер, как и многие другие, рассматривает донесения разведки исключительно как «богатейший источник по социальной истории Британии», утверждая, что такие донесения «крайне мало говорят нам о том, как принимались решения на самых высоких уровнях» (С.31). Я хотел бы возразить, что уже само стремление к составлению таких донесений способно многое рассказать нам о том, как в то время стали понимать задачи государственного управления. См. также: Nicholas Hiley, «Counter-Espionage and Security in Great Britain». P.656; Nicholas Hiley, «British Internal Security in Wartime: The Rise and Fall of P.M.S.2, 1915-1917», *Intelligence and National Security* 1 (1986). P.395-415.

74. John Williams, *The Other Battleground* (Chicago, 1972). P.258.

75. О развитии системы политического надзора в Германии см.: Wolfram Siemann, «Deutschlands Ruhe, Sicherheit und Ordnung». P.428-430; Richard Evans, ed., *Kneipengespräche im Kaiserreich: Stimmungsberichte des Hamburger Politischen Polizei, 1892-1914* (Reinbek bei Hamburg, 1989).

76. В.Дейст - Wilhelm Deist, ed., *Militar und Innenpolitik im Weltkrieg, 1914-1918*. Vol.1. P.378-379 - описывает источники этих донесений; примеры донесений - Vol.1. P.378-382, 402-406. См. также: Wilhelm Deist, «Censorship and

Propaganda in Germany during the First World War», Les sociétés européennes et la guerre de 1914-1918, ed. Jean-Jacques Becker and Stéphane Audoin-Rouzeau (Paris, 1990); Jürgen Kocka, Facing Total War: German Society, 1914-1918 (Warwickshire, 1984). P.121-123, 241.

77. Общие аспекты данной темы освещены в следующих работах: Michael Geyer, «German Strategy in the Age of Machine Warfare, 1914-1945»; и Wilhelm Deist, «Censorship and Propaganda in Germany during the First World War». O Aufklärungstätigkeit и последующем Vaterländischer Unterricht, см.: Max Schwarte, ed., Der Grosse Krieg, vol.10, Die Organisationen für das geistige Leben im Heere (Leipzig, 1923). P.356-359, 386-389; а также Wilhelm Deist, ed., Militär und Innenpolitik. Vol.1. P.328-338; Vol.2. P.816-824, 835-837, 841-846, 961-966. Советские работы Ф.Блюменталя, а также Ю.Алиакритского и С.Лемешевско-го содержат пространные сноски на труд М.Шварте.

78. О просветительной работе в Красной Армии см.: Mark von Hagen, Soldiers in the Proletarian Dictatorship.

79. Я не одинок в этом мнении. См., например, недавние работы, посвященные России: Alessandro Stanziani, Spécialistes, bureaucrates et paysans: Les approvisionnements agricoles pendant la Première Guerre Mondiale, 1914-1917; Alessandro Stanziani, Rationalité économique et rationalisation de la production en Russie, 1892-1930; Andrea Graziosi, G.L.Piatakov (1890-1937): A Mirror of Soviet History; Mark von Hagen, The Great War and the Emergence of Modern Ukraine; Ronald G. Suny, Nation-Making, Nation-Breaking and the End of Empire: New Perspectives on the Events of 1915. Исследование данной проблемы в обще-европейском контексте представлено в следующих работах: Paul Fussell, The Great War and Modern Memory; Anton Kaes, The Cold Gaze: Notes on Mobilization and Modernity; Omer Bartov, Murder in Our Midst; Arno Mayer, The Persistence of the Old Regime (New York, 1981); Charles Maier, Recasting Bourgeois Europe (Princeton, N.J., 1975); Modris Eksteins, Rites of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age (Boston, 1989); Michael Geyer, «The Militarization of Europe, 1914-1945», The Militarization of the Western World, ed. John Gillis (New Brunswick, N.J., 1989).

80. См.: Michael Geyer, The Militarization of Europe, 1914-1945. Такое стремление и соответствующие ему мероприятия во многом имеют место и сегодня (можно предположить, что проведение опросов общественного мнения является результатом дальнейшей разработки принципов надзора за настроениями населения). Однако отличительной чертой существовавших в межвоенный период «государств национальной безопасности» являлось то, что осуществление подобных мер было почти полностью сосредоточено в руках государства.

81. Anton Kaes, The Cold Gaze: Notes on Mobilization and Modernity. P.115.

82. Ian Kershaw, Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich (London, 1983); David Bankier, The Germans and the Final Solution: Public Opinion under the Nazis (Cambridge, Mass., 1992). О надзоре за населением, организованном нацистами, и об очень любопытных его параллелях с советскими мероприятиями подобного плана см. вступление и подборку докумен-

тов в работе: Heinz Boberach, ed., *Meldungen aus dem Reich: Auswahl aus den geheimen Lageberichten des Sicherheitsdienstes der SS, 1939-1944* (München, 1968); а также: Arthur Smith, «Life in Wartime Germany: Colonel Ohlendorf's Opinion Service», *Public Opinion Quarterly* 36 (Spring 1972). P.1-7; Lawrence Stokes, «Otto Ohlendorf, the SD and Public Opinion in Nazi Germany», George Mosse, ed., *Police Forces in History*. Любопытно то, что нацисты почерпнули идею создания секретной службы по изучению общественного мнения не из опыта советского ОГПУ, а из в высшей степени странного прочтения английской шпионской литературы начала века (Lawrence Stokes, «Otto Ohlendorf, the SD and Public Opinion in Nazi Germany. P.242)!

83. По вопросу значения, содержания и важности Feldpostbriefe (почтовых отправлений военно-полевой почты) существует обширная и развернутая литература. По периоду первой мировой войны см.: Richard Bessel, *Germany after the First World War*; Bernd Ulrich, *Feldpostbriefe im Ersten Weltkrieg: Bedeutung und Zensur*; Bernd Ulrich, *Eine wahre Pest in der öffentlichen Meinung*; Peter Knoch, *Erleben und Nacherleben: Das Kriegserlebnis im Augenzeugenbericht und im Geschichtsunterricht*; Manfred Hettling and Michael Jeismann, *Der Weltkrieg als Epos: Philipp Witkops «Kriegsbriefe gefallener Studenten»*. Ряд интересных мыслей по поводу отразившейся в солдатских письмах эволюции отношения немецких солдат к Востоку и его населению в период первой и второй мировых войн содержится в работе: Klaus Latzel, «Tourismus und Gewalt: Kriegswahrnehmungen in Feldpostbriefen», *Vernichtungskrieg: Verbrechen der Wehrmacht, 1941-1944*, ed. Hannes Heer and Klaus Naumann (Hamburg, 1995). О полевой почте в годы второй мировой войны см.: O.Buchbender and R.Sterz, eds., *Das Andere Gesicht des Krieges: Deutsche Feldpostbriefe, 1939-1945*; Detlef Vogel, «Der Kriegsalltag im Spiegel von Feldpostbriefen, 1939-1945», *Der Krieg des kleinen Mannes*, ed. Wolfram Wette (München-Zurich, 1992); Klaus Latzel, «“Freie Bahn dem Tüchtigen“ - Kriegserfahrung und Perspektiven für Nachkriegszeit in Feldpostbriefen aus dem Zweiten Weltkrieg», *Lernen aus dem Krieg? Deutsche Nachkriegszeiten, 1918 und 1945*, ed. Gottfried Niedhart and Dieter Riesenberger; Alf Lütke, «German Workers and the Limits of Resistance», *Journal of Modern History* 64, suppl. (1992). P.S46-S67.

84. См.: Pierre Laborie, *L'opinion française sous Vichy* (Paris, 1990); Michael Marrus and Robert Paxton, *Vichy and the Jews* (New York, 1981). P.181, 393; John Sweets, *Choices in Vichy France* (New York, 1994). P.147-169.

85. Alan Brownjohn, «A Mosaic of War in Radio Sound: Mass-Observation and Other Memories», *Times Literary Supplement* (May 5, 1995). P.18. Обобщающие работы по истории организации «Массовое наблюдение»: Angus Calder, *The Myth of the Blitz* (London, 1991); Penny Summerfield, «Mass-Observation: Social Research or Social Movement?», *Journal of Contemporary History* 20 (1985). P.439-452; Ian McLaine, *Ministry of Morale* (London, 1979). Сами британские чиновники недвусмысленно характеризовали подобную практику как «тоталитарную», но, тем не менее, ею пользовались; см.: Temple Willcox, «Projection

or Publicity? Rival Concepts in the Pre-War Planning of the British Ministry of Information», *Journal of Contemporary History* 18 (1983). P.97-116; цитата на С.103.

86. Лаборье (Pierre Laborie, *L'opinion française sous Vichy*. P.52) отмечал, что первые «прощупывания» общественного мнения были предприняты Французским институтом общественного мнения (IFOP) в конце 30-х годов; основное внимание тогда было сосредоточено на отношении к мюнхенским договоренностям. Вскоре после этого и был создан Отдел методов контроля.

87. Меры по надзору за населением, осуществлявшиеся в межвоенный период, были тесно связаны с изменениями концепций ведения войны. Поскольку военные теоретики пришли к выводу, что военно-воздушные силы должны быть направлены не столько против экономических, сколько против психологических ресурсов противника, правительства ощущали все большую потребность в информации о психологическом состоянии своего населения - с тем, чтобы быть готовыми к ожидаемому нападению. См. Nicholas Rose, *Governing the Soul* (London, 1990); Ian McLaine, *Ministry of Morale*; Peter Fritzsche, «Machine Dreams», *American Historical Review* 98 (1993). P.685-709; Phillip S. Meilinger, «Trenchard and "Morale Bombing"», *Journal of Military History* 60 (1996). P.243-270; Klaus Meier, «Total War and German Air Doctrine before the Second World War», *The German Military in the Age of Total War*, ed. Wilhelm Deist (Dover, N.H., 1985).

88. Michael Geyer, *The Militarization of Europe, 1914-1945*. P.81.

89. Об особенностях социалистической трансформации общества и его отдельных членов см.: Stephen Kotkin, *Magnetic Mountain*; Katerina Clark, *Petersburg: Crucible of Cultural Revolution*; Boris Groys, *The Total Art of Stalinism*; Martin Malia, *The Soviet Tragedy*.

90. Victoria Bonnell, «The Representation of Women in Early Soviet Political Art», *Russian Review* 50 (1991). P.267-288; Victoria Bonnell, «The Peasant Woman in Stalinist Political Art of the 1930s», *American Historical Review* 98 (1993). P.55-82.

91. См.: Igal Halfin, «From Darkness to Light: Student Communist Autobiographies in the 1920s», *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 45, no.2 (1997).

92. См.: Lars Lih, *Bread and Authority in Russia, 1914-1921* (Berkeley and Los Angeles, 1990). Относительно Германии см.: Gerald Feldman, *Army, Industry and Labor in Germany, 1914-1918* (Princeton, N.J., 1966).

93. См.: Peter Holquist, «A Russian Vendée: The Practice of Politics in the Don Countryside» (Ph.D. diss., Columbia University, 1995), chap.6. Такой в высшей степени идеологизированный подход имел место не только в годы гражданской войны или в период коллективизации. Он также окрашивал и считающийся менее идеологизированным, более прагматичным период нэпа, когда политика по-прежнему строилась на постулате о классовом характере деревни и была направлена на построение социализма. См.: D'Ann Penner, «Pride, Power and Pitchforks: A Study of Farmer-Party Interaction on the Don, 1920-1928» (Ph.D. diss., University of California, Berkeley, 1995). И Коткин, и Малиа

(Stephen Kotkin, *Magnetic Mountain*; Martin Malia, *The Soviet Tragedy*) подчеркивают идеологический характер настойчиво проводившейся советским государством антикапиталистической политики.

94. Чтобы в этом убедиться, достаточно выборочно просмотреть материалы Смоленского архива, WKР 166, среди которых хранятся сотни выдержек из основанных на надзоре за настроениями населения донесений ОГПУ, посланных секретарю Краснинского областного комитета партии с тем, чтобы он мог затем принять соответствующие практические меры. На многих документах сделаны рукописные пометки о мерах, принятых в ответ на содержащуюся там информацию. Согласно Измозику (Vladlen Izmozik, *Voices from the Twenties*. P.288), выдержки практически из 70-90% всех писем, подвергавшихся перлюстрации в 20-е годы, переправлялись в различные советские органы для принятия дальнейших мер. На практический характер надзора за населением указывает также и тот факт, что перед центральными и местными секретными политотделами ОГПУ, учрежденными в 1931 году и переданными позже НКВД, были поставлены две задачи, которые, по мнению режима, были взаимосвязаны: борьба с контрреволюционными элементами и сбор информации о политических настроениях всех слоев общества (Хаустов В. *Демократия под надзором НКВД*. С.281).

95. На всем протяжении 20-х годов для перевоспитания тех, кто не поддавался другим методам трансформации, режим прибегал в основном к «исправительно-трудовым лагерям». К 30-м годам, после заявления о том, что классовая борьба окончена и что коммунизм уже почти на пороге, человеческая неподатливость уже не могла быть отнесена за счет среды, и все чаще и чаще людей просто считали неисправимыми, следовательно, их физическое устранение было единственно возможным решением проблемы. Подтверждением этому может служить тот факт, что за два года (1937-1938), прошедших после провозглашения классовой борьбы завершённой, было вынесено и приведено в исполнение 86% всех смертных приговоров, приведенных в исполнение за период 1929-1952 гг. (J. Arch Getty, Gabor Rittersporn, and Viktor Zemskov, «Victims of the Soviet Penal System in the Pre-War Years: A First Approach on the Basis of the Archival Evidence», *American Historical Review* 98 [1993]. P. 1023). 15 тысяч польских офицеров были расстреляны в катынском лесу, как гласила сама формулировка приказа о проведении массовых казней, «исходя из того факта, что все они являются закоренелыми и неисправимыми врагами советской власти». Согласно этой логике, поскольку их невозможно было перевоспитать, единственным разрешением проблемы могло стать только их убийство. См. подборку документов в журнале «Вопросы истории» (1993. № 1. С.3-22; цитата взята со С.18).

96. Ian Kershaw, «“Normality“ and Genocide: The Problem of “Historicization“», *Reevaluating the Third Reich*. P.28.

97. Подробнее об этом см.: Zygmunt Bauman, *Modernity and the Holocaust*. Chap.3; Omer Bartov, *Murder in Our Midst*. P.105-106.

УСТОЙЧИВЫЕ ФАКТОРЫ РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ: ПОПЫТКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

Обращение к теме преемственности в российской внешней политике равносильно вступлению на минное поле исторической мифологии. Идея «русской угрозы» все еще лежит в основе многих попыток осмыслить советские отношения с внешним миром [1]. Древняя, но достаточно потрепанная родословная этой идеи уходит корнями в историю (стоит лишь вспомнить подложное «Завещание» Петра Первого) и несет на себе отпечаток еще более ранней традиции [2]. Существующие теории о неограниченной экспансии России придают легитимность идеологии холодной войны. Несмотря на то, что в среде научного сообщества вновь и вновь раздаются критические голоса, данные теории оставили неизгладимый след в общественном сознании и публичном дискурсе. Влияние их время от времени проявляется даже в работах, претендующих на серьезное исследование корней советской внешней политики. Они вошли в культуру так глубоко, что приобрели масштабы исторических мифов.

Три мифа

Корни идеологии холодной войны на Западе переплелись с более старой антирусской традицией. Их разительный рост и развитие в современную эпоху были вызваны резкой реакцией на последнюю фазу имперской политики царского дома в конце XIX - начале XX веков.

* © Рибер Альфред, 2001

** Автор выражает благодарность Национальному центру исследований в области советской и восточно-европейской истории (National Council for Soviet and East European Research).

Целый ряд событий способствовал усилению российского соперничества с другими державами, в частности, с Великобританией, Германией, Японией и Соединенными Штатами, которые питали свои имперские амбиции в смежных регионах. В ряду таких событий - предконфликтная ситуация с Великобританией из-за размежевания русско-афганской границы, российское вторжение в Корею и Маньчжурию после восстания боксеров, проникновение в Иран, приведшее к русско-британскому договору о разделе сфер влияния в 1907 году; проникновение во Внешнюю (Северную) Монголию и усиление панславистской пропаганды на Балканах. Природа российской экспансии стала предметом научного и полемического дискурса, который по способу аргументации опирался на доминировавшие тогда парадигмы научной теории общества: социал-дарвинизм, марксизм и географический детерминизм. Опираясь на существовавший ранее страх перед стремлением России к мировому господству и тесно переплетаясь с ним, эти три аналитических подхода породили три концепции, три мифа о российской экспансии. Первый из этих мифов - о тяге России к портам на теплых морях или о «стремлении к морю»; второй вырос из восприятия России как формы восточного или азиатского деспотизма, или, как вариант, - патриархального государства; третий же является попыткой возродить в новой форме русский мессианизм, квазирелигиозную веру в избранность русского народа. Жизнестойкость каждого из этих мифов можно объяснить тем, что каждый из них опирается на стройную и интеллектуально привлекательную теоретическую базу; тем более, что все три мифа объединяет детерминистский подход, который был так по душе политической элите Европы и Америки в конце XIX века.

Идея стремления России к морю зародилась под влиянием работ знаменитых немецких географов и путешественников Александра фон Гумбольдта, Карла Риттера и Фридриха Ратцеля, предпринявших попытку поставить географию на более фундаментальную научную основу. Это трио мощных мыслителей, сочетая скрупулезные эмпирические наблюдения с компаративным подходом, пыталось создать целостную физико-историческую систему. Все трое были одержимы идеей проверить на практике свои теоретические выводы на примере азиатских границ России. В частности, в работах Ратцеля проявилась его склонность пускаться в спекулятивные рассуждения, которые подвели его опасно близко к некой форме географического детерминизма. Его исследования по влиянию географических факторов - пространства и границ - на историческое развитие влекли за собой отождествление роста государства с развитием живого организма. Втроем

эти господа не только заложили фундамент современной географии, но и произвели на свет ее вспльчивого потомка - геополитику. Их влияние на русскую и западную мысль, одинаково глубокое, различалось в одной частности. Русский эпигон считал внутреннюю эволюцию государства и общества результатом влияния географического фактора - колонизации и захвата великой Евразийской равнины; западные интерпретаторы придерживались более радикальной точки зрения [3].

Англо-американская школа переработала идеи немецких мыслителей о пространстве, границах и органическом росте государства в новые теории международных отношений. Ведущие представители этой школы, такие как Эллен Черчилль Семпл, Хэлфорд Маккиндер и Альфред Мэйхен, были основателями современной геополитики. Они писали на рубеже веков, в период последней фазы экспансии Российской Империи в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Они были убеждены, что являются свидетелями момента, когда Россия делает ставку на глобальную гегемонию. По их мнению, контроль над сердцем Евразии обеспечит Россию природными ресурсами и стратегическим положением, необходимым для начала борьбы за гегемонию. Их взгляды впоследствии унаследовали как государственные деятели, так и публицисты.

Эллен Семпл, ученица Ратцеля, сочетала принципы социал-дарвинизма и геодетерминизма, чтобы доказать исконную тягу России к Индийскому океану. Мэйхен и Маккиндер еще дальше развили географическую дихотомию между доминирующими континентальными державами Евразии, которые они чаще всего отождествляли с Россией, и крупными морскими державами, такими как Великобритания и Соединенные Штаты. В их геополитических теориях сквозило молчаливое убеждение, что континентальные державы по сути своей являются деспотическими, а морские державы, основанные на коммерческой конкуренции, - по определению демократичны. Те же взгляды, немного переработанные, но достаточно узнаваемые, получили широкое распространение в ходе послевоенных дебатов о советской внешней политике (в особенности в работах таких высокопоставленных политических советников, как Исая Бауман и Джордж Кеннан), и стали неотъемлемой частью политики сдерживания [4].

Второй миф, миф о восточном деспотизме, является порождением социальной доктрины Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Они рассматривали Россию как деспотическое государство, существовавшее со времен монгольского нашествия, которое уничтожило явные различия между общественной и частной собственностью и обрекло кре-

стьянское население на полуазиатские условия существования в разрозненных и экономически застойных сельских общинах. Поэтому шансы добиться социальных перемен путем классовой борьбы были невелики. Абсолютная власть, сконцентрированная в руках одного правителя или деспота, позволяла ему стремиться к мировому господству как к естественному продолжению своего внутривосточного господства. Маркс и Энгельс характеризовали русское правительство как азиатскую деспотию, как лидера европейской реакции, способного гарантировать свою власть внутри страны исключительно посредством организованной в международном масштабе контрреволюции [5].

Теория восточного деспотизма оставила глубокий след в мышлении и немецких социал-демократов, и русских большевиков. Во время июльского кризиса 1914 года консервативное немецкое правительство и правое крыло социал-демократической партии сознательно играли на антирусских чувствах, которые, благодаря Марксу и Энгельсу, давно пустили корни в сознании немецкого рабочего класса, и пытались таким образом сломить сопротивление, оказываемое мобилизации и голосованию за военные кредиты [6]. Марксистская теория азиатского деспотизма создала также колоссальные трудности для русских социал-демократов, пытавшихся приложить марксистскую теорию к полуазиатскому обществу.

Владимир Ленин и Лев Троцкий разрабатывали свою революционную стратегию с учетом «отсталого» или «полуазиатского» характера русского общества, которое состояло из немногочисленного рабочего класса, «слабой и трусливой буржуазии» и неисчислимой крестьянской массы. Они доказывали, что буржуазно-демократическую революцию в России способен осуществить только рабочий класс, но что ее развитие в направлении радикальных демократических перемен невозможно в силу сопротивления со стороны консервативного крестьянства с его мелкобуржуазным сознанием. Однако победа русской революции возвестит гибель наиболее авторитарного контрреволюционного государства в Европе и вызовет долгожданную пролетарскую революцию на Западе. После победы западный пролетариат, располагающий мощной индустриальной базой, придет на помощь своим русским товарищам и поможет сломить сопротивление крестьянства для дальнейшего рывка к решительному социалистическому переустройству общества. По их мнению, перманентный революционный процесс, толчок которому даст Россия, охватит затем всю планету.

Когда же практика не подтвердила теорию и русская революция не смогла выплеснуться за старые границы царской империи, перед советскими лидерами встала дилемма. Они не могли отказаться от идеи

мировой революции, не утратив при этом своей политической легитимности. Они также не могли активно «подталкивать» мировую революцию: при той слабой материальной базе и социальной поддержке, которыми располагали тогда большевики, они лишь поставили бы под угрозу свой и без того сомнительный контроль над государственной властью. Попытки же наскоро состряпать приемлемое решение путем «одомашнивания» советской внешней политики (то есть путем подчинения III Интернационала советским интересам) были встречены за рубежом с глубоким скептицизмом.

Придя к власти под знаменем марксистского интернационализма, большевики так и не смогли развеять созданный самим Марксом миф о том, что Россия стремится к мировому господству, даже сменив образ «жандарма Европы» на образ «лидера мировой революции». Для остального мира политика большевиков - отчасти по вине их собственной революционной стратегии - воспринималась скорее как логическое развитие имперской внешней политики, чем как разрыв с ней.

Миф о патриархальном государстве был логическим завершением мифа о восточном деспотизме. Их объединяла одна логика: слаборазвитая частная собственность требовала концентрации политической власти, что, в свою очередь, порождало потребность в безостановочной экспансии. В создание этого мифа внес свой вклад и Макс Вебер, ясно показав, каким образом русская бюрократия превратилась во всемогущий аппарат государственной власти. Развивая эту идею, американские ученые, как, например, Ричард Пайпс, связали воедино патриархальный тип российского государства и внешнеполитические цели мирового господства [7].

Третий миф - о русском мессианизме - связывает византийское наследие цезарепализма, то есть совмещения светской и церковной власти в руках царя, с идеей Третьего Рима и позднее с панславизмом. Впервые интерпретация Русской Православной церкви как цезарепапистской была предложена немецкими и английскими учеными в конце XIX века. Затем, перед первой мировой войной, чешский философ и государственный деятель Томаш Масарик в своей необыкновенно влиятельной работе объединил идею цезарепализма с мифом о Третьем Риме. На той же закваске сформировалась и мысль Николая Бердяева, который поставил знак равенства между некоторыми аспектами русского религиозного сознания - идеей Третьего Рима - и Третьим Интернационалом [8].

Панславизм был другим пугалом, которое часто пускали в ход Маркс и Энгельс; благодаря их пламенным обличениям панславизма миф о стремлении России к мировому господству стал неотъемлемой

частью сознания немецких социал-демократов. Эту идею подхватили и ученые-эмигранты, занимавшиеся изучением России, такие как Ганс Кон, который, подобно своему соотечественнику Масарику, противопоставлял «гуманистическое славянофильство» западных славян (чехов) всемирно-политическим целям русских панславистов. Арнольд Тойнби развивал тему связи между цезарепапизмом и тоталитаризмом после второй мировой войны, однако он старался не подчеркивать чрезмерно взаимосвязь тоталитаризма в Советской России с ее стремлением к мировому господству. Этот, более радикальный вывод, сделали в своих работах эмигранты из Центральной Европы - Карл Дж. Фридрих, Ханна Арендт, Збигнев Бжезинский, приравнивавшие тоталитарную власть Советского государства внутри страны к намерению распространить такую власть на весь остальной мир [9].

Одной из самых притягательных сторон всех трех теорий является то, что они пытаются предложить свои объяснения тому явлению, которого никто не смог бы отрицать: постоянству некоторых черт русской и советской истории. Как могли бы согласиться многие историки, наиболее значительными примерами такого исторического постоянства являются:

1. Продолжительный процесс колонизации и завоеваний, в результате которых территория маленького Московского княжества XV века расширилась до одной шестой части земной суши в XIX веке.

2. Удивительная жизнестойкость России как великой державы, просуществовавшей со времен Петра Великого до сегодняшнего дня в то время, как другие современные ей империи теряли свои владения и выбывали из рядов сильных мира сего.

3. Концентрация политической власти, а значит и инструмента ведения внешней политики, в руках небольшого числа людей, часто даже одного мужчины или одной женщины, будь то Петр, Екатерина или Иосиф Сталин, что закономерно ведет к выводу об отсутствии институтов, способных ограничить экспансию этой власти во внутриполитическом или в международном масштабе. Однако когда исторически конкретные мотивы правителей стали предметом скрупулезного изучения, не было найдено ни одного серьезного доказательства, говорящего об их стремлении к мировому господству.

Эти три теории мировой экспансии - односторонние, детерминистские, предельно упрощающие реальность - равно антиисторичны. Все они построены на том, что одно-единственное событие - монгольское нашествие или принятие православно-византийской версии христианства, или даже само появление славян на великой Евразийской равнине - задавало определенный порядок вещей, на который не в силах

было сколько-нибудь заметно повлиять ни одно из последующих событий. Однако ни одна из этих теорий не предложила удовлетворительного объяснения, почему именно эти судьбоносные события выделяются в ряду всех прочих как качественно особые, то есть необратимые и не подверженные воздействию времени на протяжении нескольких веков. Таким образом, поиск объяснения исторической преемственности в российской внешней политике по-прежнему остается открытым вопросом; и если мы отвергаем поиск изначальных географических, культурных или политических первопричин, то какое иное объяснение может быть предложено?

Устойчивые факторы

Альтернативный подход состоит в том, чтобы выявить те специфические именно для России устойчивые факторы, которые на протяжении длительного времени определяли спектр возможностей и сетку ограничений во взаимоотношениях правящей элиты и народных масс России с другими государствами и народами. Прилагательное «устойчивый», в отличие от «постоянный», предполагает, что эти факторы не являются ни безличными, ни неизменными. В качестве основополагающих для понимания истоков и эволюции российской и советской внешней политики представляется возможным выделить четыре таких фактора:

1. Относительная экономическая отсталость по сравнению с Западной Европой и позднее с Соединенными Штатами Америки и Японией.
2. Уязвимые границы на всем протяжении державы.
3. Поликультурное общество и государство, состоящее из этно-территориальных блоков.
4. Маргинальный характер культуры.

В отличие от трех перечисленных выше мифов, эти устойчивые факторы - каждый в отдельности или в совокупности с другими - не подразумевают предрешенного развития ситуации, они не исключают возможности выбора. Они также не предполагают наличия какой-либо четкой системы ценностей или институтов, которая в определенный исторический момент под давлением внешних причин прекращает свое существование. Общим для всех этих факторов является конкретный аспект, который удачнее всего можно обозначить как геокультурный, поскольку эти факторы относятся к тем областям человеческой деятельности - взаимодействию с окружающей средой, сфере вза-

имоотношений и ценностей, которые медленно изменяются с течением времени и не так легко поддаются воздействию политической власти, какой бы всемогущей она себя не считала.

Экономическая отсталость. На протяжении всей своей долгой истории Россия - Московская, имперская или советская - часто, хотя и не всегда оказывалась позади других ведущих держав по определенным демографическим, экономическим и технологическим показателям, которые в международной практике принято считать мерилom могущества, положения и влиятельности. С XVII века (мы не располагаем более ранними статистическими данными) обширная территория страны была малонаселенной. Такой важный показатель активности городской жизни и торговых взаимоотношений, как плотность населения, в России даже в XX веке был намного ниже, чем в других державах, а за пределами европейской части России это отставание сохраняется и по сегодняшний день. Во времена Петра I, о которых мы можем судить по статистическим данным, а не по догадкам ученых, на европейской части России проживало около 13 миллионов населения, что составляло в среднем 3,7 человека на квадратный километр. Почти два столетия спустя, в 1897 году, когда была проведена первая перепись населения современного образца, плотность населения увеличилась до 17 человек на квадратный километр. Соответствующие данные по Западной и Центральной Европе резко отличались от российских. Еще в XIV веке Франция достигла показателя 40 человек на квадратный километр. В 1740 году плотность населения Пруссии была выше, чем соответствующий показатель по европейской части России в 1897 году. К концу XIX века плотность населения Франции и Австро-Венгрии превышала плотность населения европейской России в четыре раза; Германия опережала Россию по этому показателю более, чем в пять раз, а Великобритания - более, чем в семь раз [10]. С самого раннего периода существования Московского государства дальние расстояния и относительно редкое население создавали большие трудности для транспортного сообщения и крайне усложняли задачу защиты границ [11].

Вплоть до 40-х годов XX века подавляющая часть населения России была сельской, однако продовольственное обеспечение было недостаточным для того, чтобы накормить население или создать резервные фонды. Урожайность в России конца XIX века была самой низкой в Европе, ниже, чем даже в Сербии, а сбор зерновых с одного акра земли вполнину уступал Франции, Германии и Австрии [12]. На протяжении советского периода показатели урожайности колеба-

лись, но к окончанию эпохи хрущевских реформ (конец 1950-х - начало 1960-х годов) валовой сбор советской пшеницы составлял чуть более 50 % валового сбора пшеницы в США и был равен валовому сбору в США в конце 1930-х годов, не самых лучших лет для американского сельского хозяйства.

С первых дней существования централизованного Московского государства зоны, богатые природными ресурсами, как правило, располагались на периферии сферы влияния государства, в наименее населенных районах. Это и побуждало выйти за пределы своего относительно небогатого природными дарами региона и в погоне за экономической выгодой продвигаться на соседние территории: на восток вдоль Волги (в Казанское ханство) и на юг в украинское «Дикое поле» - ради плодородной земли; за «Камень» (Урал), а затем к Тихому океану и Аляске - ради пушнины; на юго-запад вдоль Волги к Каспийскому морю - ради соли и рыбы; на Алтай - ради драгоценных металлов; к югу, вдоль Дона - ради добычи угля и железной руды. Все эти перемещения привели к образованию целой серии пересекающихся «фронтиров». За переселением людей в другие районы не стояло никакой руководящей идеи, да и государство не всегда оказывало им организованную поддержку. Государству не принадлежала монополия на захват новых земель. На протяжении всей истории русской экспансии в поисках богатств, земель и новых ресурсов стихийная колонизация и систематическая государственная политика подменяли друг друга, сочетались, а иногда и соперничали [13].

Однако, как демонстрирует опыт Испании XVI века, одного обладания новыми ресурсами недостаточно. Необходимо также организовать переработку сырья и торговлю им. И Россия, подобно Испании (даже если по каким-то другим причинам) оказалась неспособной справиться с этой задачей. Слаборазвитые города, изолированное положение в мировой торговле и относительная технологическая отсталость - вот те трудности, с которыми пришлось столкнуться России при попытке наверстать экономическое отставание. Большинство российских правителей, начиная с Ивана Грозного и до конца царского режима (если не до более позднего времени), осознавали, сколь серьезны будут последствия, если преодолеть технологический разрыв так и не удастся. (Технологию здесь следует понимать не только как технические новшества, но и как систему организации производства). Главное назначение решительной внешней политики, направленной на то, чтобы «догнать» более развитые страны, состояло в стремлении получить от них - через торговлю или путем непосредственной передачи технологий - отвечающее современным требованиям техни-

ческое оборудование и организационные навыки. Основными сопутствующими задачами внутренней политики были развитие и поддержка институциональных и социальных структур, необходимых для внедрения этих новшеств, чтобы в конечном счете сделать инновации самогенерирующими и самообновляющимися. Насколько успешны были попытки государства в обеих сферах, можно судить по тому факту, что Россия смогла приобрести статус великой державы и сохранить его с конца XVIII века до сегодняшнего времени. О неудачах же можно судить по тому обстоятельству, что в конце XX века руководство страны все еще решает проблему экономической отсталости, пусть даже в ином ее проявлении.

С XVI по XX столетия основная проблема, с которой правителям России приходилось иметь дело в борьбе за преодоление отсталости, состояла в особом геокультурном положении страны. Доступ к главнейшим артериям мировой торговли для России оставался до совсем недавнего прошлого ненадежным и непостоянным. До петровского прорыва к Балтийскому морю русское торговое дело страдало от в высшей степени неблагоприятного географического расположения государства. Согласно удачному образу, предложенному Фернаном Броделем, «русский перешеек» Европы был равно удален от двух центров мировой торговли, расцветших на заре нового времени: Средиземноморья, которое Бродель называет «источником процветания», и Атлантики [14]. На протяжении всего московского и имперского периодов правители России стремились создать «внутренний коридор» из рек, протекающих на севере и на юге страны, укрепить свои позиции на берегах двух внутренних морей, связанных водными путями с центром страны, а также получить доступ от внутренних морей к внешним океанам и обеспечить защиту балтийского и черноморского побережья от нападений с моря. Но два узких водных пространства - Датские проливы и контролируемые Турцией проливы Босфор и Дарданеллы, которые могли бы завершить эту систему, - постоянно ускользали из-под контроля России.

Даже после того как внутренние водные пути оказались под властью России, их полноценное использование было ограничено значительными расстояниями, сезонным замерзанием воды, нерегулярной навигацией и нежеланием консервативного купечества пускаться в рискованные предприятия, связанные с долгами и изнурительными путешествиями. Мечте Ивана IV о торговом посредничестве между Северной Европой и Восточной Индией путем захвата волжского бассейна никогда не суждено было осуществиться. На водный путь из Москвы до Астрахани уходило сорок дней, а чтобы добраться из Ас-

трахани до Ормузского пролива, требовалось еще два с половиной месяца - через Каспийское море, затем сушей через Персию. Для сравнения: единственной альтернативой был водный путь из Западной Европы в Индию вокруг южной оконечности Африки, мыса Доброй Надежды. Кроме того, налеты кочевников и разбойничьих судов на российских реках и соперничество между Османской империей и Ираном за побережье Каспия нередко мешали торговле, а путь из России в Индию делали небезопасным предприятием. В целях самозащиты и снижения риска купцы формировали огромные, медлительные и дорогостоящие торговые флотилии, насчитывавшие до пятисот кораблей. Торговые отношения с Ираном были нормализованы только век спустя после завоевания Россией Астрахани. Тем не менее, Петр I считал необходимым послать военную экспедицию против Ирана с целью укрепить свои позиции на южных берегах Каспийского моря, что должно было раз и навсегда сделать дорогу в Индию безопасной. Его преемники решили, что русские владения на южном берегу Каспия слишком далеки, и оставили их. Так близко и так далеко: России так никогда и не удалось использовать географическую близость к «сказочным сокровищам Востока» с выгодой для себя [15].

Завоевание Петром балтийского побережья на другом конце «внутреннего коридора» не разрешило проблемы торговли с Западом. Путь из внутренних губерний, поставляющих основные товары российского экспорта, к портам Санкт-Петербурга, Риги и Ревеля был длинным и изматывающим. Перевозимые навалом товары, такие как зерно, железную руду, древесину и корабельные припасы, дешевле всего было доставлять по воде. Однако внутренний речной коридор был «открыт» не на всем протяжении. Например, плавание по Онежскому озеру было рискованным из-за противных ветров и течений, таких же опасных, как и в открытом море. Следовательно, нужно было строить каналы. С присущей ему энергией Петр начал строительство трех больших водных систем, которые должны были соединить Москву и внутренние губернии с Петербургом: Вышневолоцкой, Мариинской и Тихвинской. Выполнение его строительных планов потребовало ста лет.

В то же время для улучшения сухопутных перевозок предпринималось слишком мало усилий. Строительство первой шоссейной дороги между Москвой и Петербургом началось в 1817 году, а завершилось в 1834 году. Слаборазвитый внутренний рынок, что объяснялось застойной крепостной экономикой, неблагоприятными природными условиями в центральной России, где местность пересекалась болотами, лощинами и мелкими речками, а также недостатком дорожно-строительных материалов, усугублял ужасающе низкий уровень развития

российской дорожной системы. К 1870 году в европейской части России было построено всего лишь 10 000 км шоссейных дорог; для сравнения, во Франции того времени их протяженность составляла 261 000 км [16].

Строительство железных дорог улучшило положение России по отношению к мировым рынкам, однако не помогло преодолеть относительную отсталость страны на международной арене. Изначально высокая стоимость строительства, недостаточный инвестиционный капитал и огромная протяженность дорог, нуждающихся в оснащении, задерживали создание железнодорожной сети в масштабах страны и серьезно снижали конкурентоспособность России в мировой торговле. В 1890 году, спустя полвека после начала строительства железных дорог, по их протяженности в милях Россия стояла на пятом месте после США, Германии, Франции и Великобритании; Индия и Канада быстро догоняли ее, а в Латинской Америке протяженность железных дорог уже вдвое превысила достигнутый Россией уровень [17].

Слаборазвитая российская коммерческая инфраструктура, в свою очередь, затрудняла развитие внешней торговли как стимула экономического развития. В силу того, что национальная валюта России, а позже Советского Союза была неконвертируемой, страна получала меньше чистого дохода с фиксированного объема продаж, чем другие страны. Рубль служил международной единицей обмена лишь краткое время - с 1890-х до 1917 года. Только в период правления С.Ю.Витте российское правительство создало широкую сеть иностранных консульств; то была политическая линия, продолженная Советской властью. Тем не менее, при царском режиме слабое развитие торговли и ксенофобия бюрократии привели к тому, что большая часть внешней торговли оставалась в руках иностранцев. Установленная советским правительством государственная монополия внешней торговли лишь незначительно поправила положение. От конвертируемости рубля пришлось отказаться, а система международных цен создала новые проблемы. Развитие внешней торговли при советском правительстве, впрочем как и при предыдущих правителях, в значительной степени зависело от иностранных кредитов, на вероятность получения которых влияло любое изменение политического климата [18].

Надежды на получение зарубежных технологий и экономической помощи как дополнения внешней торговли или альтернативы ей постоянно ставили перед российским правительством сложную дилемму. С одной стороны, иностранная помощь будила тревожные предчувствия зависимости России от других держав и (что не менее важно во внешней политике) она заставляла усомниться в фундаментальных ценностях русской культуры при сопоставлении их с культурой эко-

номически более развитых стран. Ответная реакция российских или советских лидеров не всегда была однотипной, но они нередко давали отпор попыткам зарубежных держав увязать решение вопросов торговли и поставки технологий с теми или иными политическими уступками. В середине XVIII века Англия пыталась использовать свою фактически монопольную позицию в российской торговле и предоставление российскому правительству крупных займов на содержание армии как средство для управления русской внешней политикой [19]. Это была одна из первых попыток зарубежной державы использовать экономическую отсталость России в своих целях. Во второй половине XIX века настала очередь Франции. Несколько русских правителей, начиная с Александра II, стремились избегать политических соглашений с Францией в обмен на необходимый для строительства железных дорог капитал и технический опыт. В большинстве случаев им это удавалось, но лишь до рубежа веков, когда, чтобы обеспечить себе жизненно необходимые ссуды на экономическое развитие, им пришлось пойти навстречу требованиям Франции и построить стратегически важные пути в направлении восточных границ Германии [20].

С другой стороны, вторжение иностранных специалистов в сферу русской культуры вызывало резко негативную реакцию защитников национальных традиций. Физическое присутствие иностранцев было необходимо потому, что заимствованные технологии после внедрения в производство зачастую не становились самокупаемыми и эффективными. Найм иностранных специалистов был одновременно и самым простым, и довольно недорогим способом приобрести технические и научные знания. Но для многих русских сам факт заимствований с Запада воспринимался как подрыв главных культурных ценностей. Появление иностранцев на престижных должностях вызывало серьезное недовольство среди тех групп населения, которым было что терять. В царской России это были церковные иерархи и купечество; в Советской России - партия и «красные спецы». Со времен Московского царства и вплоть до сталинской эпохи использование иностранных специалистов, книг и идей нередко оказывалось под угрозой из-за погромов в сфере культуры. Так, сразу же после наполеоновских войн была развернута мощная антизападная кампания, которая привела к радикальной чистке рядов западных специалистов и их русских последователей в университетах, школах и государственных учреждениях [21]. Век спустя, в эпоху Сталина, в ходе двух политических судебных процессов над техническими специалистами («шахтинского дела» и «дела Промпартии») обвинения в промышленном вредительстве были предъявлены группе немецких технических работни-

ков и большому числу советских инженеров, получивших образование на Западе и поддерживавших контакты с зарубежными коллегами. Одним из существенных аспектов обвинения было то, что советские инженеры перенимали американские методы рационализации производства и лелеяли технократические надежды [22].

Попытки советского государства преодолеть технологический разрыв в постсталинский период путем восстановления международных связей, через торговлю и передачу технологий, по сей день не увенчались успехом. В отличие от технологий 1930-х годов, технологии 1980-х уже не могут быть переданы путем обычного приобретения индустриального артефакта, будь то механический инструмент или сложная деталь оборудования. Сложность современных технологий настолько велика, что конечный продукт более не может сам по себе раскрыть секретов производственного процесса, результатом которого он является [23]. Для государства и технической интеллигенции становится все труднее и труднее поддерживать современную систему вооружений в условиях экономического кризиса и периода реформирования. Узловой проблемой является уже не внедрение технических новшеств, а, как и во второй половине XIX века, преимущественно проблема производства. Уже в 1960-х годах советские экономисты-реформаторы пришли к осознанию того, что весь парк оборудования в сфере государственной экономики нуждается в основательной реконструкции. В Советском Союзе любили говорить о научно-технической революции, но было мало свидетельств того, что она воплощается в жизнь. Рассчитывать на то, что обновление технологий произойдет быстро, не приходилось [24]. В то же время фундаментальные экономические перемены требовали соответствующих крупномасштабных перемен в обществе, и современная бурная внутривнутриполитическая борьба началась именно вокруг вопроса о том, как их проводить.

В данном контексте запутанная связь между «перестройкой» во внутренней политике и «новым политическим мышлением» в политике внешней не так уж нова, а скорее традиционна для России, и все то, что мы сейчас наблюдаем, является, может быть, лишь несколько драматичным и внезапным проявлением этой связи. Когда в годы перестройки было принято решение стимулировать крупный приток в страну западного капитала, технологий и организационных принципов, необходимо было столь же кардинально изменить советскую внешнюю политику, вплоть до вывода войск из Афганистана и фактического отказа от Восточной Европы как защитного буфера.

Уязвимые границы. Второй устойчивый фактор - уязвимые или «пористые» границы по всему периметру державы - создавал серьезные проблемы и для внутренней стабильности государства, и для внешней безопасности. Хотя первоначальные владения Московского княжества претерпели колоссальное расширение (прерываемое иногда судорожными сжатиями), контроль центра над периферией все же оставался ненадежным. В первые века существования державы своеобразие процессов завоевания и колонизации часто приводило к неопределенности границ. С одной стороны, границы были уязвимы для внешних вторжений. С другой стороны, это обстоятельство облегчало беглым крепостным и прочим смутьянам задачу бегства за рубеж. По мере продвижения от центра к периферии государственная власть ослабевала. Первой и важнейшей из стоявших перед ней проблем были дальние расстояния и трудности передвижения по бездорожью, будь то северная тайга, густые леса на западе или южные степи. Вторая проблема состояла в том, что из-за низкой плотности населения в приграничных районах там было трудно организовать оборону границ и сформировать административные и экономические центры. Третья проблема - в том, что характер хозяйственной деятельности покоренных народов Сибири и степей, большей частью кочевников или полукочевников, затруднял установление четких пограничных линий. И, наконец, этническое разнообразие земель, лежащих за пределами регионов первоначального расселения великороссов, сталкивало государство с угрозой нестабильности в приграничных регионах - зонах «фронта».

Концепция «зон фронта», впервые разработанная Оуэном Латимором на материале Внутренней Азии, с определенными оговорками может быть применена и ко всей периферии российского, а позже и советского государства (табл. 1). Фронтиры создавались в результате приливов и отливов цивилизаций на великой Евразийской равнине. После завоевания Россией Казани, Астрахани и огромных пространств сибирской тайги российские рубежи невозможно было четко обозначить на карте [25]. С ходом времени они неоднократно изменялись. Более того, в чем и состояла их уникальность, они не служили разграничительными рубежами между различными этническими группами. В отличие от границ между большинством европейских и восточно-азиатских государств, приграничные зоны на периферии Российского государства были населены народами, этнически отличающимися от политически доминирующей национальности: от русских с одной стороны границы, и от китайцев, иранцев, турок или немцев - с другой. Таким образом, Российское государство опоясыва-

ли бесчисленные фронтиры. По мере приближения к отдаленным окраинам империи русское население заметно сокращалось, часто в результате смешения с другими этническими группами, что в результате создавало этнический фронтир. Кроме того, через районы расселения нерусских народов на периферии империи (монголов, уйгур, таджиков, азербайджанцев, армян, молдаван, украинцев, белорусов и финнов) проходил еще один, на этот раз политический фронтир. Большую часть нового времени эти народы не имели своей государственности, были разделены и находились под властью нескольких держав. И наконец, ситуация дублировалась по ту сторону границы. Еще один этнический фронтир начинался там, где народы пограничья смешивались с этническим большинством соседнего государства, например, с китайцами, персами, турками-османами, поляками (впоследствии немцами) и шведами. Такие многоярусные фронтиры создавали неограниченные возможности для миграций, побегов, смены государственного подданства и локальных военных конфликтов [26].

Таблица 1

**Этнические зоны фронтира
Европейская модель**

	<i>смешанные</i>	
французы	французы и немцы	немцы

Евразийская модель

	<i>смешанные</i>		<i>смешанные</i>	
русские	русские и монголы	монголы	китайцы и монголы	китайцы
	русские и уйгуры	уйгуры	китайцы и уйгуры	китайцы
	русские и азербайджанцы	азербайджанцы	турки и азербайджанцы	турки
	русские и украинцы	украинцы	поляки и украинцы	поляки
	русские и финны	финны	шведы и финны	шведы
	и т.д.		и т.д.	

Даже до образования Московского централизованного государства в конце XV - начале XVI веков у русских княжеств не было твердых демаркационных линий ни в физической, ни в политической географии. Несмотря на все завоевания последующих пятисот лет, коренного изменения ситуации не произошло. В течение XVI-XVII ве-

ков «пористая» южная граница была особенно уязвима как для вражеских набегов, так и для оттока населения из центра страны. Особенности социально-экономического уклада жизни крымских татар - отчасти оседлых земледельцев, отчасти воинственных кочевников - создавали постоянную угрозу безопасности пограничных городов и крепостей [27]. В географическом плане длинные степные полосы («шляхи»), врезавшиеся в лесные массивы, создавали естественные тропы для татарских набегов на московские земли. Столетие спустя после разграбления Москвы в 1571 году, татары все еще представляли страшную угрозу для Слободской Украины. Несмотря на то, что государство с возрастающим рвением строило оборонительные линии («черты») и крепости, что должно было побудить или даже заставить людей заселять новые земли, современные ученые в большинстве своем считают, что «раздвинуть пределы» России в равной степени помогли процессы бегства, переселения и вооруженных вылазок за рубежи российских владений. Иными словами, и без того неопределенные официальные границы, разделявшие русских и татар, постоянно нарушались с обеих сторон. Переселенцы и искатели приключений с севера могли принадлежать к самым разным социальным группам: это были крестьяне, монашествующие, казаки, представители финно-угорских народностей (марийцы, мордва), наконец, ватаги охотников и рыбаков, уходившие по суше, вниз по Волге и дальше за «Камень», в Сибирь [28].

Государственные власти питали двойственное отношение к этой стихийной, «ползучей» экспансии. С одной стороны, они опасались как оттока рабочей силы, недостаток которой в центральных сельскохозяйственных районах ощущался уже в XVI веке, так и ухода налогоплательщиков, что было жизненно важно для обеспечения хотя бы минимальных хозяйственных излишков в экономически отсталой стране. С другой стороны, присутствие русского населения за официальными границами государства предоставляло властям хорошие экономические причины и политический повод, чтобы последовать за переселенцами. В случае русского империализма флаг не следовал за купцом, а преследовал беглых. Уязвимые границы на западе и юго-западе давали крестьянам и тяглым людям возможность бегства от непосильного бремени государственных повинностей. Вопрос о беглых стоял на повестке дня с середины XVI века и вплоть до окончательного установления крепостного права в 1649 году. Беглецы не обязательно были крестьянами, ушедшими от жестокой экономической эксплуатации со стороны землевладельцев; это могли быть также дезертиры и перебежчики из числа служилых людей или религиозные

диссиденты, бежавшие, чтобы избежать кары или уйти от своих обязательств перед государством. На Дону и в Запорожье беглецы сформировали хорошо организованные, самоуправляющиеся военизированные сообщества, которым не хватило совсем немногого, чтобы их признали самостоятельными государствами. Возникнув однажды, качество стало надежной гаванью для последующих волн беглецов. Донские казаки даже имели право предоставления убежища беглым. Российские правители от Петра I до Екатерины II пытались пресечь бегство путем оказания давления на гетманов, однако эта тактика оправдала себя лишь отчасти [29]. Спустя много лет после того как пограничные земли перешли под непосредственное управление централизованного государства, историческая память о былых «вольностях» живет и сегодня, запечатленная в фольклоре и народном сознании.

Неоднозначное отношение государства к внутренней миграции в направлении отдаленных окраин сохранялось и в более поздний период существования империи. Лишь в 1880-е годы государство законодательно разрешило переселение крестьян в Сибирь. Миграция значительного числа населения в Приморье развернулась только в последние годы перед революцией. К тому времени опасение утратить контроль над крестьянством уступило место страху перед японской экспансией в Северной Азии и осознанию необходимости укреплять славянское влияние в малонаселенной зоне фронта [30].

Когда центральная власть ослабевала или терпела крушение, как после революции 1917 года или в начале второй мировой войны, историческая память о былой автономии и свободе воскресала у населения фронтиров с удивительной силой. Их лояльность по отношению к российскому государству разлеталась в прах, несмотря на долгие века подчинения центральной власти и отсутствия собственной государственности. Ответом государства на такие кризисы в зонах фронта становилось обращение к политике депортации «неблагонадежных элементов». Страдали не только реальные, но и надуманные враги. Сразу после начала первой мировой войны правительство приказало депортировать евреев (которые якобы представляли собой угрозу российской безопасности) с западных приграничных земель [31]. Когда советские войска после заключения пакта Молотова-Риббентропа оккупировали Восточную Польшу, они организовали депортацию полумиллиона человек, в большинстве своем поляков, во внутренние области СССР. Советская оккупация Бессарабии сопровождалась депортацией около трехсот тысяч социально нежелательных элементов. Позднее, столкнувшись с некоторыми, довольно противоречивыми, свидетельствами нелояльности со стороны нерусского на-

селения западных и южных окраин Советского Союза, Сталин депортировал сотни тысяч крымских татар и народов Северного Кавказа (чеченцев, ингушей и других) [32].

В течение десятилетия между 1938 и 1948 годами как нацисты, так и советское правительство предпринимали попытки очистить зоны фронта, разделяющие немцев и русских, от населения, которое они считали потенциально враждебным (а нацисты - расово нежелательным). Сталин намеревался перечеркнуть итоги тысячелетней немецкой миграции, колонизации и завоеваний путем выселения из этих районов как можно большего числа немцев. С одобрения большинства славянских народов и при безразличном молчании венгров и румын советские войска изгнали более тринадцати миллионов человек с земель, издавна населенных немцами, включая Силезию и Восточную Пруссию [33].

Если взглянуть на историю российской экспансии с точки зрения приграничных зон (фронтиров), она предстанет несравненно более сложной, чем история одностороннего внешнего натиска. Она развернется до масштабов бесконечной упорной борьбы за наследие рухнувших степных и восточно-европейских империй. Эта борьба вовлекала Россию не только в войны против держав-соперниц по ту сторону фронтиров, но и в войны против народов, населявших сами зоны фронта. Поэтому российское продвижение на Кавказ, в Среднюю Азию, Сибирь и на Дальний Восток, в Приморье включало не просто кампании по подчинению племен, княжеств или ханств фронта, но и конфликты с другими могущественными державами, преследовавшими в тех же регионах свои имперские интересы. Русские выиграли большинство из этих войн, однако они не завладели всеми фронтами, отделявшими их от китайских, персидских или османских соперников. К 1904 году, когда экспансия Российской Империи достигла своего пика, вдоль ее южных границ тянулась широкая полоса многонациональных территорий, оставшихся вне российского контроля: провинция Синьцзян, иранский Азербайджан, Афганистан, турецкая Армения, которые по характеру культуры и этническому составу копировали среднеазиатские и закавказские владения России. С 1920 до 1945 гг. схожий этнический фронт, оставшийся вне советского контроля, существовал вдоль западных границ СССР, включая латышей, эстонцев, литовцев, а также белорусов и украинцев, проживавших на территории Польши, Чехословакии и Румынии.

Существование зон фронтиров затрудняло задачу обороны страны, создавало проблемы внутренней безопасности, провоцировало недовольных к бегству и вредило как экономической, так и полити-

ческой интеграции. Как заметил Латтимор, народы фронтиров демонстрировали «феномен двойственной лояльности и склонность вставать на сторону победителя» [34]. В ходе российских завоевательных войн всегда существовала опасность, что приграничные народы после первого же успешного удара противника перейдут на его сторону. Так было с запорожскими казаками при Мазепе, с поляками в ходе наполеоновских войн и с западными украинцами во время второй мировой войны. Начало внешних войн служило сигналом к разжиганию внутренних.

Историю последних ста лет можно рассматривать как новую фазу в борьбе за фронтиры. Возрастание промышленной и имперской мощи Германии и Японии привело к трем основным конфликтам с Россией в XX веке: войнам 1904-1905 гг., 1914-1917 и 1941-1945 гг., и каждый раз поводом к войне становился кризис в той или иной зоне фронта, разделявшей три державы: на Балканах, в Маньчжурии, в Восточной Европе. Военные планы Германии в ходе первой мировой войны показывают, что немецкая правящая элита намеревалась отторгнуть от России ее западные приграничные земли и вернуть ее границы к допетровскому состоянию. Соответственно целями Японии после победы 1905 года, как свидетельствуют ее военные планы в ходе интервенции в Сибирь 1918-1920 гг. и авантюры Квантунской армии в 1930-х годах, было ликвидировать влияние России на северокайском фронтире - в Маньчжурии, Монголии и Синьцзяне, а также отторгнуть от России Приморский край, если не всю Восточную Сибирь. Планы Гитлера в отношении западных регионов Советского Союза были еще более амбициозными и безжалостными, направленными ни больше ни меньше как на изгнание русских, порабощение местных народов и колонизацию этих земель немцами [35].

По тем же причинам внешняя политика российского и советского правительств была направлена на ослабление или уничтожение влияния Германии и Японии на пограничных территориях. Когда обстоятельства требовали быть осторожными, правительства выражали готовность разделить сферы влияния или контролировать спорные территории совместно. На первом этапе, с конца 1890-х годов до 1907 года, попытки русских добиться господства в Маньчжурии и укрепить свои позиции на Балканах были сведены на нет японцами и немцами. Не теряя надежды, российское правительство стремилось путем примирения с Японией удержать свое влияние в северной Маньчжурии и отторгнуть Внешнюю Монголию от Китая. В то же время оно поддерживало Балканский союз, который вроде бы ставил своей целью изгнание ту-рок из Европы, но одновременно должен был препятствовать распространению австрийского и германского влияния на Балканах [36].

На втором этапе, с 1914 по 1922 годы, первоначальные военные планы правительства Российской Империи свидетельствуют о ее намерении уничтожить власть Германии в восточноевропейском фронтире путем разделения империй Гогенцоллернов и Габсбургов и создания на их обломках нескольких славянских государств-сателлитов [37]. Иными словами, военные планы России были зеркальным отражением военных планов Германии и Австрии. Если бы на мирной конференции России удалось настоять на своем, это просто означало бы Брест-Литовский договор наоборот. Молодая Советская республика оказалась слишком слаба, чтобы претендовать на контроль над пограничными землями по ту сторону своего собственного с таким трудом завоеванного фронта. Взамен она могла предложить лишь политику неагрессивных пактов, направленных на то, чтобы предотвратить превращение пограничных территорий в полигоны для подготовки новой иностранной интервенции; ее рубежи были еще слишком уязвимы.

На третьем этапе, продолжавшемся с 1917 по 1950 годы, Советский Союз пытался вначале предотвратить проникновение Германии и Японии через фронтиры Восточной Европы и Восточной Азии путем создания системы коллективной безопасности. После неудачи этого плана Советский Союз взял курс на примирение со своими противниками и раздел сфер влияния. В конце концов, будучи все же вовлечен в войну, СССР вновь обратился к старой практике изгнания своих соперников с приграничных территорий. СССР стремился заменить их «дружественными правительствами», устанавливая границы таким образом, чтобы включить в свой состав всех тех представителей народов фронта (например, украинцев и белорусов), которые все еще находились вне советского контроля, а также захватить ключевые стратегические пункты, такие как Петсамо (Печенга), Ханко, Кенигсберг (Калининград), Порт-Артур (Люйшунь), Дальний (Дальнянь) и Курильские острова - приобретения, которые, как надеялось правительство, наконец изменят расстановку сил в приграничных зонах и положат конец изменчивости российских границ. Но этот выигрыш в стиле «пришел - увидел - победил» оказался ошеломляюще недолговечным. Советское влияние в Маньчжурии и Синьцзяне быстро сошло на нет, когда китайские коммунисты неожиданно одержали полную победу в гражданской войне с Гоминьданом. При Хрущеве сильные стратегические пункты - Порт-Артур, Дальний и Ханко - были возвращены обратно. В 1989 году был разрушен весь буфер из дружественных государств Восточной Европы, что повлекло за собой непредсказуемые последствия для внутривосточноевропейского развития самого Советского Союза. Японцы оказывают на современное правитель-

ство России сильное давление, требуя возвращения Курил. И внутренние, и внешние границы бывшей Российской Империи - Советского Союза - вновь образованных независимых государств едва ли когда-либо казались более уязвимыми, чем теперь.

Поликультурное общество. С проблемой «пористых» границ тесно связана проблема поликультурной структуры Российской Империи. По мере того как Россия ради приобретения новых ресурсов и обеспечения безопасности расширяла свои границы, она постепенно стала представлять собой пояс этнотерриториальных блоков, окружавший внутреннее ядро. Это «ядро» к концу императорской эпохи населяли великороссы, хотя их доля в составе населения империи существенно снизилась. Эти культурные сообщества никогда не были в полной мере ни поглощены, ни ассимилированы великороссами. Таким образом, угроза безопасности государства исходила не только от народов фронта, но и со стороны целых сообществ, которые зачастую лелеяли мечты о государственной независимости, как бы глубоко эти мечты не были погребены. Двойственность их исторически сложившегося статуса была взрывоопасной. Она существенно воздействовала как на внешнюю, так и на внутреннюю политику. С одной стороны, сопротивляясь ассимиляции, эти разнообразные культурные сообщества затягивали и усложняли процесс государственного строительства. Оглядываясь назад с высоты XX века, мы можем констатировать, что этот процесс так и не был завершен. Иногда он приостанавливался; иногда обращался вспять или казался безнадежно зашедшим в тупик. С другой стороны, поликультурный характер государства глубоко воздействовал на взаимоотношения центральной власти с внешним миром. Конфликты тех или иных этнотерриториальных блоков с центральной властью приобретали международный масштаб. Население регионов, вовлеченных в борьбу, обращалось с мольбой об избавлении - в чем бы оно ни заключалось - к иностранным державам. Восстания внутри государства превращались в повод для иностранного вмешательства или даже интервенции. Грань между административным управлением и дипломатией, между внешней и внутренней политикой часто становилась зыбкой.

Поликультурный характер российского государства был следствием особых взаимоотношений с коренным населением тех территорий, на которые распространялась российская экспансия. Обращение европейских колонизаторов с американскими индейцами или немцев с евреями во время второй мировой войны резко отличалось от того, как вели себя с завоеванными народами и российское государство, и российские переселенцы: они не пытались ни выселять, ни уничтожать

коренное население. На то существовали три причины. Во-первых, государственная политика прикрепления крестьян к земле, а затем и к помещику, иными словами, крепостное право, существенно замедляла переселение россиян на вновь приобретенные земли. С середины XVII века до конца XIX века, согласно правительственным указам, освоение новых земель в большинстве своем осуществляли казаки, расселенные на приграничных землях, или даже иноземцы, приглашенные из-за рубежа и обосновавшиеся преимущественно в юго-западных степях и Нижнем Поволжье. Во-вторых, важнейший институт культурной ассимиляции в допетровской России, православная церковь, не проповедовала насильственного обращения иноверных. В лучшем случае отношение церкви к насильственному обращению было безразличным; и сама церковь действовала на этом поприще не слишком эффективно, даже когда государство перешло к более решительной политике ассимиляции (вначале - при Петре I, затем, после долгого перерыва, при Екатерине II, и, наконец, в начале XIX века) [38]. В-третьих, Россия никогда официально не придерживалась политики этнической или расовой исключительности. Со времен первых контактов Киевской Руси с кочевниками препятствий для заключения браков между представителями высших классов разных этнических и расовых групп никогда не возникало. Вместо того, чтобы подрывать могущество и влияние местной знати - естественных лидеров покоренных империей культурных сообществ, - российское государство стремилось даровать им равное положение среди дворянства империи, зачастую предусматривая для них особые привилегии, которые способствовали сохранению местных культурных традиций. Такая политика кооптирования элиты продолжалась на протяжении всего существования Московской и императорской России и распространялась на татарскую, прибалтийскую и грузинскую знать, а также на казацкую старшину. Лишь в последние полвека существования монархии, когда империю захлестнула волна великорусского национализма, власть начала отступать от этой просвещенческой позиции. Но даже тогда аристократия все еще считала предметом гордости свое происхождение, часто уходившее корнями к литовским, польским, татарским, грузинским, прибалтийским, немецким и другим родам. Возможно, что именно дворянский космополитизм смягчил крайние проявления русского национализма на рубеже XX века. Но он также помог узаконить поликультурный характер государства [39].

Подобным образом, начиная с середины XVII века, российские правители выработали множество легальных способов спровоцировать добровольное присоединение новых территорий к империи или

усмирить покоренный народ. Приверженцы школы «российской угрозы» часто забывают о том, что экспансия императорской России на территории, населенные другими народами, часто проходила при поддержке или с молчаливого согласия местной знати. Так было в Финляндии, где на протяжении всей второй половины XVIII века были сильны пророссийские и антишведские настроения; в Прибалтике, где немецкая знать сопротивлялась внедрению шведского земельного законодательства и совместно с Петром Великим строила планы свержения королевской власти; на Украине, где Богдан Хмельницкий и его казацкая старшина принесли присягу верности православному царю, чтобы избежать подчинения польской шляхте; в Грузии и Армении, где братские православные народы искали защиты России от исповедующих ислам Османской империи и Ирана; и в степях Средней Азии, где три казахских жуза приняли российское подданство во избежание завоевания джунгарами. На протяжении XVIII века в Польше, а точнее среди ее литовских князей, существовала «русская» партия, которая, по меньшей мере, искала поддержки Российского государства в своей борьбе против засилья католической церкви. Пророссийская партия возродилась в Польше даже в конце XIX века.

После перехода под царское покровительство форма отношений между центром и вновь присоединенными территориями часто оставалась либо неясной, либо спорной. Эта проблема впервые возникла в связи с крайне противоречивым решением Переяславской Рады 1654 года о присоединении Украины к Московскому государству. Этот договор не имел аналогов в практике международного права, и, по понятным причинам, истолкование его точного смысла стало предметом бесконечных споров среди юристов и историков. Но каковы бы ни были первоначальные намерения русского правительства, впоследствии оно упорно сводило на нет казацкие привилегии. Прошло полтора века, и Екатерина II вообще ликвидировала гетманское правление и распространила на Украину стандартные административные порядки Российской Империи [40].

Отношения с другими этнотерриториальными блоками, например с Башкирией, отличались отчаянным сопротивлением, которое коренные народы оказывали присоединению или ассимиляции. На протяжении полутора веков башкирский народ неоднократно предпринимал вооруженные акции протеста. В период между 1661 и 1774 годами сопротивление вылилось в три крупномасштабных восстания; время от времени возникала даже угроза, что к джихаду против неверных присоединится Османская империя [41]. Начиная с третьего раздела Польши и вплоть до заката Российской Империи, одно за дру-

гим вспыхивали польские восстания: в 1794, 1830-1832, 1846, 1863 и 1905 годах, что прямо или косвенно влияло на внешнюю политику царского правительства. Восстание 1863 года, в частности, повлекло за собой вмешательство европейских держав и угрозу французской интервенции [42].

Процесс административного присоединения разделенных польских земель к территории Российской Империи был прерван вначале Наполеоном, создавшим в 1807 году Герцогство Варшавское, а затем Венским конгрессом 1814-1815 гг., на котором было принято решение об образовании Царства Польского под конституционные гарантии России. После польского восстания 1830-1832 гг. на смену польской конституции пришел Органический Статут, превративший автономию во внешнюю видимость; после же подавления восстания 1863 года с Царством Польским стали обращаться, как с обычными губерниями империи. Там не было введено земское самоуправление, чтобы избежать преобладания поляков в местной администрации; закон 1907 года о выборах в Государственную Думу также содержал особые пункты, дискриминационные по отношению к польскому населению империи.

После начала первой мировой войны, в 1914 году, вопрос о законодательном статусе польских земель был вновь открыт для обсуждения и вызвал острую дискуссию внутри царского правительства. Как и следовало ожидать, министры не пришли к согласию по данному вопросу: решение так и не было найдено, когда крах империи прервал затянувшиеся дебаты [43]. Польский вопрос, конечно, представлял собой крайний случай; но аналогичные государственно-правовые кризисы имели место и в истории отношений центра с прибалтийскими губерниями, Финляндией, Кавказом и Средней Азией [44].

В процессе государственного строительства российским правителям пришлось столкнуться с более широким спектром политических культур, начиная от европейских культур Польши и Прибалтики до степных культур Средней Азии, чем какой-либо другой поликультурной стране. Частые договоры между российским правительством и зависимыми народами, в особенности соглашения с башкирами и казахами, были в высшей степени двусмысленны и зачастую расторгались или пересматривались той или другой стороной. В контексте культуры кочевников присяга на верность и признание вассальной зависимости выступали не как нерушимые обязательства, а лишь как вопрос временной выгоды. Признавая культурное своеобразие своих подданных, но нетвердо представляя себе, какие методы управления ими будут наиболее эффективны, правительство империи проявляло непоследовательность, отдавая данные территории под юрисдикцию

различных бюрократических ведомств: от Министерства иностранных дел и Военного министерства до Министерства внутренних дел [45]. На закате Российской Империи среднеазиатские оазисы Хива и Бухара все еще считались вассальными государствами, и Россия относилась к ним, как метрополия к своей колонии. Таким образом, в отличие от практики европейских колониальных империй, основанных на морском господстве, и даже от опыта освоения Соединенными Штатами территорий за р. Миссисипи (несмотря на некоторое внешнее сходство), Российская Империя уникальным, калейдоскопическим образом сочетала государственное строительство с колониальным правлением.

Культурная гармония и идейная сплоченность представлялись такими же основополагающими факторами стабильности и безопасности государства, как и его административно-правовое единство. Начиная со взятия Казани в XVI веке, каждое последующее завоевание вновь и вновь ставило на повестку дня вопросы аккультурации и ассимиляции. До какой степени можно было осуществлять политику русификации покоренных народов, не рискуя при этом вызвать вспышку волнений? Какую степень культурного плюрализма можно было допустить, не подвергая угрозе внешнюю безопасность страны? Разрабатывая свою «национальную политику», Россия вновь не смогла четко разделить сферы «иностраных» и «внутренних дел». Проблема осложнялась еще и тем, что культурную политику надо было разрабатывать, когда процесс государственного строительства еще не завершился. Речь тут не шла о выработке политической линии в пределах сложившейся государственной системы (как в случае Англии, Шотландии и Ирландии, ставших после унии 1707 года Соединенным Королевством) или об ассимиляции отдельных лиц и целых этнических сообществ, физически оторванных от своей родины, как это было в США (хотя американский вариант решения оказался гораздо менее удовлетворительным, чем ожидалось изначально). Русским приходилось проводить ассимиляцию народов, проживающих на своих исконных территориях и зачастую отделенных от своих соплеменников и единомышленников лишь «пористыми» зонами фронта или искусственно проведенными пограничными линиями.

Многочисленные российские (и советские) правительства, начиная с XVIII века и до сегодняшнего дня, разработали не меньше десятка вариантов «национальной политики», часто принимая во внимание возможный резонанс, который такая политика вызовет за рубежом. При этом замысел и практическое осуществление национальной политики не всегда отличались последовательностью. Можно выделить

три возможных варианта - или три уровня - культурной интеграции, выстроив их по степени глубины и интенсивности: идеологическая ассимиляция, обрусение, русификация [46]. Идеологическая ассимиляция в дореволюционной России означала обращение в православие и воспитание преданности правящей династии. В Советском Союзе она стала означать принятие государственной политики модернизации (в организационных формах, предложенных Коммунистической партией), проведение индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Обрусение представляет собой процесс превращения русского языка и, до некоторой степени, русской культуры в доминирующую форму дискурса и идентичности. Русификация означает психологическую трансформацию в «русского» на личностном уровне.

С другой стороны, можно выделить и три уровня сопротивления ассимиляции в любых ее формах. Это были: пассивное сопротивление или уход в культурную изоляцию; затем - активная защита или даже экспансия национальных культурных институтов (включая церковь, школы, частные объединения и полуподпольные организации); и, наконец, открытое восстание. Степень ассимиляции или сопротивления ей зависела от множества факторов: исторической памяти о былой независимости; культурной дистанции между местным населением и русскими; а иной раз - и от реакции международного сообщества. В последнем случае жесткая ассимиляционная политика могла вызвать резкую реакцию за рубежом или, по крайней мере, усложнить взаимоотношения России с другими странами. Именно таким образом русские спровоцировали осложнение отношений с Османской империей своим обращением с башкирами в XVII веке; с французами - своей политикой по отношению к полякам в середине XIX века; и с Соединенными Штатами - своей политикой по отношению к евреям в начале XX века и вновь после 1967 года. Во всех трех случаях правительство - оправданно или нет - верило, что имеет право усомниться в лояльности этнического меньшинства, которое оказывает сопротивление русификации или идеологической ассимиляции, поддерживает подозрительные или противозаконные контакты с соотечественниками за пределами страны и представляет собой «угрозу безопасности». Призывы иностранных держав проявлять терпимость расценивались как неправомерное вмешательство во внутренние дела России. Своеобразный характер поликультурного государства порождал сомнения при решении вопроса о том, какое место причисляет России в международной системе государств.

В настоящее время внутривнутриполитическая стабильность и внешняя безопасность бывшего Советского Союза - или нового Российского государства как поликультурной системы - вновь оказались под угро-

зой. В начале 1990-х годов кардинальные государственно-правовые проблемы, касающиеся формы, структуры и - что весьма символично - самого названия СССР, привели к заключению первой (как можно надеяться) серии договоров между девятью из пятнадцати бывших советских республик, стремящимися установить взаимоотношения совершенно нового типа. Одновременно ведутся бурные споры о сущности русского национального самосознания. Вопрос национальной идентичности значительно усложняется из-за существования в пределах России небольших национальных анклавов, официально составлявших в советские времена шестнадцать автономных республик (АССР). В Грузии конфликты вокруг вопросов национальной идентичности уже привели к формированию очага гражданской войны между грузинами и осетинами. Возможность превращения территории бывшего Советского Союза в арену крупномасштабных войн вызывает глубокую обеспокоенность Европейского Союза. Сейчас предпринимаются лихорадочные попытки выработать действенные способы интеграции зарождающейся государственной структуры - какую бы форму она не приняла - в международное экономическое и политическое сообщество. Но в прошлом и это было трудноразрешимой проблемой из-за маргинального культурного положения Российского и Советского государства.

Маргинальный характер культуры. Четвертым из устойчивых факторов, с которыми приходилось иметь дело российским правителям при выработке внешнеполитического курса, является маргинальный характер культуры [47]. Начиная с возвышения Москвы в XV веке, Российское государство располагалось, как географически, так и в культурном плане, на периферии трех великих культур: Византийской империи на юго-западе, католического Запада, мусульманского мира на юго-востоке. (Применительно к более позднему периоду, учитывая переход от религиозной культурной идентичности к светской, наименования двух различных христианских культур можно заменить общим понятием «Европа»). Еще до возникновения централизованного Российского государства русский народ и его предки - восточнославянские племена - уже имели длительную предысторию отношений с этими тремя культурными регионами. Войны чередовались с торговлей, заключением браков между представителями элиты, культурными заимствованиями. Подвергаясь неприятельским вторжениям, утрачивая часть своих территорий, даже переживая завоевание или попадая в культурную зависимость, русские тем не менее никогда не были полностью абсорбированы ни одной из этих трех граничивших

с ними великих культур. Они отбили вооруженный натиск латинского Запада и сопротивлялись попыткам Рима обратить их в католичество; они избежали политического подчинения Византии; и, даже утратив политический суверенитет, они отстояли от монголо-татар свою культурную независимость. Именно за этот долгий период конфликтов, эпизодических или же интенсивных, который продолжался более шести столетий и предшествовал образованию объединенного Российского государства, во многом сложилось отношение россиян к внешнему миру.

Когда Москва вела свои первые битвы за богатство и безопасность в окружавших ее зонах фронта, ее правители стремились подтвердить легитимность своей власти, заявив о своих правах на политическое и культурное наследие трех прилегающих регионов. Русские цари хотели бы, чтобы Москву воспринимали и как часть Европы, и как наследницу Византии, и как преемницу Золотой Орды. Осуществляя свою внешнюю политику, они примеряли маски то государя эпохи Ренессанса, то базилевса, то хана [48]. Во внешней политике эти роли не всегда сочетались гармонично, а во внутренних делах цари представляли собой нечто большее, чем простую сумму трех разных образов. Но игнорировать хотя бы одну из этих культур или отвергнуть ее как совершенно чуждую было невозможно - это повлекло бы за собой серьезные политические последствия.

В допетровской России маргинальный характер культуры особенно явно проявлялся в самом стиле российской дипломатии, способах доказать легитимность своего правителя на международной арене или оправдать свою имперскую политику, а также в обращении с иноземцами. Во второй половине XV века, когда Москва уже готова была сбросить как иго религиозной зависимости от Византии, так и политическую зависимость от Орды, она выработала и усвоила науку «двойной дипломатии». Она применяла один свод правил и язык дипломатии в отношениях с европейцами, а другой - в своих контактах со степными сообществами. Со временем правители России стали отдавать предпочтение «ренессансной дипломатии» в западном смысле слова, что означало равные и братские отношения с соседями взамен той политики неравноправных, иерархических взаимоотношений, которая была характерна как для Византии, так и для монголо-татар [49]. Правда, российские правители не всегда могли легко отделить друг от друга тот дипломатический протокол и практику, которые следовало применять в Европе, от тех, которые предназначались для взаимоотношений со степняками; это порождало недоразумения, а иногда навлекало на российских правителей обвинения в лицемерии [50].

Строя свои взаимоотношения с государствами - преемниками Золотой Орды, русские овладели искусством выдвигать там «своих» претендентов на трон или поддерживать в лагере противника «русскую партию». Первым образцом такой политики стало создание Касимовского царства в середине XV века; эту практику довел до совершенства Иван IV в своих взаимоотношениях с Казанским ханством. Впоследствии подобную тактику применяли неоднократно: наиболее яркими примерами была политика России по отношению к Польше в течение XVII - XVIII веков; к Швеции - в XVIII веке и по отношению к трем казахским жузам - в XIX веке.

Первоначально выдвинутая Лениным концепция существования независимых компартий была в корне пересмотрена Сталиным, последним из «степных» политиков. За время его пребывания у власти зарубежные коммунистические партии приобрели все отличительные особенности дореволюционных «русских партий». Он с готовностью использовал их как пешек в борьбе за приграничные земли (особенно при соперничестве с такими державами, как Турция, Иран, Китай), а при необходимости жертвовал ими ради интересов Советской России.

Неразборчивое следование канонам «степной» политики вызывало нарекания со стороны европейских государственных деятелей и дипломатов с самого начала их взаимоотношений с Российским государством. Русские вели себя некорректно; они либо нарушали западный дипломатический этикет, либо навязывали иностранцам свой собственный; они игнорировали международные нормы суверенитета. Когда впервые в истории Иван IV использовал азиатские войска в качестве вспомогательной силы в Ливонской войне, волна негодования захлестнула все европейские страны. Жестокий характер военных действий был воспринят как свидетельство варварства московитов и их безразличия к установленным правилам ведения войн. За этим незамедлительно последовало исключение Московии из числа участников международного съезда в Щецине 1570 года, куда, чтобы установить свободное судоходство на Балтийском море, были приглашены все заинтересованные державы. Тогда же имена московских князей и царей не были включены в дипломатический реестр христианских государств («*Ordo regnum christianorum*») [51].

Иностранные дипломаты, купцы и «солдаты удачи», поступившие на службу Московскому государству, сходились во мнении: российское правительство и общество были «варварскими», или, по крайней мере, настолько отличались от европейских правительств и обществ, что представляли собой особую цивилизацию, такую же экзотическую и загадочную, как Восток или Новый Свет [52]. Теоретики меж-

дународных отношений и даже мыслители, рисовавшие утопические картины мирового порядка, не считали возможным включить Москву в Великую Христианскую республику - сообщество цивилизованных наций. Большинство планов мирного международного политического устройства, предложенных в течение XVII столетия, включая «Великий план» герцога де Сюлли, составленный им для Генриха IV, и проект всеобщего мира Уильяма Пенна, были составлены без учета возможной роли Московии в осуществлении этих систем или вообще не упоминали ее как государство [53].

Впервые Россия была допущена в коалицию европейских государств лишь в конце XVII века, и то ради борьбы с неевропейской державой (Османской империей). Петру I в конце концов удалось сделать Россию участницей Балтийской коалиции, направленной против Швеции, что можно справедливо считать дебютом нового игрока - России - на поле европейских политических игр. Но все попытки Петра убедить великие европейские державы, что Россия заслуживает большего, не увенчались успехом. Обращаясь к Франции, Петр требовал поставить его «вместо и на место» Швеции, потому что европейская система переменялась. Политические пропагандисты петровской эпохи, такие как барон П.П.Шафиров, пытались при обосновании позиции России использовать нормы европейского международного права, но убедить Европу удалось лишь отчасти [54].

Несмотря на активное участие России в системе европейского «баланса сил» в XVIII веке, противники стремились дискредитировать ее. Фридрих Великий заметил в своем язвительном обзоре российских манер, нравов и дипломатии, что потенциально это очень сильная держава, способная стать «арбитром Севера». Тем не менее он утверждал, что, как и Османская империя, Россия принадлежит «наполовину Европе, наполовину Азии» [55]. Во время кризисов, например, в ходе наполеоновских войн или Крымской кампании, противники России с завидным упорством пытались добиться ее исключения из европейской семьи государств. В течение XIX века подобные обвинения в адрес России звучали все реже, возобновившись лишь после революции 1917 года.

Другим показателем маргинального характера российской культуры были те огромные затруднения, с которыми столкнулись московские князья - чьи владения были расположены на перекрестке трех культурных влияний - при выборе для себя подходящего титула, который соответствовал бы их достоинству и объему власти и в то же время наглядно демонстрировал бы правителям других стран (а заодно и собственным подданным) источники их легитимности и сувере-

нитета. Серьезность этой проблемы можно оценить, проследив эволюцию их титула, который на протяжении шести столетий менялся не менее пяти раз. В XVII веке московский князь именовался Великим князем всея Руси. Впоследствии правители добавили к этому титулу: Божьей милостью, государь или государь, самодержец и царь. Вместе с этими переменами периодически обновлялся и перечень территорий, которыми владел государь, но, как нам представляется, четкой процедуры или рациональных обоснований для внесения той или иной территории в этот перечень не было. Обычно решающим доводом тут становилась политическая целесообразность: например, желание произвести впечатление на католический Запад, не нанеся при этом оскорбления мусульманскому Востоку [56].

Обновляя свой титул, чтобы продемонстрировать рост своей власти и независимости, князья использовали большей частью (хотя и не исключительно) заимствования из византийского культурного наследия. И все же их имперские притязания никогда не были столь обширны, как у византийских императоров. Даже после падения Константинополя в 1453 году московские князья упустили возможность заявить о своих правах на скипетр императора как светского главы ойкумены - православного мира. С их точки зрения, провозгласить собственную независимость было гораздо важнее, чем взваливать на себя бремя византийского универсализма. На протяжении XVI и XVII веков они упорно противились этому искушению, несмотря на неустанные призывы и католического, и православного духовенства. Патриарх Константинопольский, находясь под властью Турции, обращался к Ивану IV как «царю и государю всех православных христиан всей Вселенной от востока до запада и до океанов». Он призывал Ивана принять императорский титул и освободить своих единоверцев из-под власти турок; но его мольбы (как и многие другие) не были услышаны [57].

В то же самое время Иван не пошел на увещевания католических эмиссаров, таких как иезуит Поссевин, и отказался присоединиться к крестовому походу против турок, за участие в котором ему были обещаны королевский титул и бывшая столица империи - Константинополь. Однако век спустя, когда московские дипломаты убеждали папскую курию признать право российских правителей на царский титул, они ни разу не сослались на византийское наследие. В доказательство прав московских царей они говорили о покорении ими трех «царств»: Казанского, Астраханского и Сибирского. Но эти царства не считались частью европейской системы, и в глазах Рима обладание ими не имело особого веса. Создания де-факто империи, состоящей из нехристианских народов, было недостаточно, чтобы добиться де-юре признания Европы [58].

Подобным же образом, создавая имперскую идеологию, московские князья и их преемники были вынуждены прибегать к заимствованиям (прагматическим и выборочным) из всех трех культурных традиций, не соглашаясь при этом считать ни одну из них источником или мерилom своей власти. На уровне практической политики они столкнулись с троякой проблемой. Им нужно было обосновывать свои претензии на бывшие владения Киевской Руси, на часть наследия Золотой Орды и на членство в европейской системе государств. Одновременно они должны были защищать и свою светскую власть, и религиозную целостность страны от посягательств католического Запада и мусульманского Востока. В данном контексте представляется уместным интерпретировать на шумевшую доктрину «Третьего Рима» как теорию, превозносящую чистоту русской веры и сплоченность государства, а не как пламенный призыв к экспансии в мессианских целях или к завоеванию мирового господства. Как свидетельствуют недавние научные публикации, сам автор идеи о том, что «два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть», монах Филофей, никогда не применял своей теории к сфере внешней политики; теория «Третьего Рима» «не нашла особой поддержки в России даже спустя столетие после его смерти» [59].

В своей имперской политике, так же как и в риторике и ритуалах, московские князья и их преемники по-разному строили свои взаимоотношения с европейскими и азиатскими народами. В конце XIV - начале XV веков Москва более органично входила в систему «степной» дипломатии, чем в сообщество европейских государств. В своей дипломатической переписке со странами азиатского региона русские использовали местный язык межнационального общения - среднеазиатский тюрки. Они с легкостью вступали в союзы с татарскими ханствами: вначале с Крымом и Казанью, а позже, из-за подстрекательств Ногайской Орды, повернули оружие против Казани, своего прежнего союзника [60]. Даже после завоевания Казани политика Московии оставалась скорее прагматичной, чем догматичной. Позволив местной татарской знати сохранить большую часть своих земельных владений и держа под контролем процесс российской колонизации и миссионерскую деятельность православной церкви, Российское государство приспособилось к «системе» средневолжского региона как достойный наследник ханства. Конечно, Петр Великий попытался ассимилировать население этого региона путем более активной административной деятельности, централизации управления и принудительной христианизации; но Екатерина II отвергла эту политику и стала проводить курс терпимости и даже сотрудничества с местным населением [61].

Российские правители осознавали, что они по прагматическим соображениям не могут потакать тем мечтам о «крестовом походе», которые были свойственны менталитету православных христиан, оказавшихся под мусульманским владычеством. Попытка России развязать военную кампанию по освобождению христиан вызвала бы ответный джихад со стороны мусульман; а в пределах Российской Империи было столько же мусульман, готовых поддержать турецкого султана, сколько на Балканах и в турецкой Армении христиан, готовых поддержать русского царя. Но в то же время цари были убеждены, что они не вправе отказываться от наследия Византии. Даже Петр I, при котором внешняя политика России приобрела всецело светский характер, считал себя обязанным заявить султану, что он не может оставаться безразличным к судьбе христианских народов под османским владычеством [62].

В конце XVIII и в течение всего XIX века Россия как никогда раньше сблизилась с европейской культурой посредством участия в «европейском концерте», международных договорах и коалициях, интеграции в систему мировой торговли и внешних займов, и, наконец, контактов в области литературной, музыкальной и художественной жизни. Тем не менее, даже в этот период европеизации в сфере российской внешней политики явственно ощущались следы того маргинального культурного статуса, который складывался на протяжении 500 лет. Это особенно ярко проявилось в ходе идейно-политических диспутов, которые вели российские политики (а со второй половины XIX века - и все образованное общество) по вопросам идентичности Российской Империи и внешнеполитической стратегии России в евразийском контексте.

В общих чертах ситуацию можно обрисовать следующим образом: в Министерстве иностранных дел и других бюрократических правительственных учреждениях сосуществовали две различные группировки, соперничавшие друг с другом за влияние на царя и за право разрабатывать и проводить внешнеполитическую стратегию. Сторонники и противники этих группировок характеризовали их как «национальную» (она же «русская») и «немецкую» партии. Приверженцы одной из этих группировок считали, что Россия должна преследовать свои внешнеполитические интересы посредством участия в европейской системе государств. Они придавали первоочередное значение участию России в «европейском концерте», то есть в регулярных или экстренных встречах представителей великих держав для совместного разрешения назревших политических проблем и для поддержания неофициальной системы «баланса сил» - системы, которая в XIX веке с

удивительным успехом помогала сохранить общий мир в Европе. Такой внешнеполитической ориентации придерживалось большинство российских министров иностранных дел, начиная с К.В.Нессельроде: А.М.Горчаков, В.Н.Ламздорф, М.Н.Муравьев, С.Д.Сазонов. Их взгляды, как правило, разделяли и министры финансов, начиная с М.Х.Рейтерна: Н.Х.Бунге, И.А.Вышнеградский, С.Ю.Витте, В.Н.Коковцов.

Идейным и политическим центром другой группировки был Азиатский департамент Министерства иностранных дел, частично - Военное министерство; ее поддерживали военачальники и генерал-губернаторы, служившие на окраинах империи. Приверженцы ее подчеркивали уникальное геокультурное положение России, простирающейся между Европой и Азией. Они требовали проведения более активной наступательной политики на Балканах и в Азии, как бы это ни отразилось на сложившихся взаимоотношениях России с европейскими державами. Они отстаивали идею освобождения Балкан от турецкого владычества, завоевания Кавказа, проникновения в Среднюю Азию, а также выступали за проведение военных акций, которые грозили столкнуть в Афганистане Россию с Англией, а в Корее и Маньчжурии - с Японией. К этой группировке принадлежали такие колоритные фигуры, как граф Н.П.Игнатьев, фельдмаршал князь А.И.Барятинский, генералы М.Г.Черняев, Р.А.Фадеев и М.Д.Скобелев, генерал-губернатор Туркестана К.П.Кауфман и члены так называемой «безобразовской клики» при дворе Николая II [63].

Противоречия между обязательствами России перед европейской системой и перед православными славянскими подданными Османской империи породили на протяжении XIX века целую серию политических кризисов: греческое восстание 1820-х годов, Крымскую войну, русско-турецкую войну 1877-1878 годов и эскалацию напряженности с 1907 по 1914 годы. И в каждом из этих случаев российские политики буквально разрывались между двумя возможными стратегиями поведения. Одна возможная стратегия означала мирное разрешение конфликта средствами европейской дипломатии, другая - одностороннее вмешательство во имя высшей преданности славянскому или православному единству, прикрытой разглагольствованиями о национальных интересах России. Греческое восстание поставило Россию перед выбором: поддержать ли революцию (что противоречило ее монархическим принципам и могло даже поставить под сомнение легитимность существования самой России как поликультурной системы) или допустить кровавое подавление восстания единоверцев, что шло вразрез с требованиями нравственности и ставило под угрозу идеологическое лидерство России в православном мире [64].

В 1870-е годы восстания в Боснии и болгарских провинциях Османской империи вновь вызвали кризис в правительственных верхах России в связи с вопросом об интервенции. Александр II был далек от панславизма; его ведущие министры выступали против войны. Но давление «справа», со стороны громогласных националистов-панславистов, организовавших «славянские комитеты», заручившихся поддержкой прессы и пользующихся нескрываемой симпатией образованного общества, создало обстановку, когда правительство не могло с легкостью отказаться от вооруженного вмешательства, не скомпрометировав при этом себя в глазах зарубежной общественности и собственного народа [65]. В последние годы существования монархии сложилась схожая ситуация, когда миссия России как защитницы православных славян от турок вновь чрезвычайно усложнилась из-за традиционных политических и стратегических проблем. Накануне первой мировой войны русское правительство пыталось играть на славянском вопросе, чтобы отстоять свои позиции в рамках европейской системы государств. Но его неумолимо влекло к эмоциональному решению сербского вопроса. Панславистские настроения сквозили в выступлениях российских дипломатов на Балканах, энергично разжигались политиками правого толка и волновали широкие круги российской общественности.

Следует особо отметить, что ни в одной из этих кризисных ситуаций российские правители не проводили осознанно мессианского внешнеполитического курса и не были воодушевлены идеей священного долга. Но повседневную дипломатическую деятельность нельзя искусственно оторвать от культурного контекста. В случае с Россией двойственность внешнеполитического курса проистекала из постоянных сомнений относительно своей культурной идентичности и своего места в мировом сообществе. И именно в период новой истории противоречащие друг другу представления о России как европейской державе и как наследнице древних евразийских империй пришли в открытое столкновение. Этот вопрос не был решен революцией 1917 года; он лишь принял иную форму.

Революционный взрыв, вызвавший начало гражданской войны и иностранной интервенции, с трагической внезапностью выявил, насколько хрупкими были связи России с европейской системой и насколько периферийное положение по отношению к европейскому культурному региону она может вновь занять. Подняв знамя мировой пролетарской революции, Россия оказалась в международной изоляции; молодой Советской республике пришлось отчаянно бороться, чтобы не остаться парией среди других наций. Лишь постепенно (и то без

особого энтузиазма) Советский Союз был допущен в мировое сообщество. Процесс дипломатического признания СССР со стороны ведущих держав обернулся долгой, временами приостанавливающейся борьбой, которая затянулась более чем на пятнадцать лет, разрешившись, наконец, в 1934 году принятием СССР в Лигу Наций. Тем не менее дипломатические отношения зачастую оставались напряженными, а в 1940 году, после нападения на Финляндию, Советский Союз был исключен из Лиги Наций (это была единственная страна, прошедшая через такую унижительную процедуру).

Маргинальный характер культуры Советской России сказался и в бурных внутривластных дебатах о положении советской системы по отношению к остальному миру. Могут ли большевики удержать государственную власть без поддержки со стороны полномасштабной социалистической революции в Европе? Или их судьбу определит освобождение азиатских народов от ига империализма? Или, наконец, должен ли Советский Союз рассчитывать лишь на свои собственные силы, строя социализм в одной, отдельно взятой стране [66]? На заре советской истории Николай Бухарин четко обрисовал эту дилемму в своем докладе на XII съезде РКП(б) в 1923 году: «Советская Россия и географически, и политически лежит между двумя гигантскими мирами: еще сильным, к сожалению, капиталистическим империалистическим миром Запада и колоссальным количеством населения Востока, которое сейчас находится в процессе возрастающего революционного брожения. И Советская республика балансирует между этими двумя огромными силами, которые в значительной степени уравнивают друг друга» [67].

Поскольку советское руководство пыталось создать себе два совершенно противоположных образа, один для Европы, другой для Азии, оно вскоре встало перед той же дилеммой, что и московские князья XVI века. Находясь на окраине Европы и Азии, советские лидеры говорили и действовали с разными акцентами и интонациями в зависимости от того, к кому они обращались: к пролетариату развитой индустриальной страны, крестьянству колониального мира или к своему собственному народу. Они не могли отказаться от своего лозунга построения уникального общества, не потеряв при этом легитимность в глазах собственных граждан. Но они не могли также проповедовать свою мессианскую веру за рубежом, не рискуя оказаться в еще большей изоляции.

В первое десятилетие существования Советской власти непосредственным поводом для раскола в среде высшего политического руководства стал широко известный спор между Л.Д.Троцким, Н.И.Бу-

хариным и И.В.Сталиным по вопросу о степени важности и возможных сроках мировой пролетарской революции. Но и победа Сталина над его оппонентами не стала последней точкой в дискуссии о характере и направленности советской внешней политики. Дебаты вновь развернулись, хотя и в несколько смягченной форме: между М.М.Литвиновым, который выступал как приверженец достаточно традиционной политики отстаивания интересов СССР в рамках европейской системы (т.е. системы коллективной безопасности и Лиги Наций), и В.М.Молотовым и А.А.Ждановым, которые предпочитали вести независимую, даже изоляционистскую линию и всячески подчеркивать, что Советский Союз равно чужд и тому, и другому крылу «империалистического лагеря» [68].

В ходе войны Сталин выдвинул ряд серьезных инициатив, направленных на реинтеграцию СССР в новый международный миропорядок. Однако в глазах иностранных дипломатов и военных действия СССР выдавали его безразличие или пренебрежение к принятым в «цивилизованных» странах стандартным нормам поведения на международной арене [69]. Хотя Советский Союз пошел на роспуск Коминтерна в 1943 году и осудил авантюрные революционные проекты, он не отсекся от практики политического сотрудничества с зарубежными компартиями и не прервал контактов с ними. Напротив, СССР всячески побуждал эти партии служить верными проводниками советского внешнеполитического курса в деле создания нового мирового порядка, где и они смогут занять свое законное место в созданных по воле «Большой тройки» коалиционных правительствах. Но когда в зоне фронта вдоль всех границ Советского Союза вспыхнули гражданские войны - или хотя бы возникла угроза таковых, - политика возвращения в мировое сообщество потерпела крах [70].

Нарастающая изоляция Советского Союза во второй половине 40-х годов была не просто следствием разрыва союзнических отношений с Западом, так называемой «холодной войны». Она была также вызвана ослаблением международной коммунистической системы и зарождением национальных версий социализма: сначала в Югославии, а затем, после смерти Сталина, в Венгрии, Польше, Китае, Румынии и Чехословакии. В последующие десятилетия - вплоть до недавнего времени - советское руководство продолжало упорно биться над дилеммой: как сохранить особое культурное положение СССР, единственного государства в мире, осуществляющего строительство коммунизма, и в то же время действовать в рамках мирового сообщества с традиционных державных позиций. Напряжение спало, лишь когда в 1985 году М.С.Горбачев провозгласил «новое политическое мышление».

Заключение

Усилия правителей России и Советского Союза преодолеть геокультурные проблемы, связанные с четырьмя устойчивыми факторами - экономической отсталостью, уязвимыми границами, поликультурным обществом и маргинальным характером культуры, - привели к парадоксу: созданию могущественной империи, которая покоилась на зыбком фундаменте. Беспрецедентный по своей мощности рост государственных территорий имел своей целью получение доступа к дополнительным ресурсам, укрепление границ, прорыв в Европу, участие в разделе наследия азиатских империй и интеграцию целых народов в состав государства. Однако ни одна из основных проблем не была разрешена. Если экспансия к чему-то и привела, то лишь к увеличению трудностей. Внешность оказалась обманчивой. Временами казалось, что стремление построить современное индустриальное общество с самостоятельной научно-технической базой увенчалось успехом: сначала накануне первой мировой войны, затем в конце 1930-х годов, и вновь - в 1950-е годы; но к концу столетия стало очевидным, что эти ожидания не оправдались.

Строительство огромной империи слишком дорого обошлось для ее внутреннего развития: по уровню накопления капитала, технологических новшеств и преимуществ гражданского общества - по всем этим критериям Советский Союз отставал от стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, то есть именно от тех стран, на которые он сам хотел равняться. Экспансия привела к парадоксальному эффекту в отношении человеческого потенциала и материальных ресурсов России. Население росло за счет завоеваний и естественного воспроизводства, но с первых веков существования государства расширение территорий вызвало отток рабочей силы из центра страны, а попытки приостановить уход на окраины закончились введением крепостного права. Позднее колонизация привела к напряженности в межнациональных взаимоотношениях. Неоднократные попытки советского правительства заселить богатые, но глухие и непривлекательные регионы Сибири привели к неадекватным результатам. На протяжении всего существования Российской Империи и Советского Союза были приобретены пахотные земли, районы добычи соли и пушнины, минеральные ресурсы. Но безбрежные просторы страны порождали огромные транспортные проблемы, на разрешение которых уходили значительные средства: вначале на строительство каналов на северо-востоке страны, затем на создание разветвленной сети железных дорог. Система сообщения никогда не удовлетворяла предъявля-

емым к ней требованиям. Это остается справедливым и в отношении дорожной системы современной России: ограниченные финансовые возможности страны делают «автомобильную революцию» недостижимой.

Попытки создать систему безопасных и хорошо защищенных границ, побеждая или устраняя соперников по борьбе за контроль над спорными пограничными территориями, либо вызвали появление новых соперников, либо заходили в тупик на стадии интеграции завоеванных земель в государственную систему: вновь приобретенные территории превращались в зону сепаратистских движений и вторжений извне. Завоеваниям подвергались народы зон фронта и те из соседних стран, которые, в свою очередь, отставали от России в вопросах государственного устройства, военной техники, человеческого потенциала и материальных ресурсов. Эти народы настолько отличались от русских в культурном отношении, что ассимилировать их было нелегко; к тому же русские не располагали избыточным населением, чтобы с легкостью наводнить своими переселенцами завоеванные территории (исключение составляли, возможно, лишь земли казахов, башкир и татар Поволжья). Расходы на управление этими народами и контроль над ними, на подавление восстаний, повторное интегрирование бунтарей после гражданских войн и чужеземных вторжений были просто неисчислимыми. По этим причинам внешняя мощь государства создавалась и подвергалась преобразованиям в исключительно неблагоприятных условиях, на слабом и шатком фундаменте. Военные поражения вновь и вновь грозили расчленением страны: не просто потерей некоторых территорий, но в буквальном смысле исчезновением государства или сжатием его до границ Московского княжества XV столетия. Так было в годы Смутного времени, в первые годы Северной войны, в ходе наполеоновской кампании 1812 года, после поражения в Крымской войне, в ходе революции 1905 года, которая началась на фоне русско-японской войны, во время гражданской войны 1917-1920 гг., в начале второй мировой войны, и, наконец, совсем недавно. Такой ход событий едва ли дает российским правителям повод для излишнего оптимизма в отношении перспектив выживания государства.

Даже прорыв «капиталистического окружения» после второй мировой войны путем создания вдоль границ СССР буферной зоны из социалистических стран не помог стабилизировать ситуацию в зонах фронта. Китайский «буфер» рухнул в конце шестидесятых, возобновив давнее соперничество за пограничные территории. Социалистическое государство в Афганистане было расшатано гражданской

войной, которой не смогли положить конец даже его советские союзники. После многочисленных вторжений советских войск на территорию Восточной Европы - в Восточную Германию в 1953 году, в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году - весь защитный барьер фактически рассыпался в течение удивительного 1989 года (*annus mirabilis*).

Перестройка и «новое политическое мышление» во внешней политике были последними попытками разрешить парадокс зыбкого могущества державы. Целью было преодолеть ограничения, которые налагали на страну четыре устойчивых фактора ее внешней политики; положить конец противоречию между мощной надстройкой и слабым социально-экономическим базисом; отыскать «третий путь» между тотальной властью государства и состоянием гражданской войны; возродить великую державу, уверенную в своей стабильности и безопасности. Чтобы осуществить такой рывок вперед, советское руководство начало кампанию по преодолению экономической отсталости, стабилизации положения на границах Союза, по поиску равновесия между требованиями национальной автономии и великорусским национализмом, а также по разрушению образа маргинального в культурном плане государства путем интеграции СССР в европейское сообщество. Как и в более отдаленные времена, все эти устойчивые проблемы оказались сплетенными в один запутанный узел. Шаги, принятые в одной сфере, вызывали те или иные последствия в другой. Попытки внедрять западные технологии, расширить доступ к информации, признать религиозные и этнические различия, чтобы оздоровить экономику и приблизиться к европейским стандартам толерантности, вызвали в многонациональном государстве мощные центробежные процессы. Вывод войск из Афганистана, став символом политических перемен в одной из зон фронта, возможно, повлиял тем самым на китайскую неуступчивость и на националистические движения в мусульманских республиках. Но любая попытка применить вооруженную силу, чтобы удержать под своим контролем ухудшающуюся ситуацию на приграничных землях (неважно, по ту или эту сторону границ), сведет на нет все усилия по реструктуризации экономики при иностранном содействии. Хотя советское руководство отказывалось признавать существование взаимосвязи между развитием внешней торговли и экспортом технологий, с одной стороны, и контролем над вооружениями, демократическими реформами и рыночной экономикой - с другой, такая связь реально существует. Можно повторить еще раз: политическая власть, сколь бы далеко ни простирались ее притязания, не может с легкостью изменить устойчивые фак-

торы внешней политики. Но реальный прогресс в деле преодоления экономической отсталости или ослабления маргинального характера культуры - если это не вызовет серьезной опасности на границах и не создаст угрозы сложившемуся поликультурному равновесию - может продвинуть Россию далеко вперед по пути разрешения давнего парадокса зыбкого могущества.

Если именно этот парадокс - а не географический, культурный или экономический детерминизм - лежит в основе российской внешней политики, то преобразования (а они непременно должны состояться), по всей вероятности, откроют эру совершенно иной российской внешней политики, а значит, эру совершенно иного восприятия России мировой общественностью, что существенно упрочит и стабильность в мире, и перспективы международного сотрудничества [71].

Пер. с англ. И.Пагавы, О.Леонтьевой

Примечания

1. Hans Rogger, «Origins of the "Russian menace"», Meeting report, Kennan Institute for Advanced Russian Studies, 7 December 1987.

2. Последним из существующих исследований по этой проблеме является работа Альберта Ресиса: Albert Resis «Russophobia and the "Testament" of Peter the Great, 1812-1980», Slavic Review 44 (1985). P.681-693. См. также подробный анализ данного вопроса у Бориса Муравьева: Boris Mouravieff, Le Testament de Pierre le Grand (Neuchâtel: Baconnière, 1949), а также (с другой точки зрения): L. R. Lewitter, «Testament apochryphe de Pierre le Grand», Polish Review 6 (1961). P.27-44.

3. Появление исследования Александра фон Гумбольдта, - Alexander von Humboldt, *Asie centrale: recherches sur les chaines de montagnes et la climatologie comparée*, 3 vols. (Paris: Gide, 1843), - стало итогом работы научной экспедиции Гумбольдта, осуществленной по распоряжению Николая I. Во втором, дополненном издании фундаментальной работы Карла Риттера - Karl Ritter, *Die Erdkunde im Verhältniss zur Natur und zur Geschichte des Menschen oder allgemeine vergleichende Geographie*. 21 vols. (Berlin: Reimer, 1822-1859), - содержится обширный, но незавершенный раздел, посвященный Азии. Среди других его работ, переведенных на русский - Karl Ritter, *Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie* (Berlin: Reimer, 1852) и несколько сборников его лекций. Важнейшие работы Фридриха Ратцеля: Friedrich Ratzel, *Politische Geographie: oder die Geographie der Staaten, des Verkehrs und des Krieges* (München: Oldenbourg, 1903) (см. в особенности С.12-13, 267 и конкретно по России - С.468); Friedrich Ratzel, *Anthropogeographie* (Stuttgart:

Engelhorn, 1899). Люсьен Февр предложил сильную критику Ратцеля: Lucien Febvre, *La terre et l'évolution humaine* (Paris: Renaissance du livre, 1922), см. особенно гл. I. Литература о развитии геополитики обширна; большая часть ее написана во время или сразу после окончания второй мировой войны. См. в особенности: George Kiss, «Political Geography into Geopolitics», *Geographical Review* 32 (1942). P.632-645; Isaiah Bowman, «Geography versus Geopolitics», *ibid.* P.646-658; Johannes Mattern, *Geopolitik: Doctrine of National Self-Sufficiency and Empire* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1943); Robert Strausz-Hupé, *Geopolitics: The Struggle for Space and Power* (New York: Putnam's, 1942). P.27-47. Джеймс Хантер - James M. Hunter, *Perspective on Ratzel's Political Geography* (Lanham, Md.: University Press of America, 1983) - предпринимает галантную, хотя и не во всем убедительную попытку защитить Ратцеля от критики со стороны Февра и других.

4. Alfred T. Mahan, *The Problem of Asia and Its Effects upon International Policies* (London: Sampson Low, Marston, 1900). P.56; Ellen Churchill Semple, *Influences of Geographic Environment, on the Basis of Ratzel's System of Anthropogeography* (New York: Holt, 1911). P.127, 143, 188-189, 271; Halford MacKinder, «The Geographical Pivot of History», *Geographical Journal* 23 (1904). P.263, *Democratic Ideals and Reality* (New York: Holt, 1919; дополненное издание - Norton, 1962). P.172. Впоследствии Маккиндер изменил свою оценку потенциала советских «исконных земель»: см. Halford MacKinder, «The Rounding World and the Winning of Peace», *Foreign Affairs* 21 (1943). P.266-275. См. также: W.H.Parker, MacKinder - *Geography as an Aid to Statecraft* (Oxford: Clarendon, 1982). P.49. Проследить влияние Э.Семпл на И.Баумана можно по его работам: Isaiah Bowman, *The New World: Problems in Political Geography* (Yonkers, N.Y.: World Book Co., 1921); Isaiah Bowman, «Steppe and Forest in the Settlement of Southern Russia», *Geographical Review* 12 (1922). P.491-492. См. также работу Джеффри Мартина, где приводится высказывание И.Баумана, отрекающегося от своего увлечения детерминизмом в духе Э.Семпл: Geoffrey Martin, *The Life and Thought of Isaiah Bowman* (Hampden, Conn.: Archon, 1980). P.195. Но в трактовке вопроса о «русской угрозе» Бауман продолжал колебаться. См.: Ladis Kristof, «The Origins and Evolution of Geopolitics», *Journal of Conflict Resolution* 4 (1960). P.31-33; Robert D. Schulzinger, *The Wise Men of Foreign Affairs: The History of the Council on Foreign Relations* (New York: Columbia University Press, 1984). P.115-121.

5. По восточному деспотизму существует обширная литература, однако непосредственно внешнеполитическим аспектам существования деспотий там уделяется немного внимания. См. Daniel Thorner, «Marx on India and the Asiatic Mode of Production», *Shaping of Modern India* (New Delhi: Allied Publishers, 1980). P.355-370; Hélène Carrère d'Encausse et Stuart Schram, *Le Marxisme et l'Asie* (Paris: Armand Colin, 1965); Brian Turner, *Marx and the End of Orientalism* (London: Allen and Unwin, 1978); George Lichtheim, «Marx and the Asiatic Mode of Production», *St. Anthony's Papers* 14 (1963). P.86-112; и основная работа Карла Виттфогеля: Karl Wittfogel, *Oriental Despotism* (New Haven: Yale University Press, 1957). Большее отношение к вопросам российской внешней политики

имеет сборник: Paul Blackstock and Bert F. Hoselitz, eds. *The Russian Menace to Europe* (Glencoe, Ill.: Free Press, 1952), в особенности работы Энгельса: «Национализм, интернационализм и польский вопрос», «Внешняя политика русского царизма» и «Германия и панславизм», а также письма Карла Маркса и Фридриха Энгельса: Karl Marx and Friedrich Engels, *Collected Works*. 43 vols. (Moscow: International Publishers, 1975-1988). Vol.14. P.156-157; 164-165. [См. также работы Ф.Энгельса: Германия и панславизм // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.11. С.202-208; Продвижение России в Средней Азии // Там же. Т.12. С.614-619; Успехи России на Дальнем Востоке // Там же. С.637-641; Внешняя политика русского царизма // Там же. Т.22. С.11-52; Русские в Трансильвании // Там же. Т.43. С.142-149; Вторжение русских. - Сербь. - Перспективы для австрийцев... // Там же. С.150-154. - Прим. ред.]. См. также: George Lichtheim, *Imperialism* (New York: Praeger, 1971). P.91-98.

6. Jürgen Kuczynski, *Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges und die deutsche Sozialdemokratie* (Berlin: Akademie-Verlag, 1957). P.65-77, 86.

7. Теоретическое обоснование воззрений Р.Пайпса можно найти в его исторических работах, в первую очередь: Пайпс Р. *Россия при старом режиме*. М., 1993, гл. 4; Richard Pipes, «Max Weber and Russia», *World Politics* 7 (1955). P.371-401. Напротив, вопросы советской внешней политики Пайпс рассматривал отдельно в более полемических работах, таких, как Richard Pipes, «Russia's Mission, America's Destiny: The Premises of United States and Soviet Foreign Policy», *Encounter* 35 (1970). P.3-11, и в своем докладе от 10 января 1972 года Комитету по национальной безопасности и международным отношениям Сената Соединенных Штатов Америки, впоследствии опубликованном под названием «Operational Principles of Soviet Foreign Policy», *Survey* 19 (1973). P.41-61. См. также: Richard Pipes, *Survival Is Not Enough: Soviet Realities and America's Future* (New York: Simon and Schuster, 1984).

8. J.V.Bury, *History of the Later Roman Empire*. 2 vols. (London: Macmillan, 1889). Vol.2. 392ff. Эта книга была переработана автором в 1923 году (без изменений в интересующем нас разделе), переиздана в 1931 году, а затем - в 1958 году в серии изданий Довера. См. также: J.V.Bury, *The Constitution of the Later Roman Empire* (Cambridge: Cambridge University Press, 1910); idem, *A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil I* (London: Macmillan, 1912). P.207; H.Gelzer, «Das Verhältnis von Staat und Kirche in Byzanz», *Historische Zeitschrift* 86 (1901). P.193-252 (о связи с русской традицией см. P.251-252). Убедительное опровержение данной точки зрения см. в следующих работах: Острогорский Г. *Отношение церкви и государства в Византии* // *Seminarium Kondakovianum, Recueil d'études* (Prague) 4 (1931). P.120-132. Thomas Masaryk, *The Spirit of Russia*. 2 vols. (London: Allen and Unwin, 1919). Vol.1. P.41, 64, 109, 167 (Оригинальный вариант труда Масарика был опубликован в Германии в 1913 году; книга была основана на серии лекций, прочитанных в Чикагском университете в 1903 г.); Бердяев Н.А. *Истоки и смысл русского коммунизма*. Репринтное воспроизведение издания YMCA-PRESS, 1955. М., 1990. С.117-118.

9. Hans Kohn, *Panslavism: Its History and Ideology* (South Bend, Ind.: Notre Dame University Press, 1953); Arnold Toynbee, *A Study of History*. 12 vols. (London: Oxford University Press, 1934-1961). Vol.4. P.346, 377, 401-402; James Billington, *The Icon and the Axe* (New York: Knopf, 1966). P.48, 67-69, 74, 538; Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (New York: Harcourt, Brace, 1951); Carl J. Friedrich and Zbigniew Brzezinski, *Totalitarian Dictatorship and Democracy* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1956). P.60-67.

10. Миллюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. 5-е изд.: В 4 т. Спб., 1903-1905. Т.1. С.28-31.

11. Richard Hellie, *Enserfment and Military Change in Muscovite Russia* (Chicago: University of Chicago Press, 1970). P.78, 152.

12. Geroid T. Robinson, *Rural Russia under the Old Regime* (New York: Columbia University Press, 1934). P.130; Maurice Hindus, *The Russian Peasant and the Revolution* (New York: Holt, 1920). P.91-92.

13. James H. Bate and R. A. French, *Studies in Russian Historical Geography*. 2 vols. (London: Academic Press, 1983); Бахрушин С.В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв. М., 1927, особенно гл. 1 и 3; Святников С.Г. Россия и Дон, 1549-1917. Вена, 1924. Гл. 5; R.E.F.Smith, *Peasant Farming in Muscovy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977). P.160ff., R.E.F.Smith and David Christian, *Bread and Salt: A Social and Economic History of Food and Drink in Russia* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984). P.59, 183, 187, 188; George V.Lantseff, *Eastward to Empire: Exploration and Conquest of the Russian Open Frontier to 1750* (Montreal: McGill-Queen's University Press, 1973).

14. Fernand Braudel, *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*, trans. Sian Reynolds, 2 vols. (New York: Harper, 1972). Vol.1. P.191-195. [См. также: Бродель Ф. Что такое Франция? Кн.1: Пространство и история. М., 1994. С.232. - Прим. ред.].

15. Фехнер М.Б. Торговля русского государства со странами Востока в XVI веке. М., 1952. С.17, 24, 35-36.

16. Оппенгейм К.А. Россия в дорожном отношении. М., 1920. С.6-8, 39.

17. Соловьева А.М. Железнодорожный транспорт России во второй половине XIX в. М., 1975. С.149.

18. Franklin D. Holzman, *Foreign Trade under Central Planning* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1974). Part 4.

19. Douglas K. Reading, *The Anglo-Russian Treaty of 1734* (New Haven: Yale University Press, 1940); Herbert Kaplan, *Russia and the Outbreak of the Seven Years War* (Berkeley: University of California Press, 1968). P.7-10, 36-41, 68-71.

20. Бовыкин В. И. Из истории возникновения первой мировой войны. М., 1961. С.71-97.

21. Alexandre Koyré, *La philosophie et le problème national en Russie au début du XIX siècle* (Paris: Vrin, 1929). Chap. 2.

22. Kendall E. Bailes, *Technology and Society under Lenin and Stalin* (Princeton: Princeton University Press, 1978). Chaps.2, 3.

23. Joseph Berliner, *The Innovative Decision in Soviet Industry* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1976). P.517-518.

24. Moshe Lewin, *Political Undercurrents in Soviet Economic Debates: From Bukharin to the Modern Reforms* (Princeton, Princeton University Press, 1974).

25. Owen Lattimore, *Inner Asian Frontiers of China* (London: Oxford University Press, 1940); idem, *Studies in Frontier History: Collected Papers, 1928-1958* (London: Oxford University Press, 1962).

26. Использована таблица, приведенная О.Латтимором в его работе: «The New Political Geography of Inner Asia», Owen Lattimore, *Studies in Frontier History*. P.165.

27. Новосельский А.А. Борьба московского государства с татарами в первой половине XVII века. М., 1948. С.416-420.

28. James H. Bate and R. A. French, eds., *Studies in Russian Historical Geography*. 2 vols. (London: Academic Press, 1983); особенно важна помещенная в этом издании статья Денниса Шоу: Dennis J.B.Shaw, «Southern Frontiers of Muscovy, 1550-1700», *Studies in Russian Historical Geography*. Vol.1. P.118-140; Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России. М., 1927; Багaley Д.И. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства: В 2 т. Харьков, 1886-1890.

29. Святников С.Г. Россия и Дон. С.122. См. также: Robert E. Jones, *Runaway Peasants and Russian Motives for the Partitions of Poland*. Chap. 4.

30. Азиатская Россия: В 3 т. Спб., 1914. Т.1. С.492; François-Xavier Coquin, *La Sibérie: peuplement et immigration paysanne au XIX siècle* (Paris: Institut des études slaves, 1969). Part 4. Chap. 2.

31. Salo W. Baron, *The Russian Jew under Tsars and Soviets*, 2nd ed. (New York: Macmillan, 1976). P.156-160, 387.

32. Alexander Nekrich, *The Punished Peoples* (New York: Norton, 1978); General Nicolae Radescu, *Forced Labor in Romania* (New York: Commission for Inquiry into Forced Labor, 1949). P.45-46; эти сведения подтверждают и официальные советские статистические данные, приведенные в Большой Советской энциклопедии: Большая Советская энциклопедия. 3-е изд.: В 30 т. Т.16. М., 1974. С.429-430; Georg von Rauch, *The Baltic States: The Years of Independence* (Berkeley: University of California Press, 1974). P.217-227.

33. Eugene Michael Kulischer, *Europe on the Move: War and Population Changes, 1917-1947* (New York: Columbia University Press, 1948).

34. Owen Lattimore, *The New Political Geography of Inner Asia*. P.165-167.

35. Fritz Fischer, *Germany's Aims in the First World War* (New York: Norton, 1967); Теодорович И.М. Разработка правительством Германии программы завоеваний на востоке в 1914-1918 гг. // Первая мировая война, 1914-1918. М., 1968. С.108-120; James Morley, *The Japanese Thrust into Siberia, 1918* (New York: Columbia University Press, 1957); Ohata Tokushira, «The Anti-Comintern Pact 1935-1939», James Morley, ed., *Deterrent Diplomacy: Japan, Germany, and the USSR, 1935-1940* (New York: Columbia University Press, 1976); Norman Rich, *Hitler's War Aims*. 2 vols. (New York: Norton, 1973). Vol.1. Chap.2; Alexander Dallin, *German Rule in Russia, 1941-1945* (New York: St.Martin's, 1957); Jürgen Forster, «Das Unternehmen "Barbarossa" als Eroberungs- und Vernichtungskrieg», Horst Boog et al., eds., *Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg*. 4 vols. (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1983). Vol.4. P.413-450.

36. Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны, 1895-1907, 2-е изд. М., 1955; Peter S.H.Tang, *Russia and Soviet Policy in Manchuria and Outer Mongolia, 1911-1931* (Durham, N.C.: Duke University Press, 1959); David McDonald, «Autocracy, Bureaucracy, and Change in the Formation of Russia's Foreign Policy» (Ph.D. diss., Columbia University, 1989); Edward Thaden, *Russia and the Balkan Alliance of 1912* (University Park: Pennsylvania State University Press, 1965); Philip E. Mosely, «Russian Policy in 1911-1912», *Journal of Modern History* 12 (1940). P.69-86.

37. Alexander Dallin, ed., *Russian Diplomacy and Eastern Europe, 1914-1917* (New York: King's Crown Press, 1963), особенно следующие статьи из этого сборника: Alexander Dallin, «The Future of Poland». P.1-77; Merritt Abrash, «War Aims toward Austria-Hungria: The Czechoslovak Pivot». P.78-123; Gifford D. Malone, «War Aims toward Germany». P.124-161.

38. Григорьев А.Н. Христианизация нерусских народностей как один из методов национально-колониальной политики царизма в Татарии // Материалы по истории Татарии / Под ред. И.М.Климова. Казань, 1948. С.227-249. Григорьев не защищает такую точку зрения, но представляет доказательства в ее пользу.

39. О пестроте этнического происхождения ведущих дворянских родов России см.: Dominic Lieven, *Russia's Rulers* (New Haven: Yale University Press, 1989).

40. Zenon Kohut, *Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: Imperial Absorption in the Hetmanate, 1760s-1830s* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988).

41. Boris Nol'de, *La formation de l'empire russe: études, notes et documents*. 2 vols. (Paris: Institut des études slaves, 1952). Vol.1. Chap. 4.

42. Нет ни одной работы, автор которой анализировал бы эту революционную традицию вне общего контекста польской истории. Тем не менее, см. R.F.Leslie, *The Politics and the Revolution of November 1830* (London: Athlone, 1956); idem, *Reform and Insurrection in Russian Poland, 1856-1865* (London: Athlone, 1963); Norman Davies, *God's Playground: A History of Poland*. 2 vols. (New York: Columbia University Press, 1982). Vol.2. Chaps.12, 13, 16, 17.

43. Alexander Dallin, «The Future of Poland». P.1-77.

44. См. недавние работы на данную тему: Edward Thaden, ed., *Russification in the Baltic Provinces and Finland, 1855-1914* (Princeton: Princeton University Press, 1981); Ronald Suny, *The Making of the Georgian Nation* (Bloomington: Indiana University Press, 1988); Edward Allworth, *The Nationality Question in Soviet Central Asia* (New York: Praeger, 1973), особенно следующие статьи: Edward Allworth, «Encounter». P.1-59; Hélène Carrère d'Encausse, «Organizing and Colonizing the Conquered Territories». P.151-171; Саидбаев Т.С. Ислам и общество. 2-е изд. М., 1984; Ислам и проблемы национализма в странах Ближнего и Среднего востока: сборник статей / Под ред. Ю.В.Ганковского. М., 1986.

45. Elizabeth Bacon, *Central Asians under Russian Rule: A Study in Culture Change* (Ithaca: Cornell University Press, 1966). Chap.4; Seymour Becker, *Russia's Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865-1924* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968); Martha Brill Olcott, *The Kazakhs* (Stanford: Hoover Institution Press, 1987).

46. Я использую классификацию Вернона Аспатуряна: Vernon Aspaturian, «The Non-Russian Nationalities», Allen Kassof, ed., *Prospects for Soviet Society* (New York: Praeger, 1968). P.143-200.

47. Теодор Тарановский усомнился в правомерности использования А.Рибера термина «маргинальный характер культуры». В частности, он отметил, что это подразумевает низкий уровень развития данной культуры. Рибер ответил, что именно потому, что термин несет такую смысловую нагрузку, он сам не вполне им удовлетворен. Подобная двусмысленность выражений не входила в его намерения. Рибер добавил, что термин «маргинальный характер культуры» можно интерпретировать в нескольких смыслах. Во-первых, его можно отнести к географическому положению страны. Россия с давних пор располагается на пересечении или на периферии нескольких великих культур: католического христианства (современной Европы), Византийской цивилизации (культурным реликтом которой являются Балканы), исламского мира и китайской цивилизации.

Во-вторых, иностранцы и сами русские (в особенности представители интеллигенции) постоянно ведут споры по поводу того, принадлежит ли Россия к Европе или к Азии, или же она представляет собой *sui generis*. Термин «маргинальный характер культуры» в этом - идеологическом - смысле слова означает, что Россия принимала участие в социальной и культурной жизни каждого из этих регионов, но не подпадала под культурное владычество ни одного из них. Само богатство и разнообразие русской культуры свидетельствует о том, что это - сплав эклектических заимствований и собственных традиций.

Термин «маргинальный характер культуры» также напоминает о своеобразной структуре российского многонационального общества. И, наконец, - в дополнение к нашим размышлениям о внешней политике - он подразумевает, что Россия одновременно входила в несколько международных систем. Так, на заре нового времени она вошла в европейскую систему государств, но в то же время была опутана узами степной политики и вовлечена в совершенно специфические взаимоотношения с Поднебесной.

48. Michael Cherniavsky, «Khan or Basileus: An Aspect of Russian Medieval Political Theory», *Journal of the History of Ideas* 20 (1959). P.459-476; idem, «Ivan the Terrible as Renaissance Prince», *Slavic Review* 27 (1968). P.195-211.

49. Савва В.И. Московские цари и византийские василевсы: К вопросу о влиянии Византии на образование идеи царской власти московских государей. Харьков, 1901. С.211-215, 230, 268. Даже после свержения татарского ига московские князья поддерживали такие отношения с крымскими ханами, которые в Западной Европе сочли бы изъявлением покорности. См.: Robert M. Croskey, «The Diplomatic Forms of Ivan III's Relationship with the Crimean Khan», *Slavic Review* 43 (1984). P.157-169. Однако некоторые из таких «изъявлений покорности», - например, поднесение подарков, - широко применялись еще Византийской империей в ее отношениях с варварскими племенами и считались обычной дипломатической практикой. См.: Dmitri Obolensky, «The Principles and Methods of Bizantine Diplomacy», *Byzantium and the Slavs: Collected Studies* (London: Variorum, 1971). P.58.

50. Дэвид Голдфранк отметил, что Россия была не единственной страной, игравшей по разным правилам в разных частях света. В частности, указал он, Япония тоже разработала систему собственных оригинальных дипломатических норм. Великобритания никогда не играла в Индии и в Африке по тем же правилам, что в Европе. Соединенные Штаты следовали далеко не европейскому образцу во взаимоотношениях с американскими индейцами и с населением Латинской Америки.

Рибер согласился с тем, что Великобритания, США, Франция и другие державы использовали два дипломатических подхода: один - для европейской системы государств, другой - для стран, не принадлежащих к этой системе. Тем не менее, как он отметил, ни одна страна не смешивала эти два подхода. А Россия зачастую вела себя в Польше так же, как и в Казахстане. Другими словами, она разжигала и поддерживала вооруженные восстания в зонах фронта и культивировала там «русские партии» не просто в целях распространения пророссийских настроений, а для подрыва политических институтов иностранных государств. Именно такая тактика была одним из самых эффективных механизмов российской политики в Восточной Европе в XVIII веке; но то была экстраполяция практики российских отношений с татарами и народами Сибири. В советский период создание иностранных компартий и руководство ими через Коминтерн явно свидетельствуют о «степном» характере политики сталинизма. Западноевропейские империи за пределами европейского сообщества действовали совсем по-другому: в их распоряжении была система колониального управления. Экспансия в заморские владения не затрагивала непосредственно вопросов государственной безопасности, таких как защита границ, переселение народов или отношение к представителям национальных меньшинств, проживающих на территории метрополии. Все своеобразие российской политики проистекало из континентального положения державы. Для России, в отличие от любой европейской страны, никогда не существовало большой разницы между решением колониального вопроса и процессом государственного строительства.

51. Baron M.A.Taube, «Études sur le développement historique de droit international dans l'Europe Orientale», Recueil des cours de l'Académie de droit international 2 (1927). P.483-486.

52. По этой теме существует обширная литература. См., например: Lloyd E. Berry and Robert Crummey, eds., *Rude and Barbarous Kingdom: Russia in the Accounts of Sixteenth-Century English Voyagers* (Madison: University of Wisconsin Press, 1968); Samuel H. Baron, ed. and transl., *The Travels of Olearius in Seventeenth-Century Russia* (Stanford: Stanford University Press, 1967) с интересным предисловием редактора; M.S.Anderson, «English Views of Russia in the XVII Century», *Slavonic and East European Review* 33 (1954). P.140-160; Anthony Cross, ed., *Russia under Western Eyes, 1517-1825* (New York: St. Martin's, 1971); Heinrich von Staden, *The Land and Government of Muscovy: A Sixteenth-Century Account*, ed. and transl. Thomas Esper (Stanford: Stanford University Press, 1967).

53. F.H.Hinsley, *Power and the Pursuit of Peace* (London: Cambridge University Press, 1967). P.14-16, 30-33; Denys Hay, *Europe: The Emergence of an Idea*, 2d. ed. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968). P.124-125.

54. Слова Петра I цитируются по работе Б.Самнера: В.Н.Sumner, *Peter the Great and the Emergence of Russia* (London: English Universities Press, 1950). P.97; см. также: Шафиров П.П. *Разсуждение о причинах Свейской войны*. Спб., 1722.

55. Frederick II, *Histoire de mon temps*, ed. Max Posner, redaction de 1746 (Leipzig: Hirzel, 1879). P.178, 180, 209.

56. Marc Szeftel, «The Title of the Muscovite Monarch up to the End of the Seventeenth Century», *Canadian-American Slavic Studies* 13 (1979). P.59-81.

57. Дьяконов М.А. *Власть московских государей: очерк из истории политических идей древней Руси до конца XVI века*. Спб., 1889. С.87-88.

58. Marc Szeftel, «The Title of Muscovite Monarch». P.71-72.

59. Paul Bushkovitch, «The Formation of National Consciousness in Early Modern Europe», *Harvard Ukrainian Studies* 10 (1986). P.355-376. См. также: George Vernadsky, *Russia at the Dawn of the Modern Age* (New Haven: Yale University Press, 1959). P.168-169; Малинин В.Н. *Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания*. Киев, 1901; reprint, Farnborough, Hants: Gregg, 1971. С.751-768.

60. Edward L. Keenan, «Muscovy and Kazan': Some Introductory Remarks on the Pattern of Steppe Diplomacy», *Slavic Review* 26 (1967). P.548-558.

61. Andreas Kappeler, *Russlands erste Nationalitäten* (Köln: Böhlau, 1982). Chaps.4, 6, 7.

62. Соловьев С.М. *История России с древнейших времен: В 15 кн. Кн.9 (Т.17-18)*. М., 1963. С.403.

63. О Н.П.Игнатьеве см.: В.Н.Sumner, *Russia and the Balkans, 1870-1880* (Oxford: Clarendon, 1937); idem, «Ignat'ev at Constantinople, 1864-1874», *Slavonic Review* 11 (1933). P.341-353; о А.И.Барятинском см.: Alfred Rieber, ed., *The Politics of Autocracy: Letters of Alexander II to Fieldmarshal Prince A. I. Bariatinskii, 1857-1864* (The Hague: Mouton, 1966). Part 2, «The Politics of Imperialism»; о М.Г.Черняеве см.: David MacKenzie, *The Lion of Tashkent: The Career of General M. G. Cherniaev* (Athens: University of Georgia Press, 1974); биография Р.А.Фадеева до сих пор не написана, но можно обратиться к «Собранию сочинений Р.А.Фадеева» (В 2 т. Спб., 1889); о М.Д.Скобелеве см.: Charles Marvin, *The Russian Advance towards India* (London: Low, Marston, Searle, and Rivington, 1882). P.5-12, и: Тарле Е.В. *Речь генерала Скобелева в Париже в 1882 г.* // Красный архив. 1928. №37. С.215-221; о К.П.Кауфмане см. упомянутую выше работу Дэвида Маккензи; о «безобразовской клике» см.: Andrew Malozemoff, *Russian Far Eastern Policy, 1881-1904* (Berkeley: University of California Press, 1958).

64. Огромное влияние церкви должно стать гарантией безопасности нации, считал министр иностранных дел Александра I Иоаннис Каподистрия, чья уверенность в том, что Россия должна упрочить ту благотворную систему влияния, при помощи которой она долгое время управляла судьбами Осман-

ской империи, заставила содрогнуться Меттерниха и подтвердила опасения Великобритании, что Россия намерена преследовать на Балканах свои собственные цели. См.: Patricia Kennedy Grimsted, *The Foreign Ministers of Alexander I* (Berkeley: University of California Press, 1969). P.256, 265.

65. David MacKenzie, *The Serbs and Russian Pan-Slavism, 1875-1878* (Ithaca: Cornell University Press, 1967). P.74, 99 etc.

66. Самые первые и откровенные из этих споров развернулись вокруг решения заключить сепаратный мир с воюющими державами. Кроме стандартных вторичных источников - исследований о ходе Брест-Литовских переговоров, - сегодня у нас имеется возможность дословно проследить за ходом тех дебатов: *The Bolsheviks and the October Revolution: Central Committee Minutes of the Russian Social-Democratic Labour Party (Bolsheviks), August 1917-February 1918*, transl. Ann Bone (London: Pluto Press, 1974). Part 3. P.168-251. Мы не располагаем каким-либо удовлетворительным анализом «азиатского компонента» в мышлении лидеров партии и Коминтерна. Тем не менее см.: Branko Lazitch and Milorad M. Drachkovitch, *Lenin and the Comintern* (Stanford: Hoover Institution, 1972), а также статьи В.И.Ленина, удачно собранные в следующей публикации: V.I.Lenin, *Selected Works*. 12 vols. (New York: International Publishers, 1935-1938). Vol. 10, *The Communist International*. [См. следующие выступления В.И.Ленина на конгрессах Коминтерна: Доклад о международном положении и основных задачах Коммунистического Интернационала // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.37. С.215-235; Доклад Комиссии по национализму и колониальным вопросам // Там же. С.241-247; Доклад о тактике РКП // Там же. Т.44. С.34-54. - Прим. ред.]

67. Бухарин Н.И. Отчет российского представителя в Исполкоме Коминтерна // XII съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1923. С.240. См. также: Е.Н.Сарт, *The Bolshevik Revolution*. 3 vols. (New York: Macmillan, 1950). Vol. 3. P.231 n. 2.

68. Первым аргументы в пользу этой точки зрения представил Луис Фишер: Louis Fischer, *Men and Politics* (New York: Duell, Sloane, and Pearce, 1941). P.127-128. Более глубоко и комплексно данную концепцию разработал Джонатан Хэслем: Jonathan Haslam, *The Soviet Union and the Struggle for Collective Security in Europe, 1933-1939* (London: Macmillan, 1984). Дополнительное подтверждение ей можно найти в недавно опубликованной биографии Максима Литвинова: Шейнис З. Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, человек. М., 1989. С.184-186, 218, 235, 360-363. См. также: Литвинов - Сталину, 3 декабря 1935 г. // Известия ЦК КПСС. 1990. № 2. С.212.

69. Такую точку зрения в то время наиболее энергично отстаивали Джордж Кеннан, Аверелл Гарриман, генерал Джон Дин, а также участники переговоров с советскими представителями на среднем уровне. См. George Kennan, *Memoirs, 1925-1950* (Boston: Little, Brown, 1967). Appendix C. P.294; это приложение содержит текст знаменитой «длинной телеграммы», которая суммировала эти настроения, и суровую критику Кеннана в отношении своего собственного поведения; General John Deane, *The Strange Alliance* (New York: J. Murray, 1946); Raymond Dennett and Joseph E. Johnson, eds., *Negotiating with the Russians* (Boston: World Peace Foundation, 1951), особенно статью из этого сборника: Philip E. Mosely, «Techniques of Negotiation». P.210-228; W. Averill Harriman, *Special Envoy to Churchill*

and Stalin, 1941-1946 (New York: Random House, 1975); Charles Bohlen, Witness to History, 1929-1969 (New York: Norton, 1973). Попытка анализа причин распространённой в Государственном Департаменте США враждебности по отношению к Советскому Союзу содержится в работе: Hugh De Santis, The Diplomacy of Silence: The American Foreign Service, the Soviet Union, and the Cold War, 1933-1947 (Chicago: University of Chicago Press, 1980). P.185-212; Daniel Yergin, Shattered Peace: The Origins of the Cold War and the National Security State (Boston: Houghton Mifflin, 1977).

70. Это станет главной темой моей следующей книги «Russia and Its Borderland: The Cold War as Civil War».

71. Роберт Джонс затронул вопрос о самодержавном или даже тираническом характере разработки и осуществления российской внешней политики: вопрос, который, по его мнению, Альфред Рибер не принял во внимание. Джонс привел следующие примеры «личной дипломатии»: резкий политический поворот Петра III во время Семилетней войны; Тильзитский мир; встречу Николая II с кайзером Вильгельмом у острова Бьерке, когда Николай был готов в корне изменить отношения с Францией и Германией; и, наконец, пакт Молотова-Риббентропа. Он заметил, что трудно представить себе правительство какой-либо другой страны мира, за исключением гитлеровской Германии, которое было бы способно на такое вероломное изменение курса внешней политики, как в случае с пактом Молотова-Риббентропа.

Рибер не согласился с таким мнением. Для сравнения он указал на полное изменение европейской системы внешнеполитических союзов накануне Семилетней войны, а также на неожиданную поездку Чемберлена в Мюнхен (несмотря на существование сильной оппозиции в рядах консерваторов и на реальную угрозу осуждения со стороны общественного мнения): шаг, который был не менее резким и шокирующим поворотом во внешней политике Великобритании, чем пакт Молотова-Риббентропа в советско-германских отношениях. С российской точки зрения пакт Молотова-Риббентропа выглядел не столь ошеломляющим, сколь в глазах Запада: сталинская внешняя политика вполне вписывалась в контекст российских внешнеполитических традиций. Необходимо отметить, что Россия традиционно присоединялась к тому или иному блоку враждующих европейских держав; ее целью было не допустить создания общеевропейской коалиции. Когда же этого не удавалось предотвратить, у России возникали большие проблемы (примером тому была Крымская война). Мотивы советской внешней политики в отношениях с Гитлером, особенно в 1930-е годы, также совершенно понятны. Идея коллективной безопасности, столь горячо поддержанная Литвиновым, была одобрена Сталиным, но, разумеется, с оговорками. Сталин отказался от этой политики, только когда стала очевидной ее абсолютная несостоятельность. Он не отвергал ее вплоть до начала гражданской войны в Испании и Мюнхенского сговора - явных признаков краха политики коллективной безопасности.

СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(из кн. «Петербург: тигель культурной революции»)

В сентябре 1924 года Ленинград был охвачен катастрофическим наводнением. Нева вышла из берегов, затопив такие городские достопримечательности, как Невский проспект и Васильевский остров. Поскольку в центре города было сосредоточено множество учреждений культуры, им был нанесен особенно тяжелый ущерб. Во многих театрах, например, были уничтожены декорации или отопительные и осветительные системы; с Большого Драматического театра была сорвана крыша [1].

Тот факт, что наводнение случилось ровно через сто лет после знаменитого «великого» наводнения 1824 года, не остался незамеченным. Наивысшая отметка, до которой поднялась вода во время того наводнения, была в центре внимания газетных сообщений, где делались попытки оценить серьезность нынешней катастрофы. Наводнение 1824 года достигло отметки в 4 метра 70 сантиметров, а наводнение 1924 года - 4,5-метровой отметки; таким образом, из всех поразивших город наводнений последнее наиболее приблизилось к уровню 1824 года [2].

Излишне говорить, что сравнения с 1824 годом не ограничиваются лишь высшей точкой, которой достигла вода. Поскольку наводнение 1824 года было темой пушкинского «Медного всадника», основного текста петербургской мифологии, нынешнее наводнение снова подчеркнуло стоящие перед городом экзистенциальные дилеммы, а также вопросы модернизации и авторитарного государства, которые, по мнению многих, затрагивались в пушкинской поэме.

7 октября 1924 года, в тот же день, когда в «Жизни искусства» был напечатан призыв оказать помощь жертвам наводнения, там же были

* © Кларк К., 2001

опубликованы отрывки из новой пьесы Н.Н.Евреинова «Коммуна праведных», использовавшего мотивы легенды о Ное и его ковчеге. Пьеса эта, написанная в манере «героического гротеска», посвящена тому, как идеалистические надежды трагически далекой от реальной жизни интеллигенции «терпят крушение», сталкиваясь с реальностью более приближенного к истинной жизни трудящегося класса, который не разделяет донкихотствующий идеализм интеллигентов и способен легко одержать над ними верх. Большая часть действия пьесы происходит на палубе «корабля-отшельника», где расположена анархическая «коммуна праведных», вдохновитель которой - поэт, прозванный «безумцем». Трудно удержаться от предположения, что пьеса частично является насмешкой над В.В.Маяковским - автором «Мистерии-буфф», еще одной вольной интерпретации библейской легенды о Ноевом ковчеге [3]. Таким образом, Евреинов фактически возвещает не только о конце, но и о поражении того этоса, который вдохновлял петроградский культурный Ренессанс в годы «военного коммунизма».

Сам Евреинов эмигрировал из России в 1925 году, во время европейских гастролей его труппы. Другие его коллеги по постановке массовых зрелищ, такие как Юрий Анненков и Дмитрий Темкин, покинули страну за год до него (Александр Бенуа эмигрировал годом позже). Однако большинство мечтавших об обновлении театра деятелей осталось; им было суждено стать свидетелями нового сдвига в сфере доминантных форм культурной жизни - сдвига более существенного, чем все изменения в этой области, вызванные до этого к жизни революцией. В середине 1920-х - примерно в 1924-1926 годах - мы уже можем различить контуры тех моделей, институциональных, идеологических и эстетических, которые в 1930-е годы снова проявились в виде признаков, определяющих ту культуру, которую мы называем «сталинизм» [4].

Происходившие примерно в 1924 году изменения были настолько значительны, что можно говорить о возникновении особой постэповской культуры [5]. Конечно, нэп не перестал полностью влиять на культурную жизнь, но по крайней мере в литературе ужесточение налогов и другие факторы в совокупности привели к уменьшению числа частных издательств и особенно к уменьшению числа названий выпускавшихся ими книг [6]. Более того, некоторые литературные группы начали отрекаться от принципов плюрализма и творческой автономии, на следовании которым они сами настаивали всего несколько лет тому назад [7].

Очевидно, что смерть В.И.Ленина (он умер 21 января) стала предлюдией к наметившемуся сдвигу. Возникла возможность того, что смена руководства приведет к изменению политики в сфере культуры. В тот момент еще не было ясно, в каком направлении она будет изменяться; направление это обозначилось и сформировалось в ходе страстных дебатов, продолжавшихся на протяжении последующих десяти лет. Тем не менее, кое-какие тревожные признаки вырисовывались с самого начала. Например, в Ленинграде усилилась активность цензоров [8].

Явным признаком изменений, происходивших после смерти Ленина, был декрет Петросовета от 24 января, гласивший, что город должен быть переименован в Ленинград [9]. Зиновьев, честолюбивый руководитель городской парторганизации, незамедлительно «протолкнул» новое название, вероятно, надеясь, что оно подчеркнет статус Ленинграда - «города Ленина» - как колыбели революции.

Переименование города и последовавшее вслед за этим наводнение были лишь внешними показателями происходивших изменений. Однако тот зловещий резонанс, который получили эти два события, позволяет толковать их как предзнаменования постоянно провозглашавшегося «конца Петербурга» - конца эпохи, когда культурную жизнь города пронизывал особенный этос, и начала мрачных времен, когда некая напоминающая «медного всадника» сила - в высшей степени авторитарная центральная власть (ныне обосновавшаяся в Москве) - стремилась навязать свою волю в сфере творческой деятельности.

Ленинградские интеллектуалы, уже преследуемые навязчивой мыслью о том, что их время прошло, подверглись нашествию из Москвы новых культурных течений, которые многие из них находили враждебными и угрожающими. Течения эти включали в себя не только конструктивизм (чье появление часто приветствовалось), но и самозванные «пролетарские» или «революционные» культурные организации, воинственно настроенные против большинства тех течений, которые доминировали в городе на протяжении последних десяти лет.

Около 1922 года в Москве образовалось великое множество пролетарских или революционных культурных организаций, каждая из которых представляла какой-то вид искусства. В литературе доминирующей организацией была ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей, основанная в 1921 году); в музыке - РАПМ (Российская ассоциация пролетарских музыкантов, основанная в 1923 году); в изобразительных искусствах - АХРР (Ассоциация художников революционной России, основанная в 1922 году). Конечно, пролетарские и революционные культурные объединения существовали

и раньше (в первую очередь, Пролеткульт), но новые организации были настроены заметно враждебнее по отношению к другим деятелям «своей» сферы; один советский историк литературы дал своей книге о руководстве ВАПП удачное название - «Неистовые ревнители» [10]. Каждая такая организация активно боролась за устранение с советской культурной сцены конкретных групп или течений, особенно авангардных и модернистских. Предметом особой ненависти для ВАПП был так называемый «попутчик» - или, говоря другими словами, не связавший себя обязательствами перед революцией писатель, в общем ей симпатизирующий, но не до конца перешедший на революционную сторону. К смятению ВАПП, Троцкий выступил в своей влиятельной в те годы книге «Литература и революция» (1923 г.) с утверждением, что пролетариат был недостаточно культурен для того, чтобы создать литературу мирового уровня, и поэтому в текущий переходный период, до построения бесклассового общества, именно «попутчики» будут являться главной опорой советской литературы [11]. Членов ВАПП возмущало мнение, что в нынешние революционные времена можно терпимо относиться к буржуазным писателям; они требовали установления гегемонии «пролетариев», под которыми в значительной степени подразумевались люди, связанные с партией или комсомолом.

Для тех, кто боялся установления господства капитулянтского искусства, нашествие из Москвы пролетарской культуры имело зловещий смысл потому, что принадлежащие к этой культуре группы обычно ставили знак равенства между революционной эстетикой и традиционным реализмом девятнадцатого столетия, против которого была направлена энергия до- и послереволюционного авангарда [12]. АХРР, например, приняла в свои ряды или допустила до участия в своих многочисленных выставках членов нескольких дореволюционных, претендовавших на утонченность вкуса художественных групп, включая некоторых мирискусников, которые когда-то восстали против реализма, но теперь были оскорблены нерепрезентативностью авангардистского искусства.

В Ленинграде угроза широкомасштабной перестройки в сфере культуры нарастала, по мере того как в городе одно за одним учреждались отделения пролетарских московских организаций. В конце 1922 года была создана ЛАПП, ленинградское отделение писательской организации ВАПП [13]. АХРР учредила свои местные отделения в 1923 году, а к 1925 году эта организация обеспечила себе контроль над ленинградской Академией Художеств, после того как ее новым директором стал Е.Е.Эссен [14]. К 1924 году К.С.Малевич с горечью

отмечал, что в ленинградском художественном мире «скопляются “духи Периклово времени”, которые имеют надежду “опарфенонить” или “оренессанснить” современное динамическое время, “отургенить” литературу» [15].

В ходе происходивших изменений молодежь стали считать еще более ценной силой, чем на протяжении предыдущих двух лет; но теперь под «молодежью» понимались не молодые люди в общем, а политически правильная молодежь. Выражение «рабочая молодежь» стало настоящим лозунгом, но подразумевался под ней комсомол. Утверждение, что тот или иной вид искусства не служит интересам молодежи, был в те годы почти таким же серьезным основанием для нападков, как и обвинение в том, что он не служит интересам рабочих; к примеру, именно на этих основаниях был облит грязью и вынужден в 1924 году закрыться демонстрировавший благородство замыслов и социальную сознательность Передвижной театр П.П.Гайдебурова, одна из колыбелей движения за народный театр [16].

Но значительной силой в области культуры становился не только комсомол, но и партия. Ведущие ее деятели, такие как Л.Д.Троцкий и Н.И.Бухарин, стали вести на культурном фронте еще более активную деятельность, считая, что конечные цели революции не могут быть достигнуты без ширококомасштабных культурных преобразований [17].

Определяющей чертой тех лет стала новая воинственность, направленная на создание истинно советской, а не какой-то расплывчатой «революционной» культуры. К 1925 году в статьях ленинградских журналов, занимавшихся вопросами культуры, преобладающей стала новая «тройка» лозунгов: «марксизм», «социология» и «рабочие» (или «орабочение»). Хотя сами по себе лозунги эти были и не новы, теперь их употребление было обязательным: каждый участник игры в строительство новой культуры должен был ими пользоваться и с их помощью обосновывать свою позицию. Как следствие, двумя наиболее употребительными в культурных журналах негативными ярлыками были «аполитичность» и «эстетство»; модным стало неприкрашенное содержание (если, конечно, оно было «правильным»). Для того чтобы обеспечить такую «правильность» в театре, была создана временная комиссия по надзору за репертуаром государственных театров Москвы и Ленинграда; среди ее членов были партийный историк В.И.Невский, А.В.Луначарский и А.К.Воронский [18]; кроме того, в репертуарные комиссии этих театров были назначены представители руководящих органов партии, профсоюзов и организаций пролетарских писателей.

Как знак наступления новых времен в сентябре 1924 года в Ленинграде появился новый журнал «Рабочий и театр». До конца 1920-х годов журнал этот соперничал с «Жизнью искусства» в борьбе за звание основного еженедельного органа культуры. Даже внутри самого журнала «Жизнь искусства» произошло перераспределение значимости его традиционных разделов: больше места стало уделяться теперь деятельности различных пролетарских культурных организаций. Сходные изменения происходили в большинстве областей культуры; например, в течение 1925-1926 издательского года заметно увеличилось число произведений, написанных пролетарскими писателями [19]; ученые и бюрократы от культуры начали заниматься изучением реакции рабочих на пьесы, фильмы, произведения изобразительного искусства и литературы, а архитекторы и художники стали уделять все больше внимания проектированию жилых домов для рабочих и рабочих клубов и даже конструированию рабочей одежды.

Такие тенденции приобрели особенно роковое значение для той лишенной определенных границ группы ленинградских интеллектуалов, в которую входили формалисты и их ученики как из числа «Серрапионовых братьев», так и из числа студентов и членов организаций, связанных с Отделом словесных искусств Государственного института истории искусств (ГИИИ). Они уверенно вступили в 1924 год. Многие из их статей появились в «Жизни искусства» и «Русском современнике»; ими был образован Комитет современной литературы. Однако начатая формалистами перестройка литературной теории и практики фактически так и не вышла за пределы начальной стадии; имена их исчезли со страниц «Жизни искусства», а «Русский современник» принудили закрыться после выхода всего четырех номеров. Позже, в том же году, формалисты подверглись многочисленным настойчивым нападениям со стороны марксистов (до сих пор наиболее враждебная критика в их адрес исходила в основном справа, включая критику со стороны религиозных мыслителей) [20].

ГИИИ также получил нагоняй за невнимание к новой «тройке» - к «марксизму», «социологии» и «рабочим» [21]. В ответ там был в спешном порядке создан в 1924 году Кружок по марксистскому изучению искусств (на заседания которого для чтения лекций был приглашен А.И.Пиотровский) [22]. Вскоре после этого в ГИИИ был создан Комитет по социологии искусства, которому было особо поручено «изучать современное советское искусство» и стараться привлечь к своей работе такое ценное достояние, как «учащуюся молодежь» [23]. Директор института даже выступил с заявлением, что этот комитет является «сердцем» ГИИИ [24]. В институте также была создана Секция по

изучению искусств Октября (то есть массовых зрелищ, плакатов и т.д.), которая, в свою очередь, учредила при Академии художеств «постоянный музей Красного Октября», провозгласив, что музейная экспозиция будет организована в соответствии с некоей «комплексной марксистской методикой» [25].

Искусство «циркового шатра» было упрятано в музей. Эра яркой революционной культуры была на исходе; симптоматично, что один из самых колоритных ее деятелей, поэт Сергей Есенин, покончил жизнь самоубийством в конце 1925 года (произошло это в Ленинграде, куда он незадолго до этого переехал из Москвы, спасаясь от душившей его столичной атмосферы).

Не следует, однако, считать именно смерть Ленина причиной того серьезного сдвига в культурной политике, который произошел примерно в то же самое время. Можно утверждать, что большее значение здесь имело другое событие, состоявшееся - или не состоявшееся - в октябре-ноябре 1923 года: поражение революционного восстания в Германии. Слишком много революций уже потерпело поражение, и эта неудача нанесла решающий удар давно лелеянным надеждам на неизбежность международной пролетарской революции. Хотя Троцкий по-прежнему настаивал на том, что революции в Европе и на Востоке необходимы и неизбежны и что за ними последует конфронтация с капиталистической гниющей в Америке [26], немногие разделяли с ним веру в то, что это возможно. Та форма интернационализма, которая определяла направление революционных усилий в культурной сфере на раннем этапе, быстро шла на убыль; возникла даже отрицательная реакция, направленная против «западничества».

Возникшие антизападные настроения ставили под особую угрозу надежды на формирование космополитической или утонченно-урбанистической культуры. Не случайно именно в 1924 году было закрыто издательство «Всемирная литература»; в том же году Луначарский выдвинул предназначенный для театра лозунг: «Назад к Островскому!» Критики восприняли этот лозунг как сигнал к началу дискуссии о явном несоответствии «левого» театра устремлениям революционной России, поскольку театр этот вышел не из национальных традиций, а из Европы или - что еще хуже - из гнусных Соединенных Штатов [27]. Даже наиболее консервативная с эстетической точки зрения Секция изобразительных искусств ГИИИ и ее московский «двойник» в ГАХН в 1924-1925 годах стали объектом нападков как «рассадники западноевропейского искусства» и подверглись по этой причине «чисткам», а АХРР в своих программных заявлениях отвергла попытку

«перенесения переломных форм искусств Запада... (Сезанн, Дэрэн и Пикассо) на чуждую им экономически и психологически почву» [28].

До определенной степени воинствующие антизападные настроения, возникшие в партийных и пролетарских кругах, были следствием различий между поколениями, причем молодое поколение обычно было более консервативным. Руководители старшего возраста придерживались более космополитических взглядов, чем новое комсомольское поколение, которое представляло собой в тот момент восходящую политическую силу и пришло в сферу культурной политики, пройдя школу партийной работы на фронтах гражданской войны. Различие во взглядах двух поколений явно чувствуется в эпизоде, произошедшем в 1924 году на совещании при Центральном Комитете, созванном с тем, чтобы разрядить атмосферу вокруг вопроса о «пролетарской литературе». На этом заседании Троцкий при обсуждении теоретических вопросов ссылался на Данте и на итальянского марксиста Антонио Лабриола, а его оппоненты из ВАПП возражали ему, ссылаясь на Виссариона Белинского и на те дебаты, в которые этот домарксистский приверженец отечественной реалистической литературной школы, стоящей на службе общества, был вовлечен в XIX столетии [29]. Два поколения говорили на разных языках.

С упадком революционного интернационализма теряли популярность доминировавшие прежде в литературе, кино и драме модели истории, где историческая реальность была представлена как стремительный прогресс, разворачивающийся в европоцентристской перспективе. Тот факт, что теперь в официальных ритуалах, кино, литературе и т.д. внимание было сосредоточено на одной России, означал потерю географической масштабности. Соответственно возросла важность временного (исторического) измерения. В сравнении с предыдущими массовыми зрелищами, однако, и этот масштаб был уменьшен; грандиозный охват исторических событий с древнегреческих времен до времен настоящих и даже будущих был «урезан» до какого-либо конкретного столетия.

Примерно в то же самое время состоялся пересмотр официальной генеалогии революции (результаты этого пересмотра оставались в силе на протяжении последующих шестидесяти лет). Новая версия, служившая теперь источником вдохновения для большинства произведений культуры, вела генеалогию Октября не от Древней Греции или Великой французской революции, а от русских крестьянских бунтов XVII и XVIII веков (восстаний под предводительством Стеньки Разина и Емельяна Пугачева), которые воспринимались как своего рода прелюдия революции, - через восстание декабристов 1825 года - к рус-

ской революции 1905 года. Иногда к этому добавлялись другие исторические события, такие как царствование Петра Великого или Ивана Грозного; но нерусских вех в новой генеалогии не было.

Может показаться, что работники культуры спешно приспособили использовавшиеся ими модели в ответ на сталинское изменение политической линии (в написанной И.В.Сталиным в декабре 1924 года статье впервые была публично провозглашена доктрина возможности построения социализма в одной стране). В действительности платформа для данного политического сдвига была впервые сформулирована Бухариным - Сталин просто ее популяризовал [30]. Более того, в некоторых интеллектуальных кругах уже произошел сдвиг в сторону более русоцентристского самосознания, что проявилось в таких событиях, как Пушкинские торжества 1921 года [31]. А начиная примерно с 1922 года - в то же самое время, когда «красный пинкертон» с его вневременной европоцентристской повествовательной формой стал образцом для подражания практически во всех сферах культуры - в моду все больше и больше входили произведения на темы из российской истории. Это особенно касалось рабочих театров, где в основе многих предназначенных для рабочих аудиторий скетчей лежала генеалогия революции, построенная согласно формуле «1825-1905-1917»; обычно авторами этих скетчей были А.И.Пиотровский или кто-нибудь из его коллег, но достаточно типичным было и использование созданных ранее произведений таких писателей, как Александр Блок или Дмитрий Мережковский (который к этому моменту эмигрировал!) [32].

К середине 1920-х годов, когда эта генеалогия приобрела официальный статус, и партия даже посылала для участия в работе правлений театров своего историка (В.И.Невского), не могло быть и речи о какой-либо европоцентристской модели революционного прогресса. Стало очевидно, что движение за создание «Афин на Невском», страстным поборником которого был ранее Пиотровский, теперь обречено. Время от времени А.И.Пиотровский и С.Э.Радлов ставили на сцене переработанные версии произведений классического греческого театра, но их постановки были заклеены как «чуждые рабочему зрителю» [33]. Вместо этого для заводов и фабрик была подготовлена целая серия пьес, посвященных темам из прошлого России - не только революционным сюжетам, но и истории Петербурга [34].

В сфере культурной политики акцент был сделан уже не на борьбу с традицией, а на создание новых икон, которые могли бы выдержать испытание временем. Редакционные статьи настаивали на том, чтобы к массовым действиям, приуроченным к революционным празднествам, подходили не как к эфемерным событиям, а как к ритуалам, которые

можно было бы передать «будущим поколениям» с тем, чтобы сформировать у них яркое и возвышенное ощущение революционной истории [35]. Зрителям необходимо было давать «реальную историю, а не подмалеванную версию старорежимного ярмарочного балагана» [36] ... Образ Ленина также стал играть более весомую роль в массовых торжествах по случаю революционных праздников, и к 1925 году его огромные портреты стали их обязательной частью.

Этот сдвиг в сторону более устойчивой иконографии стал решающим событием в эволюции того, что обозначается понятием «культура сталинизма». Параллельно с переносом акцента на исторические темы произошли иные перемены - литература оттеснила театр с доминирующих культурных позиций. Две резолюции Центрального Комитета ВКП(б) по вопросам литературы 1924, и особенно 1925 года, в течение нескольких лет выполняли функцию непререкаемых догматов в области культуры в целом [37]. Более того, примерно в середине 1920-х годов появились некоторые из тех ключевых произведений, которые в 1930-е годы были провозглашены образцами социалистического реализма [38].

1925 год был особенно важен для эволюции новой, официальной культуры. В этом году появился роман Ф.В.Гладкова «Цемент» и фильм С.М.Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин»». Они были с энтузиазмом встречены сильными мира сего как долгожданные модели новой советской культуры, в то время как другие произведения (например, «красный пинкертон» Мариэтты Шагинян «Месс-менд»), еще недавно пользовавшиеся поддержкой, постепенно исчезали из виду. В основу «Потемкина» лег благодатный пролетарский и революционный сюжет - мятеж матросов военного корабля как концентрированный образ всей революции 1905 года, и чиновничество решило забыть на время свои предубеждения в отношении авангардизма и одобрить картину. «Цемент» был еще более многообещающим произведением: это был популярный роман, созданный писателем из пролетарской литературной организации «Кузница» (которая фактически была соперницей ВАПП). Биография героя романа сочетала в себе все желательные данные: он - заводской рабочий, член партии и имеющий многочисленные награды герой гражданской войны. Таким образом, появление романа в год, когда все шумно требовали «орабочения» искусства, было особенно своевременным.

Роман был осыпан со стороны официальных кругов непомерными похвалами. Всех остальных превзошел Луначарский, провозгласив: «На этом цементном фундаменте можно строить дальше» [39]. На самом деле советской культуре не пришлось строить намного «дальше»

на протяжении нескольких десятилетий: «Цемент», несомненно, стал наиболее влиятельным романом, содержащим все основные шаблоны, на которых основывалась стандартная фабула советской литературы сталинских 30-х и 40-х годов, стал своего рода цементной «шинелью» [40]. В годы правления Сталина именно роман, а не театр или кино стал ведущим жанром официальной советской культуры - аналогом тому, чем была Пекинская опера для культуры КНР. Но мы видим, что в те же годы сдвиги происходили и в других жанрах. Интересно, что уже в 1925 году Пиотровский говорил о «беллетризации» театра [41]. Решающей стадией на пути к социалистическому реализму была, однако, не «беллетризация» как таковая, а появление примерно в это же время шаблонной биографии, ставшей важнейшей частью культурной продукции и политической риторики, посредством которых «разыгрывались» основные политические мифы большевиков. «Цемент» был призван сыграть в этой эволюции решающую роль, и поэтому появление этого романа в 1925 году следует воспринимать как веху еще более значительную, чем утверждало руководство страны в своих гиперболических оценках.

«Цемент» и «Потемкин» имели и свой аналог в изобразительном искусстве: в данном случае - творчество ленинградца Исаака Бродского, который в те годы наиболее приблизился к позиции официального художника. До революции И.И.Бродский был известен своими «левыми» симпатиями и тем, что он последовательно выступал против абстрактного и «декадентского» искусства. После революции он в значительной степени посвятил себя созданию официальной иконографии (главным образом - портретов большевистских вождей).

Две работы 1924-1926 годов стали основой для того, чтобы Бродский превратился в художника-лауреата и стал Давидом русской революции. И та, и другая были провозглашены тогда эталонами новой советской культуры. Первая представляла собой эпическое полотно «Торжественное открытие Второго конгресса Коминтерна» (1920-1924). На этой огромной «заказной» работе изображены шестьсот советских и иностранных делегатов. Функционально она была чем-то вроде «Клятвы в Зале для игры в мяч», самого знаменитого революционного полотна Ж.-Л.Давида (хотя по исполнению «Открытие» скорее напоминало «архитектурные ландшафты» неоклассического Петербурга, создававшиеся в начале XX века). Вторая работа Бродского, выполненная по заказу С.М.Кирова (возглавлявшего тогда Компартию Азербайджана) картина «Расстрел 26 бакинских комиссаров» (1925) была похожа на «Клятву Горациев» - наиболее известное неоклассицистское произведение Давида - тем, что она также служила

иллюстрацией к теме гражданского долга как высшего призвания человека [42].

Бродский стал членом АХРР в 1923 году, и его популярность среди известных большевиков была немаловажной причиной процветания этой организации, особенно в его родном Ленинграде. Работы Бродского стали козырями АХРР, которая, совместно с различными правительственными органами, устраивала выставки этих живописных произведений и набросков к ним в Москве, Ленинграде и других крупных городах, находившихся под особой опекой партийного руководства [43].

Бродского особенно ценили потому, что его могли воспринимать как прямого преемника Репина, с которым он когда-то работал и которого члены АХРР считали образцом для подражания. Советские власти обхаживали Репина с тем, чтобы художник вернулся из эмиграции в Финляндии, надеясь, что он создаст для них такие же официозные исторические полотна, как и Бродский (наибольшее, чего удалось добиться, - это выполнения их заказа сыном Репина) [44]. Они обхаживали и Горького, с которым Бродский также поддерживал отношения.

Таким образом, молодые больше не «оттесняли» в сторону старшее поколение. Во многих кругах, включая официальные, крайне престижным считалось привлечение старшего по возрасту авторитетного деятеля (в идеале - с дореволюционной «родословной»), чтобы он выполнял роль символа каждой отдельной области культуры. Тенденция эта снова выявилась в 1930-е годы, когда А.М.Горький принял на себя эту функцию в области литературы, а Н.Я.Марр - в лингвистике.

Итак, можно сказать, что наводнение 1924 года было предвестником новой культуры, претендующей на гегемонию. Многие ленинградские интеллектуалы - как сторонники «высокого» искусства, так и сторонники искусства «левого» - доблестно сражались, пытаясь остановить ее напор [45], но эта борьба опустошила их так же, как наводнение опустошило городские театры. Но, без сомнения, это - слишком упрощенный взгляд на происходившие события. В 1924-1926 годах, несмотря на все бряцание оружием со стороны пролетарских группировок и других воинствующих элементов, несмотря на все политическое давление с целью «орабочения» и т.д., культура страны в общем и целом все еще переживала переходный период, находясь в состоянии неопределенности и не будучи скованной какими-то жесткими рамками. В конце концов, все три модели, официально выбранные для новой культуры - «Цемент», «Потемкин» и живопись Бродского, - относятся к разным школам. Более того, не каждая из этих моделей сохранила свой статус в 30-е годы (к тому времени «Потемкин» был в немилости, а Брод-

ского «затмил» С.В.Герасимов). Сегодня, задним числом, можно различить в разнообразном ландшафте того времени контуры социалистического реализма, но тогда они не были такими четкими.

Важным аспектом «открытости» культуры той эпохи был непрерывный диалог между группами деятелей культуры двух столиц. Речь шла не просто о колонизации Петербурга новой московской культурной империей. Когда в Ленинграде учреждались отделения новых московских пролетарских организаций, зачастую они крайне отличались от «вышестоящей» московской организации. Показательным примером здесь может служить ЛАПП (ленинградское отделение ВАПП), куда входило несколько фракций, каждая из которых отстаивала позицию, в значительной степени отличную от позиции «неистовых ревнителей» московского руководства ВАПП. В самом начале в ЛАПП доминировали космисты - группа фантазеров-утопистов; некоторые из них (фракция биокосмистов) считали, что большевистская революция несет людям надежду на достижение биологического бессмертия [46]. Позже в ассоциацию вошла комсомольская литературная группа «Смена», которая стремилась следовать чему-то вроде международной «урбанистской» традиции, включавшей в себя, по их мнению, Ш.Бодлера, М.Пруста и Н.С.Гумилева (считавшегося «белогвардейцем»), которые, конечно же, были слишком далеки от выбранных ВАПП примеров для подражания - В.Г.Белинского и Л.Н.Толстого [47]. После 1926 года к ЛАПП присоединилась московская группировка, лишившаяся руководящих позиций в результате недавней схватки за власть в рядах ВАПП, - «ультралеваки», ревнители еще более неистовые, чем остальные их соратники.

Другой широко распространенной в Ленинграде формой диалога с нарождающейся официальной культурой было использование интеллектуалами новой официальной генеалогии 1917 года (от года 1825 к году 1905 и затем к году 1917) в качестве средства для исследования собственных экзистенциальных дилемм и разработки собственных программ. Около 1925 года практика эта стала наиболее заметной, поскольку год этот был юбилейным по отношению к первым двум датам триады: отмечалось столетие событий 1825 года и двадцатая годовщина революции 1905 года. В рамках официальных празднеств год 1905 заслонил год 1825, который очень мало освещался в прессе и едва ли упоминался в ходе общественных ритуальных мероприятий [48]. В целом авангардисты в своих работах также уделяли основное внимание 1905 году; к примеру, революция 1905 года - тема эйзенштейновского «Потемкина». Но ленинградские интеллектуалы, включая прежних союзников Эйзенштейна из мастерской ФЭКС (Фабри-

ки экспериментального актера), выбрали как основную тему события, связанные с 1825 годом [49].

Если интеллектуалы выбирают в качестве своего парадигматического времени эпоху столетней давности - эпоху, которая не соприкасается во времени с настоящим, а параллельна с ним, но на расстоянии столетия, то это означает, что они делают свой выбор в пользу не этиологического, а аллегорического ее потенциала. Ленинградские интеллектуалы сосредоточили внимание на движении от 1825 года (и предыстории восстания) к последующим десятилетиям царствования Николая I для того, чтобы иметь возможность таким опосредствованным образом проследить движение от эпохи революции к эпохе реакции. 1825 год предстает в их работах не просто как одна из высших точек революции, но скорее как некая узловая точка на пути к 30-м и 40-м годам XIX столетия, то есть к николаевской России, которая в то время притягивала особое внимание интеллектуалов как поучительный пример (обычно подававшийся в гротескной форме) застоя, бюрократизма, тупости и провинциализма. То, что внимание интеллектуалов было направлено на 1825 год, можно также расценивать как опыт погружения в эпоху, когда им подобные обладали аристократическим статусом, как поиски убежища перед лицом наступающего антиинтеллектуализма, признаки которого проявлялись даже в сфере общественных ритуалов и культуры (тенденция эта в определенной степени заметна и в «Цементе») [50].

Доходившее до одержимости увлечение интеллектуалов 1825 годом наиболее ярко проявилось в литературе. Примером тому является повествующий о декабристах роман формалиста Ю.Н.Тынянова «Кюхля» (1925 г.). Роман рассказывает о Вильгельме Кюхельбекере, малоизвестном литературном деятеле и второстепенном, незадачливом участнике восстания декабристов, который умер в сибирской ссылке после многих лет одиночного заключения в царских тюрьмах. Используя фигуру В.К.Кюхельбекера в качестве мнимого центра своего романа, Тынянов умудрился с почти энциклопедическим размахом представить картину жизни литературной интеллигенции той эпохи. На фоне этого широкого полотна писатель исследовал тему интеллектуала, который «выбыл из времени», оказавшись неспособным идти с ним в ногу или став его жертвой. Тема это явно имела современный резонанс и затрагивалась и в других исследованиях литературной жизни николаевской России, появившихся в 20-е годы [51].

Таким образом, Тынянова можно обвинить в «биографизме», как, впрочем, и остальных формалистов, работавших в то время в сфере литературной теории. А ведь ранее они критиковали возникавший в

России культ Пушкина за излишний биографизм. Однако в середине 20-х годов (в ответ ли на давление, целью которого было заставить исследователей использовать более «социологическую» методологию или в результате эволюции самих представителей формализма) они окунулись в русскую литературную историю. Ленинградские формалисты Ю.Н.Тынянов и Б.М.Эйхенбаум, а также В.Б.Шкловский, который теперь жил в Москве, но поддерживал тесные контакты со своими ленинградскими единомышленниками, стали авторами нескольких критических биографий писателей XIX столетия, а также начали активно интересоваться литературной и издательской политикой и экономикой той эпохи. Таким образом, они в каком-то смысле вернулись к своим корням в знаменитом «Венгеровском кружке» (который посещали во время своей учебы в Петербургском университете Тынянов и Эйхенбаум, и где занимались точными, хотя и несколько традиционными исследованиями творчества А.С.Пушкина и его современников), хотя в противовес принятому в этом кружке подходу они всегда называли себя формалистами. Да и сам роман «Кюхля» может рассматриваться как возврат Тынянова к теме своего длинного доклада «Пушкин и Кюхельбекер», написанного им для кружка и уничтоженного пожаром в 1918 году [52].

Ирония в том, что в «Кюхле» Тынянов частично использовал жанр биографии для критики ползучего биографизма своей эпохи. В его миссию входила демистификация того гипсового святого, в которого превратили Пушкина, а также выработка противоядия против распространившейся в последнее время в пьесах и фильмах об исторических фигурах (царях и писателях) моды на щекочущие воображение детали и сенсационность. И, что еще более важно, похоже, что в этой книге Тынянов в первую очередь стремится не столько поразить своими стрелами внекультурные, политические цели, сколько защитить принципы осознанного, непосредственно ощущаемого миллениаризма от АХРР и прочих приверженцев «бесхребетной» или романтизированной культуры [53]. Некоторые ключевые места «Кюхли» фактически содержат полемику по вопросу о том, что «случай» непременно играет решающую роль в любой революционной культуре, и критику культа «аккуратности» и «стандартности» [54]. Более того, хотя на первом плане романа - неуклюжий Кюхельбекер, его подлинными героями, бесспорно, являются Пушкин и Грибоедов, писатели, чье творчество являет собой образец того подхода, которому отдает предпочтение и сам автор. Таким образом, цель Тынянова - не только демифологизация, но, одновременно, и контрмифологизация; он исполь-

зует официальную генеалогию революции (1825 - 1905 - 1917), но изменяет ее значение.

С середины до конца 20-х годов дебаты о сущности революционной культуры шли наиболее интенсивно. Следовательно, в эволюции этой культуры важным фактором было не только «политическое вмешательство», но и теоретические баталии внутри самой творческой интеллигенции. Самые различные группы в 1925 году вели спор о том, какой должна быть «революционная» культура; некоторые испытывали непреодолимое влечение к фактам и культуре «повседневной жизни» (аналогом этому была *Neue Sachlichkeit* - «Новая вещественность» - течение, возникшее в авангардистских кругах веймарской Германии) [55], в то время как другие стремились к наполненной героическим пафосом «монументальной» культуре. Точки зрения основных участников данной дискуссии явно не совпадали с их пролетарскими (непролетарскими) и марксистскими (немарксистскими) позициями. Другими словами, нельзя говорить об однозначной взаимосвязи политических позиций участников спора и их эстетических воззрений. Внутри конкретных движений и в рядах приверженцев того или иного «изма», в частности, такого труднообъяснимого понятия, как «реализм», отдельные личности могли занимать противоположные позиции.

Таким образом, в середине 20-х годов наблюдалась эволюция в сторону более пролетарского и более тенденциозного искусства, но дебаты о сущности советской культуры все еще носили ожесточенный характер, а направление, в котором эта культура должна была развиваться, все еще не было определено. Несомненно, что перспектива захвата власти подстрекателями из таких организаций, как РАПП, РАПМ и АХРР, представляла наибольшую угрозу для непролетарских и экспериментальных групп, но в тот момент вопрос о реальности такого развития событий оставался открытым. Показательно, что основной орган ВАПП, журнал «На посту», который должен был выходить ежемесячно, столкнулся с денежными трудностями и нехваткой бумаги; по этой причине за весь период публикации (с 1923 по 1925 гг.) вышло всего пять номеров этого журнала. В противоположность такому положению дел основной орган «попутчиков», журнал «Красная новь», выходил каждый месяц и издавался наибольшим тиражом среди всех литературных журналов. Более того, в 1924 и 1925 гг. партийные руководители защищали «попутчиков» от нападок со стороны «пролетариев», созвав для обсуждения петиций первых специальное заседание Отдела печати Центрального Комитета ВКП(б) [56]. Решения этого совещания, в общем подтвердившие принцип недопус-

тимости установления гегемонии пролетарских ассоциаций, в течение ряда лет действовали в качестве непререкаемых указаний по общим вопросам культурной политики.

Вероятно, большевистские вожди так неохотно поддерживали пролетарские движения потому, что, по их мнению, движения эти не обладали достаточно высоким уровнем культуры. Троцкий последовательно противостоял упорным попыткам ВАПП содействовать росту популярности писателя Юрия Либединского и попыткам этой организации приклеить Б.А.Пильняку ярлык вредоносной буржуазности; он отзывался о Либединском как о «еще очень молодом товарище», который, чтобы его воспринимали как серьезного писателя, должен «учиться и расти» [57]. Подобным же образом, хотя Луначарский явно считал своим долгом воздать преувеличенную хвалу роману «Цемент», он не хотел воспринимать его как некий окончательный ответ на стоящие перед литераторами вопросы (писатели должны были «строить дальше»). Более того, Луначарский не только не хвалил исключительно пролетарское творчество - в своих рецензиях на события культурной жизни он часто выбирал для похвалы такие произведения, как драма Н.Р.Эрдмана «Мандат» (впервые поставленная на сцене В.Э.Мейерхольдом), и таких модернистов, как композиторы И.Ф.Стравинский и С.С.Прокофьев [58].

В то время партия была далеко не монолитна; внутри нее велись жаркие дебаты по вопросам культуры (как и по вопросам экономики и политики). Она фактически являлась зеркалом культурной интеллигенции - ввиду того, что большинство принимавших участие в интеллигентских дебатах фракций так или иначе находили на одной из ступеней партийной иерархии сочувствующих им деятелей. Развернувшаяся в Ленинграде борьба АХРР против «левого» искусства в значительной степени была борьбой за могущественных покровителей из числа партийного руководства. У «левых» художников были свои покровители, принимавшие решения в их пользу, но АХРР удалось апеллировать к чиновникам более высокого ранга [59].

У вопроса, кого и что (какие группировки и какие позиции) будут поддерживать в области культуры государство, комсомол и партия, были и в высшей степени практические аспекты. Последние годы нэпа были для интеллектуалов временем быстро прогрессирующей безработицы. Тем не менее вопрос о том, какую позицию занять по отношению к культуре, решался не партией как таковой, а в намного большей степени, чем это обычно признается, общественным вкусом (представителями которого были и многие партийные функционеры). Массы не спешили посещать те культурные институты, две-

при которых теоретически распахнула для них революция. Посещаемость «серьезных» театров была тревожно низкой, и, как показывают проводившиеся в то время исследования, население даже не посещало рабочие театры и не читало пролетарскую литературу [60]. (Популярность «Цемент», являвшаяся для того времени аномалией, несомненно, была одним из факторов, повлиявших на оказание ему официальной поддержки). Пролетарская культура была жупелом для интеллигенции, но в реальности в тот момент она представляла лишь небольшую часть культурной продукции и на нее приходилась еще меньшая часть потребления этой продукции. Все смотрели американские фильмы.

1925 год был не только годом «Цемент» и «Потемкина», но и годом, когда такие фильмы Дугласа Фербенкса, как «Робин Гуд» и «Багдадский вор», а также другие голливудские версии экзотического приключенческого кино абсолютно доминировали на советских экранах [61]. Подавляющее большинство новых фильмов, шедших в советских кинотеатрах того времени, было из Соединенных Штатов, численно превосходя даже фильмы советского производства - в пропорции четыре к одному [62]. Фербенкс и его жена, актриса Мэри Пикфорд, - король и королева западных кинозрителей - были любимцами русской публики; когда они в 1926 году приехали в Москву, их чуть не растерзали обезумевшие толпы поклонников.

Такие западные фильмы для многих представителей власти были мерзейшими из всех нечистот, от которых должно было очистить «авгиевы конюшни» просвещенное советское правительство. Рецензенты фильмов с участием Фербенкса обычно тут же указывали на неверное изображение классовых отношений в его исторически-романтических картинах [63]. Однако в советских кинотеатрах продолжали показывать западные фильмы. Более того, демонстрировавшиеся картины отнюдь не были контрабандным импортным товаром, ввезенным благодаря характерным для нэпа послаблениям и санкционированной государством частной инициативе. Большинство из них были ввезены в результате широкомасштабных закупок, сделанных старым большевиком Л.Б.Красиным в 1924 году [64].

Точно так же при государственной поддержке была возрождена дореволюционная мода на экзотическую приключенческую литературу; были возрождены и соответствующие институты. В 1925 году был начат выпуск двух популярных массовых журналов, недвусмысленно посвященных публикации советских версий такой продукции «в американском стиле»; журнал «Тридцать дней» специализировался на рассказах и очерках, а «Всемирный следопыт» называл себя «еже-

месячным журналом путешествий, приключений и научной фантастики» [65]. «Тридцать дней» был очень похож на «Аргус», популярный петербургский журнал 1910-х годов; у него даже был тот же редактор В.А.Ренигин. «Всемирный следопыт» издавался под редакцией Попова, бывшего редактора популярного дореволюционного журнала «Вокруг света» [66]; последний также стал вновь издаваться комсомолом в 1927 году.

Такие двусмысленные действия государства в отношении «авгиевых конюшен» бросаются в глаза при изучении любого из номеров «Жизни искусства», вышедших в 1925 году. Часто на обложке того или иного номера была фотография Фербенкса, Бестера Китона или какой-то другой голливудской звезды - обычно это был кадр из последней картины, в которой эта звезда снялась. А непосредственно под обложкой была напечатана редакционная статья, поносившая подобное искусство и призывавшая к очистке от него кинотеатров и к созданию здорового, пролетарского искусства. Тема эта обычно более или менее продолжалась на последующих страницах, но приложение в конце журнала часто содержало киносплетни о последних «подвигах» экзотичных голливудских звезд и, возможно, о таких персонажах эмигрантского мира, как Анна Павлова или Ф.И.Шляпин. Ясно, что журналу нужно было «продавать себя», а материалы о голливудских звездах помогали увеличивать тиражи. Как будто в подтверждение всего сказанного, в одной из статей, напечатанных в тот год в журнале, отмечалось, что, несмотря на то, что советские фильмы демонстрировались на 27-30% всех киносеансов, денежные поступления от их проката составляли лишь 14-19% общих сборов [67]. «Жизнь искусства» должна была, однако, соответствовать своему мандату борца за дело революционной пролетарской культуры (дело, которое, вероятно, искренне отстаивал по крайней мере редактор журнала). Но руководство также понимало, что оно находится перед дилеммой. Хотя Луначарский и отвергал «Багдадского вора» как «хлам», далее он отмечал, что откровенно дидактические и агитационные фильмы не могли стать ему противоядием. Для того чтобы иметь эффект, агитационные кинокартины должны были быть «захватывающими» и «беллетристическими» - как упомянутая голливудская продукция [68].

В фербенксовских фильмах доминирует фигура самого Фербенкса, затмевающая собой других персонажей, фигура отчаянного рубаки, для которого, когда он прыгает, раскачивается на веревке или даже летит, не существует физических ограничений; он преодолевает ошеломляющие препятствия и достигает невозможных целей - Тарзан псевдоисторической любовной драмы или Супермен, опередивший

свое время. Как отмечали даже некоторые советские рецензенты, Фербенкс жизнерадостен и бесстрашен; на лице у него всегда улыбка оптимиста; он - воплощение молодости и здоровья, олицетворение физической энергии (несмотря на то, что во время съемок «Багдадского вора» ему было сорок лет) [69]. Часто зрители видели Фербенкса с обнаженным торсом или в наполовину расстегнутой рубашке, из-под которой выступало мускулистое тело; его прозвали «Мистер Электричество» - в данном случае речь шла о чистой пульсирующей энергии, а не о воплощении новых технологий. Фербенкс совершал захватывающие дыхание подвиги с поразительной решительностью и настойчивостью, но всегда ради благородного дела, будь то любовь (в «Багдадском воре») или защита обездоленных (в «Робин Гуде»).

Некоторые историки кино анализируют фильмы с участием Фербенкса с точки зрения их функции как посредника в процессе приспособления масс населения к условиям корпоративной Америки [70]. Но в советских условиях фербенксовский тип героя оказался не менее функционален, став моделью для скрещивания «бульварного» романа с назидательностью советской идеологии. Именно вариант такой модели мы находим в «Цементе» Gladkova.

Многие критики и теоретики той эпохи считали, что романисты должны давать реалистические картины работы в заводских цехах, но в романтических приключениях Gladkovу удалось найти лучшую формулу «производственного романа». В «Цементе» рассказывается, как группа местных энтузиастов, возглавляемая героической фигурой Глеба Чумалова, восстанавливает и вновь запускает цементный завод, обветшавший за годы гражданской войны. Герой романа добивается экономических успехов в прозаичном мире провинциального цементного завода, но автор изображает его как лихого сорвиголову, борющегося с препятствиями в какой-нибудь экзотической стране. Gladkov последовательно отождествляет каждый шаг Чумалова в деле восстановления завода с каким-нибудь героическим, на первый взгляд, невозможным физическим подвигом, совершенным в мире природы, с чем-нибудь, напоминающим подвиги Фербенкса. В таких подвигах - сальто - был больший, чем в «пинкертоне», потенциал для аллегорического изображения впечатляющего политико-экономического прогресса. Такая художественная стратегия стала достаточно обычной в классической культуре сталинизма, где «люди действия» решают задачи быстрее, чем это возможно согласно законам природы. Другими словами, хотя и принято считать, что социалистический реализм и доминирующая в нем политическая образность были вызваны к жизни политикой партии, общественный вкус, ориентиро-

вавшийся на приключения и романтику, несомненно, сыграл в их становлении важную роль [71].

«Красный пинкертон» избавился от образа детектива и был «видоизменен». Путь от Мика Тингсмастера из «Месс-менд» до Глеба Чумалова - это превращение тайного заговорщика в идеального рабочего, который презирает логическое мышление и действует согласно своей классовой сущности. Миру Глеба не нужен «профессор шпигистики» [72], ибо его образ создан в соответствии с иконографией русского эпического героя - богатыря - и получает согласно этой иконографии сапоги-скороходы.

Итак, если большинство населения предпочитало как в кино, так и в литературе именно такую продукцию (американскую, приключенческую и экзотическую), то роман Гладкова «Цемент» был похож на нее больше (и пользовался в то время намного большей популярностью), чем «Потемкин». Фильм Эйзенштейна с трудом пережил 1920-е годы в качестве эталона, в то время как «Цемент» обладал этим статусом на протяжении десятилетий, сохраняя его долгое время и после 1953 года - года смерти Сталина. В середине 1920-х годов создание героических фигур колоссального масштаба было для широких кругов авангардистской интеллигенции хуже анафемы. Вот почему, снимая «Потемкин», Эйзенштейн пытался показать подвиги масс, а не личностей. Его коллеги превозносили «Потемкин» и ненавидели «Цемент» [73]. Но в 1930-е годы «Цемент» и его титанический герой бесспорно остались «цементным фундаментом» социалистического реализма, в то время как «Потемкин» был заслонен новыми фильмами о русских и советских героях.

Другой определяющей чертой культуры сталинизма, которую можно связать с «Цементом» и фербенковской интерлюдией, была фантастическая трансформация пространства. Если в появлявшихся незадолго до этого «красных пинкертонах» герои должны были мчаться в Европу, чтобы «спасти» ее (или, наоборот, янки должны были ехать в Петроград), то теперь в литературе герои перемещались из царства болезни в царство здоровья, а из царства серости - в царство великолепия; и все это, не покидая непосредственно окружающего их пространства! Воплотить такие невероятные преобразования можно было и без путешествий во времени или в пространстве. Теперь уместным стало фантастическое.

Когда в «Цементе» Глеб впервые попадает на завод после долгого пребывания на фронтах гражданской войны, он идет по заводской территории среди гор щебня, затхлых запахов и одиноких рабочих; перед ним - прозаичный и жалкий мирок. Но когда он спускается

в «строгий храм машин», он начинает видеть завод не как повседневную реальность, а как некие копи царя Соломона: «И черные, с позолотой и серебром, идолами стоят дизели... Жили и напрягались ожиданием машины» [74]. Это - не подземный Метрополис, не экспрессионистский кошмар, а предвосхищение одного из основных пространств сталинистской культуры.

На чьи же берега, в таком случае, выбросило «Ноев ковчег», груженный утопическими надеждами и планами интеллигенции? И какая была природа «наводнения», сметавшего на своем пути столь многих из них? Что сыграло роковую роль потопа - призывы к «марксизму», «социологии» и «орабочению»? Или массовая популярная культура? Западные исследователи обычно описывают события, происходившие в советской культуре в конце 1920-х годов, в эпоху, к которой мы уже подходим в своем повествовании, как хронику прихода еще более мрачных времен. Спорность таких описаний состоит в том, что они как бы перенимают дурные привычки сталинистской историографии, они пишут эту хронику в черно-белых тонах и делают сталинистскую культуру ее логическим телосом. Но история культуры - не роман, написанный по канонам социалистического реализма; в ней нет смелых до безрассудства всесильных героев. Все действующие лица этой истории прокладывали себе путь среди крайне сложного ландшафта. Несомненно, если бы многие из ведущих деятелей культурной жизни 20-х годов смогли бы взглянуть назад с выигрышной позиции конца 30-х или 40-х годов, то они, используя возможность судить задним числом, увидели бы ту эпоху в несколько ином свете, чем она виделась им в то время.

Любой конкретный момент естественной истории определяется различными состояниями живых организмов и различной скоростью изменений, которые на том этапе прочитываются с трудом. Именно то, что когда-то обеспечило успех эволюционных изменений в рамках данного вида, может стать позже причиной его гибели. Но, в любом случае, различные виды могут эволюционировать совершенно по-разному в ответ на одну и ту же вновь возникшую совокупность экологических условий (такую, как наводнение). При столь многих и столь различных «фальстартах» невозможно вычертить одну-единственную эволюционную линию.

То, как интерпретировать «наводнение», зависит от точки зрения конкретного человека. Когда во времена «военного коммунизма» наводнение стало популярной метафорой для революции, оно часто описывалось как стихия, способная устранить затвердевшую коросту кос-

ного и устарелого, как очищающая сила [75]. Если бы можно было посмотреть на ленинградское наводнение 1924 года глазами тех, кто мечтал о культурном «прорыве», то оно было бы воспринято не как апокалиптический знак, а как знамение начала новой эпохи. Образовавшаяся при старом режиме «короста» смыта стихией, но что появится из-под нее? Как покажут последующие главы этой книги, многих не снесло потоком наводнения - давлением под лозунгами «орачования», «молодежи» и более «марксистского» и «социологического» подхода; не уступив, они взяли на себя нелегкую задачу - создать последовательную концепцию постбуржуазной культуры.

Пер. с англ. С. Кантерева

Примечания

1. См., к примеру: В Ленинградском театральном управлении // Жизнь искусства. 1924. № 40 (30 сентября). С.20; На помощь! // Жизнь искусства. 1924. № 41 (7 октября). С.2.

2. Историческая доска // Красная газета. 1924. № 217 (24 сентября). С.1; Наводнение в 1824 году // Там же. С.2.

3. Евреинов Н.Н. Коммуна праведных // Жизнь искусства. 1924. № 41 (7 октября). С.3-5. Впоследствии пьеса получила новое название («Корабль праведных»). С названием этим еще более тесно перекликается название произведения Ольги Форш «Сумасшедший корабль» (Форш О. Сумасшедший корабль: Повесть. Л., 1931), где в слегка беллетризованной форме рассказывается о Доме искусств в эпоху «военного коммунизма» и также используется метафора «Ноева ковчега». Другое упоминающееся в пьесе учреждение, «Общество покровительства животным», производит впечатление насмешки над еще одним интеллектуальным институтом, учрежденным А.М.Горьким, - над Комиссией по улучшению быта ученых (известной как «Кубуч»).

4. Примером здесь может служить образование в 1925-1926 годах Федерации советских писателей (ФОСП), которое во многом предвосхищало образование в 1932-1934 годах Союза писателей (к примеру, в ФОСП входило большинство фракций - за исключением крайне «левых» и «правых»; при создании этой организации была разработана платформа, направленная на коренное улучшение писательского быта).

5. Данное утверждение справедливо не для всех областей культуры. В частности, исключением была популярная музыка.

6. В.С. Книжный рынок в 1925 году // Новая книга. 1925. № 3-4. С.24-25.

7. Писатели приветствуют Октябрь: Содружество // Жизнь искусства. 1925. №45 (7-10 ноября). С.7.

8. См. письмо К.А.Федина к А.М.Горькому: Литературное наследство. Т.70: Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963. С.474.
9. Не Питер, а Ленинград: Письмо тов. Зиновьева Петросовету // Красная газета. 1924. № 18 (24 января, вечернее издание). С.1; Траурный пленум Петросовета // Там же. С.2.
10. Шешуков С. Неистовые ревнители: Из истории литературной борьбы 20-х годов. М., 1970. См. также: E.Brown, *The Proletarian Episode in Russian Literature, 1928-1932* (New York: Columbia University Press, 1953); H.Ermolaev, *Soviet Literary Theories, 1917-1934: The Genesis of Socialist Realism* (Berkeley: University of California Press, 1963).
11. Троцкий Л.Д. Литература и революция. Изд. 2-е, дополн. М., 1924. С.164-165.
12. См.: Классики - попутчики - пролетписатели (передовая) // На литературном посту. 1927. № 5-6. С.5.
13. Ефремов Е. Творческий быт ЛАППа // Жизнь искусства. 1929. № 15 (7 апреля). С.7.
14. Эссен Е.Е. Октябрь и работник искусства // Жизнь искусства. 1925. № 45 (7-10 ноября). С.19.
15. Малевич К.С. Открытое письмо голландским художникам Ван-Гофу и Бекману // Жизнь искусства. 1924. № 50 (9 декабря). С.13.
16. См.: Ионов И. Регалии Передвижного театра // Жизнь искусства. 1924. № 6 (5 февраля). С.5. (Позже Передвижной театр был снова открыт, а в 1927 году закрылся навсегда). В сфере изобразительного искусства сложилась более сложная ситуация. Почти все активисты АХРР были молодыми людьми, однако многие из них изучали изобразительное искусство в рамках комсомольского движения. Это было особенно характерно для ленинградских отделений Ассоциации; см.: Гингер В.С. Ячейка АХРР в Академии художеств // АХРР. Ассоциация художников революционной России. Сборник воспоминаний, статей, документов / Сост. И.А.Гронский М., 1973. С.136-151.
17. См., например: Троцкий Л.Д. Вопросы быта: Эпоха культурничества и ее задачи. 2-е изд. М., 1923. С.3-4.
18. В Наркомпросе // Жизнь искусства. 1925. № 26 (30 июня). С.22.
19. Лелевич Г. Аттестат зрелости // Жизнь искусства. 1926. № 52 (21 декабря). С.8.
20. Весь пятый номер журнала «Печать и революция» за 1924 год был посвящен дискуссии на эту тему. См. также Троцкий Л.Д. Литература и революция. Глава 5.
21. См., например: Исаков И. Кривая трех И // Жизнь искусства. 1924. № 30 (22 июля). С.5-6. [О ГИИИ как важном немарксистском, полунезависимом центре в области гуманитарных наук и искусствоведения в годы нэпа см.: Katerina Clark, *Petersburg: Crucible of Cultural Revolution* (Harvard University Press; Cambridge, Mass., and London, 1995). P.149-150. - Прим. М.Дэвид-Фокса].
22. В Институте истории искусств // Жизнь искусства. 1924. № 10 (4 марта). С.21.

23. Социологическое изучение искусства // Жизнь искусства. 1925. № 8 (24 февраля). С.23.
24. Шмидт Ф.И. Российский институт истории искусств // Жизнь искусства. 1925. № 6 (10 февраля). С.5.
25. Институт истории искусств // Жизнь искусства. 1925. № 45 (7-10 ноября). С.35.
26. Эта позиция наиболее убедительно изложена в его книге «Запад и Восток»: Троцкий Л.Д. Запад и Восток: Вопросы мировой политики и мировой революции. М., 1924.
27. Всеволодский В. «Левый» театр сего дня // Жизнь искусства. 1924. № 6 (5 февраля). С.6.
28. Шмидт Ф.И. Российский институт истории искусств. С.4; Очередные задачи АХРР // Жизнь искусства. 1924. № 22 (27 мая). С.5.
29. См.: Троцкий Л.Д. О художественной литературе и политике РКП (Речь на совещании при ЦК РКП о литературе) // Жизнь искусства. 1924. № 34 (19 августа). С.4.
30. По поводу этого см.: Robert C. Tucker, Stalin as Revolutionary, 1879-1929: A Study in History and Personality (New York: W.W. Norton and Co., 1973), особ. сс.373-392.
31. См. главу 6 в книге Clark, Petersburg: Crucible of Cultural Revolution. [Прим. ред. - Майкл Дэвид-Фокс].
32. См. описание «Трех дней»: Пиотровский А.И. Хроника ленинградских празднеств 1919-1922 гг. // Массовые празднества: Сборник Комитета социологического изучения искусства. Л., 1926. С.58-60, 78-79, 84; а также: Рабочий репертуар // Жизнь искусства. 1923. №21 (29 мая). С.20; Октябрь в рабочих клубах // Жизнь искусства. 1923. № 43 (30 октября). С.13-16.
33. Н. Новая постановка Акдрамы // Жизнь искусства. 1924. № 37. С.23; Авлов Гр. «Лизистрата» // Жизнь искусства. 1924. № 42 (14 октября). С.11.
34. ОРИС (Общество ревнителей истории) // Жизнь искусства. 1926. № 4 (26 января). С.21; В.Б. [Рец. на:] Д. Щеглов, «Спектакль в клубе» // Жизнь искусства. 1926. № 4 (26 января). С.22.
35. Революционная дата [от редакции] // Жизнь искусства. 1925. № 51 (22 декабря). С.1.
36. Гайк Адонц. История или балаган // Жизнь искусства. 1925. № 23 (9 июня). С.2.
37. Вопросы культуры при диктатуре пролетариата. М.; Л., 1925. С.137.
38. Два таких произведения - «Мать» А.М.Горького (1906 г.) и «Чапаев» Д.А.Фурманова (1923 г.) - были опубликованы ранее; «Цемент» Ф.В.Гладкова появился в 1925 году, и, хотя «Разгром» А.А.Фадеева полностью был напечатан лишь в 1927 году, некоторые главы романа были опубликованы уже в 1925 году.
39. Луначарский А.В. Достижения нашего искусства // Жизнь искусства. 1926. № 19 (11 мая). С.4.
40. См.: Katerina Clark, The Soviet Novel: History as Ritual, Appendix (Chicago: University of Chicago Press, 1981).

41. Пиотровский А.И. О новых драматургах // Жизнь искусства. 1925. № 4 (20 января). С.12.
42. Художник И.И.Бродский // Жизнь искусства. 1924. № 52 (23 декабря). С.21. Кроме особо оговариваемых случаев, сведения о Бродском почерпнуты мною из книги: Исаак Израилевич Бродский: Статьи, письма, документы. М., 1956. С.100-118.
43. Изо губполитпросвета // Жизнь искусства. 1925. № 15 (14 апреля). С.29.
44. Исаак Израилевич Бродский. С.313-318.
45. См. критические выступления П.Н.Филонова, Н.Н.Пунина и даже К.З.Петрова-Водкина против АХРР: Диспут об АХРР в Доме искусств // Жизнь искусства. 1926. № 45. С.4-5; или Малевич К.С. Открытое письмо голландским художникам Ван-Гофу и Бекмену // Жизнь искусства. 1924. № 50 (9 декабря). С.13.
46. Биокосмисты находились под влиянием идей Н.Ф.Федорова. О центризме космистов см. Литературная хроника // Жизнь искусства. 1922. № 8 (21 февраля). С.7.
47. См.: Блюменфельд В. Пролетпозты ЛАПП // Жизнь искусства. 1925. № 50 (15 декабря). С.4; Гор Г. Замедление времени // Звезда. 1962. № 4. С.175-176, 182, 188.
48. Интересно сопоставить освещение обоих событий в специальном юбилейном номере «Жизни искусства» (1925. № 51, 14-17 декабря); см. особенно статью А.И.Пиотровского «1905 год в советской драматургии» в этом выпуске журнала (с.7).
49. См., например, два фильма, сделанные Г.М.Козинцевым и Л.З.Траубергом по сценариям Ю.Н.Тынянова - «Шинель» (1926 г.) и «С.В.Д. (Союз Великого Дела)» (1927 г.).
50. См. сообщение Б. Бродянского о праздновании годовщины Октябрьской революции в Ленинграде в 1925 году: Бродянский Б. Шаги тысяч // Ленинградская правда. 1925. №257 (10 ноября).
51. См.: Зильбер В. (Каверин В.А.) Сенковский (Барон Брамбеус) // Русская проза. Л., 1926; Каверин В.А. Барон Брамбеус. Л., 1929.
52. Костелянец Б. Примечания // Тынянов Ю.Н. Сочинения: В 2 т. Т.1. Л., 1985. С.506.
53. Здесь я придерживаюсь точки зрения, отличной от той, которую выражает А.Белинков в своей книге «Юрий Тынянов» (2-е изд. М., 1965). См. Тынянов Ю.Н. Кюхля // Тынянов Ю.Н. Сочинения: В 2 т. Т.1. Л., 1985. С.76, 138-139, 185, 200.
54. Там же. С.138-139, 171.
55. В этом более обширном контексте, а не только с точки зрения уступок, вызванных политическими гонениями, можно даже рассматривать знаменитый сдвиг, произошедший в творчестве формалистов: от полного игнорирования внелитературных факторов они пришли к учету «литературного быта» - исторического и социального контекста литературы. Сдвиг этот обычно связывают с 1927 годом, но фактически он произошел несколько ранее - в этом можно убедиться, ознакомившись, например, с появившимся в сентябре 1925 года

сообщением о том, что Эйхенбаум работает над очерками по истории формирования натуралистического романа, которые будут называться «Быт в литературе». - Б.Эйхенбаум. Ленинград // Жизнь искусства. 1925. № 36 (8 сентября). С.31.

56. Вопросы культуры при диктатуре пролетариата. М.; Л., 1925. С.137.

57. См.: Троцкий Л.Д. О художественной литературе и политике РКП. С.2-5; Троцкий Л.Д. Литература и революция. С.202-203.

58. Луначарский А.В. Достижения нашего искусства. С.4; Жизнь искусства. 1926. № 20 (18 мая). С.12.

59. См.: Гингер В.С. Ячейка АХРР в Академии художеств // АХРР. С.136-151.

60. Хроника // Рабочий и театр. 1924. № 3 (2 октября). С.20; Бек А. Лицо рабочего читателя // Рабочий и театр. 1925. № 6. С.16; Жизнь искусства. 1924. №7. С.22.

61. «Багдадский вор» шел в Ленинграде в течение трех недель, начиная с 31 марта 1925 г.; см.: Ленинград // Жизнь искусства. 1925. № 10 (10 марта). С.28. «Робин Гуд» вышел на экраны в сентябре одновременно в двух основных кинотеатрах Ленинграда: «Пикадилли» и «Паризиане»; см.: Севзапкино // Жизнь искусства. 1925. № 37 (15 сентября).

62. В статье, напечатанной в «Жизни искусства» в июле 1925 года, сообщается, что за предшествующий девятимесячный период из 183 показанных в Ленинграде новых фильмов 103 были американского производства и лишь 25 - советского; см.: Недоброво Влад. Девятимесячный баланс киноэкрана // Жизнь искусства. 1926. № 27 (7 июля). С.10-11.

63. Н[едоброво] Вл. Робин Гуд // Жизнь искусства. 1925. № 38 (22 сентября). С.23.

64. Сливкин А. Тов. Красин и кино // Жизнь искусства. 1926. № 49 (7 декабря). С.2-3.

65. См. рекламу этого журнала в «Жизни искусства», № 19 за 1926 год.

66. Литературная хроника // Жизнь искусства. 1925. № 48 (1 декабря). С.18.

67. Трайнин И. Количество и качество кино // Жизнь искусства. 1925. № 44 (3 ноября). С.14.

68. Луначарский А.В. Кино - величайшее из искусств // Красная панорама. 1926. 15 декабря.

69. См.: Белогорский А. Сила Фербенкса // Рабочий и театр. 1925. № 29 (21 июля). С.18-19.

70. Larry L. May, Screening out the Past: The Birth of Mass Culture and the Motion Picture Industry (New York: Oxford University Press, 1980).

71. Необходимо отметить, что на проходившем в 1934 году Первом съезде писателей в официальном докладе С.Я.Маршака (который не был членом партии и даже покровительствовал Объединению Реального Искусства - обериутам - и другим менее конформистским писателям), прочитанном им в авторитетном тоне сразу после вступительного обращения А.М.Горького и якобы посвященном детской литературе, социалистический реализм по существу определялся как литература о «путешествиях и приключениях»; по словам Маршака, эту формулу он позаимствовал из писем читателей о том, какую

литературу они предпочитают. Такая оценка предвосхищает многое в литературе 30-х годов; см.: Содоклад С.Я.Маршака о детской литературе // Первый съезд писателей: Стенографический отчет. М., 1934. С.20, 33. См. также выступление В.Кирпотина о драматургии, где он дает сходные рекомендации. - Там же. С.378. Об ОБЕРИУ как главной организации литературного авангарда Ленинграда конца 1920-х гг. см.: Clark, Petersburg: Crucible of Cultural Revolution. P.231-241. [Прим. ред. - Майкл Дэвид-Фокс].

72. Один из персонажей фантастического романа Мариэтты Шагинян - профессор шагистики Евгений Барфус, создавший на базе эйнштейновской теории относительности «циркуль, отмечающий угол времени», что позволяет «колоссально экономить время и силы и ускорить темпы во всех областях» и «возродить нашу страну без помощи иностранного капитала». - См.: Шагинян М. Месс-менд. М., 1988. С.112. [Прим. ред.].

73. Брик О.М. Почему понравился «Цемент» // На литературном посту. 1926. № 2. С.31-32.

74. Гладков Ф. Цемент // Красная новь. 1925. № 1. С.18.

75. См., например, «Голый год» Б.Пильняка, созданный в 1922 году.

«ПРИПИСЫВАНИЕ К КЛАССУ» КАК СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ**

Согласно одному из определений, приведенных в Оксфордском словаре английского языка, приписывание (ascription) означает «зачисление в какой-либо класс». Но, согласно марксистской теории, как известно, индивидуума в социальный класс зачислить невозможно. Класс в марксистском смысле слова - это общность, к которой человек принадлежит в силу своего социально-экономического положения и своего отношения к средствам производства (или, согласно некоторым формулировкам, по своему классовому сознанию, зависящему от социально-экономического положения). В этом аспекте класс в его марксистском понимании кардинально отличается от такого класса, к которому человек может быть приписан: например, от сословия (английского social estate, французского état, немецкого Stand), которое в первую очередь является юридической категорией, определяющей права личности и ее обязанности перед государством.

В настоящей статье речь идет о том причудливом сочетании двух несовместимых понятий - «приписанного» социального статуса и класса в его марксистском понимании, - которое имело место в советской

* © Фицпатрик Шейла, 2001

** Различные варианты данной статьи были представлены в виде докладов в Чикагском университете и Университете имени Джона Хопкинса, а также на Первом семинаре историков-русистов Среднего Запада в городе Анн-Арбор. Я хотела бы выразить свою благодарность всем тем, кто принимал участие в ее обсуждении, в особенности Джеффри Бруксу и Рональду Дж. Суни. Я благодарна Пьеру Бурдые за его замечания и поддержку на ранней стадии моего исследования, а также Лоре Энгелстайн, Джин Комарофф и Стивену Л. Каплану, чье тщательное изучение рукописи статьи было для меня исключительно полезным.

России в 20-е и 30-е годы. Сочетание это стало возможным в результате того, что революция под знаменем марксизма произошла в стране, где классовая структура была слабо выражена, а социальная идентичность людей переживала кризис. В то время как марксистская идеологическая база произошедшей революции требовала «классификации» общества в полном соответствии с марксистской теорией, хаотическое состояние самого общества препятствовало подобной классификации. Все это привело к пересмотру концепции социального класса - процессу, который включал в себя приписывание гражданам различных классовых статусов; эта процедура стала тем способом, с помощью которого революционный режим (называвший себя «диктатурой пролетариата») мог отличать своих союзников от врагов.

Детищем процедуры приписывания к классу и марксистской концепции класса стал феномен социального клейма. В революционной России существовали «опальные» классы, например, кулачество и нэпманы, которым было суждено быть «ликвидированными как класс» в конце 20-х годов. Противоположное положение в классовой градации занимали пролетарии, чей привилегированный классовый статус на протяжении первых пятнадцати послереволюционных лет гарантировал им продвижение по социальной лестнице, по крайней мере, тем из них, кто были молоды и амбициозны (и, предпочтительно, являлись представителями мужского пола). Но этот аспект проблемы к настоящему времени изучен относительно полно и в настоящей работе будет затронут в меньшей степени [1].

Важнейший постулат данной статьи состоит в том, что возникший после революции феномен «приписывания к классу» привел к появлению социальных образований, которые выглядели как классы в марксистском смысле этого слова и именно так описывались современниками, но которые более точно можно было бы охарактеризовать как советские сословия. Вопрос о том, шел ли в послереволюционном российском обществе - в дополнение к созданию этих «классов-сословий» - и процесс формирования истинно марксистских классов, выходит за рамки моего исследования. Но в гипотетическом порядке я бы высказала предположение, что в Советской России 20-х и 30-х годов процессы классовообразования (в том смысле, который вкладывает в это понятие марксизм) были значительно заторможены, отчасти в результате приписывания марксистских классовых категорий различным группам населения - феномена, который и является предметом изучения в настоящей статье [2].

Социальная идентификация в России в начале XX столетия

На рубеже столетий российское общество находилось в состоянии непрерывных изменений. Кризис социальной идентичности, долгое время бывший уделом лишь просвещенных представителей российского общества, теперь распространился на основные категории социальной структуры. На момент первой российской переписи населения современного образца, осуществленной в 1897 году, граждане Российской Империи по-прежнему классифицировались не по роду занятий, а по сословной принадлежности [3]. Сословные категории (дворянство, духовенство, купечество, мещанство и крестьянство) приписывались и обычно наследовались; исторически их основной функцией было определение прав и обязанностей различных социальных групп по отношению к государству. Все образованные россияне воспринимали сохранение сословий как обескураживающий анахронизм, подчеркивавший контраст между отсталой Россией и прогрессивным Западом. Либералы утверждали, что «признак сословия потерял свое фактическое значение», и даже заявляли (хотя и неубедительно), что многие жители России уже забыли, к какому сословию они принадлежат [4].

Однако, если судить по записям в справочниках «Вся Москва» и «Весь Петербург», издававшихся ежегодно или раз в два года с начала XX века, имущие горожане помнили свою сословную принадлежность, но не всегда идентифицировали себя именно как члена сословия. Во многих случаях они указывали свою сословную принадлежность - «дворянин», «купец первой гильдии» или «почетный гражданин» (а еще чаще - «вдова такого-то», «дочь такого-то»). Но те, кто обладал чином («тайный советник», «генерал в отставке») или профессией («инженер», «врач»), обычно указывали только это, в редких случаях - для пущей важности - добавляя сведения о сословной принадлежности («дворянин, зубной врач»).

Сословная система оскорбляла чувства просвещенных россиян потому, что она была несовместима с современными, демократическими, меритократическими принципами, развитие которых они могли с восхищением наблюдать в Западной Европе и Северной Америке. Они полагали - не вполне обоснованно, как показывают недавние исторические исследования, - что российские сословия не обладали уже жизненной силой и не несли в себе никакого смысла, сохраняясь лишь в силу традиции и государственной инерции [5]. Вслед за В.О.Ключевским и другими историками-либералами в начале двадцатого столетия было модно осуждать российскую сословную систему - прошлую и настоящую - как искусственное образование, навязанное обществу

царизмом [6]. (Напротив, европейские сословия начала Нового времени воспринимались русской мыслью как «реальные» социальные группы, чье существование и корпоративная жизнь не были санкционированы государством). Неудовлетворенность сословной системой чаще всего объясняли тем, что в ее рамках не нашлось места для двух «современных» социальных образований, к которым просвещенная часть российского общества испытывала особый интерес: интеллигенции и промышленного пролетариата [7]. Это считали - и не без оснований - проявлением той подозрительности и того страха, которые режим испытывал по отношению к этим социальным группам.

На рубеже двух столетий в просвещенных кругах считалось само собой разумеющимся, что сословная система скоро полностью отомрет (даже в отсталой России), и что на смену ей придет современное классовое общество, построенное по западному образцу. Хотя здесь и отразилась популярность марксизма среди российских интеллектуалов, но то, что капиталистическая буржуазия и промышленный пролетариат представляют собой необходимые атрибуты современного общества, признавали далеко не одни марксисты. Эта точка зрения была широко распространенной: ее разделяли даже консервативные российские государственные деятели и публицисты, хотя в ценностном плане они воспринимали современные реалии совершенно иначе. Несмотря на то, что в России все еще не было одного из великих классов современного общества - буржуазия в российском обществе явно «отсутствовала», - это не мешало образованным россиянам разделять убеждение, что когда, наконец, на место сословиям придут классы (а это считалось неизбежным), российское общество совершит переход от «искусственного» состояния к «реальному» [8].

Окончательный переход к классовому обществу был осуществлен - или казался осуществленным - в 1917 году. Сначала Февральская революция создала структуру «двоевластия», которая выглядела как классическая иллюстрация классовых принципов марксизма: выживание буржуазного, либерального Временного правительства зависело от доброй воли пролетарского, социалистического Петроградского Совета. Классовая поляризация городского общества и политики в целом в последующие месяцы шла быстрыми темпами: даже партия кадетов, традиционно приверженная «надклассовому» либерализму, неумолимо втягивалась в борьбу в защиту прав собственности и все больше тяготела к образу политики как классовой борьбы [9]. Летом началось бегство из сельской местности дворян-землевладельцев, чьи поместья захватывали крестьяне. В октябре большевики, называвшие себя «авангардом пролетариата», свергли Временное правительство

и провозгласили создание революционного государства рабочих. Вряд ли можно было более наглядно продемонстрировать ключевое значение классовых категорий и реальность классовой борьбы в России.

Однако период ясности в отношении классов продолжался недолго. Не успела еще разнестись по свету весть о том, что в России произошла марксистская классовая революция, как новообразованная классовая структура уже начала разваливаться. Во-первых, революция уничтожила свои собственные классовые предпосылки, экспроприировав капиталистов и помещиков и превратив промышленных рабочих в революционные кадры. Во-вторых, вызванный революцией и гражданской войной хаос привел к распаду промышленности и к бегству населения из городов, что - вот один из величайших парадоксов революционной истории - временно уничтожило российский промышленный рабочий класс как структурированную социальную группу [10]. Пролетарская революция была явно преждевременной, торжествовали меньшевики, и даже внутри самой партии большевиков в резких выражениях обсуждали «исчезновение» пролетариата («Разрешите поздравить вас, что вы являетесь авангардом несуществующего класса», - такая колкость прозвучала в адрес большевистских лидеров из уст одного из их оппонентов в 1922 году) [11]. Но в каком-то смысле масштабы катастрофы были даже большими: большевики были не только руководителями преждевременной революции; очевидно, что они преждевременно добились создания «бесклассового» общества, где отсутствие классов не имело ничего общего с социализмом.

Классовые принципы

Для большевиков стало насущной необходимостью немедленно «реклассировать» деклассированное российское общество. Если неизвестна классовая принадлежность индивидуумов, то как революция сумеет распознать своих врагов и друзей? Равенство и братство не входили в ближайшие цели революционеров-марксистов, ибо с их точки зрения члены бывших правящих и привилегированных классов являлись эксплуататорами, которым (в переходный период «диктатуры пролетариата») полные гражданские права предоставлены быть не могли. Таким образом, интерес новых правителей к проблеме класса определил ближайшую политическую задачу: выявление, с одной стороны, тех, кого необходимо было заклеить как буржуазных классовых врагов, а с другой - тех, кому надо было верить и кого надо было вознаграждать как союзников пролетариата.

Классовая природа власти и диалектика классово-борьбы были ключевыми представлениями о классе, которые большевики унаследовали от Маркса и вынесли из собственного революционного опыта. В каждом обществе имелся (как они считали) правящий класс, и у каждого правящего класса был соперник - претендент на его место; в результате Октябрьской революции новым правящим классом в России стал пролетариат, а потенциальным претендентом на его место был свергнутый в Октябре старый правящий класс - контрреволюционная буржуазия. Согласно жесткой логике марксистско-ленинского анализа, эта «буржуазия» фактически представляла собой смесь капиталистической буржуазии и феодальной аристократии. Но на самом деле данное разграничение не имело значения, поскольку к началу 20-х годов, в результате революционной экспроприации и крупномасштабной эмиграции представителей бывших высших слоев общества в конце гражданской войны, в России не осталось ни капиталистов, ни феодалов. В их отсутствие роль буржуазии пришлось исполнять интеллигенции - наиболее явной наследнице дореволюционной российской элиты и единственному серьезному конкуренту большевиков в борьбе за моральный авторитет в послереволюционном российском обществе. Именно по этой причине, а также исходя из более низменных задач оскорбительной полемики большевики 20-х годов обычно называли эту группу «буржуазной интеллигенцией» [12].

Термин «буржуазный» также применяли в 20-е годы по отношению к представителям различных социальных и профессиональных групп, которые имели мало общего друг с другом или, в большинстве случаев, с капитализмом как таковым. Классовая принадлежность одной совокупности таких «буржуазных» групп, члены которых проходили под общим названием «бывшие» (данный русский термин сопоставим с принятым во время Великой французской революции понятием «*ci-devant*»), определялась их социальным или служебным статусом при старом режиме. Совокупность эта включала в себя дворян (как бывших помещиков, так и бывших царских бюрократов), бывших промышленников, представителей старого купеческого сословия, офицеров императорской и белых армий, бывших жандармов и (несколько неожиданно) священнослужителей. Другая совокупность - зарождавшаяся в 20-е годы «новая буржуазия» - состояла из индивидуумов, чья классовая принадлежность определялась их современным социальным положением и родом занятий в условиях новой экономической политики, введенной в 1921 году и разрешавшей некоторые формы частной торговли и производственной деятельности (в 20-е годы городских частных предпринимателей называли «нэпманами»).

Другую часть уравнения составлял пролетариат, получивший в советском обществе статус нового правящего класса. Как социально-экономический класс он состоял из двух основных элементов - из городских промышленных рабочих и из безземельных сельскохозяйственных работников (батраков). Однако как социально-политическое образование он в обязательном порядке включал в себя партию большевиков - «авангард пролетариата». Те большевики, чье происхождение не было пролетарским, считали себя «пролетариями по убеждению» [13].

Крестьянство, составлявшее четыре пятых всего населения России, бедное, по-прежнему использовавшее примитивную чересполосную систему земледелия и сохранявшее на большей части России традиционную общинную организацию жизни, с трудом поддавалось классификации по классовому признаку. Большевики, однако, прилагали в этом направлении самые активные усилия, применяя «трехчленную» классификацию, согласно которой крестьяне могли быть либо «бедняками», либо «средняками», либо «кулаками»; последние рассматривались как эксплуататоры и протокапиталисты. В монографии В.И.Ленина «Развитие капитализма в России», появившейся на свет в 1899 году, уже были выявлены первые признаки классовой дифференциации в русской деревне. Аграрные реформы, проводившиеся П.А.Столыпиным незадолго до начала первой мировой войны, ускорили этот процесс, но охватившая деревню в 1917-1918 годах аграрная революция повернула его вспять. Попытки большевиков в ходе гражданской войны стимулировать классовую борьбу в деревне и объединиться с крестьянской беднотой против кулаков, как правило, не имели успеха. Тем не менее, большевики продолжали бояться возрождения кулацкой мощи, и на протяжении 20-х годов советские статистики и социологи бдительно следили за «балансом классовых сил» в деревне.

Считалось, что крупные сегменты общества, не принадлежавшие четко ни к пролетариату, ни к буржуазии, «дрейфовали» между двумя полюсами, будучи потенциально способны примкнуть к любому из них. К таким группам относили городских «служащих», середняков и ремесленников. Хотя, кажется, для большевиков было бы логичным прилагать максимальные усилия по привлечению представителей этих групп на сторону пролетарского дела, на самом деле все было наоборот. Большевиков слишком волновали проблема классовой чистоты пролетариата и обоснование своих собственных претензий на «пролетарскую сущность». На протяжении многих послереволюционных лет в партийных кругах и в советском общественном мнении в отношении служащих преобладало «недоверчивое, ироническое, а то и

враждебное отношение» [14]. Подобное же недоверие, смешанное со снисходительным презрением, часто было направлено на крестьян и ремесленников, которые считались не только мелкобуржуазными, но и «отсталыми» элементами.

Революционная «сортировка» советского общества требовала полного отрицания старой сословной системы социальной классификации. Так, сословия были официально отменены - вместе с титулами и служебными чинами - в течение месяца после Октябрьской революции [15]. Однако с самого начала в советском подходе к классу чувствовался сословный «привкус», что, с учетом полученного советским обществом наследия, было вполне естественным. Выделение класса «служащих», например, было в строгом марксистском смысле аномалией. Служащих должны были бы по праву поместить в ту же самую «пролетарскую» категорию, что и рабочих (иногда так и делали в целях академического марксистско-ленинского анализа) [16]; тем не менее в общепринятой практике им настойчиво придавали особый классовый статус, явно не пролетарский по своему политическому звучанию. Уничижительный термин «мещанство», производное от слова «мещане» (низшее городское сословие), обозначал мелкобуржуазное, обывательское сознание и употреблялся большевиками в отношении служащих столь часто, что этот новый класс практически превращался в советскую версию старого сословия мещан.

Священнослужители и члены их семей составляли в советском обиходе еще один аномальный класс, явно являвшийся прямым наследником старого духовного сословия [17]. В противоположность классу «служащих», который был просто объектом подозрений и неодобрительного отношения, священники принадлежали к классу, который считался общественно вредным и члены которого были недостойны полного советского гражданства. В 20-е годы советский менталитет воспринимал священнослужителей как серьезных кандидатов на роль контрреволюционеров, «классовых врагов». Предпринимались усилия, чтобы их дети, которые также считались общественно опасными элементами, не могли получить высшее образование или «проникнуть» (в терминологии того времени) в ряды учителей и преподавателей. Мнение, что священники *ipso facto* являлись классовыми врагами, было настолько сильным, что к концу 20-х годов большое число сельских священников подверглось «раскулачиванию» - их лишали собственности, выселяли, арестовывали и ссылали вместе с кулаками.

Структуры классовой дискриминации

Понятие класса было неотъемлемой частью конституционных основ нового советского государства. Конституция Российской республики 1918 года предоставляла полное гражданство и избирательное право только «трудящимся». Те, кто вели паразитическое существование за счет нетрудовых доходов или эксплуатации наемного труда (включая частных предпринимателей и кулаков), были лишены права голоса при выборах в Советы наравне со священнослужителями, бывшими жандармами и белогвардейскими офицерами, а также другими «классово-чуждыми» группами [18]. Хотя ограничения избирательного права по классовому признаку всего лишь легализовали практику, сложившуюся в Советах еще до Октябрьской революции, и их нельзя считать нововведением большевиков или даже сознательным политическим решением, результатом включения их в Конституцию нового советского государства стало превращение класса в юридическую категорию. Такую ситуацию никогда не смог бы предвидеть Маркс, но, однако, она была понятна любому жителю России, выросшему в условиях сословной системы.

Фактически во всех советских учреждениях 20-х годов практиковалась та или иная форма классовой дискриминации: наибольшее предпочтение отдавалось пролетариям, наименьшее - лицам, лишенным избирательных прав, и представителям различных «буржуазных» групп [19]. Процедуры поступления в средние школы и университеты были основаны на принципе дискриминации по классовому признаку; такие же процедуры соблюдались при приеме в Коммунистическую партию и комсомол. Время от времени предпринимались «чистки» государственных учреждений, партийных организаций и университетского студенчества от «классово-чуждых элементов»: зачастую не по указаниям из центра, а по местной инициативе. Судебная система функционировала согласно принципам «классовой справедливости», относясь к подсудимым-пролетариям снисходительно и отдавая предпочтение им, а не истцам буржуазного происхождения, при ведении гражданских дел. Органы, ответственные за распределение муниципального жилья и нормированную выдачу продовольствия и других продуктов, также практиковали дискриминацию по классовому признаку; кроме того, существовали особые налоговые ставки, направленные против таких социально нежелательных элементов, как кулаки и нэпманы.

Чтобы эта система классовой дискриминации работала действительно эффективно, всем гражданам было бы необходимо иметь пас-

порта с указанием того социального класса, к которому они принадлежат (как при старом режиме в паспортах указывалось сословие), но в 20-е годы для большевиков это означало зайти слишком уж далеко. Паспорта были отменены после революции как символ угнетения трудящихся самодержавием; вновь введены они были лишь в 1932 году. В период их отсутствия не существовало никаких действительно эффективных способов классовой идентификации, и дискриминация обычно осуществлялась *ad hoc* - с непредсказуемыми результатами. Среди использовавшихся в дискриминационных целях типов документации могли быть свидетельства о рождении и о браке, в которых класс («социальное положение») регистрировался так же, как царские власти регистрировали сословие, или удостоверяющие классовую принадлежность индивидуума характеристики с места работы или из сельсоветов [20]. Могли принять во внимание и личное заявление индивидуума о своем классовом происхождении; также использовались имевшиеся в каждом советском избирательном округе и составлявшиеся местными избирательными комиссиями списки лиц, лишенных избирательных прав лиц («лишенцев»).

Поскольку процедуры дискриминации по классовому признаку были обычно беспорядочными и носили неофициальный характер, они также в какой-то мере допускали возможность договоренностей. В судебной практике, к примеру, одной из форм апелляции подсудимого, чья классовая принадлежность была определена как «буржуазная» или «кулацкая» (и который, таким образом, мог получить суровый приговор), была петиция с целью изменения классового ярлыка: «Родственниками, а иногда и самими обвиняемыми достаются документы *об изменении их материального и социального положения*, и наблюдкомы разрешают вопрос о переводе из одного разряда в другой» [21].

В системе высшего образования свою классовую принадлежность также часто оспаривали лица, которым было отказано в приеме в вуз по классовому признаку или которые были исключены из вуза в ходе социальных чисток. Вопрос классовой дискриминации в сфере образования был болезненным для тех большевиков, чей возраст позволял им помнить то время, когда все российские радикалы единогласно осуждали политический шаг царского правительства - попытку ограничить доступ к образованию членам низших сословий («кухаркиным детям»). В ходе публичных дебатов вопрос о новой советской «сословности» никто, конечно, открыто не поднимал. Но «политика квот», получившая распространение в образовании в 20-е годы, имела тревожный оттенок. Когда, например, преподаватели требовали от члена правительства разъяснений по поводу вопроса «уравнения в пра-

вах с рабочими» при приеме в университеты, казалось, что время обратилось вспять и Россия вернулась в 1767 год, когда депутаты екатерининской Уложенной комиссии вели дебаты о сословных привилегиях [22].

Если направленные на классовую дискриминацию советские законы и способствовали созданию новых «классов-сословий», то это делалось непреднамеренно и прошло для большевиков незамеченным. Российские интеллектуалы-марксисты были твердо убеждены, что классы и классовые отношения являются объективными социально-экономическими феноменами, и что сбор информации о них представляет собой единственный путь к научному познанию общества. Несомненно, что именно ради этого еще до окончания гражданской войны Ленин требовал проведения переписи населения, которая предоставила бы данные о занятиях населения и о классовых отношениях [23].

В 1926 году была проведена Всесоюзная перепись населения; полученные в ее ходе данные были опубликованы в 56 томах. Она была спланирована, и результаты ее были проанализированы в безупречном соответствии с марксистскими принципами; основными социально-экономическими категориями, выявлявшимися в ходе переписи, были, с одной стороны, рабочие и служащие (пролетариат), а с другой - городские и сельские «хозяева». В рамках второй группы, которая включала в себя все крестьянство [24], а также городских кустарей-ремесленников и предпринимателей, скрупулезно отделяли тех, кто использовал наемный труд (капиталистов!), от тех, кто трудился в одиночку или с помощью членов своей семьи [25]. Перепись была тщательнейшим образом проанализирована и изучена тогдашними демографами, социологами, журналистами и политиками; она стала крупным шагом на пути «реклассирования» российского общества [26]. Конечно, перепись не создала и не могла создать классов в реальном мире. Но она создала некий феномен, который можно назвать «виртуальными классами»: статистическую картину, позволившую советским марксистам (и будущим поколениям историков) исходить из посылки, что Россия представляла собой классовое общество.

Клеймо классовой принадлежности

В 20-е годы в советском обществе имелись отверженные, «опальные» группы населения: кулаки, нэпманы, священники и «бывшие». Принадлежавшие ко всем этим отвергнутым обществом группам люди являлись «лишенцами» - все они имели общий юридический статус

лиц, лишенных избирательных прав, и все они страдали от вытекающих из этого последствий. «Отверженные», однако, не были членами традиционно обособленной касты, как «неприкасаемые» в Индии, и их нельзя было отличить по явным физическим характеристикам, например, по цвету кожи или полу. Если кулак покидал свою деревню или священник прекращал носить рясу и становился учителем, то кто, кроме их старых знакомых, мог знать о том, что они отмечены клеймом классовой принадлежности?

Как и все российское общество первой трети двадцатого века, но в еще большей степени, «отверженная» часть населения находилась в 20-е годы в состоянии нестабильности и постоянного движения. Люди тогда вообще часто меняли род занятий, статус, семейное положение и место жительства, что было неизбежно в условиях войны, революции, гражданской войны и послевоенного перехода к мирной жизни. Но те, кто был отмечен клеймом принадлежности к «чуждому» классу, были более других склонны к жизненным переменам: они надеялись, что это поможет им избавиться от позорной стигмы. Например, бывший высокопоставленный чиновник благородного происхождения мог теперь служить скромным советским бухгалтером не только потому, что он нуждался в зарплате: таким образом он мог избавиться от своей прежней идентичности.

В 20-е годы классовая принадлежность огромного числа советских граждан была и спорной, и оспариваемой [27]. Это происходило не только из-за высокой географической, социальной и профессиональной мобильности населения в предыдущее десятилетие или из-за выработанной «отверженными» стратегии «заметания следов», но и из-за отсутствия четких критериев классовой идентификации или правил урегулирования неоднозначных ситуаций. Обычно тремя основными индикаторами класса считались социальное положение индивидуума в настоящее время, его прежнее (довоенное или дореволюционное) социальное положение и социальный статус его родителей. Но по поводу относительной важности этих индикаторов существовали и разногласия. Наиболее популярным способом идентификации как внутри, так и вне партии большевиков был «генеалогический», «словесный» метод. Особенно широко он применялся в отношении «отверженных»: сын священника навсегда принадлежал к духовенству, независимо от его рода занятий; дворянин всегда оставался дворянином [28]. Но интеллектуалов-партийцев такой подход не устраивал как не соответствующий теоретическим принципам марксизма, и в недрах самой Коммунистической партии для определения классовой принадлежности ее членов была выработана намного более сложная

процедура, где использовалось два индикатора - «социальное положение» (обычно определявшееся в данном контексте как основной род занятий индивидуума на 1917 год) и род занятий индивидуума в настоящее время, а «генеалогический» фактор оставляли без внимания [29].

Задача избежать «приписывания» к тому или иному «опальному» классу составляла в 20-е годы одну из главных забот многих советских граждан. Не менее горячим было стремление добиться «приписывания» к пролетариату или к крестьянской бедноте для того, например, чтобы поступить в университет или получить оплачиваемую работу в сельсовете. Существовало множество поведенческих стратегий, направленных на то, чтобы избежать классового клейма; нередкими были и случаи откровенного мошенничества, например, покупки документов, свидетельствовавших об определенной классовой принадлежности. Но подобная практика порождала и свой «диалектический антитезис»: чем большее распространение получали случаи уклонения от «правильной» классовой идентификации и манипуляции процедурой «приписывания к классу», тем с большей энергией рьяные коммунисты стремились «разоблачать» уклонявшихся от классовой ответственности и выявлять их истинную классовую принадлежность.

К концу 20-х - началу 30-х годов разоблачение классовых врагов достигло масштабов массовой истерии и превратилось в настоящую охоту на ведьм. Наиболее примечательным эпизодом развернувшейся в тот период «классовой войны» была кампания по раскулачиванию, целью которой была «ликвидация кулачества как класса». Кампания эта включала не только экспроприацию всех тех, кто был «приписан» к классу кулаков, а также так называемых «подкулачников», но и ссылку значительной части этих групп населения в отдаленные регионы страны [30]. В тот же самый период, в ходе национализации всей городской экономики, городских нэпманов вынуждали прекращать предпринимательскую деятельность и зачастую подвергали аресту. С началом «культурной революции» (в конце 20-х годов) нападкам подверглась вся категория «буржуазных спецов», и некоторым из них, тем, кто занимал высокие посты в системе государственной бюрократии, были предъявлены обвинения в контрреволюционном вредительстве и саботаже [31].

«Рост классовой бдительности» в период культурной революции означал расширение списков лиц, официально лишенных избирательных прав, и дальнейшее ухудшение положения «лишенцев». «Лишенцев» могли уволить с работы, выселить из дома, лишить пайков, а их дети не могли поступать в университеты и вступать не только в комсомол, но и в ряды юных пионеров. В 1929-1930 годах волна «чисток» прокатилась по государственным учреждениям, школам, университе-

там, комсомольским и партийным организациям и даже по фабрикам и заводам. Выгоняли с работы сельских учителей, оказавшихся детьми священников; выявляли бежавших из деревни и устроившихся на работу в промышленности кулаков; «разоблачали» и подвергали различным унижениям престарелых вдов царских генералов. Соседи и коллеги по работе обвиняли друг друга в сокрытии классовых стигм. Иногда лица, принадлежавшие к классам «отверженных», в тщетной попытке смыть позорное пятно публично отрекались от своих родителей [32].

Затем, как и можно было ожидать, кампания по выявлению классовых врагов постепенно пошла на убыль. В период 1931-1936 годов началась обратная реакция на ее эксцессы - повсеместный демонтаж институциональных структур классовой дискриминации. Вернули некоторые (но не все) гражданские права кулакам и их детям; была отменена классовая дискриминация при поступлении в университеты; были изменены правила приема сначала в комсомол, а затем в ряды Коммунистической партии с тем, чтобы облегчить вступление лицам непролетарского происхождения [33].

В 1935 году В.М.Молотов заявил, что наступило время переходить к полному равенству всех граждан и отмене всех классовых ограничений, поскольку последние были лишь «временными мерами» противодействия «попыткам эксплуататоров отстоять или восстановить свои привилегии» [34]. Правительство приняло решение о необходимости отмены классового клеймения, писал член Комиссии Советского контроля А.А.Сольц, «чтобы человек мог забыть свое социальное происхождение... Родившийся от кулака не виноват в этом, т.к. он не выбирал своих родителей. Поэтому и говорят сейчас: не преследуйте за происхождение» [35]. И.В.Сталин подчеркнул то же самое в своем знаменитом высказывании: «Сын за отца не отвечает». Слова эти были произнесены на совещании передовых комбайнеров и комбайнерок СССР с членами ЦК ВКП(б) и правительства, когда один из делегатов пожаловался на притеснения, которым его подвергли из-за того, что его отец был раскулачен [36].

Отход от политики классовой дискриминации и «клеяния» индивидуумов за их классовое происхождение был завершён в 1935 году с принятием новой «сталинской» Конституции СССР. Новая Конституция провозглашала, что все граждане страны имеют равные права, что все они могут участвовать в выборах и занимать выборные должности «независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, ...социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности» [37]. Таким образом, в избирательных правах были восстановлены кулаки, священнослужители, бывшие и другие лица, ранее «заклейменные» и лишённые этих прав.

«Сын за отца не отвечает» (или все же отвечает)?

Сталинское высказывание быстро стало частью советского фольклора [38]. Но, что интересно, за ним не последовало обычных одобрительных комментариев и разъяснений в прессе, и оно ни разу не было нигде перепечатано после первого появления на страницах «Комсомольской правды» [39]. Это наводит на мысль о том, что политика социального примирения, на переход к которой намекал Сталин в своем ответе стахановцу, оставалась вопросом нерешенным - и не в последнюю очередь, возможно, нерешенным для самого Сталина. Скорее всего, Сталин, размышляя над этой проблемой, испытывал смешанные чувства. Дети кулаков, ставшие честными тружениками, могли быть «невинными» с классовой точки зрения, но значило ли это, что они больше не представляли опасности для государства? Сам Сталин был не из тех, кто забывает причиненные ему или его близким обиды, а советский режим, без сомнения, жестоко обошелся с кулацкими детьми. А что, если, несмотря на все внешние проявления лояльности и покорности, дети эти затаили горькую обиду на советскую власть?

В 1929 году, накануне начала широкомасштабного наступления на классовых врагов в деревне, которое получило название «ликвидации кулачества как класса», Сталин предсказывал, что по мере приближения к окончательному разгрому классового врага его сопротивление будет становиться все более озлобленным и ожесточенным [40]. Предсказание это вносило психологический оттенок в марксистскую доктрину классовой борьбы, что смущало некоторых коммунистов, обладавших склонностью к теоретическому мышлению. И все же, если Сталин имел в виду, что «классовые враги» становятся врагами реальными именно потому, что их решили ликвидировать как класс, с ним трудно не согласиться. Как он мрачно рассуждал несколько лет спустя, уничтожение класса не устраняло его антисоветского самосознания, ибо бывшие представители этого класса продолжали существовать «со всеми их классовыми симпатиями, антипатиями, традициями, навыками, взглядами, воззрениями... Классовый враг... остался в лице живых представителей этих бывших классов» [41].

Очевидно, что на протяжении 30-х годов в рядах Коммунистической партии сохранялся сильный страх перед бывшими классовыми врагами, и он (даже более чем в 20-е годы) был связан с представлением, что люди, чьи жизни были разбиты Октябрьской революцией или сталинской «революцией сверху», вероятно, навсегда сохраняют враждебность по отношению к советскому режиму. Это особенно пугало, поскольку в результате советской политики ликвидации сельской и

городской буржуазии и дискриминации в отношении тех лиц, которые в прошлом принадлежали к этим классам, многие из классовых врагов теперь рассредоточились и затаились. Так, на каждого кулака или члена кулацкой семьи, сосланного или отправленного в исправительно-трудовой лагерь в начале 30-х годов, приходилось несколько бежавших из деревень в ходе коллективизации и начавших новую жизнь в других местах, обычно в качестве городских рабочих. По понятным причинам такие люди старались скрывать свое прошлое от коллег по работе и властей, поскольку их прошлая социальная идентичность была позорным клеймом.

В принципе, в этом не было ничего противозаконного, как и в случае, когда бывший дворянин работал незаметным бухгалтером, не распространяясь о своей родословной; в конце концов, труд был не только правом, но и обязанностью всех советских граждан. На практике, однако, если обнаруживалось, что среди работников были бывшие нэпманы или бывшие кулаки, то это всегда порождало тревогу, и их попытки «сойти» за обычных граждан всегда получали самое злое толкование. Мелодрама, сюжет которой строился вокруг темы «рука скрытого классового врага», была в 30-е годы одним из стандартных жанров советской массовой культуры. Например, фильм «Партийный билет» (Мосфильм, 1936 г.) рассказывал, как в заводском поселке появляется неизвестный молодой человек, в которого влюбилась работница по имени Анна. С ее помощью он получает работу на заводе и даже готовится вступить в партию. Но в действительности он - кулак, бежавший из родной деревни во время коллективизации. Анна начинает об этом догадываться, но решает не сообщать о своих догадках парторганизации. Решение это было с ее стороны ужасной ошибкой. Ее возлюбленный оказался не только кулаком и убийцей, но и шпионом иностранной разведки [42].

Практика «клеимения» по классовому признаку оказалась в советском обществе крайне живучей, несмотря на спорадические попытки партийного руководства отойти от такой политики. На протяжении 30-х годов как партийное руководство, так и рядовые члены партии демонстрировали двойственный подход к вопросу класса; относительно спокойные периоды чередовались со все новыми приступами паранойи. Классическим примером здесь могут служить вакханалия «больших чисток» 1937-1938 гг. и последовавшее за нею горькое похмелье последних предвоенных лет. Политика смывания классовых клейм так и не получила искренней поддержки со стороны партийного руководства и не осуществлялась на местном уровне с надлежащей систематичностью.

Кроме того, существуют свидетельства, что простые люди - особенно в подвергшейся коллективизации деревне - к политике смыывания классовых клейм относились с большой, глубоко укоренившейся подозрительностью. На проводившемся в 1935 году Всесоюзном съезде колхозников-ударников секретарь ЦК по сельскому хозяйству выступил с предложением о том, чтобы разрешить ссыльным кулакам вернуться в свои деревни, но предложение это было встречено крайне холодно и дальнейшего развития не получило [43]. (Очевидно, что любой возврат раскулаченных привел бы к повсеместным конфликтам между крестьянскими хозяйствами по поводу домов, коров и самоваров, ранее принадлежавших кулакам, а ныне находившихся в руках других крестьян). В следующем году в Западной области двое партийных руководителей районного масштаба слишком серьезно подошли к гарантированному новой Конституцией равенству всех граждан, приказав уничтожить старые списки «клеяемых» - кулаков и «лишенцев» - и разрешив бывшим кулакам и торговцам работать там, где можно было найти применение их опыту, например, в советских торговых учреждениях. Их действия позже, во время «больших чисток», были истолкованы как контрреволюционный саботаж (в контексте, который недвусмысленно указывает на то, что руководители эти оскорбили чувства местного населения) [44].

У Homo sovieticus левое и правое полушария мозга зачастую по-разному воспринимали проблемы класса и классового врага: разум мог подсказывать ему, что политика дискриминации по классовому признаку себя изжила, и что классовый враг реальной угрозы уже не представляет, а интуиция заставляла его в этом сомневаться и по-прежнему испытывать старые страхи. Во время каждого очередного политического кризиса 30-х годов коммунисты тотчас же производили аресты «обычно под зреваемых», инстинктивно зная, что вину за кризис должен нести классовый враг.

Это произошло и во время кризиса, разразившегося зимой 1932-1933 годов, когда введение паспортов сопровождалось «чисткой» городского населения: в ходе ее большому числу лиц, лишенных избирательных прав, и другим классовым изгоям было отказано в городской прописке, а затем, в суммарном порядке, их выселили из своих домов и выслали за пределы городов [45]. Ситуация повторилась в 1935 году в Ленинграде после убийства С.М.Кирова. В ответ на убийство (которое не имело никакого явного отношения к козням «классового врага») органами НКВД было арестовано множество «бывших», в том числе 42 бывших князя, 35 бывших капиталистов и более сотни бывших жандармов и сотрудников царской полиции [46].

Во время «больших чисток» 1937-1938 годов эта схема претерпела заметные изменения. Во-первых, тех «ведьм», на которых велась охота, теперь называли не «классовыми врагами», а «врагами народа». Во-вторых, как было ясно обозначено в речах Сталина и Молотова и день за днем повторялось в прессе, основными кандидатами на звание «врагов народа» были не старые классовые враги, а высокопоставленные должностные лица - члены Коммунистической партии: секретари обкомов партии, главы правительственных учреждений, директора промышленных предприятий, командиры Красной Армии и т.д.

Но от старых привычек избавиться трудно, и «обычно подозреваемые» снова оказались под угрозой. Осенью 1937 года начальник управления НКВД по Ленинградской области Л.М.Заковский выделил особую категорию «врагов народа»: университетских студентов из числа детей кулаков и нэпманов, которых необходимо было разоблачать и изгонять из учебных заведений [47]. Комсомольская организация Смоленской области исключила из своих рядов десятки (а возможно - и сотни) членов на основании их чуждого социального происхождения, брачных связей с классово-чуждыми элементами, сокрытия своего происхождения и брачных связей и т.д. [48]. В Челябинске (и наверняка в других местах) бывшие классовые враги попали в число казненных в 1937-1938 годах за контрреволюционную деятельность [49].

В ходе «больших чисток» объектами разоблачений часто становились затаившиеся бывшие кулаки, «прокравшиеся» на заводы и в государственные учреждения. В деревнях в 1937 году разоблачения «кулаков» (или «кулаков, троцкистских врагов народа» - обычно председателей колхозов) со стороны других крестьян были еще более частыми, чем в предыдущие годы. В 1937 году органы НКВД нередко арестовывали за контрреволюционную деятельность людей, чьи братья или отцы были арестованы или сосланы как кулаки в начале 30-х годов [50]. «Крестьянская газета», получавшая многочисленные письма крестьян с различными жалобами и разоблачениями, была вынуждена отчитать одного корреспондента за то, что он в своем доносе перепутал старые и новые категории «заклейменных»: «Сообщая о ветсанитаре колхоза Тимофееве А.П., вы пишете: "Брат его, как бывший юнкер, взят органами НКВД". Вы, видимо, должны были сказать "арестован за контрреволюционную работу"» [51].

Недавно опубликованные материалы из архивов НКВД показывают, что в ходе чисток 1937-1938 годов в исправительно-трудовые лагеря ГУЛАГа было направлено почти 200 000 заключенных, определенных как «социально-вредные и социально-опасные элементы». Число это явно немалое, даже в сравнении с примерно полумиллио-

ном «контрреволюционеров», наводнивших ГУЛАГ в тот же самый период. Особенно поражает оно потому, что официально классовые враги не были объектами этой охоты на ведьм [52].

Паспорта и сталинская «сословность»

В конце 1932 года советское правительство впервые после падения старого режима ввело паспорта. Мера эта была реакцией на нависшую угрозу наводнения городов крестьянами-беженцами, спасавшимися от бушевавшего в деревне голода (города уже были переполнены до критического предела в результате крупномасштабной миграции из сельской местности, что было следствием коллективизации и быстрого роста промышленности в годы первой пятилетки). Но введение паспортов стало также важнейшей вехой в эволюции новой советской сословности. Так же, как паспорта царского времени идентифицировали их носителей по сословной принадлежности, новые советские паспорта идентифицировали их по «социальному положению», то есть фактически по классовому признаку [53].

Важной особенностью новой паспортной системы было то, что паспорта выдавали горожанам органы ОГПУ вместе с городской пропиской, а крестьянам паспорта автоматически не выдавались. Как и в царское время, крестьяне должны были обращаться к местным властям с просьбой о выдаче паспорта, перед тем как отправиться на временную или постоянную работу за пределами района; разрешение на получение паспорта давали им не всегда. Членам колхозов также было необходимо разрешение на отъезд со стороны колхоза, как во времена «круговой поруки» крестьянам требовалось на это согласие общины. Трудно было игнорировать сословный оттенок данной процедуры, поскольку крестьянство было поставлено в особое (и, разумеется, приниженное) юридическое положение. В течение 30-х годов правила выдачи паспортов существенно не изменились, несмотря на принцип равноправия, провозглашенный основой советского законодательства и советской формы правления в Конституции 1936 года.

В графе «социальное положение» в 30-е годы обычно указывалось, являлся ли владелец паспорта рабочим, служащим, колхозником, а если он был представителем интеллигенции, фиксировалась и его профессия (врач, инженер, учитель или директор завода) [54]. За исключением тех случаев, когда речь шла о «колхозниках», данная паспортная графа, как представляется, давала достаточно точное представление об основном роде занятий того или иного индивидуума [55]. Без

сомнения, тот факт, что выдача паспортов была в юрисдикции НКВД, повышал точность содержащейся в них информации; но также необходимо отметить, что с отмиранием законов и процедур, основанных на классовой дискриминации, уходил в прошлое и институт оспаривания той или иной социальной принадлежности. Ни один вид классовой идентификации из числа тех, которые указывались в паспортах, не представлял собой социального клейма в прежнем смысле этого слова. Несомненно, что «колхозник» и «единоличник» (представитель неколхозного крестьянства) - две юридические категории, применявшиеся в отношении крестьян в 30-е годы и заменившие три полуюридические, полуэкономические категории 20-х годов, - были в советском обществе низким статусом. Но ни та, ни другая категория не может считаться эквивалентом существовавшего до этого статуса «кулак», обладатель которого автоматически становился социальным изгоем.

Когда во второй четверти 30-х годов Коммунистическая партия и советское общество выбрались из водоворота коллективизации и неистовой «культурной революции», приверженность советских лидеров марксистским классовым принципам стала заметно менее глубокой и искренней. Как уже отмечалось, режим стал отходить от практики классовой дискриминации и «клеяния» индивидуумов по классовому признаку. Если новой Конституции и не следует придавать здесь слишком большого значения, то в других областях советской жизни произошли реальные перемены, например, в сфере высшего образования и в сфере формирования советской элиты через вступление в Коммунистическую партию и комсомол. Уменьшение реальной обеспокоенности вопросами классовой принадлежности проявилось также в резком упадке социальной статистики, которая в 20-е годы являлась важнейшей исследовательской дисциплиной; особенно заметно было исчезновение вездесущих таблиц, еще недавно наглядно демонстрировавших классовый состав всевозможных групп населения и различных институциональных образований.

И все-таки создать впечатление, что советскую власть больше не интересовал сбор данных о социальном происхождении и классовой принадлежности населения, значило бы ввести читателя в заблуждение. Обеспокоенность проблемой наличия скрытых врагов, о которой говорилось выше, по-прежнему находила отражение в советской практике учета, но в основном это происходило в сфере ведения личных дел. Как говорил Г.М.Маленков, выступая перед XVIII Всесоюзной конференцией ВКП(б) в 1941 году, «несмотря на указания партии, во многих партийных и хозяйственных органах при назначении работника больше занимаются выяснением его родословной, выяснени-

ем того, кем был его дедушка и бабушка, а не изучением его личных деловых и политических качеств, его способностей» [56]. В стандартной анкете, которую заполняли в 30-е годы все государственные служащие и члены партии, были отражены всевозможные аспекты, касающиеся вопросов социальной принадлежности, в том числе классовое происхождение (прежнее сословие и чин, род занятий родителей), род занятий до поступления на государственную службу (или, для членов партии, род занятий до вступления в Коммунистическую партию), год поступления на государственную службу и социальный статус в настоящее время [57].

Весьма актуальным и в 30-е годы оставался один вопрос, связанный с классом: вопрос о социальной траектории, то есть о направленности изменений социального статуса того или иного индивидуума. По-прежнему крайне важным оставалось, к примеру, различие между рабочим, чей отец также был рабочим, и рабочим, который покинул деревню, возможно, из страха перед коллективизацией в 1930 году; или между служащим, который начал свою жизнь сыном священника или представителя знати, и тем, который пробился из крестьян в рабочие, а затем, в 1929 году, стал «пролетарским выдвиженцем». Подобные вопросы продолжали занимать центральное место и в относительно немногочисленных крупномасштабных социологических исследованиях, проведенных и ставших достоянием гласности в 30-е годы [58].

В отличие от переписи 1926 года, переписи населения, проводившиеся в 30-е годы, быстро и деловито разделялись с вопросами о социальном положении. В каком-то смысле это отражало изменение внешней обстановки, в первую очередь то, что кулаки и другие частные предприниматели, использовавшие наемный труд, уже были «ликвидированы как класс». Но было ясно и то, что, как бы исподволь возвращаясь к духу переписи 1897 года, переписи 1937 и 1939 годов неожиданно упрощали задававшийся вопрос о классовой принадлежности (идентичный для обеих переписей) и делали его почти таким же прямолинейным, как и прежний вопрос о принадлежности сословной. Классовое положение индивидуума больше не выводилось из тщательно собранных и проанализированных экономических данных - для удобства оно было записано в паспорте, и о нем просто надо было сообщить властям. В ответ на задававшийся в 1937 и 1939 годах вопрос о социальном положении опрашиваемые должны были просто сообщить, к какой из следующих групп они принадлежат: «к группе рабочих, служащих, колхозников, единоличников, кустарей, людей свободных профессий или служителей культа и нетрудящихся элементов».

Кроме того, перед ними ставился вопрос, формулировка которого вполне бы удовлетворила Петра I - об их «службе» на настоящий момент (то есть о роде их занятий, если они работали на государство) [59].

Термин «класс» в применявшихся в ходе переписей анкетах не использовался, что, возможно, указывает на некоторую неуверенность в уместности этой категории [60]. В конце концов, в середине 30-х годов Советский Союз, как было официально объявлено, достиг стадии «социалистического строительства»: несмотря на недостаточную теоретическую ясность в вопросе о том, насколько близок период «социалистического строительства» к социализму как таковому, возможно, это означало, что построение бесклассового общества неизбежно. Сталин, однако, заявил, что классы в советском обществе по-прежнему существуют, хотя и будучи (благодаря тому, что с эксплуатацией и классовыми конфликтами было покончено) классами особого, неантагонистического типа [61]. Он даже не пытался обосновать это свое утверждение при помощи детально разработанной теории. «Можем ли мы, марксисты, обойти в Конституции вопрос о классовом составе нашего общества?» - задавался он риторическим вопросом. Ответ был предельно лаконичен: «Нет, не можем» [62].

В духе того, как Екатерина II в XVIII столетии разъясняла принципы сословности, Сталин обозначил три основные группы, составлявшие советское общество: рабочих, колхозное крестьянство и интеллигенцию [63]. Эта схема представляла собой своеобразную попытку адаптировать екатерининскую четырехсословную схему применительно к современным советским условиям - за исключением одной особенности [64]. Этой особенностью было слияние старой категории «служащих» с интеллигенцией и с коммунистической административной элитой с целью создания единого конгломерата «белых воротничков», который получил название «советская интеллигенция».

Конечно, было бы преувеличением утверждать, что в 30-е годы в Советском Союзе возникла полноценная сословная система. Тем не менее, по многим признакам мы можем заключить, что структура советского общества того времени тяготела к сословности, начиная с описанной выше практики фиксирования социального положения индивидуума во внутренних паспортах. Наиболее четкими сословными характеристиками обладало крестьянство. В отличие от других основных классов-сословий - рабочих и интеллигенции - крестьяне не обладали автоматически правом иметь паспорта и, таким образом, были в особом порядке ограничены в свободе передвижений. Они несли перед государством принудительную обязанность снабжать его рабочей силой и лошадьми для проведения дорожных и лесозагото-

вительных работ (от чего другие классы-сословия были освобождены). С другой стороны (и в этом - позитивный аспект их социального статуса), одни крестьяне обладали коллективным правом на пользование землей [65] и правом заниматься индивидуальной и коллективной торговлей на колхозных рынках - правом, в котором всем остальным советским гражданам было отказано [66].

В 30-е годы в советском обществе существовали и более тонкие различия между правами и привилегиями различных социальных групп. Некоторые из них были зафиксированы в законодательном порядке: например, право единоличных крестьянских хозяйств - в отличие от колхозных хозяйств и членов городских «сословий» - иметь лошадь; или право «рабочих» и «служащих» получить в пользование «приусадебный участок» строго установленного размера в деревне или пригородной зоне [67]. Казачество, одно из традиционных малых сословий при старом режиме, в 1936 году, после 20 лет опалы, вызванной их сопротивлением советской власти в годы гражданской войны и коллективизации, получило назад свой квазисословный статус, связанный с привилегиями в сфере воинской службы [68]. Сосланных в начале 30-х годов кулаков и прочих «спецпоселенцев», проживавших в Сибири и других районах страны, также необходимо считать отдельным сословием, поскольку их права как земледельцев и промышленных рабочих, а также налагавшиеся на них правовые ограничения были обстоятельно разъяснены в законодательстве и в соответствующих секретных инструкциях [69].

Можно выделить по крайней мере еще одно «протосословие», чье существование было признано если и не в законодательном порядке, то в традиционном обиходе и в официальной статистической классификации. То был новый советский высший класс «ответработников» - административная и профессиональная элита, составлявшая верхний слой той обширной группы «белых воротничков», которую Сталин называл «интеллигенцией». Официально эта элитная группа обозначалась (обычно в не предназначавшихся для публикации результатах статистических исследований 30-х годов) как «руководящие кадры (работники) и специалисты» [70]. Члены данной группы пользовались рядом особых привилегий, в том числе правом доступа в закрытые магазины, правом пользования персональным автомобилем с шофером и государственными дачами [71].

В связи с этим необходимо отметить, что развитию сословных тенденций способствовала вся сложившаяся в 30-е годы экономика с ее хроническим дефицитом и наличием сети «закрытого распределения» продовольственных товаров и товаров народного потребления по

месту работы или через профсоюзы. К этой системе был допущен не только новый высший класс «руководящих кадров и специалистов», но и те группы населения, которые занимали более низкие ступени общественной иерархии, но также пользовались различными видами привилегий. Так, в начале 30-х годов в заводской системе закрытого распределения и общественных столовых обычно различали три категории клиентов: управленцев и инженерно-технических работников (ИТР), привилегированных рабочих (ударников) и обычных рабочих [72]. Позже, по мере развития во второй половине 30-х годов стахановского движения, стахановцы и ударники составили отдельный слой рабочих, который за свои трудовые достижения пользовался особыми привилегиями и получал специальное вознаграждение [73]. Теоретически статус стахановца не был постоянным, а зависел от производственных показателей. Но совершенно очевидно, что многие рабочие воспринимали его как новый статус «знатного рабочего», сравнимый, возможно, с существовавшим в царские времена сословием «почетных граждан», который, если работник однажды его удостоился, сохранялся за ним до конца жизни [74].

Заключение

Основной постулат данной статьи - то, что в России после революции класс превратился в категорию, которая приписывалась, а не выводилась из социально-экономических данных. Основными причинами и непосредственными предпосылками этого феномена были, во-первых, наличие юридических и институциональных структур, посредством которых осуществлялась дискриминация по классовому признаку, и, во-вторых, происходившие в российском обществе непрерывные перемены и процессы социальной дезинтеграции, превратившие «реальный» социально-экономический класс, к которому должен был принадлежать индивидум, в нечто неопределенное и трудно поддающееся классификации. Предельно обобщая сущность проблемы, можно сказать, что советская практика «приписывания к классу» возникла как комбинация марксистской теории и слабой структурированности российского общества.

В каком-то смысле класс (в его советской форме) может считаться изобретением большевиков. В конце концов, именно большевики стояли во главе нового советского государства и разрабатывали его законодательство, построенное на принципе классовой дискриминации, а марксизм был их официальной идеологией. Тем не менее, приписы-

вать большевикам все заслуги в деле создания советской версии понятия «класс» значило бы слишком упрощать ситуацию. Корни этого новшества уходят и в массовое сознание россиян, - в конце концов, именно образованные «снизу» в 1905 и 1917 годах Советы рабочих депутатов выработали практику предоставления права голоса по классовому признаку (которая была узаконена в Конституции 1918 года) и, таким образом, косвенно повлияли на создание всего корпуса законодательства, основанного на классовой дискриминации, которое действовало в начале советского периода российской истории. Более того, тот сословный оттенок, который понятие «класс» приобрело в 20-е годы (это особенно очевидно в случае с «классовым» статусом духовенства и с категорией «служащих», напоминаяшей мещанское сословие), также скорее был плодом народного, а не большевистского воображения.

Специфически большевистское (или свойственное интеллектуалам-марксистам) понимание класса наиболее ярко проявилось в сфере социальной статистики. Убежденные в том, что научный анализ общества требует использования классовых категорий, советские статистики 20-х годов кропотливо вводили эти категории в обрабатывавшиеся ими данные, включая те тома с результатами переписи 1926 года, где речь шла о профессиональных занятиях населения. Как было показано в данной статье, тот огромный объем статистических данных, который был собран и обработан в 20-е годы, был частью проекта строительства «виртуального классового общества»; целью статистических исследований было создание иллюзии существования классов. Очевидный вывод, который из этого следует, - это вывод о том, что историкам необходимо подходить к подобным статистическим данным крайне осторожно.

Важнейшим - если не ключевым - аспектом общего процесса «приписывания к классу» в 20-е годы был институт «классового клейма». Очевидно, что это явление обязано своим происхождением революционной страсти народа не в меньшей степени, чем марксистской теории или даже большевистской идеологии. Интеллектуалы-большевики (включая Ленина и других партийных лидеров) испытывали неловкость от того, что их классовая политика вела к практике клеймения по классовому признаку и демонстративному поиску виновных; они, в частности, пытались противостоять популярному в народе представлению, что классовое происхождение индивидуума неизбежно налагает на человека несмываемое «клеймо». Но подобные возражения большей частью игнорировались. Практика «клеймения» по классовому признаку достигла своего пика одновременно с инспириро-

ванной государством «охотой на ведьм», широко развернувшейся в ходе «культурной революции» конца 20-х - начала 30-х годов.

В 30-е годы, после того как стихла оргия коллективизации, раскулачивания и «культурной революции», многое стало меняться. Революционной страстности заметно поубавилось; марксизм стал чем-то обыденным и перестал служить для коммунистов источником вдохновения; а в 1937-1938 годах «охота на ведьм» велась (хотя и не всегда) не по классовому принципу. И, тем не менее, класс по-прежнему оставался основной категорией идентификации советских граждан, что было институционально закреплено в новой форме с введением в конце 1932 года паспортов, содержащих графу «социальное положение». Графа эта была почти точным эквивалентом отметки о сословной принадлежности в документах, удостоверявших личность при старом режиме. Советское понятие класса перестало быть поводом для оспаривания или же (после демонтажа законодательных и институциональных структур классовой дискриминации) клеймом; все более и более оно сближалось по своей сущности с понятием сословия, возникшим в императорский период.

Очевидно, что значение «сталинской сословности» как модели советского общества не может быть подвергнуто на страницах этой статьи достаточно тщательному рассмотрению, но, как мне представляется, имеет смысл предложить здесь несколько возможных направлений исследования данной проблемы. Во-первых, введение понятия сословности сразу же очерчивает некие концептуальные границы и позволяет нам осознать, что «классы» сталинского общества, как и сословия, следует выделять и рассматривать через призму их отношения к государству (в то время как классы в марксистском понимании определяются через их отношение друг к другу). Это позволяет нам по-новому подойти к столь часто обсуждаемой проблеме «главенствующей роли государства» во взаимоотношениях между советским государством и обществом.

Во-вторых, сословная модель оказывается очень удобной при анализе проблемы социальной иерархии. Часто указывают, что в период сталинизма в советском обществе, бесспорно, возникла некая социальная иерархия, но в концептуальном отношении ее природа остается неясной. Легко согласиться с Л.Д.Троцким и М.Джиласом в том, что в сталинский период появился новый высший класс, положение представителей которого определялось занимаемыми ими должностями; но намного труднее принять марксистский подход к данному вопросу и интерпретировать этот класс не просто как новый привилегированный, а как новый правящий класс. В рамках же концепции

«сталинской сословности» класс этот можно рассматривать как современную версию «служилого дворянства» [75], чьи статус и функции так же понятны историкам, как они были очевидны для современников; и тогда остальные классы-сословия с такой же легкостью занимают свои места в существовавшей системе социальной иерархии.

Наконец, имеет смысл поставить вопрос о том, насколько аналогичная модель применима при изучении национальностей Советского Союза. В Российской Империи существовали не только социальные, но и этнические, национальные сословия (например, башкиры или немецкие колонисты). Национальность, как и класс, была категорией, которая получила полное правовое признание только после революции. В советское время, как могло показаться, создание этой категории вначале шло совершенно иным путем, чем создание категории класса. В период сталинизма, однако, многое изменилось, особенно в случаях депортации целых национальностей в 40-е годы. В таком случае у историка появляется интригующая возможность - проследить, как принцип сословности наложил свой отпечаток на процесс искусственного созидания не только социальной, но и национальной идентичности советских людей.

Пер. с англ. С. Кантерева

Примечания

1. См.: Sheila Fitzpatrick, *Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921-1934* (Cambridge, 1979); idem, «Stalin and the Making of a New Elite, 1928-1939», *Slavic Review* 38 (1979). P.377-402; эта статья была перепечатана в моей книге *The Cultural Front* (Ithaca, N.Y., 1992). P.149-182.

2. В особенности это относится к тем марксистским концепциям образования классов (например, к концепции Э.П.Томпсона), где делается упор на фактор сознания. К примеру, можно указать на характерные для начала советского периода проблемы (пре)образования российского рабочего класса и выработки партией большевиков собственного варианта «пролетарского сознания» - варианта, который сами промышленные рабочие полностью не приняли, но от которого они полностью и не отказались.

3. Форма А, использовавшаяся в ходе переписи 1897 года, воспроизводится в приложении 1 к книге: Пландовский Вл. *Народная перепись*. Спб., 1898. Респонденты должны были указать свое «сословие, состояние, или звание», а также ту отрасль экономики, в которой они работали (сельское хозяйство, промышленность, горная промышленность, торговля и т. д.).

4. Там же. С.339. Единственный приведенный там пример касался участвовавших в переписи 1897 года крестьян, которые были не в состоянии ука-

зать статус своих семей при крепостном праве, до 1861 года. Речь здесь шла не о «сословии», а о «разряде»; опрашиваемые должны были ответить, являлись ли они в то время помещичьими крепостными, государственными крестьянами и т.д.

5. Дискуссию по наиболее кардинальным вопросам, связанным с сословной проблематикой, можно проследить по следующим работам: Gregory L. Freeze, «The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History», *American Historical Review* 91 (1986). P.11-36 [на русском языке опубликовано как: Фриз Грегори Л. Сословная парадигма и социальная история России // *Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период.* Самара, 2000. С.121-162. - Прим. ред.]; Leopold H. Haimson, «The Problem of Social Identities in Early Twentieth Century Russia», *Slavic Review* 47 (1988). P.1-20; Alfred J. Rieber, *Merchants and Entrepreneurs in Imperial Russia* (Chapel Hill, N.C., 1985); Б'ХІХ-ХХІІ' іреш' «Дре Зершвенішл Зосієціл» Веймбен Дзеі сул People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia, ed. Edith W. Clowes, Samuel D. Kassow and James L. West (Princeton, N.J., 1991); Abbott Gleason, «The Terms of Russian Social History», *ibid.* P. 23-27.

6. Ключевский В.О. История сословий в России: Курс, читанный в Московском Университете в 1886 г. Спб., 1913.

7. Интеллигенция выделилась из рядов дворянства в середине XIX столетия как особая группа образованных россиян, не состоявших (или состоявших без особой охоты) на государственной службе. Ее представители, не принадлежавшие к дворянству, многие из которых были сыновьями духовных лиц, иногда числились в особой сословной категории: «разночинцы». С возрастанием к концу XIX века общественного значения юридической и медицинской профессий государство проявило склонность рассматривать эти профессии как новые сословия; но российские интеллектуалы, чьи умы уже всецело занимала проблема образования классов в марксистском смысле слова как необходимых элементов «современного» общества, практически не обратили внимания на этот процесс. Быстрый рост городского промышленного рабочего класса был результатом беспорядочной индустриализации России, осуществлявшейся под руководством графа Витте с 90-х годов XIX столетия. Большинство промышленных рабочих были недавними (более или менее) переселенцами из деревень и юридически состояли в крестьянском сословии.

8. О таких представлениях образованного общества см.: Фриз Грегори Л. Сословная парадигма и социальная история России. С.123-124. Однако, как указывает Леопольд Хаймсон, «если понятие “сословия” отражало представления государства об обществе, то марксистское понятие “класса” по сути своей было “альтернативным представлением” квазидиссидентской интеллигенции, сформулированным на основе реалий западного, а не российского общества». - Leopold Haimson, «The Problem of Social Identities in Early Twentieth Century Russia». P.3-4.

9. Уильям Розенберг отмечал, что «по крайней мере на протяжении короткого исторического отрезка доминирующая идентичность позволяла четко очертить линии социального противостояния» (William G. Rosenberg,

«Identities, Power, and Social Interactions in Revolutionary Russia», *Slavic Review* 47 (1988). P.27); сведения о том, как российские либералы воспринимали классовую поляризацию, приводятся в его работе: William G. Rosenberg, *Liberals in the Russian Revolution* (Princeton, N.J., 1974). P.209-212.

10. О демографических процессах того времени см.: Diane P. Koenker, «Urbanization and Deurbanization in the Russian Revolution and Civil War», *Journal of Modern History* 57 (1985). P.424-450; об их политическом значении см.: Sheila Fitzpatrick, «The Bolsheviks' Dilemma: Class, Culture and Politics in the Early Soviet Years», *Slavic Review* 47 (1988). P.599-613; последняя работа вошла также в книгу: Sheila Fitzpatrick, *The Cultural Front*. P.16-36.

11. XI съезд РКП(б). Март-апрель 1922 г. Стенографический отчет. М., 1961. С.103-104.

12. Это оскорбление было особенно действенным потому, что в лексиконе русской интеллигенции слово «буржуазный» имело такой же презрительный оттенок, как и в большевистском дискурсе.

13. В октябре 1917 года рабочие составляли примерно 60% членов партии, но в ходе гражданской войны этот показатель снизился приблизительно до 40% (частично в результате наплыва в партию крестьян-красноармейцев); более того, в партийном руководстве преобладали выходцы из интеллигенции. В 20-е годы предпринимались энергичные усилия по привлечению в ряды партии большего числа рабочих. При этом наряду с процессом «вербовки» представителей рабочего класса шел не менее интенсивный процесс «выдвижения» рабочих на уровень кадровых специалистов и на административные должности. Связанные с этим практические и концептуальные проблемы обсуждаются в работе: Sheila Fitzpatrick, *The Bolsheviks' Dilemma*.

14. Правда, 20 апреля 1936 г. С.1.

15. Об уничтожении сословий и гражданских чинов. Декрет ЦИК и Совнаркома от 11 [24] ноября 1917 г. [за подписью Я.М.Свердлова и В.И.Ленина] // Декреты советской власти. М., 1957. Т.1. С.72.

16. См., напр., детальное описание деления советского общества на классы, основанное на результатах переписи населения: Статистический справочник СССР за 1928 г. М., 1929. С.42.

17. Впрочем, при проведении серьезного социально-статистического анализа священников и других «служителей культа» включали в категорию «лиц свободных профессий».

18. Конституция (Основной закон) РСФСР, принятая Пятым Всероссийским съездом Советов (10 июля 1918 г.) // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1918. № 51. Ст. 582. Раздел 4 (глава 13) конституции посвящен избирательному праву.

19. Детальный анализ данного вопроса содержится в работе: Elise Kimerling, «Civil Rights and Social Policy in Soviet Russia, 1918-1936», *Russian Review* 41 (1982). P.24-46.

20. Формы документации, принятые в 1926-1927 годах для регистрации бракосочетания, рождения ребенка, развода и смерти, воспроизведены в следующей работе: Дробижев В.З. У истоков советской демографии. М., 1987. С.208-215. В графе «социальное положение» были предусмотрены следующие вари-

анты: «работник-тница, служащий-ая, хозяйин-ка, помогающий член семьи [в семейном, например, крестьянском хозяйстве], свободной профессии» и т. д.

21. Советская юстиция. 1932. № 1. С.20 (курсив мой. - Ш.Ф.).

22. Этот вопрос был поставлен перед народным комиссаром просвещения А.В.Луначарским на конференции преподавателей в 1929 году (Луначарский посоветовал учителям положиться на добрую волю приемных комиссий, а не испытывать судьбу, требуя изменить законодательный порядок). - Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 5462, оп. 11, д. 12, л. 37.

23. То, что перепись населения 1897 года не предоставляла такой информации, крайне расстраивало Ленина еще при написании им работы «Развитие капитализма в России». Перепись была проведена должным образом в 1920 году, на последней стадии гражданской войны, но из-за социального хаоса и неразберихи того периода полученная в результате переписи информация о занятиях населения обладала небольшой ценностью. - Массовые источники по социально-экономической истории советского общества. М., 1979. С.24; Дробижев В.З. У истоков советской демографии. С.47-48, 53.

24. За исключением наемных сельскохозяйственных рабочих.

25. См.: Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. Вып. 10. Население Союза ССР по положению в занятии и отраслям народного хозяйства. М., 1929.

26. По вопросу об использовании статистики в целях социального строительства и контроля см.: Ian Hacking, *The Taming of Chance* (Cambridge, 1990); Joan Scott, «Statistical Representation of Work: The Politics of the Chamber of Commerce's "Statistique de l'Industrie à Paris, 1847-48"», Joan Scott, *Gender and the Politics of History* (New York, 1988).

27. Более подробно эта проблема рассмотрена в моей работе: Sheila Fitzpatrick, «The Problem of Class Identity in NEP Society», *Russia in the Era of NEP: Explorations in Soviet Society and Culture*, ed. Sheila Fitzpatrick, Alexander Rabinowitch and Richard Stites (Bloomington, Ind., 1991). P.12-33.

28. Как правило, в отношении рабочего класса коммунисты не применяли «генеалогический» подход. Рабочие, которые родились в крестьянских семьях (а таких было большинство), все равно считались «пролетариями».

29. Две соответствующие графы носили следующие заголовки: «по социальному положению» и «по занятию». См. анкету партийной переписи 1927 года, воспроизведенную в издании: Всесоюзная партийная перепись 1927 г. Вып. 3. М.: Статистический отдел ЦК ВКП (б), 1927. С.179-180. Что касается вопроса «генеалогии», то статистики Центрального Комитета партии считали, что классовый статус родителей «в меньшей степени характеризует партийца», чем его непосредственный классовый опыт и профессиональная история, и что он «накладывает менее яркий отпечаток на весь его духовный облик». См.: Социальный и национальный состав ВКП(б). Итоги Всесоюзной переписи 1927 года. М., 1928. С.26.

30. О раскулачивании см.: R.W.Davies, *The Socialist Offensive: The Collectivisation of Soviet Agriculture, 1929-1930* (Cambridge, Mass., 1980). Chaps. 4-5.

31. Kendall E. Bailes, *Technology and Society under Lenin and Stalin* (Princeton, N.J., 1978). Chaps. 3-5.

32. О понимании «культурной революции» как классовой борьбы, характерном для периода 1928-1931 гг., см: Cultural Revolution in Russia, 1928-1931, ed. Sheila Fitzpatrick (Bloomington, Ind., 1978).

33. О восстановлении в правах кулаков и их детей см.: О порядке восстановления в избирательных правах детей кулаков // Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. 1933. №21. Ст.117; О порядке восстановления в гражданских правах бывших кулаков // Там же. 1934. № 33. Ст. 257. О приеме в высшие учебные заведения см.: Sheila Fitzpatrick, Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921-1934. О правилах приема в партию см.: Т.Н. Rigby, Communist Party Membership in the U.S.S.R., 1917-1967 (Princeton, N.J., 1968). P.221-226. Об изменениях основ приема в комсомол см. речь секретаря Центрального Комитета Андреева на X съезде комсомола: Правда, 21 апреля 1936 г. С.2.

34. Речь В.М.Молотова о предстоящих изменениях в Советской Конституции, произнесенную 6 февраля 1935 г. на VII съезде Советов, см.: Комсомольская правда, 8 февраля 1935 г. С.2.

35. Советская юстиция. 1936. № 22. С.15.

36. Комсомольская правда, 2 декабря 1935 г. С.2. Вышеупомянутый делегат, башкирский комбайнер А.Г.Тильба, заявил, что местные партийные деятели пытались помешать его присутствию на совещании, несмотря на его заслуги как стахановца, и что он смог прибыть на него только после вмешательства главы сельскохозяйственного отдела ЦК партии.

37. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (1936) // История советской Конституции (в документах). 1917-1956. М., 1957. С.726.

38. Например, его использует А.Т.Твардовский в своей поэме «По праву памяти», ходившей по рукам в советском «самиздате» в 60-е годы. Родители и братья Твардовского подверглись депортации как кулаки в то же самое время, когда он в Смоленске начинал успешную карьеру народного поэта.

39. В то время как большинство газет попросту не среагировало на эту фразу, «Комсомолка» неделей позже выступила с передовой статьей, где призывала к повышению революционной бдительности по отношению к классовым врагам; призыв этот прозвучал как косвенное опровержение того, что было напечатано в ней ранее. См.: Комсомольская правда, 28 декабря 1935 г. С.1.

40. О правом уклоне в ВКП(б) // Сталин И.В. Сочинения. Т.12. М., 1952. С.34-39.

41. Из речи наркома юстиции РСФСР Николая Крыленко (который якобы перефразировал неопубликованное сталинское высказывание) перед работниками юстиции в Уфе в марте 1934 г. - Советская юстиция. 1934. № 9. С.2.

42. Краткое содержание фильма (возможно, не совсем точно изложенное) приводится в восторженной рецензии, опубликованной в газете «Магнитогорский рабочий» от 5 мая 1936 г. С.3.

43. Второй всесоюзный съезд колхозников-ударников. 11-17 февраля 1935 г. Стенографический отчет. М., 1935. С.60, 81, 130.

44. См. сообщение о процессе в Сычевке - одном из многочисленных провинциальных показательных процессов 1937 года, где сельским партийным руководителям были предъявлены обвинения в оскорбительном поведении, произволе и самоуправстве по отношению к местному крестьянскому населению. - Рабочий путь. 16 октября 1937 г. С.2.

45. См. Sheila Fitzpatrick, «The Great Departure: Rural-Urban Migration, 1929-33», *Social Dimensions of Soviet Industrialization*, eds. William G. Rosenberg and Lewis Siegelbaum (Bloomington, Ind., 1993). P.15-40.

46. За индустриализацию, 20 марта 1935 г. С.2.

47. Заковский Л.М. О некоторых коварных приемах и методах врагов, пробравшихся в комсомол // Комсомольская правда, 5 октября 1937 г. С.2.

48. Значительное число жертв этой чистки было восстановлено в рядах комсомола в 1938 году, после того, как они подали апелляции, оспаривая несправедливое исключение. Материалы слушаний о их реабилитации находятся в трофейном Архиве Смоленской области, находящемся в США, ВКП 416.

49. Данные, содержащиеся в архивах местного НКВД, приводятся в статье: Ижбулдин Г. Назвать все имена // Огонек. 1989. № 7. С.30.

50. Эти наблюдения основаны на чтении архивных дел, содержащих жалобы, написанные крестьянами в 1937 году. Дела эти, хранящиеся в Российском государственном архиве экономики (РГАЭ), ф. 396, оп. 10, подробно рассматриваются в работе: Sheila Fitzpatrick, *Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization* (New York and Oxford, 1994); см. в особенности приложение «Библиография и источники» (app. «On Bibliography and Sources»).

51. РГАЭ, ф. 396, оп. 10, д. 121, л.1.

52. Данные эти взяты из статьи: Дугин Н. Открывая архивы // На боевом посту, 27 декабря 1989 г. С.3; они основаны на архивных данных НКВД, где заключенных классифицировали на основе статей Уголовного кодекса, по которым они были осуждены.

53. Основными координатами личностной идентификации в паспортах 30-х годов были возраст, пол, социальное положение и национальность; см.: Об установлении единой паспортной системы в СССР. Постановление ЦИК и Совнаркома СССР от 27 декабря 1932 г. // Правда, 28 декабря 1932 г. С.1. Графа «социальное положение» сохранялась в советских паспортах до 1974 года.

54. См. статью о паспортах: McGraw Hill Encyclopedia of Russia and the Soviet Union, ed. Michael T. Florinsky (New York, 1961), s.v. «passports», p.412; информация, полученная в рамках Гарвардского проекта по интервьюированию беженцев (Harvard Refugee Interview Project), приводится в работе: Alex Inkeles and Raymond A. Bauer, *The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian Society* (New York, 1968). P.73-74.

55. Обозначение «колхозник» следует рассматривать как особую категорию, поскольку колхозник, имевший паспорт, по определению не был постоянно занят в колхозном сельском хозяйстве. Это мог быть недавний крестьянин,

который, как и при царизме, на практике превратился в городского рабочего, но пока еще не получил возможности сменить свой юридический статус.

56. Правда, 16 февраля 1941 г. С.3.

57. ГАРФ, ф. 5457, оп. 22, д. 48, лл. 80-81 (личный листок по учету кадров П.М.Григорьева, члена профсоюза прядильщиков, 1935 г.).

58. См., например, материалы профсоюзной переписи 1932-1933 годов, где особое внимание уделялось членам профсоюзов, прибывшим из деревень, и их прошлому социальному статусу (Профсоюзная перепись 1932-1933 г. М., 1934); проводившейся в 1935 году переписи работников государственной и кооперативной торговли, где особое внимание уделялось трудоустройству бывших нэпманов и работников частного сектора (Итоги торговой переписи 1935 г. Ч. 2: Кадры советской торговли. М., 1936); и проводившейся в 1933 году переписи советской административной и профессиональной элиты (итоги этой переписи были опубликованы в 1936 году), где были особо выделены не только кадры с пролетарским происхождением, но и те, кто был «рабочим у станка» в 1928 году (Состав руководящих работников и специалистов Союза ССР. М., 1936).

59. См. анкеты, использовавшиеся в переписях 1937 и 1939 годов и опубликованные ЦУНХУ при Госплане СССР: Всесоюзная перепись населения 1939 г. // Переписи населения. Альбом наглядных пособий. М., 1938. С.25-26. Результаты переписи 1937 года были изъяты и никогда не были опубликованы, поскольку выявленная тогда численность населения была недопустимо низкой.

60. Вместо него был введен совершенно новый термин: «общественная группа».

61. О проекте Конституции Союза ССР (25 ноября 1936 г.) // Сталин И.В. Сочинения, ed. Robert H. McNeal (Stanford, California: Hoover Institution, 1967). Vol. 1 (XIV). P.142-146. [В Советском Союзе было опубликовано только 13 томов «Сочинений» И.В.Сталина - в хрущевские времена издание завершено не было. Три последних тома (которые должны были быть соответственно 14-м, 15-м и 16-м) были позже опубликованы в США, в издательстве Гуверовского института. Поэтому в нашем издании сноска типа: Сталин И.В. Сочинения. Т.2 (XV) означает, что имеется в виду второй том Гуверовского издания, который, если бы не начался процесс «десталинизации», должен был бы стать 15-м томом советского издания работ Сталина. Прим. ред. - Майкл Дэвид-Фокс].

62. Ibid. P.169.

63. Ibid. P.142. Ортодоксально следуя марксистской доктрине, Сталин назвал две первые группы «классами», а третью (поскольку ее положение не определялось отношением к средствам производства) - «прослойкой». Иногда эту формулу непочтительно именовали «два с половиной».

64. Екатерина II предлагала выделять четыре сословия: дворянство, духовенство, горожан и крестьянство.

65. Неколхозные крестьяне (или крестьянские хозяйства) обладали индивидуальным правом на пользование землей, но только на территории своей деревни.

66. Реализация этого права была ограничена специально отведенным для этого пространством - расположенными в городах «колхозными рынками», куда крестьяне-единоличники и колхозы привозили излишки продукции.

67. Заметим, что, несмотря на сталинскую формулу «два с половиной», на практике в 30-е годы «служащих» по-прежнему воспринимали как отдельное сословие.

68. См. письмо донских, кубанских и терских казаков с клятвой верности новому режиму, опубликованное в газете «Правда» от 18 марта 1936 г. (с.1), и определившее их новый статус постановление Центрального Исполнительного Комитета Съезда Советов СССР от 20 апреля 1936 г., которое упоминается в статье «Казачество» во 2-м издании «Большой советской энциклопедии» (Т.19. М., 1953. С.363). Возможно, что новое казачье сословие получило также высоко ценившуюся в 30-е годы привилегию - право владеть лошаадьми, но пока я не смогла точно этого установить.

69. См. Земсков В.Н. Спецпоселенцы (по документации НКВД-МВД СССР) // Социологические исследования. 1990. № 11. С.3-17; а также (по поводу снятия законодательных ограничений с данной группы лиц в 50-е годы): Земсков В.Н. Массовое освобождение спецпоселенцев и ссыльных (1954-1960 гг.) // Социологические исследования. 1991. № 1. С.10-12.

70. См.: Состав руководящих работников и специалистов Союза ССР. М., 1936; Из докладной записки ЦСУ СССР в Президиум Госплана СССР об итогах учета руководящих кадров и специалистов на 1 января 1941 г. // Индустриализация СССР 1938-1941 гг. Документы и материалы. М., 1973. С.269-276; результаты социологических обследований приводятся также в работе: Nicholas de Witt, Education and Professional Employment in the USSR (Washington, D. C., 1961). P.638-639. В промышленной статистике 30-х годов использовалась категория «ИТР» («инженерно-технические работники»): она включала в себя как административный персонал, так и профессиональных сотрудников, но в нее не входили канцелярские работники низшего звена, составлявшие отдельную категорию «служащих».

71. См.: Mervin Matthews, Privilege in the Soviet Union: A Study of Elite Life-Styles under Communism (London, 1978). Chap. 4.

72. См.: Leonard E. Hubbard, Soviet Trade and Distribution (London, 1938). P.38-39, 238-240.

73. О стахановском движении см.: Lewis H. Siegelbaum, Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935-1941 (Cambridge, 1988).

74. См., к примеру, искреннее письмо неграмотной работницы льготкацкой промышленности Марии Каганович (письмо было написано ее грамотной дочерью) главе всесоюзного профсоюза работников ее отрасли. Работница эта жаловалась на допущенную в ее отношении вопиющую несправедливость: ее лишили звания стахановки (и, таким образом, запретили сидеть в первом ряду в фабричном клубе) только потому, что ее здоровье ухудшилось, и она не могла больше работать так же хорошо, как и прежде. - ГАРФ, ф. 5457, оп. 22, д. 48 (письмо от ноября 1935 года).

75. Сходная мысль содержится в работе: Robert C. Tucker, «Stalinism as Revolution from Above», Stalinism: Essays in Historical Interpretation, ed. Robert C. Tucker (New York, 1977). P.99-100.

СТАЛИНИСТСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ И НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ**

Слово «менталитет» - образ мыслей - стало модным термином среди сегодняшних историков; его считают нейтральным по тону обозначением совокупности свода убеждений, характерных для конкретной группы людей. Кажется, что понятие «менталитет» помогает удачно избежать и метафизической таинственности таких выражений, как «дух России», и гневных марксистских обертонов, звучащих в термине «идеология», ассоциирующемся с неким грандиозным обманом и своекорыстием, замаскированным под универсальную истину. Учитывая веяния моды и стремясь направить ход дискуссии в мирное русло, мы будем использовать слово «менталитет», хотя новые слова не устраняют старые трудности.

Основные трудности здесь создает широко распространенное убеждение, что идеология и прагматизм в основе своей противоположны друг другу, и что конфликт между ними и определяет формирующийся при коммунистических режимах менталитет. Наш же очерк по советской истории построен на ином предположении, а именно, что прагматизм как таковой уже является идеологизированным понятием, ко-

* © Джоравски Дэвид, 2001

** Примечание автора. Эйб Брумберг заказал мне первый вариант данной статьи для Государственного департамента США и дал мне знать, что разочарован слишком абстрактным характером моей работы. Эдвард Шилс выступил с детальной критикой данной статьи, побуждая меня существенно ее переработать. Мартин Малиа и Николас Рязановский попытались убедить меня отказаться от той реабилитации марксизма, которую они усмотрели в статье, а Дэвид Блур посчитал, что я слишком резок в суждениях. Я благодарен им, хотя «самодурство» не позволило мне последовать всем их советам. [В данном случае автор использует русский термин. - Прим. ред.]

торое поддается осмыслению лишь в конкретно-историческом контексте. Было бы иллюзией полагать, что сущность прагматизма можно определить посредством ссылки на «технику» - на некую автономную силу, сближающую все общества и превращающую их в единый муравейник. Эта технологическая фантазия разрушила грандиозные идеологические теории предыдущих столетий; она постепенно подтачивает даже академические теоретические построения о природе человека. Идеологи превращаются в безропотных функционеров - «экспертов по связям с общественностью», как говорят у нас на Западе, а представители академического мира занимают теперь такое же место, как и технические специалисты, или выполняют чисто декоративные функции. Советская история представляет один из самых ярких примеров триумфа «прагматизма», столь характерного для двадцатого века. В известной степени, как я попытаюсь показать, подобный «прагматизм» является не более чем мифом, самообманом; способом избежать опасных тройственных конфликтов, возникающих между энергичным, прямолинейным стилем политического правления, идеологическими пророчествами и неистребимым ироничным скепсисом в сфере высшего образования.

В период расцвета сталинизма - с 1930-х до начала 1950-х годов - блестящие научные достижения сосуществовали со скандальными политическими нападками на высшее образование. Этот парадокс часто упускают из вида, его заслонила легенда о том, что при Сталине теория относительности и квантовая теория были объявлены «вне закона». Легенда эта неверно определяет сферу скандала, - он произошел в сфере философии физики, а не в самой физике - и наделяет незаслуженным величием функционеров-идеологов и их политических хозяев. В своих взглядах на физику люди эти выполнили поразительную серию стремительных кульбитов, выказав то пренебрежение к интеллектуальной последовательности, которое так часто встречается в сфере политической ментальности. Но, когда политические вожди санкционировали эти скандальные кульбиты, они в то же время финансировали образование и исследования, в том числе и первоклассные, в области истинной физики. Несколько Нобелевских премий, присужденных советским физикам (за шестьдесят пять лет семеро советских ученых получили четыре таких награды), являются признанием той работы, которая была проделана за два последних десятилетия сталинской эры, с начала 30-х до начала 50-х годов. В течение послесталинского тридцатилетия, когда на философской периферии физической науки воцарилось спокойствие, советские физики не смогли достичь ничего, что соответствовало бы нобелевским стандартам.

Рассмотрим данный процесс более внимательно. В 1929 году, после нескольких лет философских дебатов, официальную поддержку получила та точка зрения, что теория относительности и квантовая теория представляют собой триумф диалектико-материалистической философии независимо от того, отдают в этом физики себе отчет или нет. В 1930 году официальная позиция изменилась в противоположную сторону: стали считать, что современные физические теории несут на себе существенный отпечаток буржуазной идеологии их создателей. Советским ученым предписывалось доказать свою приверженность диалектическому материализму путем внесения соответствующих поправок в теорию физики. В 1933 году официальных идеологов «качнуло» обратно: они вновь были готовы благословить с диалектико-материалистических позиций физику как она есть [1]. В 1936 году они опять вернулись к идеологическому анафемствованию, на этот раз с угрозами террора в адрес диссидентов, как в случае с Игорем Таммом, который высмеял рассуждения о «действии на расстоянии», сравнив их с рассуждениями о цвете меридиана. Один из хранителей идеологической чистоты ответил угрожающим контрвопросом: «Правильно ли, что склонность к защите идеализма находится в связи с уклоном к реакционной политической линии, к «цвету меридиана», отличному от красного?» [2]. Другой «цепной пес» от идеологии, наделенный меньшим воображением и большей жестокостью, отметил, что Тамм публично выступал в защиту своего старого друга Бориса Гессена, наиболее видного сторонника современной физики в коммунистических рядах, попавшего в жернова террора, и далее указал, что и родной брат Тамма был разоблачен как «вредитель» [3]. Такого рода нападки временно прекратились в 1939 году, возобновились в конце 40-х и полностью сошли на нет в 50-е годы, когда Сталин призвал к свободному соревнованию идей в науке, а его смерть устранила главное препятствие на пути к этой свободе [4].

Как показывает даже этот очень краткий обзор исторических фактов, популярная легенда о сталинистском запрете на современную физику искажает два ключевых момента реальных событий. Сознание советских идеологов изображается как интеллектуальный монолит, воздвигнутый на пути подводных течений «современной» или «буржуазной» мысли, в то время как в действительности оно было не монолитно, а флюгероподобно. Обюрократившиеся идеологи поворачивались в ту сторону, в которую дули политические ветры, когда верховные вожди склонялись то к одному, то к другому, противоположному, восприятию интеллигенции - то к неистовому гневу, направленному против чуждых веяний, то к ощущению своей неумолимой

зависимости от специалистов. Политические лидеры хотели добиться полного подчинения и, одновременно, творческой самостоятельности профессионалов - тех, кого в советском лексиконе называли «интеллигенцией».

Порывы таких страстей поворачивали идеологов как флюгеры в сторону то жесткой, то смягченной оценки современной физики, пока Сталин не указал возможность компромисса, что и взяли на вооружение пришедшие ему на смену деятели. Естественные науки могли быть вынесены за рамки идеологической надстройки [5]. В переводе на язык повседневной реальности эта абстрактная формула означала, что доказательства лояльности и субординации были отделены от философской оценки конкретных естественнонаучных теорий. Лояльность можно было подтвердить общими заверениями о своей приверженности принципам диалектического материализма - философии, расплывчатый характер которой допускает значительную вариативность в интерпретации физики. С начала 50-х годов становится очень трудно определить, что в философски-аналитических работах советских физиков носит отчетливо выраженный «советский» или «марксистский» характер, за исключением рудиментарных заверений в приверженности некоей неопределимой определенности [6].

Другое серьезное искажение реальности, содержащееся в легенде о сталинистском запрете на современную физику, - это путаница между идеологическими оценками науки и практической работой ученых. В то самое время, когда на Игоря Тамма обрушились обвинения в идеологической нелояльности, в конце 30-х годов, он, Илья Франк и Павел Черенков были заняты работой, которая позже принесла советской физике ее первую Нобелевскую премию. Другой будущий Нобелевский лауреат, Лев Ландау, в 30-е годы даже провел некоторое время в заключении - ему вменяли в вину юношеское увлечение троцкизмом, а Петр Капица серьезно рисковал быть отлученным от своих собственных «нобелевских» разработок, бросившись на защиту Ландау. Николай Басов и Алексей Прохоров занимались работой, удостоенной Нобелевской премии, в начале 50-х, в эпоху, когда идеологи возобновили обскурантистские нападки на физику.

Такое парадоксальное соседство активного научного творчества и политических нападок заслуживает более основательного исследования и осмысления, чем оно удостоилось до сегодняшнего момента. Напряженный конфликт, разгоревшийся на идеологическом пограничье между научной сферой и политической властью, мог сам по себе стать стимулом научного творчества. Галилей создал свой величайший научный труд, находясь под домашним арестом, после того как

он бросил идейный вызов католической церкви и потерпел поражение. Возможно, такие редкие случаи - не более, чем совпадение, а может быть, они являются крайними, частными проявлениями некоего общего правила. Идеологические пертурбации на периферии какой-либо науки могут быть функционально связаны с более глубинными творческими процессами, где философские вопросы трансформируются в проблемы научного характера. (Конечно же, это всего лишь гипотеза для возможного будущего исследования, а не рекомендация продолжать безумную сталинскую практику - пытаться интенсифицировать творчество путем преследования творцов).

Как бы то ни было, советская физика представляет собой исключительный случай. Если же пытаться построить типичную «советскую» модель отношений между политической властью и профессиональными специалистами в области естественных наук как в сталинскую эпоху, так и после нее, то, вероятно, наилучшим примером будет история химической науки. Физика занимает уникальное положение среди естественных наук, поскольку с ее сферой компетенции связаны вопросы философского характера. Именно поэтому ее можно было использовать в качестве идеологического полигона для проверки лояльности ученых. Химия же предоставила возможность лишь для довольно мягкого, эфемерного теста на лояльность во время нападков на резонансную теорию химической связи, которые начались в 1949 году и закончились к середине 50-х [7]. За исключением этого при Сталине, как и при его преемниках, советские химики занимались своим ремеслом в рутинном порядке - не только в нейтральном смысле английского термина «routine», но и в уничижительном смысле соответствующего русского слова, определяемого как «рабское следование заведенному шаблону, превратившееся в механическую привычку» [8].

Никто, насколько я знаю, до сих пор не написал более или менее детальной и глубокой истории советской химии и химических технологий, вероятно, потому что предмет кажется довольно скучным. Скандальный конфликт отсутствует, как отсутствуют и волнующие достижения. В период между 1918 и 1981 годами лишь один советский химик был удостоен Нобелевской премии за работу, опубликованную в 1934 году и затрагивающую вопросы физики в той же степени, что и химии (насколько об этом может судить неспециалист) [9]. Учитывая, что за тот же период химики других стран получили 78 премий, одинокая награда советского ученого является тревожным свидетельством преобладавшей в советской химической науке посредственности. Даже если Нобелевская премия представляет собой лишь ориентировочный критерий научных достижений, в данном случае надежность этого

показателя подтверждается свидетельствами сведущих экспертов (поинтересуйтесь у знакомых химиков, как часто в «Chemical Abstracts» их внимание привлекают советские материалы). И речь идет не только о химии. Большинство специалистов сходятся в том, что те значительные инвестиции, которые делал советский режим в научную сферу, в большинстве естественных наук (как теоретических, так и прикладных) приносили разочаровывающие результаты. Двусмысленность ситуации становилась все более и более очевидной, поскольку советские власти похвалялись самым большим количеством ученых в мире [10].

Вероятно, в советском методе научного образования и научных исследований есть что-то такое, что препятствует получению выдающихся результатов. Это не может быть скандальный конфликт между наукой и политической властью, поскольку он не имел места в истории большинства естественных наук (биология, как мы увидим, представляла собой особый случай). Должно быть что-то в ординарной схеме повседневного сотрудничества ученых и их непосредственных руководителей, в напряженности их повседневных взаимоотношений, что могло бы объяснить отсутствие высококлассных научных результатов. Хотя на данный момент не существует ни одной достаточно глубокой работы, освещающей историю какой-либо «скучной» области советской науки, мы можем попытаться проанализировать факторы, препятствующие развитию науки, на основе имеющейся у нас информации: в нашем распоряжении находятся детальные исследования организационной структуры советской науки, где особое внимание уделяется проблеме технологического применения научных достижений [11]. Благодаря советскому чувству гордости мы также имеем многочисленные детальные «истории» советских достижений как в области химии, так и в любой другой области науки: длинные списки имен и достижений, скучные, как телефонная книга, и в высшей степени потенциально полезные для настоящего историка, который мог бы сделать для серьезного исследования репрезентативную выборку обыкновенных ученых и результатов их обыкновенной работы [12].

Очевидно, что вначале наш потенциальный исследователь должен будет проверить гипотезу, которую часто используют при решении аналогичной проблемы - объяснении причин низкой производительности труда советских рабочих и неэффективной работы управленческого аппарата на всех его уровнях. Глядя сверху вниз, с высоты пирамиды власти, советское руководство обрушивается с бранью на «рутину» или «рутинерство» («рабское следование заведенному шаблону, превратившееся в механическую привычку»), «обезличение» или «обезличку» (деперсонализацию как образ жизни, «распорядок рабо-

ты, при котором отсутствует личная ответственность)), «халтуру» («небрежную и недобросовестную работу, обычно без знания дела, а также... продукт такой работы»), «подхалимаж» или «подхалимство» (поведение «низкого, подлого льстеца», говоря проще, «вылизывание задницы»), «очковтирательство» («обман с целью представить что-нибудь в более выгодном положении, чем на самом деле», попытка «вешать лапшу на уши»), «конъюнктурщину» («беспринципное поведение в зависимости от сложившейся в данный момент конъюнктуры, от стечения обстоятельств»), «круговую поруку» («взаимное покровительство в нарушениях»), «семейственность» («ведение дел по своекорыстному сговору, негласно и антиобщественными методами») [13]. Русский язык намного богаче английского в подобных терминах для обозначения манеры поведения подчиненного, уклоняющегося от официальных целей иерархической специализации или мешающего их достижению.

Если смотреть на систему снизу вверх, то рядовые советские граждане также имеют свои собственные претензии к руководству. Они порицают «произвол начальства» (самовластие), «самодурство» (тупое самоутверждение, «действия по прихоти и личному произволу, унижающие достоинство других»), «держиморд» и «держимордство» (термины, обыгрывающие имя мелкого тирана из гоголевского «Ревизора») или «аракчеевщину» (еще один синоним мелкой тирании, использующий имя реального министра XIX века) [14]. Русский язык богаче английского и в этом отношении - в подборе синонимов для обозначения тупого и своенравного начальника, который подавляет инициативу и одновременно изо всех сил к ней призывает, и который всегда терпит поражение именно потому, что сам лишает своих подчиненных индивидуальности.

В середине XIX столетия значительный общественный интерес вызвали статьи критика-радикала Н.А. Добролюбова о «самодурстве», о тупоумии хозяина, требующего творчества в работе от пресмыкающегося раба. Для обозначения этой культурной особенности, этого порочного круга русской жизни Добролюбов нашел смелый ярлык - он назвал ее «темным царством» [15]. Выражая точку зрения низов или верхов или особую позицию критика-интеллектуала, подобный язык указывает на давнюю традицию подавления инициативы, обеспечения собственной безопасности путем анонимности, прикрывания тылов и нежелания «высовываться», восприятия своей работы как должности внутри иерархии, а не как самостоятельной задачи, требующей сознательного выполнения.

Разумеется, подобные пороки характерны не только для России. Тот факт, что русский язык особенно богат обозначающей их пейоративной терминологией, свидетельствует не только о том, что они в изобилии встречаются в русском обществе, но и о сильном чувстве отвращения к этим порокам, о мощном побуждении к их искоренению. Со времени Петра Великого Россия всегда была передовой отсталой страной: она первая с готовностью называла себя отсталой, первая начинала борьбу за то, чтобы «догнать и перегнать» мировых лидеров в деле модернизации. Борьба эта обычно начинается с самообвинений, с ненависти по отношению к самой себе, что, как предполагается, должно способствовать процессу самовоспитания.

Та же болезненная, мучительная диалектика очевидна и в еще одной паре слов, с трудом поддающихся точному переводу. Постоянно выказываемый большевиками страх перед «стихийностью» (ничем не сдерживаемыми силами, хаосом - от греческого «*stoicheion*») идет вразрез с не менее настойчивым большевистским призывом к «самодеятельности» (проявлению личного почина, инициативы, решительности). Мы должны отказаться от перевода слова «стихийность» как «*spontaneity*», поскольку в русском языке имеется слово «спонтанность», однокоренное его английскому эквиваленту, а также его синоним «самопроизвольность» - действие, возникающее вследствие внутренних причин, без непосредственного влияния извне. Ленинское осуждение «стихийности» (хаотической, ничем не регулируемой деятельности) ни в коем случае не подразумевало осуждения «самодеятельности» (независимой, само-стоятельной деятельности), хотя оно - неумышленно - и производит такое впечатление.

Существование подобных проблем часто признавалось не только в диссидентской литературе, но и в получивших официальное одобрение литературных произведениях об ученых и инженерах, например, в романе Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» и в романе Даниила Гранина «Иду на грозу» [16]. Хрущев с особым жаром распекал тех специалистов, которые сознательно делают свою работу неэффективно и неэкономно, оправдываясь тем, что работают в соответствии с распоряжениями вышестоящего начальства, или просто многозначительно указывая пальцем «наверх». Хрущев произвел небольшую сенсацию, когда он поведал группе специалистов по сельскому хозяйству, что не обладает знаниями их уровня, и поэтому они должны набраться смелости и указать ему на его ошибки. Вскоре после этого некоторые из них, приняв его слова всерьез, направили ему коллективное письмо с критикой его нелепой попытки засеять кукурузой непригодные для этого районы; Хрущев же ответил им гневной бра-

ню, обвинив их в пренебрежении к его практическим знаниям. Оказалось, что он с успехом выращивал кукурузу на своем подмосковном дачном участке. Очевидно, что ему, как и его подчиненным, было трудно избавиться от древних, подкрепляющих друг друга привычек [17].

Будущему историку советской химии и химических технологий, который пожелает сам проверить силу порочного круга этой культурной традиции, я предлагаю следующий контрольный пример: он может обратиться параллельно к истории советской математики, где уровень достижений достаточно высок (возможно, уже пора начать говорить об этом в прошедшем времени - недавняя чистка рядов математиков от евреев подорвала советское превосходство в данной области) [18]. Очевидная гипотеза, требующая проверки, состоит в том, что сама сущность математических исследований, где ум находится наедине с листом бумаги, ручкой и книгами, делает их менее уязвимыми перед систематическим «зажимом», чем современную химию, где многочисленные интеллекты должны в тесном сотрудничестве работать над проектами, осуществление которых требует тщательной организации и дорогостоящего оборудования. Сравнительное исследование такого рода могло бы привести к результатам, справедливым не только применительно к советскому опыту: как может оказаться, СССР являет собой лишь крайний, нетипичный случай отсталой страны, которую захватила всемирная тенденция нарастающей бюрократизации высшего образования [19]. В тех областях, где советская и западная системы сближаются друг с другом, сближение это, возможно, происходит в направлении всеобщего преобладания посредственности среди персонала, свободного как от скандальных конфликтов, так и от волнений творчества; систематически страдающего от загнанных внутрь комплексов и презрения к самому себе так же, как это происходит сегодня в педагогической науке - как на теоретическом, так и на прикладном уровне, как по ту, так и по эту сторону знаменитого занавеса.

Советская история характеризуется и непрерывностью, и прерывистостью. Она обладает своими определенными чертами, отличающими ее как от исторического прошлого дореволюционной России, так и от той истории, которую мы называем «современной». И, конечно же, воцарение марксизма-ленинизма в качестве официальной идеологии является одной из самых ярких из характерно советских черт и одной из наиболее притягательных для других революционеров двадцатого столетия: это доказывают примеры Китая и Югославии, которые остаются верны этому нововведению даже после того,

как они, по их собственным словам, отвергли советскую модель. Этот гротескный виток современной истории - создание государственных квазицерковных структур с целью поддержания особого варианта просвещенной веры в науку - сопровождался и сопровождается настоячивыми, скандальными вмешательствами политической власти в научную сферу, в первую очередь в область гуманитарных наук и наук о человеке, но также и в биологию, и даже в философские области физики. Как объяснить это советское нововведение - или этот советский атавизм?

Официальные объяснения, предлагаемые советскими политическими властями и их идеологическими представителями, строятся вокруг концепции «практики» (как мы видели из того примера, когда Хрущев поучал специалистов в области сельского хозяйства) и вокруг дополняющей ее концепции «партийности», партийного принципа. Поскольку практика является критерием истины, а партия воплощает в себе наиболее передовое понимание практического опыта, научные знания и культура в целом должны быть подчинены партийному руководству. Приветствуются и более схоластически изощренные оправдания политического вмешательства, несмотря на очевидное их расхождение с приведенной выше коммунистической версией прагматизма. Официальная линия, проводимая в данный момент в академической сфере, подкрепляется какими-нибудь более или менее уместными цитатами, которые можно «откопать» в трудах «классиков» (этот неопределенный термин обозначает священное писание, включающее в себя работы Маркса, Энгельса и Ленина).

Сторонние наблюдатели и местные диссиденты обычно отвергают с саркастической усмешкой как прагматический, так и научный варианты такого объяснения. Оба эти варианта кажутся им абсурдными попытками замаскировать за логическими рассуждениями истинные причины политического вмешательства в научную сферу - такими причинами обычно считают «тоталитаризм» или «жажду власти». Но термины эти заменяют одобрение обвинением, практически ничего при этом не объясняя. Если мы хотим объяснить для себя менталитет коммунистических вождей, мы должны задать себе вопрос: почему выбранная ими манера самооправдания так абсурдно непоследовательна? Почему политические власти, гордящиеся своей трезвой практичностью, оказывают предпочтение «схоластической манере» аргументации в научной сфере? И почему во имя практичности они так часто ущемляли свои собственные интересы? Они неоднократно препятствовали свободному и независимому выражению мнений таких специалистов, как агрономы и химики-технологи [20], и

стали посмешищем из-за своего вмешательства в лингвистику и психологию - дисциплины, которые, с точки зрения постороннего, не имеют никакой практической связи с ведением государственных дел. Еще больший ущерб, чем само вмешательство, наносила та одиозная непоследовательность, с которой оно осуществлялось: истинная вера так часто превращалась в ересь, а ересь в истинную веру, что вместо благоговейного почитания это вызывало ехидные усмешки.

Все эти странные пертурбации часто объясняют тем (копируя логику официальной схоластики), что марксистско-ленинская идеология представляет собой всеобъемлющее мировоззрение. Поскольку идеология эта претендует на объяснение всех мировых явлений, ее приверженцы суют свои высокомерные носы буквально повсюду, начиная с генетики кукурузы и кончая психологией крыс, и не могут оценить практической ценности независимых исследований по кукурузной генетике или практической бесполезности специалистов по крысиной психологии.

Это расхожее представление явно противоречит дореволюционной истории марксизма-ленинизма. Для того чтобы отыскать в нем хотя бы крупицу истины, или чтобы доказать существование хоть какой-то связи между интеллектуальным наследием дореволюционного марксизма и позицией советских политических властей в их скандальных стычках с учеными, требуются воистину огромные усилия. Маркс и его дореволюционные последователи, включая Ленина и других русских марксистов, не претендовали на обладание какой-либо особой проницательностью и не проявляли практически никакого интереса к большинству тех областей научного знания, где послереволюционные чиновники пытались проводить свою партийную линию, точнее, свой нелепый партийный зигзаг. Если не поддаваться соблазну и не играть в глупые игры с крошечными обрывками дореволюционных текстов (как это делали идеологи сталинистского периода), невозможно вычленить какую-либо особенную «марксистскую» точку зрения по вопросам генетики, экспериментальной психологии, лингвистики или даже философской интерпретации физики. Я отдаю себе отчет, что по последнему из упомянутых предметов Ленин опубликовал в 1909 году книгу, но я также отдаю себе отчет в том, что еще никому не удалось создать на основе этой книги сколько-нибудь четкой и осмысленной философии физики. Труд Ленина с равной легкостью использовали для обоснования как тех благословений, так и тех проклятий, которыми советские идеологи осыпали современную физику. В экономике и исторической социологии, - в тех областях науки, где у Маркса была своя, крайне своеобразная, точка зрения (или несколько точек зрения), -

его позиция стала поводом к творческой дискуссии. И не только до большевистской революции 1917 года. Эта творческая дискуссия получила продолжение и в 20-е годы в Советском Союзе, хотя ход ее и был несколько затруднен политической властью, вольно или невольно ковылявшей неуверенной походкой к всеобъемлющей концепции партийности [21].

Утверждение, что марксизм-ленинизм признает партийное вмешательство во все сферы научных знаний, было выдвинуто в результате сталинской «революции сверху», которая развернулась в период между 1929 и 1932 годами. Сталин переработал концепцию практики (в русском языке термин «практика» не несет такого налета претенциозности, который свойствен термину «praxis», употребляемому в научном английском языке). Он и его подручные превратили эту концепцию в индульгенцию, санкционирующую и оправдывающую повсеместное вмешательство. Основной сталинский аргумент уже был здесь приведен, но он заслуживает повторения, поскольку остается главным способом самооправдания в пределах менталитета коммунистических вождей. Поскольку практика представляет собой решающий критерий истины, а политические вожди исторически прогрессивного класса являются верховными толкователями преподносимых практикой уроков, то они являются и конечными арбитрами истины. Короче говоря, познание может осуществляться по-разному, но в первую очередь - путем партийного контроля. Чем выше позиция того или иного партийного босса, тем обширнее сфера его практического превосходства, тем активнее его «большая истина» оттесняет на второй план «маленькие истины», постигаемые копошащимися внизу существами меньшего калибра, к которым относятся и представители как гуманитарных, так и естественных наук.

Это положение стало, вероятно, важнейшим нововведением Сталина в марксистскую теорию. Его утверждение, что с приближением коммунизма конфликты должны обостряться, а государственная власть - усиливаться, более известно, но менее интересно, поскольку оно было отвергнуто в 50-е годы вместе с политикой массового террора, оправдывать которую оно и было призвано. Предложенная же Сталиным новая версия марксистской концепции практики по-прежнему является жизненно важной частью официального советского менталитета, по-прежнему оправдывает вознесение политической власти выше научной сферы.

Перед философом или социологом науки сталинская концепция практики ставит интересные вопросы. Она представляет собой теорию верификации, косвенно расставляющую различные сферы прак-

тики в иерархическом порядке, где политическая сфера находится на самом верху, превосходя по своей важности такие менее значительные сферы, как наука и техника. Характерна ли подобная надменность только для сталинизма, или же она в каком-то смысле присуща любой концепции политической власти - ведь власть эта, в конце концов, по своей сущности и занимается выстраиванием людей в иерархическом порядке? Можно сформулировать данный вопрос и диаметрально противоположным образом: как проблему пределов власти науки. До какой степени ученое сословие в современном обществе может претендовать на превосходство по отношению к миру политиков и на право их поучать? Третий путь подхода к данной проблеме обладает, возможно, наиболее разоблачительным потенциалом: до какой степени современные правители и ученые избегают ответа на подобные вопросы посредством лжи и фальсификаций?

Для историка и исследователя сегодняшней советской реальности - и коммунистических государств в целом - проблема заключается в том, чтобы выявить и определить те общественные отношения, которые поощряли экзальтированный восторг перед политической властью, утверждая, что она всеведуща; которые побуждали политических вождей воплощать свои претензии на всеведение в самых различных сферах; которые все еще препятствуют полному освобождению власти от этих бесперспективных притязаний, граничащих с манией величия. Исторически ключевым аспектом общественных отношений здесь был изначальный антагонизм между интеллигенцией и большевистским режимом. В 1917 году почти вся интеллигенция ощущала потребность в конституционном представительном правлении и ожидала, что революция его принесет с собой. Ее ждало горькое разочарование. Вот основной факт российской жизни, признанный всеми с первого же дня установления большевистской диктатуры. Другим важным аспектом общественных отношений была зависимость большевиков от оскорбленной интеллигенции не только в профессиональной сфере (в узком смысле этого термина), но и в вопросе легитимности новой власти, ибо большевики оправдывали свое правление ссылкой на идейные традиции самой интеллигенции.

Это сочетание враждебности и зависимости породило первый скандальный факт посягательства власти на сферу научных знаний. По настоянию Ленина немарксистские философы и другие ученые, работавшие в сфере общественных дисциплин, были лишены права преподавать, публиковать свои труды и создавать академические общества. В 1922 году группа виднейших ученых - 161 человек - была выслана за пределы страны [22]. Примерно в то же время, в начале 1920-х, ленин-

ский режим призвал к новому истолкованию всех областей знания на основе марксистской философии. Все понимали, что в большинстве областей науки традиция оригинальных марксистских научных взглядов почти или совсем не существовала. Чтобы «разрабатывать» такие взгляды - и заложить тем самым философский базис для трансформации «буржуазной интеллигенции» в «красных спецов» - были созданы специальные учреждения и журналы.

Непосредственным результатом всего этого стал оживленный спор о возможных последствиях внедрения марксизма в различные области знания. Оживленность и независимый тон этих дебатов свидетельствуют о резких отличиях интеллектуальной жизни в эпоху нэпа от того «ледникового периода», который наступил в 30-е годы и лишь незначительно отступил в послесталинское время. Тем не менее, ленинское замораживание академической свободы, каким бы умеренным по сравнению с последующими событиями оно ни было, подготовило почву для сталинского «оледенения». Антагонизм, существовавший между большевистским режимом и интеллигенцией, был перенесен из сферы политики в сферу философии с весьма далеко идущими намерениями. Был создан прецедент, и - что более важно (ибо прецеденты не всегда находят продолжение) - начало разрастаться, как раковая опухоль, опасное смешение понятий. Во-первых, были смешаны понятия «теоретическая идеология» и «профессиональная философия»; во-вторых, была размыта граница между мечтой и реальным воплощением объединения всех знаний во имя прогрессивных социальных преобразований.

В традиции марксистской мысли - особенно эта тенденция заметна в работах Ленина - было высмеивать претензии профессиональной философии на «беспартийность», ее апелляцию к рациональному элементу в умах всех людей. Существовала склонность приравнивать философию к теоретической идеологии, которая по сути своей партийна, поставлена на службу какому-либо классу, движению или режиму. В своей крайней форме эта склонность приводит к тому, что между объективно выверенным знанием и своекорыстными построениями «исторически прогрессивной» социальной группы ставится знак равенства. Такая крайность граничит с волюнтаристским безумием; утеря понимания различия между «мы знаем» и «мы хотели бы верить», между «у нас есть основания так думать» и «мы заинтересованы в том, чтобы думать именно так», является симптомом душевной болезни. Эта путаница была не более чем подспудной тенденцией в марксистской традиции до тех пор, пока сталинская «революция сверху» не сде-

лала эту тенденцию явной и не придала ей официального статуса (не признавая, конечно, что она опасно граничит с сумасшествием).

Другой тенденцией, доведенной до крайнего предела во время сталинской «революции сверху», была склонность смешивать мечту об объединении всех знаний во имя социальных преобразований - и реальность. Мечта об универсальном конструктивном знании, унаследованная от эпохи Просвещения и существенно подорванная к концу XIX века усиливающейся специализацией науки и возрождением философского скептицизма, мечта эта упрямо «проталкивалась» в век XX усилиями не только Ленина, но и Каутского, а также многими интеллектуалами-немарксистами. После большевистской революции мечта эта оказалась смысловым центром кампании по превращению «буржуазной интеллигенции» в «красных специалистов». Нужно было продемонстрировать интеллигентам, что марксистская философия способна объединить знания во имя служения человечеству.

В 20-е годы все это казалось достаточно безобидным академическим предприятием, сравнимым с движением западных философов-немарксистов за единство науки. Государство сделало это предприятие частью официальной идеологии - «диктатуры марксизма», как слишком поспешно заявили некоторые [23]; но марксистские ученые мужи, которым было доверено воплощение данного проекта, неплохо приспособились к традициям академической автономии. Таким образом, закономерным результатом проводившейся в 20-е годы кампании за марксистское преобразование науки стал эклектизм. Но руководившие этой кампанией марксисты-эклектики рыли собственную могилу. Они невольно поощряли полуграмотных фанатиков, которые позже, во время сталинской «революции сверху», взяли руководство в свои руки, оглушительно крича о своей вере в единое утилитарное Знание не как в некую отдаленную мечту, а как во вполне реальную возможность, незамедлительному воплощению которой мешает лишь злобное противодействие «буржуазных» ученых и псевдомарксистов.

Короче говоря, между дореволюционными тенденциями в марксизме и сталинской концепцией «партийности», выдвинутой в 1929-1931 гг., существует лишь очень слабая связь. Я не стал бы уделять этой теме так несоразмерно много внимания, если бы многие антикоммунисты не перенимали бы столь упорно тех иллюзий, которые питают в отношении самих себя коммунисты, включая убеждение, что образ мышления современных коммунистов унаследован от Маркса. Горькая истина заключается в том, что, хотя идеологи сталинизма и неосталинизма утверждали и продолжают утверждать обратное, марксистское наследие не содержит каких-либо глубоких принципов, при-

менимых ко всем без исключения областям знаний. Именно отсутствие таких принципов, а не их наличие порождает ту яростную иррациональность, которая характеризует поведение коммунистов в мире науки. Крик и битье кулаком по столу - это один из способов подавить в себе беспокойство и сомнения в собственной способности сказать что-либо дельное.

Теперь постараемся понять, какие условия способствовали внезапному появлению сталинской концепции «практики», и какие - сохранению ее притягательности для наследников Сталина по сей день. В 1929-1931 гг. сталинская когорта ощущала воистину отчаянную потребность в магической поддержке со стороны науки, а также необходимость в мгновенной трансформации «буржуазной интеллигенции» в «красных спецов». Они считали, что обе эти цели могут быть достигнуты при помощи одного-единственного приказа интеллигентам: дайте стране то, что ей нужно для социалистического строительства, и сделайте это сейчас же. Если вы - истинные красные «спецы», вы должны учиться на героических деяниях масс (в интерпретации Маркса, Энгельса и Ленина, и особенно, в интерпретации современных мастеров практических свершений, Центрального Комитета и лично товарища Сталина). Именно из этих священных источников должны были черпать настоящие красные специалисты уроки практики; на основе этих уроков они должны были создавать единую, практически полезную систему научных знаний - систему, которую обещали и не могли создать псевдомарксисты 20-х гг., ожидавшие, что она вырастет из академической теории.

Таким образом, ученым предписывалось руководствоваться странной смесью схоластики и прагматизма, что должно было служить доказательством их лояльности. Они должны были извлекать истину из священных текстов, но при этом истолковывать их в соответствии с совершенно несхоластическим критерием истины: практической полезностью. Конкретные формы этой практической пользы, в свою очередь, определяли те, кому в данный момент принадлежала власть, - политические властители, выстроенные в строгом, но неустойчивом из-за постоянных репрессий иерархическом порядке во главе со Сталиным. Оказавшийся у власти в данной сфере царек или его сатрап считали своим правом и обязанностью указывать ученым, являются ли идеи последних истинными или нет. Именно это и определяло зигзагообразный, причудливый рисунок партийной линии во многих областях науки. Отсюда и столь разная степень партийного вмешательства в разные научные сферы: интенсивная в одних случаях, сла-

бая или даже близкая к нулю в других. Страх перед непоследовательностью - не царское дело.

Каждая область науки могла бы поведать свою собственную историю конфликтов между политической властью и ведущими учеными. Тем не менее, здесь можно выделить несколько типичных моделей. В естественных науках советские политические власти проявляли готовность предоставить научным работникам автономию де-факто, даже если в принципе они такую автономию отвергали. Биология была ярким исключением, и на примере данного исключительного случая мы можем проследить, как социальные условия определяли сталинистские взгляды на связь между практикой и научной сферой [24]. Сельскохозяйственный кризис, сопровождавший коллективизацию, означал, что биологическая наука не оправдала надежд вождей на огромную практическую выгоду. Когда острый сельскохозяйственный кризис перешел в хроническую стадию, хронической стала и склонность руководства прислушиваться к мнению шарлатанов, которые высмеивали подход «буржуазной» биологии и обещали добиться выдающихся результатов на основе внедрения новаторской, уникально советской «агробиологии». Устойчивость этого заблуждения - оно продержалось с 30-х до середины 60-х годов - свидетельствует об огромном влиянии сталинистского своеволия на менталитет советских вождей. Финальный отказ же от этой иллюзии и отсутствие подобных иллюзий в области других естественных наук демонстрируют, в конечном счете, что подспудно «практический критерий истины» понимали в более реалистичном ключе, чем это позволяла декларировавшаяся формула, молчаливо признавая, что есть объективные критерии истины, и что они выше мнения вождя. Выражая ту же мысль короче (и отдавая дань сталинистскому менталитету), можно сказать так: познание мира можно поставить под контроль политической власти, но такой способ познания будет чересчур экстравагантным и расточительным.

Теория, говорил Сталин, руководит практикой, но практика определяет истинность теории. Одни теоретики могут увидеть в этом высказывании пример обратной связи, другие - порочный круг. С точки зрения сталинизма речь здесь идет о прагматическом здравом смысле, о «примате практики», что в рамках сталинистской практики означает признание необходимости использования научных знаний в сфере дисциплин, связанных с изучением человека, но в то же время - и о необходимости подчинения этих знаний партийному контролю. Советские политические вожди и находящиеся у них на службе функционеры-идеологи

по-прежнему настаивают на этом парадоксе, хотя и без ссылок на Сталина. В отличие от естественных наук, сфера наук о человеке постоянно порождает конфликты, а отделение авторитета науки от политической власти не произошло здесь до сих пор, ибо и политические вожди, и профессиональные ученые претендуют на некое исключительное понимание одного и того же объекта: человека. Наша задача состоит в том, чтобы определить, каким образом советские вожди трактуют «практичность» в таких областях, как экономика или психология, лингвистика или медицина, как воспринимают позицию властей специалисты в области этих наук, и как обе стороны влияли здесь друг на друга.

Поначалу представляется невозможным обнаружить в действиях вождей какую-либо логическую последовательность. Когда начинаешь думать о том, каких только позиций они не занимали в отношении самых разных академических дисциплин в тот или иной период советской истории, то вначале кажется, что единственным устойчивым принципом здесь всегда было самодурство, следование авторитарным капризам. В лингвистике, например, бюрократы-идеологи в 20-е годы поощряли активную дискуссию, а затем, в 30-е, положили ей конец, осудив «формализм» и благословив эксцентрический редукционизм пожилого грузинского филолога Н.Я.Марра (1864-1934) [25]. Языки были отнесены к «надстройке» общества; таким образом, развитие языка ставилось в прямую зависимость от эволюции общественных систем. В 1950 году сам Сталин неожиданно объявил о резком изменении позиции в этом вопросе: ученики Марра лишились поддержки властей, и ее получили филологи-традиционалисты, утверждавшие, что эволюция языка - это достаточно автономное явление. Сталин подвел под их позицию свое обоснование, вынеся язык и науку за рамки общественной «надстройки», зависящей от «базиса». С того момента в советской лингвистике доминировала традиционная филология. Деятельность советских лингвистов даже можно назвать робко-консервативной: смелые теоретические дебаты западных лингвистов отзывались в СССР лишь слабым и запоздалым эхом [26].

Сталин утверждал, что сумел выявить практическую связь между соперничающими теориями лингвистики и соперничающими формами политики в отношении языков в многонациональном государстве. Представление, что язык является функцией эволюционирующих общественных систем, Сталин связывал с программой подавления всех языков Советского Союза, за исключением русского. И наоборот: признание автономного характера лингвистического развития, по Сталину, предполагало терпимость к языкам национальных меньшинств [27]. В глазах стороннего наблюдателя сталинские корреля-

ции выглядят весьма неубедительно. На практике проводилась одна и та же политика - чуть прикрытая русификация, и проводилась она без какой-либо серьезной теоретической дискуссии, независимо от того, какая школа доминировала в области академического изучения языков.

Наиболее странной и даже неуместной чертой сталинского вмешательства в научные дела было осуждение им политического вмешательства в науку как такового. Сталин обвинил школу Марра в установлении диктатуры, «аракчеевского режима» в лингвистике и косвенно призвал ученых ко всеобщему восстанию против этой диктатуры: «Общепризнанно, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики. Но это общепризнанное правило игнорировалось и попиралось самым бесцеремонным образом. Создалась замкнутая группа непогрешимых руководителей, которая, обезопасившись от всякой возможной критики, стала самовольничать и бесчинствовать» [28]. Научная пресса послушно возликовала, услышав о таком благословении свободы мысли, но лишь несколько смельчаков действительно этим воспользовались, бросив вызов аракчеевым, властвовавшим в тех или иных научных дисциплинах; и, конечно же, никто не попытался обратить поразительный либерализм Сталина против него самого - великого вождя всех мелких аракчеевых.

Напротив, в реальной действительности в психоневрологических науках пик вмешательства со стороны политических властей совпал со сталинским выступлением в защиту свободы мысли. Летом 1950 года, в то самое время, когда Сталин бросил весь свой неоспоримый авторитет на борьбу с социологическим редуccionизмом «аракчеевского режима» в лингвистике, его идеологическая бюрократия оказывала мощную поддержку физиологическому редуccionизму «учения Павлова». На широко разрекламированных в печати «возрожденческих» собраниях осуждению подвергались ученые, которые лишь на словах поддерживали «учение Павлова», а в действительности разрабатывали новые идеи, подозрительно напоминавшие идеи их западных коллег. В число этих грешников входили почти все психологи и психиатры Советского Союза, а также большинство советских нейрофизиологов, включая большинство видных учеников самого Павлова. Всем им было приказано публично покаяться и вернуться к оригинальному учению Павлова, очищенному от примесей последующих достижений нейрофизиологии, не говоря уже о конкурирующих «учениях», трения между которыми и определяют историю психологии [29].

В начале 50-х годов казалось, что все школы психологии, а может быть, даже и сама эта наука, вот-вот будут запрещены и заменены псевдонаукой, известной как «изучение высшей нервной деятельности». Совершенно ясно, что это была псевдонаука, поскольку к концу 50-х годов, лишившись мощной политической поддержки, она постепенно угасла. Кроме того, она так и не получила независимой интеллектуальной поддержки со стороны самих ученых, поскольку не соответствовала ни одной из излюбленных ими исследовательских стратегий - ни психофизическому параллелизму, ни строгому неврологическому редукционизму. Для комбинированного изучения психических и нервных процессов возникла и успешно развивалась новая дисциплина, «нейропсихология», но не допускающее отклонений «учение» Павлова запрещало любую концепцию психических процессов. В начале 50-х годов пионер русской нейропсихологии А.Р. Лурия (1902-1978) считал своим долгом отречься от собственной работы. Он пытался установить точную связь между конкретными формами психических расстройств и конкретными формами дефектов мозга, но, по его собственному признанию, это было недопустимо, ибо предполагало наличие «непространственных» психических процессов. Лурия фактически так и не отказался от своей работы в этой области и к концу 50-х годов почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы прекратить «самокритику» и снова начать активно публиковаться. Тем не менее, налет защитного лицемерия, выразившегося в ненужных реверансах в сторону павловского «учения», до последнего момента проглядывал в работах ученого [30].

С другой стороны, «изучение высшей нервной деятельности» не могло быть и серьезным образцом неврологического редукционизма, поскольку павловские концепции нервных структур и функций уже тогда безнадежно устарели. Более того, откровенный редукционизм шел вразрез с марксистскими канонами. Возможно, наиболее абсурдной чертой кампании в защиту оригинального павловского учения было ритуальное осуждение редукционизма, рефреном проходившее через требования возродить редукционизм самого Павлова. Советские марксисты настойчиво утверждали, что понять человека можно не путем изучения его нервной системы, а через изучение систем общественных. Поэтому фундаменталисты-павловцы создавали так много шума вокруг невнятных упоминаний их учителя о некой «второй сигнальной системе», которую он изобрел специально для тех немногих случаев, когда ему приходилось признать невозможность сведения языка и мышления к условным рефлексам. Никто так и не смог отыскать этой второй сигнальной системы у реальных животных, как,

впрочем, и первой сигнальной системы, которая была неврологической гипотезой Павлова, призванной объяснить существование условных рефлексов.

В действительности советские исследователи практически и не пытались обнаружить ни ту, ни другую «сигнальную систему» [31], боясь развеять чары устаревших гипотез. Идеи Павлова перестали быть направляющей силой в научных исследованиях и в мышлении; они стали мифами, объектами для почитания и остаются таковыми до сих пор. Бессмысленно было (и по-прежнему бессмысленно) задавать вопрос, в какой степени они соответствуют основным идеям Маркса, поскольку последние также уже давно перестали быть просто идеями. «Павловские сессии» 1950-1951 гг. довели раздражающий сознание парадокс до воистину мучительного предела. Там были резко осуждены любые попытки отделить священную доктрину от «земных» исследований ученых, хотя современное мировоззрение требует такого отделения. Священная доктрина и повседневная исследовательская работа должны быть защищены друг от друга; именно этого добивался Галилей, и именно с этим согласились - с большим запозданием и с еще большей неохотой - традиционные церкви. Признание того, что глубоко почитаемое «учение» не может противостоять натиску критического мышления, всегда унижительно, особенно, когда это «учение» почитается в качестве науки (как это происходит в Советском Союзе).

К середине 50-х годов советская идеологическая бюрократия вновь стала разрешать то молчаливое разделение вероисповедания и мышления, которое возникало в психоневрологических науках в 20-е годы. Николай Бухарин, бывший тогда ответственным за официальную идеологию, невольно положил начало этому «бесшумному» разделению. Ведя полемику, направленную против антисоветских и антимарксистских заявлений Павлова, Бухарин торжественно благословил его «учение» в целом [32]. Бухарину импонировал старомодный редуционизм Павлова. Он просто игнорировал те глубокие расхождения в сфере психоневрологических наук, которые вызвали критику в адрес Павлова со стороны его ученых коллег (включая то меньшинство, которое проявляло интерес к марксизму). Такие незаурядные психологи-марксисты, как Л.С.Выготский (1896-1934), пошли на смягчение своей критики из уважения к несложному бухаринскому догмату веры: «Учение Павлова является орудием из железного инвентаря материалистической идеологии» [33]. Одним словом, еще в середине 20-х годов Выготский и другие представители его школы когнитивной психологии выработали у себя привычку формально отдавать поверхно-

стную дань уважения Павлову, в то же время игнорируя его «учение» в своей практической научной деятельности.

Бухарин пал, но даже после его падения идеологи-бюрократы продолжали настаивать на поклонении Павлову, в особенности после 1935 года, когда старый ученый изменил свое отношение к «великому эксперименту» (так называли советский режим сочувствовавшие ему сциентисты), благословив его незадолго до своей смерти. С этого момента идеологическая бюрократия стала превозносить павловский материализм без всяких оговорок: из материализма механистического он превратился в диалектический. Суровый выговор получили те павловцы, которые пытались адаптировать исследовательскую стратегию учителя к современным достижениям науки о мозге, поскольку такая адаптация влекла за собой пересмотр оригинального «учения» [34]. Упреки такого рода достигли апогея абсурдности во время «павловских сессий» 1950-1951 годов, а затем постепенно стихли, что позволило физиологам-павловцам возобновить процесс приведения своих взглядов в соответствие с достижениями мировой науки. Но открытая, серьезная критика «учения» Павлова по-прежнему остается табуированной; соответственно создаются препятствия и на пути творческого развития павловских идей. Наиболее амбициозная попытка показать, как взгляды Павлова можно трансформировать в современную теорию «эволюционирующего мышления», была предпринята недавно нью-йоркским последователем русского ученого [35]. Тот, кто следит за научными дебатами о марксистской социальной теории, заметит аналогичный парадокс. Дебаты эти ведутся на Западе. В них не вносят сколько-нибудь серьезного вклада коммунистические страны, то есть те страны, где облеченные властью истуканы-прагматики отстранили Маркса от научных дискуссий, водрузив его голову на тотемный столб среди истуканов своих предков.

Это одновременное унижение живущих ныне ученых и многоуважаемых покойников вызывало и по-прежнему вызывает многочисленные гневные отповеди и ироничные насмешки, но не получает достойного объяснения. Правдоподобное объяснение должно обязательно учесть и то постоянно наблюдающееся противоречие, с которым не под силу справиться ни проповеди, ни сатире. Коммунистические вожди непоследовательны в своем отношении к наукам о человеке: здесь они не являются ни последовательными сторонниками авторитарного вмешательства, ни последовательными фундаменталистами. Можно, конечно, составить список шокирующих примеров диктаторского вмешательства в научные дела, но одновременно можно составить и другой - менее сенсационный, но более обширный - список, демонстриру-

ющий факты постоянных компромиссов между коммунистическими правителями и учеными мужами в области наук о человеке.

В то же самое время, когда Ленин и его соратники изгнали из страны 161 ученого, - в эту группу входили философы и теоретики в области общественных наук, например, знаменитый социолог П.А.Сорокин (1889-1968), - они умоляли Павлова остаться в России, хотя этот ученый открыто выражал свою неприязнь к большевистскому режиму и публично высмеивал марксистов: ученый-физиолог, вынашивавший стратегию создания науки о поведении человека, считал марксистов своими конкурентами, стоящими на псевдонаучных позициях [36]. И случай с Павловым не был единственным. В 1923-1924 годах, когда два эмиссара идеологической бюрократии ошеломили участников первых послереволюционных конгрессов психологов и неврологов своими призывами трансформировать данные дисциплины в соответствии с принципами марксизма, практически все выступающие отклонили это требование (одни - прямо, другие - более дипломатично), но лишь немногие из них пострадали за свои выступления и были в показательном порядке смещены с академических постов [37]. По сей день в советской психологии господствует когнитивная школа Выготского, которая не может открыто признать свое происхождение от гештальт-психологии или свое близкое родство с теорией Пиаже и обязана вместо этого лицемерно поклоняться Павлову и изрекать марксистские лозунги, осознавая невозможность следовать им на практике [38].

Примеров аналогичных нелепостей можно привести так много и практически во всех сферах научных исследований, связанных с изучением человека, что аномалия становится нормой. В своих взаимоотношениях с различными профессиональными сообществами, занимающимися проблемами человека, коммунистические чиновники постоянно демонстрировали как властность, так и гибкость; как подозрительность, так и доверчивость; как грубую нетерпимость, так и пронизательную терпимость. Со своей стороны, специалисты-ученые демонстрировали образец сговорчивой принципиальности. Сгибаясь под изменчивыми порывами ветра, они умудрялись оставаться дисциплинированными учеными мужами.

Убежденность вождей в прагматичности своего поведения - вот та нить, которая вела их сквозь этот лабиринт противоречий. Мы, сторонние наблюдатели, можем воспользоваться этой путеводной нитью, но только если будем постоянно помнить о коренной двусмысленности прагматизма, включая и его коммунистические варианты. Понятие «практика» не имеет единственного, очевидного значения; в данном случае речь не может идти даже о какой-либо логически последо-

вательной системе значений. Самые последовательные попытки упорядочить значение понятия «практика» сводятся на нет современным культом технологий. Приверженцы этого культа воображают, что знания в области технологий являются всеобъемлющим критерием практичности в сфере наук о человеке: понимание сводится к утверждениям экономистов, что они владеют технологией государственного планирования; к утверждениям психологов, что они овладели технологией воспитания детей или контроля над поведением взрослых; к утверждениям врачей, что в их руках - технология предотвращения или лечения болезней. Такой техницизм вдвойне обманчив. В сфере наук о человеке роль базисных ценностей всегда была гораздо важнее любых технологий, и зачастую невозможно отделить пропаганду таких ценностей от заявлений о наличии тех или иных технологий. Несомненно, что советские вожди крайне чувствительны - многие назвали бы это неистовой гиперчувствительностью - к старомодному, перегруженному абстрактными ценностями понятию практичности: тому пониманию, которое имели в виду, говоря о «практическом суждении», Кант и Уильям Джемс. Но советских вождей также привлекают и утверждения о некоей чисто технологической практической ценности наук о человеке, и, подобно большинству современных людей, они умышленно закрывают глаза на те противоречия, которые возникают, когда оценочные суждения маскируют культом технологий.

Эту фундаментальную амбивалентность и эту умышленную слепоту мы должны постоянно учитывать, если стремимся понять запутанную, парадоксальную историю официального отношения к наукам о человеке. В различных контекстах противоположные друг другу представления о практичности не только восстанавливали политиков против ученых, но и заставляли их бросаться из одной крайности в другую. Снова и снова они шли нетвердой походкой по зигзагообразному маршруту - от наивной веры в технологию к гневному разочарованию в ее могуществе, а затем вновь возвращались к техницистской вере, но уже на более низком уровне, ведя эту веру под уздцы и надев на нее шоры. Наиболее абсурдным поворотом во всей этой истории стала недавняя попытка возвысить технологические знания до уровня идеологической надстройки, одновременно оставив их в составе материального базиса - продемонстрировать, что технологии являются постоянно совершенствующейся производительной силой и, одновременно, частью окаменевшей марксистско-ленинской доктрины, оправдывающей существующий порядок именем науки.

Достаточно очевидным примером является здесь история индустриальной психологии. Направление это получило официальную под-

держку в 20-е годы (тогда оно обозначалось заимствованным из немецкого языка словом «психотехника»), но уже в 30-е годы оно было практически запрещено, поскольку в период принудительной индустриализации его стали воспринимать как скрытый вызов политической власти. Дерзость психотехников наиболее ярко проявилась в их попытках определить точные критерии усталости и таким образом дать руководящим работникам знать, где тот предел, за которым дальнейшее увеличение затрат рабочей силы повлечет снижение производительности труда. Начиная с 50-х годов к возрождению «инженерной психологии» стали относиться терпимее; теперь ключевую терминологию заимствуют из английского языка, поскольку она создавала дымовую завесу из неопределенностей и двусмысленностей и смягчала возможные противоречия между психологами, предлагавшими внедрять на практике соответствующую экспертизу, и все тем же настойчивым требованием «единоначалия» со стороны чиновников [39].

Начиная с 60-х годов инженерную психологию «повысили в звании» - вместе со всеми другими видами технологических исследований - посредством создания новой, более высокой по рангу дисциплины, своеобразного светского эквивалента теологии; для ее обозначения было изобретено и пущено в обращение новое слово: «науковедение». Новая дисциплина проповедует сакральную общность знаний, что роднит самого скромного специалиста с политическими вождями, осуществляющими руководство в соответствии с неким невероятно возвышенным «учением». Наука, понимаемая как совокупность прикладных исследований, объединяет оркестрантов с дирижером, руководящим исполнением музыки согласно великой партитуре, созданной гениальными покойниками. Я не изобрел эту метафору; я просто перефразирую первый параграф первого выпуска журнала «Научное управление обществом», который начал издаваться в 1967 году как главный печатный орган нового светского богословия [40]. Журнал этот помещает на своих страницах материалы, исходящие непосредственно из Академии общественных наук при ЦК КПСС, - ошеломляющий набор проповедей, выдаваемых за научный анализ. В его публикациях абсурдность соперничает с банальностью, и в обоих случаях авторы из трусости или по своему невежеству избегают обсуждения опасных вопросов. Например, вступительная метафора, использующая образ оркестра, была заимствована из «Капитала» без всякого учета той горькой иронии, которая звучала в оригинальном высказывании Маркса, сравнивавшего дирижирование оркестром и регламентацию труда, отчуждаемого ради получения прибыли.

Извилистый путь, проделанный советской педагогической психологией, во многом похож на судьбу индустриальной психологии, но еще более показателен, поскольку здесь ситуацию значительно осложнял ценностный фактор, придавая ей болезненную остроту. Профессиональный жаргон, описывающий то, что приветствовалось в 20-е годы, подвергалось осуждению в 30-е и робко начало возрождаться с 50-х, лишь намекает на наиболее значимые вопросы. «Педология», то есть междисциплинарные исследования развития ребенка, получившие широкое распространение в 20-е годы, была связана с применением «тестов» (этот странный термин был заимствован из английского языка для обозначения измерения уровня природных способностей - в противоположность формальному измерению уровня академических достижений посредством традиционных экзаменов). Преимущество тестов перед экзаменами, как полагали сторонники этой дисциплины, состоит в том, что они позволяют детям представителей низших классов проявить врожденную одаренность и таким образом подняться вверх по социальной лестнице. Но в 1936 году пресловутое постановление Центрального Комитета партии осудило педологию и тесты за прямо противоположное - за попытку удержать детей рабочих и крестьян на профессиональном уровне своих родителей, а детям интеллигентов предоставить возможность подниматься вверх по образовательной лестнице, пока они не достигнут профессионального уровня *своих* родителей [41].

Сторонний наблюдатель имеет возможность более глубоко осмыслить те реалии, наличие которых слишком мучительно признать заинтересованной стороне. Эгалитарные мечты советской революции были омрачены завистью и уродливым честолюбием. Мечтали не об устранении любых иерархий, а о том, чтобы подняться вверх по новой иерархической лестнице. Новая система образования предназначалась для того, чтобы перетасовать и поменять ролями начальников и подчиненных, а не для устранения самих принципов начальствования и подчинения. Специально отобранных рабочих и крестьян нужно было «выдвигать» на более высокий профессиональный уровень и на руководящие посты. Такие «выдвиженцы» обеспечили ту «поддержку снизу», которая сделала возможной сталинскую «революцию сверху»; они и их дети остаются надежной опорой той культуры, основанной на зависти, которую породила эта сталинская революция. Лишь одинокие интеллектуалы-утописты мечтали иногда о том, чтобы раз и навсегда положить конец унижающей человеческое достоинство стратификации, а не просто польстить достоинству низших классов, вознеся одних их членов над другими. В сфере образования такие мечтатели зачастую возлагали свои надежды на «политехническую»

подготовку, которая должна была воплотить мечту Маркса о том, чтобы каждый человек мог выполнять любую работу (например, рыть канавы днем и писать критические статьи вечером - «по желанию» [42]). Советское чиновничество никогда не принимало всерьез эту мечту, оставаясь безоговорочно приверженным своему пониманию социальной революции как возвышения авангарда, как выдвижения немногих за счет всех остальных.

В процессе «выдвижения» советские чиновники обнаружили, что «некультурные» дети, или, пользуясь сегодняшним жаргоном западных педагогов, «дети, обделенные культурой», не могут выйти на уровень, превышающий профессиональный уровень их родителей, ни при помощи тестов, якобы проверяющих их природные способности, ни посредством традиционных экзаменов, проверяющих их достижения в академической сфере. После запрета на педологию советские школы, как прежде, волей-неволей принялись готовить детей занять на социальной лестнице места своих родителей. С 50-х годов специалистам по психологии образования было разрешено вернуться к экспериментам с некоторыми видами тестов, чтобы отыскать объективные критерии оценки врожденных «способностей», присущих индивидам независимо от их классового происхождения. Со своей стороны, власти вернулись к практике банального политического вмешательства в процесс приема абитуриентов в высшие учебные заведения: по распоряжению свыше двадцать процентов всех мест отныне были зарезервированы за специально набранными молодыми рабочими, крестьянами и лицами, отслужившими в Вооруженных силах, которые проходили предварительную подготовку на «рабфаке» и освобождались от конкурсных экзаменов, обязательных для всех прочих абитуриентов (в эту привилегированную группу негласно включали и детей партийных работников) [43]. На протяжении всего этого зигзагообразного исторического отрезка миссия ученых сводилась к тому, чтобы переводить интуитивные решения политических вождей на меняющийся научный жаргон. Американский опыт в этой сфере достаточно схож с советским - особого внимания здесь заслуживает взлет и падение популярности «тестирования интеллекта» и возникновение феномена «позитивных мероприятий», - и поэтому можно сказать, что советские политические вожди были слишком жестоки по отношению к представителям педагогической науки. В условиях академической свободы ученые-эксперты были бы, вероятно, так же уступчивы и даже более «декоративны».

Осуждение педологии в середине 30-х годов расчистило путь для официально санкционированного поклонения Антону Макаренку

(1888-1939) и его традиционалистским теориям, где проблемы социальной мобильности отошли на второй план перед проблемами дисциплины. До революции Макаренко был школьным учителем; в 20-е годы он был привлечен к управлению «колониями» для малолетних преступников и, вследствие этого, вовлечен в конфликт с «прогрессивными» педагогами. Макаренко выразил свое несогласие с их педагогическими идеями в своей «Педагогической поэме», эмоциональном автобиографическом трактате, публиковавшемся отдельными выпусками в 1933-1935 годах. Эта советская версия, или, скорее, инверсия, романа-трактата Руссо «Эмиль» была позже навязана миллионам людей, в особенности преподавателям и студентам педагогических институтов; можно только догадываться о том, какое влияние она оказала на их взгляды и преподавательскую работу. Научное изучение общественного мнения остается в СССР в зачаточном состоянии (еще недавно оно было покрыто завесой секретности), и критическое обсуждение такого священного писания, как работы Макаренко, все еще является табу [44].

Тем не менее, в громкой кампании по замене педологии культом Макаренко явно прослеживались и черты нового менталитета. Идеи Макаренко были приняты советскими властями не потому, что они эффективно способствовали социальному продвижению детей представителей низших классов или перевоспитанию несовершеннолетних преступников. Так, не было опубликовано никаких сравнительных статистических данных - ни данных об уровне освобождения из заключения или рецидивизма среди подопечных Макаренко в сравнении с конкурирующими исправительными учреждениями, ни данных о результатах применения методов Макаренко менее яркими, чем он сам, личностями. Подобные исследования не просто остаются неопубликованными: скорее всего, их просто не существует. Когда советским руководителям советуют при выборе той или иной политики в социальной сфере и в сфере морали опираться на статистические данные, они, как правило, не только игнорируют подобные советы, но и обрушивают на непрошенных советчиков свой гнев. Достаточно вспомнить их реакцию на измерение «психотехнологами» степени человеческой усталости.

Макаренко расположил к себе таких чиновников тем апостольским рвением, с которым он проповедовал свои ключевые ценности, - ценности яростного культуртрегера, ведущего борьбу за преобразование сознания «некультурных» - «обделенных культурой» - масс: «Я позволил себе усомниться, - писал он, - в правильности общепринятых в то время положений, утверждавших, что наказание воспитывает раба, что

необходимо дать полный простор творчеству ребенка, нужно больше всего полагаться на самоорганизацию и самодисциплину. Я позволил себе выставить несомненное для меня утверждение, что пока не создан коллектив и органы коллектива, пока нет традиций и не воспитаны первичные трудовые и бытовые навыки, воспитатель имеет право и должен не отказываться от принуждения. Я утверждал также, что нельзя основывать все воспитание на интересе, что воспитание чувства долга часто становится в противоречие с интересом ребенка, в особенности так, как он его понимает. Я требовал воспитания закаленного, крепкого человека, могущего проделывать и неприятную работу и скучную работу, если она вызывается интересами коллектива. В итоге я отстаивал линию создания сильного, если нужно, и сурового, воодушевленного коллектива, и только на коллектив возлагал все надежды; мои противники тыкали мне в нос аксиомами педагогики и танцевали только от «ребенка» [45].

Очевидно, что Макаренко и его оппоненты вели спор отнюдь не о технических вопросах. Они серьезно расходились в фундаментальных оценках состояния современной культуры и положения низших классов в отсталой стране, которой управляет «авангард» низших классов. В ретроспективе сторонний наблюдатель волен придавать более четкую форму тем их мыслям, которые они не могли выразить прямо, - не говоря уже об открытой и непредвзятой дискуссии. Внимательный читатель, возможно, уже заметил двусмысленность, кроющуюся в утверждении Макаренко, что «не создан коллектив..., нет традиций и не воспитаны первичные трудовые и бытовые навыки»... Педагог имел в виду своих подопечных, малолетних правонарушителей, но понять его утверждение можно и так, что речь идет о советских детях в целом, а может быть, и о самых широких слоях взрослого населения. Те места в «Педагогической поэме», где говорится о крестьянах, свидетельствуют о невыразимом недоверии к ним со стороны тех, кто осуществлял коллективизацию сельского хозяйства.

Во время коллективизации табу было наложено даже на мягкую снисходительность традиционных культуртрегеров, таких как старые земские специалисты, занимавшиеся изучением крестьянства [46]. Те немногие психологи и антропологи, которые пытались продолжать научные исследования «уровней культуры», получили гневную отповедь [47]. По сей день такие антропологические изыскания ограничиваются изучением этнических групп, которые открыто можно назвать примитивными, и к которым, следовательно, можно относиться откровенно снисходительно, - советских аналогов американских индейцев. Партийная идеология недвусмысленно гласила, что «авангард»,

возглавляя движение «трудящихся масс» более развитых национальностей к современной культуре, должен организовывать и развивать уже имеющиеся у «масс» культурные ценности. Авангард не должен был насильно «поднимать» массы с более низкого на более высокий уровень, что считали своей миссией империалисты по отношению к населению колоний.

Этот официальный оптимизм вовсе не был вопиющим ханжеством. В конце концов, коммунисты пришли в 1917 году к власти, опираясь на поддержку значительной части населения. Терпимость, которую они демонстрировали в 20-е годы по отношению к старым земским специалистам по крестьяноведению, а также по отношению к «педологам» в сфере педагогической психологии и «психотехнологам» в сфере психологии индустриальной, основывалась на благожелательном допущении, вынесенном из бурного опыта 1917 года. Согласно этому допущению, видение мира с позиций Коммунистической партии должно было в общих чертах совпадать с той картиной социальных реалий «как они есть», которую создают в своих трудах профессиональные ученые. Сталинская «революция сверху», осуществленная в 1929-1932 годах, повлекла за собой и резкий отказ от этой благожелательной политики. Ученых, вскрывавших жизненные реалии, как они есть, теперь в лучшем случае обвиняли в узости взглядов, в отсутствии панорамного видения мира. В худшем случае их обвиняли, но уже в служебном порядке, в тяжком преступлении, квалифицируемом как «вредительство» (этимология этого слова может указывать на то, что их приравнивали к вредным насекомым и животным). Мелочное понимание «практической жизни» этих ученых шло вразрез с тем грандиозным видением «практики», на котором строилась официальная политика.

Кажется, что с 30-х по 50-е годы советские вожди почти полностью полагались на собственную интуицию, совершенно отказавшись от использования услуг независимых экспертов в сфере общественных наук и наук о человеке. Однако слишком далеко они не зашли (по крайней мере, не так далеко, как это произошло в 60-70-е годы с китайскими коммунистами): в конце концов, им снова пришлось признать необходимость привлечения экспертных знаний. Очевидно, что в их сумасбродно-волюнтаристском варианте прагматизма был заложен и некий механизм саморегулирования. (Причем нельзя сказать, что механизм этот сработал лишь после разрыва кровеносных сосудов в сталинской голове). Сталин достиг высшей власти в 20-е годы, когда возглавляемая им партия еще лелеяла мечты о сотрудничестве с независимыми специалистами в сфере наук о человеке. Он был инициатором того резкого изменения позиции в этом вопросе, которое

произошло в 30-е годы; но он также руководил и первыми шагами в процессе последующего возрождения этой мечты - процессе, который даже после его смерти еще долго нес на себе печать сталинизма. Очевидно, что мы имеем здесь дело с эволюцией менталитета целой правящей группы, а не просто с черными мыслишками коротышки-диктатора.

Вот конкретный пример того, как возрождалась старая мечта: в 1944 году Сталин вызвал к себе ряд ведущих экономистов и отчитал их за то, что они отрицали существование земельной ренты в условиях обобществленного сельского хозяйства [48]. Земля, - утверждал он, - принадлежала всему народу; но по-прежнему оставались реальностью различия районов по степени плодородия и удаленности от рынков сбыта, что приводило к возникновению разницы в доходах различных колхозов и совхозов. Экономисты должны были выработать наиболее эффективный способ, посредством которого государство могло бы исчислять, извлекать и распределять ту часть доходов, которую хозяйства получают в результате существования дифференцированной земельной ренты. Конечно же, Сталин спокойно игнорировал тот факт, что он сам внес значительный вклад в отрицание существования земельной ренты в социалистическом обществе. То, что он так откровенно переложил ответственность на подчиненных, которые проповедовали то, что приказал им проповедовать главный практик, было и остается одним из характерных изъянов советской системы. Изъян этот до сих пор искажает поток советов, поступающих от ученых-экспертов к политическим вождям, но не останавливает этот поток совсем.

Неотъемлемо присущая советской системе склонность концентрировать власть, лишенную ответственности, на высших уровнях социальной пирамиды, а ответственность, лишенную власти, возлагать исключительно на уровни низшие, заставляет специалистов в области наук о человеке уклоняться от четких ответов на запросы со стороны политических властей, путем догадок определять интуитивные склонности начальства и обеспечивать им научное обоснование. Нам не надо напрягать воображение, чтобы представить себе этот порочный круг. То, что он существует, очевидно из той робости, которую постоянно демонстрируют авторы научных публикаций, и из непрерывных упреков, которыми язвительные писатели и раздраженные чиновники осыпают научных работников за то, что последние ведут себя как бесхребетные подхалимы, а не как смелые правдолюбцы [49]. Политические вожди заинтересованы в независимой научной экспертизе - при условии, что она не противоречит их глубочайшим интуи-

тивным стремлениям. Как любят саркастически острить боссы в англоязычных странах, эксперты должны быть под рукой, а не над головой («on tap, not on top»). Имеем ли мы дело с контуром обратной связи или с порочным кругом, с советской версией или советским извращением некой всемирной модели, факт остается фактом: независимая научная экспертиза в области наук о человеке, почти уничтоженная в 30-е годы, стала возрождаться в 50-е. Дискуссия вокруг вопроса о земельной ренте, снова начатая Сталиным в 1944 году, является показательным примером. Дискуссия эта влилась в общий процесс возрождения экономической науки, которая постепенно приобретала все большую профессиональную автономию, хотя экономисты все еще не могли открыто подвергать сомнению важнейшие исходные послыски своего начальства [50].

Из истории всех этих колебаний можно сделать три вывода.

1. Их зигзагообразная схема - броски от политической поддержки независимых научных исследований к резкому их неприятию, а затем вновь к политике ограниченной поддержки - варьировала в зависимости от степени близости данной науки к технической сфере (точнее, от расхожих представлений о степени этой близости). Чем более технологичной представлялась та или иная научная дисциплина, тем меньшей была амплитуда политических колебаний, тем менее резкой - сталинистская враждебность к независимым исследованиям. И наоборот: чем дальше отстояла та или иная дисциплина от сферы техники, чем ближе была она к сфере ценностных суждений, тем большее давление обрушивалось на нее и тем труднее становилось ее возрождать.

2. Следовательно, в этих условиях неизбежно должно было развиться страстное стремление преобразовать науки о человеке по образу и подобию технических дисциплин, «технизировать» их. Это означает, что и политики, и научные работники были и остаются весьма склонны маскировать оценочные суждения под технический расчет объективных возможностей. Так, экономисты любят строить теории «оптимизации». Очевидно, что выбор целей они предоставляют своим политическим хозяевам, с показным смирением оставляя за собой лишь расчет эффективных путей достижения этих целей. Не столь очевидно, что они тем самым превращают такую ограниченную форму исследований в некую моральную добродетель (если не в вершину добродетелей, то в некий «оптимальный» выбор) и поэтому снова и снова набивают себе шишки, сталкиваясь с запретом на обсуждение целей как таковых.

3. Когда же теоретические построения о человеке не поддаются подобной редукции или волшебным превращениям, то мы наблюда-

ем непреодолимое стремление поставить теорию выше аналитического мышления, возвести очи горе, к тем заоблачным высям, где беспокойные мысли уходят, уступая место ритуальному поклонению. Так или иначе конфликты вождей и образованных специалистов прекращаются. Воцаряется мир. Расчет, с одной стороны, и слепое поклонение - с другой заставляют людей тщательно стерилизовать и процеживать теоретическую рефлексию в отношении самих себя. Идеиное мышление явно становится закамуфлированной идеологией, а неявно вообще теряет все признаки мышления.

Вероятно, наиболее ярким примером веры в технологии является медицина. Ее практические суждения сводятся до уровня технических знаний о трубах и проводах внутри человеческого тела. Соответственно, медики пострадали от ущемления профессиональной автономии намного меньше, чем экономисты, которые, в свою очередь, пострадали меньше, чем психологи; а те - меньше, чем философы в сфере «практического разума». Было время, с конца 30-х до 50-х годов, когда политические власти вмешивались в дела медицины, поддерживая причудливую теорию патологии, согласно которой все болезни сводятся к нарушениям работы нервной системы. Поэтому новокаиновая блокада пораженных нервных центров считалась панацеей от всех бед. Зарождающаяся болезнь не могла распространяться из точки ее возникновения, если новокаин не давал нервной системе ее распространять. Но это эксцентричное ответвление павловского «нервизма» (и притом любопытная аналогия тех западных «психосоматических» теорий, которые официально осуждались в СССР) никогда активно не навязывалось советским врачам; ему позволили уйти в небытие вместе с его основателем А.Д.Сперанским (1888-1961) [51].

Этот, на первый взгляд, незначительный эпизод крайне важен именно из-за своей исключительности. Отношение политических чиновников к медицине наиболее ярко проявилось в 1962 году, когда непрофессиональные критики системы здравоохранения призвали к политическому вмешательству в диспут о методах антираковой терапии. Центральный Комитет партии мог бы незаметно отклонить это обращение, но он предпочел совершить акт самоотречения. Он опубликовал постановление, которое фактически отвергало принцип партийности в медицине: «Центральный Комитет КПСС не считает возможным брать на себя роль арбитра в апробации методов лечения. Только ученые-медики могут определять правильность применения тех или других методов лечения болезней. Попытки администрирования в науке не могут принести пользу» [52] ...

В отличие от медицины, судьба таких жестоко униженных дисциплин, как психология, по-прежнему служит напоминанием, что пресло-

втуое вмешательство партии в дела науки, практиковавшееся в сталинскую эпоху, было по сути своей нужным и правильным применением принципа партийности, хотя, возможно, и не без извращений со стороны «догматиков».

Этот контраст невозможно объяснить расплывчатыми рассуждениями о «практичности» медицины и «идеологичности» психологии. Вряд ли можно утверждать, что специалистам по лечению онкологических заболеваний удалось статистически доказать практическую пользу своих исследований в большей степени, чем это удалось представителям педагогической психологии. Вера в техническую полезность специалистов-онкологов была большей, чем вера в специалистов-педагогов. Говоря иными словами, в сфере образования остро осознавалась роль ценностных суждений, в то время как в медицине это осознание было страшно притуплено. В царстве ценностей, среди тех идеологических убеждений, которые направляют нашу жизнь и служат ей оправданием или осуждением и угрозой нашему образу жизни, вопросы технологии (в широком смысле слова) являются для современных людей чем-то вроде психологического убежища, где они прячутся от мучительной необходимости вынесения оценок. Нам кажется, что наши тела - объекты воздействия медицинских технологий - тоже относятся к таким естественным убежищам от ценностного выбора.

«Человек из подполья» Достоевского кажется нелепым эксцентриком, когда он утверждает, что его больная печень - это проверка его свободной воли, а не просто техническая поломка, для исправления которой надо обратиться к механикам от медицины. Смертельно больные люди часто приходят к такому же выводу, который сделал в своем несчастном одиночестве «человек из подполья», - к ужасу и отвращению здорового большинства, желающего, чтобы умирающий доверился механикам и до самого конца соглашался с предписанным «лечением». Окружающие ждут, что пораженные недугом люди будут поддерживать их веру в то, что наши недуги - даже недуги смертельные - представляют собой технические проблемы, связанные со знанием того, как достичь желаемого, а не повод для трудного морального выбора, для принятия решения о том, что считать желательным, или хотя бы для признания отсутствия выбора: признания, сделанного разумом, природа которого состоит именно в способности судить и выбирать. Вопрос, который задавал себе на смертном одре герой Толстого - «Можно, можно сделать “то”. Что “то”?» - получает глуповато-самодовольный «неответ» в популярной книге «О смерти как явлении и процессе» («On Death and Dying»): «Вот диаграмма “того”; вот совет, как сделать “то” счастливо». Таким образом, современный врач превращает «Смерть Ивана Ильича» из метафизического поиска

в руководство на тему «Как лучше умереть» [53] так же, как сотни руководств по сексу свели литературные толкования романтической любви к глупым диаграммам, наглядно демонстрирующим технологию спаривания. Советский Союз все еще значительно отстает в деле выпуска подобных практических руководств. В этой развивающейся стране культ медицинских технологий еще не достиг столь передового уровня.

Вне медицины, в рамках тех дисциплин, которые претендуют на обладание знаниями о человеке не только как о теле, но и как об обладающем разумом общественном существе, наиболее распространенным вариантом культа технологий является утилитаристская зачарованность фактом, достойная диккенсовского Грэдграинда [54]. Ученый избегает опасной роли пророка и надеется избежать унижительной роли церковного служки, копаясь в фактах, подобно мелкому клерку. В коммунистических странах этот процесс доведен до крайней степени из-за того неистового ужаса, который питают их правители по отношению к пророческому теоретизированию, и из-за упорных требований следовать окаменелому «учению», которое оправдывает их власть. Возможно, у них есть реальные основания бояться того, что живая теория может подорвать их систему правления. Возможно, их навязчивый страх в значительной степени иррационален, будучи не более чем пережитком той ушедшей в прошлое эпохи, когда идеологическое теоретизирование получало массовый резонанс.

Как бы то ни было, советские вожди крайне медленно осваивают искусство, выработанное современными политиками в качестве защиты: равнодушное отношение к негромкому жужжанию теоретических споров, звучащему из маленьких неряшливых ульев современных интеллектуалов. Многие ученые сами способствуют тому, чтобы успокоить страхи своих правителей, низведя опасное теоретизирование до уровня технических расчетов и простого копания в фактах и возведя на недостижимую высоту то, что нельзя подвергнуть низведению. Щелкая на счетах или перебирая четки, советский ученый пытается уберечь свой ум от сатанинских мыслей. Но необходимость практических суждений как в техническом, так и в этическом и эстетическом смысле постоянно мешает мирным играм в бисер. Живая теоретическая дискуссия обретает голос в «диссидентстве», и вульгарный сталинизм тут же реагирует, воспроизводя внутри научного сообщества экстремистский менталитет советских политиков - менталитет, основанный на истерически раздраженном и нелепом восприятии мышления как выбора между грандиозным беспорядком и насильственным порядком [55].

Пер. с англ. С. Кантерева

Примечания

1. См. Alexander Vucinich, «Soviet Physicists and Philosophers in the 1930s: Dynamics of a Conflict», *Isis*, June 1980; а также главы 18 книги: D.Joravsky, *Soviet Marxism and Natural Science, 1917-1932* (New York, 1961).

2. Под знаменем марксизма. 1937. № 7. С.43.

3. См. номера газеты Московского государственного университета «За пролетарские кадры» за 9 января и 11 апреля 1937 года.

4. См. G.A.Wetter, *Dialectical Materialism: A Historical and Systematic Survey of Philosophy in the Soviet Union* (New York, 1958). P.405-432; Loren Graham, *Science and Philosophy in the Soviet Union* (New York, 1972), главы 3 и 4. Резкие различия между этими двумя интерпретациями отчасти объясняются тем, что авторы данных работ обращаются к двум совершенно различным периодам советской истории: Веттер - к сталинской эпохе, Грэм - к времени после смерти Сталина. О призыве Сталина к свободе мысли в 1950 году см. ниже.

5. Сталин И.В. Марксизм и языкознание // Правда. 20 июня 1950 г. Данная работа Сталина была как нельзя кстати опубликована на страницах американского издания, продолжившего прерванное издание собрания его сочинений: Сталин И.В. Сочинения. Vol.3 (XVI). Stanford, California, 1967.

6. При всем моем уважении к Лорен Грэм я не могу согласиться с ее попытками доказать, что существует особая по своей сущности советская марксистская позиция в сфере философской интерпретации физики. Здесь я поддерживаю возражения Пола Фейерабенда (Paul Feyerabend) на аргументы Грэм. См.: *Slavic Review*, 25, № 3 (September 1966). P.381-420.

7. См. Loren Graham, «A Soviet Marxist View of Structural Chemistry», *Isis*, 55 (March 1964). P.20-31.

8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1964. С.681. Слово «шаблон» (от немецкого Schablone) также приобретает в данном контексте пейоративный оттенок (Там же. С.874-875).

9. Этим ученым был Н.И.Семенов (1896-1986). Индекс биографических работ об этом человеке содержится в книге: История естествознания: Литература, опубликованная в СССР. Т.1. М., 1949. С.215; Т.4. Ч.2. М., 1974. С.62; Т.5. М., 1977. С.260-262. Предостережения Н.И.Семенова о том, что партийный контроль в сфере науки ведет к удушению научной инициативы, можно найти в журнале «Природа» за 1969 год, № 3. С.52.

10. См. Zhores A. Medvedev, *Soviet Science* (New York, 1978). P.8, 30, 57, 67, 79, где дается вдумчивый анализ официальной статистики, утверждавшей, что в период с 1914 по 1976 годы число ученых выросло с 11 000 до 1 254 000. Среди многочисленных оценок смущающего контраста между количеством и качеством - анализ, дающийся на протяжении всей вышеупомянутой работы Медведева; Thane Gustafson, «Why Doesn't Soviet Science Do Better Than It Does?», Linda Lubrano and Susan Solomon, eds., *The Social Context of Soviet Science* (Boulder, Colorado and Folkestone, England, 1980); работы различных авторов в сборнике: John R. Thomas and U.M.Kruse-Vaucienne, eds., *Soviet Science and Technology* (Washington, D.C., 1977); и OECD, *Science Policy in the*

USSR (Paris, 1969). Особого внимания заслуживают публикации Центра русских и восточноевропейских исследований Бирмингемского университета (Centre for Russian and East European Studies at the University of Birmingham) - организации, активно и детально исследующей вопросы, связанные с техникой.

11. См. литературу, упомянутую в предыдущей сноске, а также: К.Е. Bailes, *Technology and Society under Lenin and Stalin* (Princeton, 1978).

12. См., например, трехтомный труд «Развитие химии в СССР» (М., 1967). Почти полный список ученых и их трудов содержится в «Истории естествознания», обширном библиографическом справочнике по истории науки. Выражение «почти полный» здесь употребляется не только в обычном смысле (из-за наличия неумышленных пропусков), но и в специфически советском смысле: некоторые историки науки и некоторые концепции были намеренно преданы забвению. Так, систематически исключались из списков Борис Гессен и другие жертвы террора.

13. Цитаты даны по «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова (4-е изд. М., 1961), а также по более подробному четырехтомному «Толковому словарю русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова (М., 1935-1940; переиздано - М., 1994).

14. Там же.

15. Знаменитое эссе, посвященное этой проблеме, содержится в пятом томе «Собрания сочинений» Н.А. Добролюбова (М., 1962) на С.7-140. На С.560-562 того же тома можно найти сделанное советским редактором издания описание полемики, возникшей вокруг эзопова определения, предложенного Добролюбовым. Особенно заслуживает внимания попытка советского комментатора предложить наиболее радикальную интерпретацию добролюбовского выражения - включить «народные массы» в состав жителей «темного царства» и одновременно настаивать на том, что они к этому царству не принадлежат, что они обладают революционным потенциалом, позволяющим преодолеть культурную отсталость.

16. Публикация романа В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым» (М., 1957) стала сенсацией. Автор даже получил публичный выговор от Хрущева. Тем не менее, книга получила официальное одобрение и была представлена к публикации; позже она была переиздана (М., 1968). Д.А. Гранин рисовал в своих романах гораздо менее спорные картины из жизни ученых и инженерных работников, но и его волновала проблема систематической неэффективности их деятельности. Особого внимания здесь заслуживает его роман «Иду на грозу» (М., 1963), а также следующее исследование: Keith Armes, «Daniil Granin and the World of Soviet Science», *Survey* 20, № 1 (90).

17. См.: David Joravsky, *The Lysenko Affair* (Cambridge, Mass., 1970). P.174-176, 290-291 и т.д. См. также: Nancy Heer, *Politics and History in the Soviet Union* (Cambridge, Mass., 1971). P.151, о выступлении Хрущева перед Центральным Комитетом, где он требовал усилить контроль над научной работой с целью снижения процента халтуры.

18. См. Grigorii Freiman, *It Seems I Am a Jew: A Samizdat Essay on Soviet Mathematics* (London and Amsterdam, 1980). Перевод и редакция Мелвина

Натансона (Melvyn Nathanson), которого я благодарю за предоставление мне копии данного труда. О том, насколько типичен опыт Фреймана, можно прочитать на с.85-94.

19. Для сравнения см. Hamberg, «Invention in the Industrial Research Laboratory», *Journal of Political Economy*, 71 (April 1963). P.95-115. Также см. работу Г.Н.Волкова «Социология науки» (М., 1968), С.206-207, где он цитирует Норберта Винера, который в своей автобиографии высказывал жалость к новым поколениям ученых, работающих на «научных фабриках» и не обладающих той индивидуальной свободой, которой наслаждался он сам. Такие исходящие с Запада предостережения о надвигающейся бюрократизации науки обычно используются советскими социологами науки, чтобы показать, что трудности советской науки являются частью мировых процессов, или даже для оправдания такого явления, как перехода к коллективному творчеству. См., например: Добров Г.М. Наука о науке. Киев, 1970. С.186 и далее; Ланге К.А. Организация управления научными исследованиями. Л., 1971. С.188-241.

20. Примером здесь может являться случай, когда Сталин отверг советы специалистов по производству синтетического каучука. - R.A.Medvedev, *Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism* (New York, 1971). P.108; K.E.Bailes, *Technology and Society under Lenin and Stalin*. P.375-379; R.A.Lewis, «Innovation in the USSR: The Case of Synthetic Rubber», *Slavic Review*, 38, № 1 (March 1979). P.48-59.

21. О ходе советских дискуссий 20-х годов в области экономики и истории см. следующие работы: Alexander Erlich, *The Soviet Industrialization Debate, 1924-28* (Cambridge, Mass., 1960); Nicholas Spulber, ed., *Strategy for Economic Growth* (Bloomington, Ind., 1964); Nicholas Spulber, *Soviet Strategy for Economic Growth* (Bloomington, Ind., 1964); Cyril Black, ed., *Rewriting Russian History* (New York, 1962); Konstantin Shtepa, *Russian Historians and the Soviet State* (New Brunswick, N.J., 1962); George Enteen, *The Soviet Scholar-Bureaucrat: M.N.Pokrovskii and the Society of Marxist Historians* (University Park, Penn., 1978).

22. См. David Joravsky, *Soviet Marxism and Natural Science, 1917-1934* (New York, 1961), Chap. 4. Газета «Правда» 31 августа 1922 года сообщила об аресте и высылке ученых, не называя конкретное их число. С тех пор приводились различные цифры. Число 161 я привожу по книге: Чагин Б.А., Клушин В.И. Борьба за исторический материализм в СССР в 20-е годы. Л., 1975. С.73-74.

23. Фразу эту ввел в обращение ведущий российский ученый в области экспериментальной психологии Г.И.Челпанов. Ее цитирует Н.И.Бухарин в работе «Атака» (М., 1924). С.133.

24. См.: David Joravsky, *The Lysenko Affair*.

25. Лучше всего данный вопрос освещен в работе: W.Girke, H.Janow, *Sowjetische Soziolinguistik: Probleme und Genese* (Kronberg, Germany, 1974). См. также их антологию: *Sprache und Gesellschaft in der Sowjetunion* (München, 1975); Lawrence Thomas, *The Linguistic Theories of N.Ja.Marr* (Berkeley, 1957). Несколько скороспелая попытка оправдать теории Марра была сделана в статье «Langage et classes sociales: le marrisme», *Langages*, 46 (1977). Французс-

кие авторы данной работы не желают видеть суровой правды, содержащейся в следующих словах Гирке и Янова: «Обычное определение методики [школы Н.Я.Марра - авт.] как «вульгарной социологии» неоправданно, ибо она в действительности не содержала в себе никаких социологических методов, а лишь механически соотносила языковые условия с социоэкономическими, что вряд ли является признаком какой-либо социологической методики» (С.50).

26. См.: Общее языкознание. Библиографический указатель литературы, изданной в СССР с 1918 по 1962 г. М., 1962. См. особенно с.3, где редактор протестует против «мнения, к сожалению распространенного среди наших лингвистов», что проблемы общей лингвистики в Советском Союзе игнорировались. Показательно и то, сколь скудное внимание уделено советским мыслителям в статье «Язык» (Философская энциклопедия: В 5 т. Т.5. М., 1970). О разочаровывающих результатах возрождения лингвистики см.: W.Girke, H.Janow, Sowjetische Soziolinguistik. Для сравнения см. неубедительные заверения в глубоком уважении к советской социолингвистике: Jan Prucha, Soviet Psycholinguistics (The Hague, 1972). P.42-43; а также рецензию на эту работу Дэвида Л. Олмстеда (David L. Olmstead) в журнале «Historiographia Linguistica», 1982, № 1/2. P.145-152.

27. Сталин И.В. Сочинения. Vol.3 (XVI). С.114-171.

28. Там же. С.144.

29. См., в частности, протоколы двух важнейших «павловских сессий»: Академия наук СССР. Научная сессия, посвященная проблемам физиологического учения академика И.П.Павлова, 28 июня - 4 июля 1950 г. М., 1950; Академия медицинских наук. Физиологическое учение академика И.П.Павлова в психиатрии и невропатологии; материалы заседания 11-15 октября 1951 г. М., 1951. См. также: David Joravsky, «The Mechanical Spirit: The Stalinist Marriage of Pavlov to Marx», Theory and Society, 4 (1977). P.457-477. [См. также David Joravsky, Russian Psychology: A Critical History (New York: Blackwell, 1989). - Прим. автора, 2000 г.]

30. См.: David Joravsky, «A Great Soviet Psychologist», New York Review of Books, May 16, 1974.

31. Фактическое признание такого скандального положения дел содержится в статье «Сигнальные системы» (Философская энциклопедия. Т.5. С.5).

32. См.: Бухарин Н.И. О мировой революции, нашей стране, культуре и прочем. Ответ академику Павлову // Красная новь. 1924. № 1-2; данная работа была переиздана большим тиражом как брошюра, а также как часть книги Н.И.Бухарина «Атака» (М., 1924). С.171-215.

33. См.: Выготский Л.С. Психологическая наука // Общественные науки СССР, 1917-1927. М., 1928. С.32 и далее.

34. См., в частности, статью П.К.Анохина, где автор открыто признает, что «наиболее уязвимым пунктом учения об условных рефлексах является его отрыв от общеневрологической мировой мысли». - Анохин П.К. Анализ и синтез в творчестве академика И.П.Павлова // Под знаменем марксизма. 1936. № 9. С.78. Наиболее значительной попыткой примирить доктрину Павлова с

современной нейрофизиологией является труд его польского ученика: Jerzy Konorski, *Conditioned Reflexes and Neuron Organization* (Cambridge, 1948).

35. Gregory Razran, *Mind in Evolution* (Boston, 1971).

36. Представление об антимарксистских лекциях и публикациях Павлова можно получить из упомянутых выше выступлений Бухарина. О том, как большевики уговаривали Павлова остаться в России, см.: Ленин В.И. Полное собр. соч. 4-е изд. Т.32. С.48; Т.44. С.325-326; Т.45. С.23.

37. См. об этом: Смирнов А.А. Развитие и современное состояние психологической науки в СССР. М., 1975. С.137 и далее; Петровский А.В. История советской психологии. М., 1967. С.61 и далее. Марксистскими эмиссарами были К.Н.Корнилов (1879-1957), роль которого в этих событиях отмечена в обеих работах, и А.Б.Залкинд (1888-1936), роль которого в советских исследованиях умышленно игнорируют, поскольку он был осужден во время террора 30-х годов. См. доклад Залкинды, опубликованный в газете «Правда» 10 января 1924 г. Сообщения современников об этих событиях см. в № 2 (19) журнала «Красная новь» за 1924 год и в работе Л.С.Выготского «Психологическая наука». Главной жертвой показательных увольнений стал Г.И.Челпанов (1862-1936) - его сняли с поста директора основанного им Психологического института. Пост этот был отдан его бывшему ученику и новоявленному марксисту Корнилову.

38. Рамки данной статьи не позволяют мне привести здесь факты, подтверждающие это утверждение. О генетическом родстве теории Выготского и гештальтпсихологии см.: Eckhardt Scheerer, «Gestalt Psychology in the Soviet Union: The Period of Enthusiasm», *Psychological Research*, 41 (1980). P.113-132. Рьяные декларации, что школа Выготского отличается от идей Пиаже некими «культурно-историческими» акцентами, только подчеркивают пугливое стремление этой школы отказаться от культурно-исторических исследований как таковых. Первое (неубедительное) заявление о наличии существенных отличий от концепции Пиаже содержится в длинном предисловии Выготского к работе Ж.Пиаже «Речь и мышление ребенка» (М., 1932). Единственной значительной попыткой ученых школы Выготского заняться культурно-историческими исследованиями была работа А.Р.Лурии «Об историческом развитии познавательных процессов» (М., 1974), представлявшая собой отчет об исследовании разновидностей крестьянского менталитета, проведенном в 1931-1932 годах и запрещенном к публикации на протяжении 40 лет.

39. «Приглашенная» история психотехники дана в работе А.В.Петровского «История советской психологии» (М., 1967). С.266-292. «Неприглашенный» пример тех злобных нападков, которые уничтожили эту область психологии в 30-е годы, можно найти в журнале «За марксистско-ленинское естествознание», 1931, № 2. С.34-84. Обзор работы, проведенной в данной области советскими учеными после снятия запрета, можно найти в исследовании: В.Ф.Ломов, «The Soviet View of Engineering Psychology», *Human Factors*, 1969. № 11. P.69-74; а также в статье Ломова, опубликованной в книге: Michael Cole and I.Maltzman, eds., *Handbook of Contemporary Soviet Psychology* (New York, 1969). Совсем недавно контроль над крупнейшими научными институтами перешел

из рук последователей Выготского в руки Ломова. Я благодарю Джеймса Вертша за эту информацию, которая может означать, что в сфере советской психологии произошли важные изменения и политическая поддержка перешла к так называемой практической школе.

40. Академия общественных наук при ЦК КПСС. Кафедра научного коммунизма. Научное управление обществом. 1967. № 1. С.3. См. также: Linda Lubrano, *Soviet Sociology of Science* (Columbus, Ohio, 1976); Erik P. Hoffmann, «The “Scientific Management“ of Soviet Society», *Problems of Communism*, May-June 1977. P.59-67; Erik P. Hoffmann, «Soviet Views of “The Scientific-Technological Revolution“», *World Politics*, July 1978. P.615-644; Y.M.Rabkin, «“Naukovedenie“: The Study of Scientific Research in the Soviet Union», *Minerva*, 1977. № 1/76. P.61-78.

41. См.: Raymond Bauer, *The New Man in Soviet Psychology* (Cambridge, Mass., 1952).

42. Об этой знаменитой мечте юного Маркса рассказано в его работе «Немецкая идеология». Обстоятельная критика психологической науки как идеологии отчуждения от этого романтического идеала человеческой природы содержится в следующей работе: Райнов Т.И. Отчуждение действия // *Вестник коммунистической академии*. 1925-1926. № 13-15. О том, как произошел отказ от каких-либо серьезных попыток добиться слияния умственного и физического труда в образовательном процессе, см: Medvedev R.A. *Let History Judge*. P.503-505.

43. Краткое изложение этих фактов содержится в статье Оскара Анвайлера: O.Anweiler and H.Ruffman, eds., *Kulturpolitik der Sowjetunion* (Stuttgart, 1973). P.34-39, 120-123 и далее; Mervyn Matthews, *Education in the Soviet Union: Policies and Institutions Since Stalin* (London, 1982). P.153-161. Важнейшее постановление, принятое 20 августа 1969 г., приведено в сборнике: *КПСС в резолюциях и решениях*. Т.10. М., 1972. С.77-80. См. также: Катунцева Н.М. Опыт СССР по подготовке интеллигенции из рабочих и крестьян. М., 1977; George Avis, «Preparatory Divisions in Soviet Higher Education Establishment: Ten Years of Radical Experiment» (эта неопубликованная работа была распространена на Втором всемирном конгрессе по советским и восточноевропейским исследованиям в Гармише в 1980 г.); George Avis, «Social Class and Access to Full-time Higher Education in the Soviet Union», M.Sc. diss., University of Bradford, Bradford, England; а также Т.А. Jones, «Higher Education and Social Stratification in the Soviet Union», Ph.D. diss., Princeton University, 1978. См. также: David S. Lane and Felicity O'Dell, *The Soviet Industrial Worker: Social Class, Education and Control* (London, 1978). P.103-104.

44. См. James Bowen, *Soviet Education: Anton Makarenko and the Years of Experiment* (Madison, Wisc., 1962). О состоянии дел в сфере опросов общественного мнения см.: M.Dewhirst and R.Farrell, eds., *The Soviet Censorship* (Metuchen, N.J., 1973). P.122-126. Произведение Макаренко см.: Макаренко А.С. Педагогическая поэма // Макаренко А.С. Сочинения: В 7 т. Т.1. М., 1957.

45. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. С.128.

46. См.: Susan G. Solomon, *The Soviet Agrarian Debate: A Controversy in Social Science, 1923-1929* (Boulder, Colorado, 1977).

47. Об исследованиях крестьянского менталитета, предпринятых в 1931-1932 гг. А.Р.Лурией и Л.С.Выготским, см.: Лурья А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. М., 1974.

48. См. рассказ об этом событии в работе: David Joravsky, *The Lysenko Affair*. P.10-13, а также сноску на С.360.

49. Свидетельств этому так много, что привести здесь их все невозможно. Причем подобные упреки не были характерны исключительно для послесталинского периода. Так, в недостаточной смелости специалистов упрекали уже в 30-е годы. См.: Joravsky, *Soviet Marxism and Natural Science, 1917-1932*. P.267.

50. Изобилие сообщений и исследований по этому вопросу как западных, так и советских авторов может даже привести в замешательство. Для начала укажем на такую работу с обширным справочным аппаратом: R.W.Judy, «The Economists», Skilling and Griffiths, eds., *Interest Groups in Soviet Politics* (Princeton, 1971). P.209-252. См. также: Michael Kaser, «Le débat sur le loi de la valeur... 1941-1953», *Annuaire de l'U.R.S.S.* (Paris, 1965). P.555-569, где приведены доказательства возрождения экономической науки в 1943-1948 гг. - процесса, который затем был прерван Сталиным и возобновился уже после его смерти. Дополнительные свидетельства того, как сложно протекал этот процесс во времена сталинского правления и в последующий период, содержатся в работе: R.Campbell, «Marx, Kantorovich and Novozhilov, Stoimost' versus Reality», *Slavic Review*, 30, № 3 (October 1961). P.402-418. О самых последних тенденциях в данной области см.: Alec Nove et al., «L'économie soviétique et les économistes soviétiques», *Revue d'études comparatives est ouest*, 12, № 2 (1981). P.121-152.

51. Особого внимания заслуживает работа А.Д.Сперанского «Элементы построения теории медицины» (М., 1935), переведенная на английский язык как «A Basis for the Theory of Medicine» (New York, 1944). Обращает на себя внимание и крайне сдержанный тон посвященной Сперанскому статьи, опубликованной в «Физиологическом журнале СССР» (1968. № 12. С.1488-1489).

52. Правда, 1 августа 1962 г.

53. В английском переводе вышеприведенной фразы из толстовской «Смерти Ивана Ильича» («What is the right thing?») слишком чувствуется морализирующий оттенок, отсутствующий в оригинале, тон которого - неприкрашенная метафизичность. В книге: Philippe Ariès, *The Hour of Our Death* (New York, 1981) так же, как и в книге: Elizabeth Kübler-Ross, *On Death and Dying* (New York, 1969), делается попытка сблизить метафизическую боль Толстого с «гуманистической» интерпретацией проблемы с позиций «медицинизации смерти». Толстой был бы резко против такого подхода.

54. Томас Грэдграйд - персонаж книги Чарльза Диккенса «Тяжелые времена», сатирическое изображение утилитарного философа того времени [Прим. ред. - М.Д.-Ф.].

55. Я позаимствовал это сравнение у Уоллеса Стивенса: *Connoisseur of Chaos // Wallace Stevens, Collected Poems* (New York, 1975). P.215-216. Диалектика Стивенса в соединении противоположностей достигает божественного спокойствия. Сталинистский менталитет граничит с истерией.

*Стивен Коткин**

ГОВОРИТЬ ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

(из кн. «Магнитная гора: Сталинизм как цивилизация»)

«Магнитка учила нас строить.

Магнитка учила нас жить».

Елена Джaparидзе, комсомолка [1].

Уставшие от анонимности барачной жизни, жители барака № 8 в Магнитогорске прикрепили рядом со входом вывеску со списком всех живущих в нем. В нем указывались их имена, отчества и фамилии, год рождения, место рождения, классовое происхождение, профессиональное занятие, членство в комсомоле или партии (или отсутствие такового) и место работы. Как объяснял инициатор: «Когда был написан список, например, когда было написано, что Степанов, арматурщик, комсомолец, ударник, выполняет производственную программу на столько-то процентов, работает на строительстве доменного цеха - сразу получается впечатление у незнакомого товарища - какой состав людей здесь живет» [2]. Подобные акты самоидентификации стали обычным явлением и охватили все общество.

При изучении рабочих царской России главной задачей было объяснить, как произошло, что «за период меньше чем 60 лет рабочие самой политически “отсталой“ европейской страны превратились из маленького сегмента касты крепостных крестьян в самый революционный и сознательный в классовом отношении пролетариат в Европе» [3]. По отношению к советским рабочим можно поставить прямо противоположный вопрос: как произошло, что за период меньше чем двадцать лет революционный пролетариат первого в Европе самопровозглашенного рабоче-крестьянского государства стал самым пассивным рабочим классом в Европе? Существенная часть ответа на этот вопрос, как и на вопрос о характере и могуществе сталинизма, содержится в этом простом листке бумаги, прикрепленном к магнитогорскому барачу.

*© Стивен Коткин, 2001

Стало привычным, что в исследовании о жизни рабочего города значительное внимание уделяется формам самовыражения рабочих, по крайней мере в экстремальных ситуациях (например, во время забастовок и демонстраций), а также исследованию причин рабочих волнений. Но в Магнитогорске не было ни забастовок, ни восстаний, а все демонстрации сводились к организованному государством прославлению режима и его руководства. Бросалось в глаза отсутствие в этом широко раскинувшемся городе металлургов организованного рабочего протеста.

Для советского режима и его защитников в этом не было ничего парадоксального. Отсутствие забастовок логически вытекало из заявления, что власть принадлежит самим рабочим, и именно поэтому они с энтузиазмом приветствуют политику индустриализации, «их» политику. Сам массовый энтузиазм советских людей тех лет придает этому взгляду кажущееся правдоподобие. Действительно, если в советской прессе тех времен и можно обнаружить разрозненные свидетельства о недовольстве рабочих, то, согласно официальным источникам, все проявления рабочей сознательности были в подавляющем большинстве направлены на поддержку status quo [4].

Несоветские авторы, не доверяя таким подвергнутым государственной цензуре выражениям рабочей сознательности, первоначально выдвинули две версии причин кажущейся «пассивности» советского рабочего класса при Сталине. Согласно одному из них, монолитная организационная структура режима и политика репрессий исключали любую возможность проявления независимости рабочих и тем более коллективных выступлений - аргумент, поддержанный свидетельствами многих выходцев из Советского Союза [5]. Согласно другой точке зрения, вполне совместимой с первой, отсутствие политической активности рабочих объяснялось дезинтеграцией рабочего класса в результате гражданской войны, а также так называемой «крестьянизацией» рабочей силы, которая началась с 1930-х годов, когда уцелевший пролетариат был «разбавлен» свежим пополнением. Сторонники этой точки зрения отмечали характерную для новых пролетариев культурную отсталость, заставлявшую их мечтать о твердой руке царя-батюшки и не способствовавшую формированию у них склонности преследовать «собственные» классовые интересы [6]. В противовес заверениям советских источников о гармонии между рабочим классом и правящим режимом эти ученые предполагали, что объективно существовал антагонизм между ними, даже если преобладающее число доступных источников свидетельствовало о поддержке режима.

Как реакция на утверждение, что у режима и народа не было общих интересов, поднялась волна «ревизионистской» школы. Соглашаясь с некоторыми из своих предшественников по вопросу о существовании широкой народной поддержки Сталина и его политики, ревизионисты оценивали такую поддержку не как показатель «незрелой сознательности» «отсталого» пролетариата, а как выражение подлинных личных интересов, связанных с улучшением положения рабочих или с социальной мобильностью. Такой взгляд позволял не только признать факт отсутствия заметного социального протеста, но даже и предположить наличие в обществе истинного социального согласия [7]. Расхождение во взглядах в споре противных сторон едва ли могло бы быть более глубоким: либо недовольные рабочие, презирующие режим, либо довольные рабочие, аплодирующие ему («по незрелости» или же «сознательно»). По-видимому, настало время подойти к рассмотрению данной проблемы под иным углом.

Не может быть сомнений в том, что режим носил репрессивный характер, что состав рабочего класса изменился за счет притока в его ряды миллионов крестьян, и что многие тысячи рабочих, в свою очередь, «выдвинулись», став руководителями и партийными работниками. Но пригодность всех этих концепций для понимания жизни и поведения рабочих ограничивается, по крайней мере, двумя причинами. Во-первых, данные категории почерпнуты из языка той самой эпохи, пониманию которой они должны были бы служить. Двигаясь от первичных источников к вторичным, поражаешься, до какой степени споры и категории того времени пронизывают «аналитические» работы последующих лет. К примеру, историки берутся исследовать «крестьянизацию» рабочей силы в 1930-х годах именно потому, что власти мыслили в рамках этого определения и собирали соответствующие данные. Для нас же тот факт, что значительное число крестьян влилось в ряды рабочего класса, должен быть важен не потому, что это предопределило их «отсталость» и даже не тем, что они были крестьянами, а тем, что режим определил их как крестьян и относился к ним как к таковым.

Во-вторых, ограниченность существующих концепций проявляется в том, что авторские оценки здесь колеблются вокруг двух противоположных полюсов - репрессий и энтузиазма. Историк может «демонстрировать» то поддержку режима со стороны рабочих, обращаясь к официальным источникам, то существование рабочей оппозиции, ссылаясь на источники, вышедшие из среды русской эмиграции. Но задумаемся - как мы можем выявить социальную поддержку? Какие признаки позволяют засвидетельствовать ее существование? Яв-

ляется ли отсутствие организованного политического протеста признаком дезинтеграции общества или, напротив, признаком социальной сплоченности, или же мы не можем утверждать ни того, ни другого? Разумно ли, изучая социальную поддержку властей, оперировать групповыми категориями, и если да, то по каким критериям следует выделять такие группы? По уровню доходов и социальному положению? По уровню образования? Членству в партии? Классовой принадлежности? Наконец, какова относительная ценность источников - официальных или же эмигрантских, - которые часто рисуют диаметрально противоположные друг другу картины событий?

При наличии столь несовместимых точек зрения на положение рабочего класса при Сталине важный шаг вперед был сделан Дональдом Филтцером. Начав с того, на чем остановился Соломон Шварц (хотя и не указывая этого), Филтцер умело сочетал внимательное и глубокое изучение материалов советской прессы тех лет с новым, исчерпывающе точным прочтением эмигрантских свидетельств, и продемонстрировал при этом тонкое владение искусством парадокса и противоречия. Характеризуя сталинскую индустриализацию как эксплуататорскую в марксистском смысле этого слова, он предположил, что рабочие должны были в таком случае осознать свои «классовые интересы» и воспротивиться отчуждению «прибавочной стоимости» со стороны зарождающейся элиты, или бюрократии. Но рабочие этого не сделали.

В поисках объяснений этого парадокса Филтцер возродил к жизни прежнюю гипотезу о том, что старый рабочий класс был раздавлен индустриализацией: деполитизированный, он мог отныне предпринимать лишь индивидуальные акции протеста, такие как смена работы и пьянство. Филтцер также утверждал, что хотя в стране и образовался новый «рабочий класс», его представителям были не под силу коллективные выступления - пролетарии были поглощены, как и прежде, задачей личного выживания в трудных условиях постоянного дефицита, потогонной системы ударного труда, физического запугивания и публичного осмеяния. В то же самое время автор показал, что рабочие часто «сопротивлялись» новым трудовым порядкам, только не на коллективной основе. Он признавал важность самовыражения рабочих, проявлявшегося в различных сферах поведения (текучности кадров, «волынке»), а не считал такое поведение, как обычно, признаком дезориентации и апатии. Но вместе с тем Филтцер не отнесся с достаточной серьезностью к огромному массиву дошедших до нас высказываний современников, позволяющих реконструировать самоидентификацию рабочего и исходящих от самих рабочих или от предста-

вителей других социальных групп, включая власти [8]. В результате предложенный Филтцером анализ превращения рабочих в составную часть сталинской системы, хотя и остается лучшим по сей день, не был доведен до конца.

Подход, предлагаемый в данной работе, состоит в том, чтобы выявить преобладавшие в то время способы понимания и анализа проблем труда, трудового процесса, рабочего. Отправной точкой для моего исследования станет реконструкция восприятия современниками следующих проблем: производительности труда, трудовой дисциплины и трудоспособности, социального происхождения и политической лояльности. Моей целью будет показать воздействие этих понятий на образ жизни рабочих и на понимание ими самих себя. Такие представления не могут быть сведены к «идеологии» - уместнее говорить о них как о динамично изменяющихся властных отношениях. Вот почему задача состоит в том, чтобы рассматривать эти понятия не с точки зрения их смысла и не как систему символов, но как вопрос маневра и контрманевра, короче говоря, как составную часть тактики повседневного выживания.

Социальные последствия специфической трактовки понятий «труда» и «рабочего» стали столь масштабными, поскольку эти понятия были тысячью нитей сплетены с введенными тогда приемами и методами решения проблем идентичности. Эти приемы могли быть самыми разнообразными: от анкет до формальных оценок уровня профессионального мастерства (разрядов), от производственных норм и сдельных расценок до трудовых книжек и автобиографических откровений. Я обращаюсь к самим этим методам и к контексту ситуации, где они применялись, чтобы исследовать, каким образом обычные слова о труде и рабочем месте смогли стать детерминирующим фактором того, как понимали рабочих другие, и того, как рабочие понимали самих себя.

Труд, рабочий и место работы при социализме

После известия о пуске первой Магнитогорской доменной печи в феврале 1932 года трудящимся Магнитки от имени партии и правительства была отправлена телеграмма за подписью Сталина. «Поздравляю рабочих и административно-технический персонал Магнитостроя с успешным выполнением первой части программы завода, - писал Сталин и добавлял: - Не сомневаюсь, что магнитогорцы также успешно выполняют главную часть программы 1932 года, построят еще три домны, мартен, прокат и, таким образом, с честью выполнят свой долг перед страной» [9].

Как показывает сталинская телеграмма наряду со многими другими документами, труд в советском понимании был не просто материальной необходимостью, но также и гражданским долгом. Каждый имел право на труд; никто не имел права не работать [10]. Отказ от работы, или от «общественно полезного» труда, был преступлением, и преобладающей формой наказания был принудительный труд. От осужденных требовалось не просто трудиться для возмещения «ущерба», который они нанесли обществу, но, в первую очередь, доказать свое право вернуться в ряды этого общества иными, «перевоспитавшимися» личностями. Работа служила одновременно и инструментом для приведения индивида в соответствие норме, и мерилom такого соответствия [11].

Кроме того, каждый, кто принадлежал к социальной группе «рабочих», нес на своих плечах частицу той исторической ответственности, которая, согласно идеологии режима, возлагалась именно на этот класс. Как известно, с точки зрения марксизма-ленинизма социальная структура общества может быть описана в классовых терминах [12]. Классовый подход, ставший основой последовательного и упрощенного мировоззрения и поэтому способный обеспечить готовую интерпретацию любого события и любой ситуации, объяснял и оправдывал бесчисленные государственные решения, включая ликвидацию кулачества как класса и ссылку «кулаков» в такие места, как Магнитогорск. Классовый подход помогал также проводить в жизнь многочисленные кампании и движения - за усиление бдительности или за увеличение выпуска промышленной продукции, - которые строились на эмоциональных призывах к борьбе против классовых врагов, внутренних и внешних. И это позволяло простым людям стать частью исторического движения.

Если при «капитализме» труд мыслился как присвоение «прибавочной стоимости» небольшой группой лиц в целях их собственной выгоды, то при социализме такая эксплуатация не существовала по определению: «капиталистов» не было. Напротив, народ трудился на себя и, трудясь, строил лучший мир. Не все места работы имели равно «стратегическое» значение, но с помощью классового подхода производительность труда отдельного шахтера или сталевара приобретала смысл в международном масштабе - как удар по капитализму и вклад в дальнейшее строительство социализма. Другими словами, трудовые усилия каждого рабочего у станка становились страницей хроники интернациональной борьбы.

Классовый подход превратился в изошренную технику управления, и советское руководство, вооруженное классовым мировоззре-

нием, преследовало как одну из главных своих целей создание особого - советского - рабочего класса [13]. Хотя страна, казалось бы, пережила пролетарскую революцию в 1917 году, двенадцать лет спустя руководство все еще было обеспокоено недопустимой, с его точки зрения, малочисленностью пролетариата. Тем не менее, благодаря стремительно развернутой программе индустриализации, ряды пролетариата значительно увеличились, фактически даже больше, чем первоначально ожидали составители планов.

Всеобщая занятость была почти единственным перевыполненным показателем первого пятилетнего плана, а прирост рабочей силы страны в годы второй пятилетки был даже большим [14]. Магнитогорск был тому ярким примером. К 1938 году, менее, чем десять лет спустя после прибытия первой группы поселенцев, в различных производствах Магнитогорского металлургического комплекса, от доменных печей до подсобных совхозов, было занято почти двадцать тысяч человек [15]. Еще несколько тысяч было занято в строительном тресте «Магнитострой», на коксохимическом комбинате и на железной дороге [16]. На 1940 год рабочее население города насчитывало приблизительно 51 000 человек [17].

Эту новую рабочую силу, созданную буквально из ничего, предстояло обучить, и обучение в данном случае понималось специфически [18]. Для новых рабочих обучение навыкам труда стало гораздо большим, чем вопрос о замене цикличного деревенского времени и сельскохозяйственного календаря восьмичасовой сменой, пятидневной рабочей неделей и пятилетним планом [19]. Стремясь создать советский рабочий класс, руководство было столь же озабочено политическим поведением и лояльностью рабочих. Было необходимо не только обучить новых рабочих навыкам труда, но и научить их всех правильно понимать политическую важность выполняемой работы. Пролетаризация по-советски означала овладение производственной и политической грамотностью, понимаемой как абсолютное принятие ведущей роли партии и добровольное участие в великом деле «строительства социализма» [20].

В достижении этих целей особые надежды возлагались на преобразующую мощь заводской системы. После «социалистической революции» завод больше не был местом эксплуатации и унижения, каким он считался при капитализме; он должен был стать дворцом труда, укомплектованным политически сознательными, грамотными и обученными профессиональному мастерству рабочими, преисполненными гордостью за свой труд [21]. В реальной жизни большинство новых рабочих, даже те, кто затем пришел на промышленные пред-

приятия, начинали свою трудовую деятельность в качестве строительных рабочих, и именно на строительстве впервые столкнулись с проблемой так называемого «социалистического отношения к труду» [22].

Строительство в годы пятилетки осуществлялось натисками, или «штурмами». Хотя данный стиль работы и уподоблялся «очень старому, деревенскому, задающему рабочий ритм, кличу “раз, два, взяли”» [23], он был окрещен новым термином: «ударный труд» [24]. Этот ударный труд, основанный на вере, что высочайшая производительность труда может быть достигнута путем сочетания трудовых подвигов и усовершенствованной организации работы, держался на низком уровне механизации труда; практиковали его «сменами» и «бригадами». Несмотря на то что всеобщая одержимость идеей стремительного повышения производительности труда иногда ассоциировалась с внедрением новых технологий, именно в строительстве, где ударный труд был наиболее распространен, при существовавшем тогда уровне техники главным методом «рационализации труда» стали дополнительные физические усилия [25].

Власти стремились превратить ударные бригады в массовое движение (ударничество) путем различных кампаний, наиболее важная из которых - «социалистическое соревнование» - началась в 1929 году. Социалистическое соревнование приняло форму «вызова», часто письменного, который бросали друг другу заводы, цеха, бригады или даже отдельные рабочие. Вызовы принимали также форму встречных планов или предложений достичь больших результатов за меньшее время. На практике это означало, что отдельные подвиги трудового героизма и перенапряжения вынуждали практически каждого делать то же самое или подвергнуться риску осмеяния, подозрения, а в некоторых случаях - и ареста.

Теоретически социалистическое соревнование отличалось от соревнования при капитализме тем, что целью здесь был не триумф победителя, а поднятие всех до уровня передовика. Такие выражения, как «брат на буксир» и «шефствовать», означали подтягивание отстающих. Задуманное как социально связующий метод повышения производительности труда, социалистическое соревнование все чаще становилось способом отделения полных энтузиазма передовиков, желающих достичь экстраординарных свершений в ударной работе, от более умеренных рабочих и от тех, кто вообще пытался избегать политических излишней.

Эффективность производственных кампаний, в том числе и ударного труда, была усилена реформой заработной платы, проведенной в 1931 году, когда «уравниловка» была ликвидирована и заменена

дифференцированной оплатой труда. Теперь заработная плата была индивидуализирована, и, кроме того, введение сдельной системы оплаты труда дало возможность учитывать специфику каждой отрасли производства. Для рабочего устанавливалась норма выработки, невыполнение которой влекло за собой дополнительное вознаграждение [26]. Теоретически, по мере перевода все большего числа рабочих на сдельную систему оплаты, заработная плата должна была превратиться в мощный рычаг повышения производительности труда. На практике руководители, и особенно мастера, чтобы удержать недостаточную рабочую силу, с готовностью приписывали рабочим фиктивную работу, и, в любом случае, могли наградить их дополнительной оплатой и премиями для компенсации потери заработка, уменьшенного в результате невыполнения норм выработки [27].

Неудивительно, что на производстве вопросы расчета и распределения норм выработки оказывались в эпицентре ожесточенной борьбы, а при оценке выполнения норм и учете производительности труда применялась большая изобретательность - такая изобретательность, что, хотя большинство рабочих в Магнитогорске теоретически перевыполняло нормы, выпуск готовой продукции постоянно оказывался ниже плановых заданий [28]. (А между тем число нормировщиков множилось) [29]. И хотя влияние политики дифференцированной заработной платы на повышение производительности труда может быть поставлено под сомнение, ее воздействие на восприятие рабочих было очевидным. Рабочие были индивидуализированы, и их трудовой вклад можно было измерить в процентах, что позволяло проводить яркие сравнения [30].

Ударный труд в сочетании с социалистическим соревнованием стал средством дифференцирования индивидуумов, а заодно и методом политической вербовки внутри рабочего класса. Здесь его эффективность возрастала благодаря продуманному использованию принципа гласности. Имена рабочих вывешивались на постоянно обновлявшейся Доске почета или Доске позора, окрашенных соответственно в красный и черный цвета. Рядом с фамилиями передовиков рисовали самолеты, возле фамилий отстающих - крокодилов. Выпускали листки-«молнии» со списками лучших рабочих и «лодырей», а победителей соцсоревнования награждали знаменами. Такие знамена, переходившие из рук в руки вслед за взлетами и падениями отдельных бригад (иногда это могло происходить чуть ли не в течение одной смены), превращали работу в некое подобие спорта [31]. Вскоре, утяжеляя это моральное давление, в цехах были установлены постоянные Доски почета для прославления «лучших рабочих» [32].

Широкомасштабной политизации труда способствовало присутствие в рабочих коллективах, помимо администрации, представителей других органов. Так, каждая строительная площадка или заводской цех имели свою первичную партийную организацию («ячейку»), укреплявшую влияние партии путем вовлечения в свои ряды новых членов и проведения партийных собраний [33]. Партия стремилась распространить свое влияние и на беспартийные массы тружеников завода; для выполнения этой задачи в каждом цехе работали «агитаторы», то есть люди, в чьи обязанности входило публичное обсуждение политических проблем и разъяснение смысла событий внутри страны и на международной арене [34].

Один из агитаторов магнитогорского стана «300», З.С.Грищенко, в течение одного только месяца 1936 года сделал двенадцать сообщений по отечественным и международным проблемам и провел шесть коллективных «читок» газет. Чтобы суметь провести дискуссии на должном уровне и направить их в нужное русло, Грищенко в процессе подготовки тщательно просматривал как можно больше советских газет, уделяя особое внимание речам и директивам Сталина и партийного руководства. Он мог также использовать материалы брошюр, выпускавшихся «в помощь агитатору» отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП (б). Грищенко, как сообщалось в газете, выделял дополнительное время для политической подготовки тех рабочих, кто оказался неспособным усвоить материал или по каким-либо причинам отстал в обучении [35].

Не все из двухсот четырнадцати агитаторов, работавших на металлургическом комбинате в 1936 году, были столь заинтересованными и добросовестными, каким казался Грищенко, и воздействие такой агитации было различным. На вопрос о том, почему он потерпел неудачу в агитационной работе, один организатор в коксовом цеху заметил: «Что я буду болтать?». И хмуро добавил: «А что если я напутаю, наделаю ошибок, тогда меня обвинять будут!» [36]. Сведения о подобной неуверенности можно извлечь и из сообщений центральной прессы, где высмеивались агитаторы, посещавшие цех и прерывавшие производство ради того, чтобы произнести перед рабочими речь о недопустимости потерь рабочего времени [37].

Но агитаторы продолжали посещать цеха - их работа считалась неотъемлемой частью развития производственного процесса, даже если на самом деле их агитация иногда и мешала производству. Так, речь Сталина на первом Всесоюзном совещании стахановцев в ноябре 1935 года была отпечатана и распространена на Магнитогорском металлургическом комбинате; массированная кампания по ее обсуждению

имела целью убедить целые цеха принять «повышенные обязательства» [38]. Типично, что подобные призывы к повышению производительности труда - как, впрочем, и все дискуссии о событиях внутренней жизни страны - содержали ссылки на международную обстановку, которая представлялась чем-то безмерно далеким, хотя и чрезвычайно сложным. Имевший только месячный стаж работы в качестве агитатора на стане «500» активист Сашко сообщал, что рабочие задавали огромное количество вопросов о международных новостях, особенно после его доклада на тему об итало-абиссинской войне и советско-французском договоре 1936 года [39].

Если присутствие партийных органов на предприятии было наиболее заметным, то деятельность службы безопасности, или НКВД, была не менее важной. На Магнитогорском комплексе, как и на каждом советском промышленном предприятии, в учреждении или вузе, существовал так называемый особый отдел, связанный с НКВД. Особые отделы, чья работа была секретной и независимой от заводской администрации, нанимали сеть осведомителей, действующих без правовых или иных нормативных ограничений, и по большому счету стремились добиться содействия от каждого руководителя или рабочего [40]. Для работников НКВД выявление преступлений против государственной безопасности служило гарантией продвижения по службе.

Профессиональные союзы также занимали видное место на предприятии, хотя они и не могли уже, как при капитализме, играть свою традиционную роль защитников интересов рабочих от посягательств владельцев предприятий, поскольку в пролетарском государстве собственниками формально являлись сами рабочие. Взамен профсоюзы в СССР были привлечены режимом к участию в кампании борьбы за повышение производительности труда; неудивительно, что они не пользовались большим уважением среди рабочих. Советское руководство было осведомлено об этой ситуации, и она вскоре изменилась [41]. Согласно исследованию Джона Скотта, в 1934-1935 годах, после того как профсоюзы реорганизовали свою работу и взяли под свое ведение широкий спектр деятельности по социальному обеспечению, отношение к ним со стороны рабочих стало иным [42].

В одном только 1937 году бюджет Магнитогорского филиала Союза металлургических рабочих составлял 2,7 млн. рублей плюс социальный фонд страхования в 8,8 млн. рублей (фонд финансировался за счет отчислений из заработной платы). В этом году из фонда социального страхования было отпущено более 3 млн. рублей на оплату отпусков по беременности и на выплаты временно или постоянно нетрудоспособным. Фонды профсоюза использовались также для покуп-

ки коров, свиней, швейных машинок и мотоциклов для рабочих, на оплату летних лагерей для их детей и на финансирование спортивных клубов. Профсоюзы стали играть центральную роль в жизни советских рабочих [43].

Советское предприятие стало узловым пунктом взаимодействия различных организаций: партии, НКВД, профессиональных союзов, а также инспекции по охране труда и органов системы здравоохранения. Их многочисленные задачи варьировались - от увеличения производства стали и правильной вентиляции цехов до политического образования, полицейских интриг и помощи нетрудоспособным рабочим или их семьям. То, что подчас эти цели противоречили друг другу, а некоторые из этих организаций конфликтовали между собой, только подчеркивало значение предприятия как места исключительной важности, требующего особого внимания. Степень влияния каждой из этих организаций - администрации, партии, НКВД, профессиональных союзов и технических специалистов - была различной. Часть задач, очевидно, обладала высшим приоритетом, и ничто не могло сравниться по важности с широко истолковываемыми интересами «государственной безопасности», частицы интернациональной «классовой борьбы».

На советском предприятии в центре внимания не был ни вопрос о собственности рабочих на средства производства, ни о рабочем контроле; и то и другое уже существовало, поскольку правящий режим определял себя как «государство диктатуры пролетариата». Имело значение лишь выполнение рабочими своих профессиональных обязанностей, их отношение к своей работе и все связанные с этим поступки, включая проявления реальной или мнимой политической лояльности. По этим показателям нескончаемые кампании борьбы за повышение производительности труда или за рост политической грамотности (требовавшие увеличения напряженности труда каждого рабочего в отдельности) преподносились как проявление передового сознания рабочих и как отличительный признак труда в социалистическом обществе. Без сомнения, ведущей кампанией такого рода было стахановское движение, возникшее при поддержке властей вслед за трудовым подвигом донбасского шахтера Алексея Стаханова, совершенным в угольном забое в один из августовских дней 1935 года [44].

После стахановской «рекордной смены» были предприняты попытки добиться аналогичных прорывов в других отраслях промышленности, а затем превратить эти рекордные смены в более длительную кампанию. По всей стране 11 января 1936 года было объявлено стахановскими сутками, за которыми последовала стахановская пятиднев-

ка (с 21 по 25 января), стахановская декада, затем стахановский месяц и т.п., пока, наконец, весь 1936 год не был окрещен «стахановским годом» [45]. Некоторые стахановцы, действительно, казались одержимыми идеей рекордов: они чуть свет приходили в цех, наводили порядок на своем рабочем месте и проверяли готовность оборудования к работе [46]. Тем не менее другие рабочие, как сообщалось в газетах, «неправильно» поняли стахановскую декаду: когда период стремительного трудового натиска закончился, они решили, что «мы работали десять дней, теперь мы можем отдохнуть» [47].

Но отдых не входил в официальную программу. В начале 1936 года газетные заголовки объявили о вступлении в действие «новых норм для новых времен» [48]. Николай Зайцев, начальник мартеновского цеха № 2 в Магнитогорске, в своих неопубликованных записках отметил, что, хотя стахановское движение в его цехе началось только в январе 1936 года, уже к февралю нормы выработки были повышены с 297 до 350 тонн стали за смену. Зайцев добавил, что никто не справлялся с новыми нормами [49]. Подобное настроение отразилось и в словах одного рабочего коксового цеха, заявившего репортеру заводской газеты, что «с теми нормами, которые существуют сейчас, я работать по-стахановски не могу. Если снизят нормы, то тогда смогу объявить себя стахановцем». Другой, якобы, сказал тому же репортеру, «что-де, мол, зимой еще сможет работать по-стахановски, а летом на печах жарко, не вытерпит» [50].

Центром стахановского движения в Магнитогорске был обжимный цех (блюминг), где ради установления громких рекордов было пролито немало пота и крови [51]. «Сейчас работать на блюминге стало физически тяжело, - заметил оператор-стахановец В.П.Огородников, чьи размышления также не предназначались для печати. - Раньше легко было, потому что давали 100-120 слитков и два-три часа в смене стоишь. Сейчас полных восемь часов напряженно работаешь, так что очень тяжело работать» [52]. Кроме того, усиливавшееся давление ощущало на себе и руководство блюминговым производством.

Федор Голубицкий, назначенный в 1936 году начальником обжимного цеха, выразил тот взгляд на трудовые отношения, который можно считать превалирующим для его времени: в задачи руководителя, указывал он, входит «изучать людей». Он советовал руководителю узнать ближе своих подчиненных, их нужды и настроения, найти с ними общий язык. Превыше всего, говорил он, не терять связи с массами. Но Голубицкий признавал, что в периоды повышенной трудовой активности, связанной со стахановским движением, цеха работали, «как на войне», и что его работа стала серьезным испытанием [53].

Помимо такого давления, стахановское движение породило и явление, которое можно назвать рекордоманией, превратившей плавку или прокат стали в спортивное состязание. В годовщину рекордной смены Алексея Стаханова в газете «Магнитогорский рабочий» появилась статья под заголовком «Замечательный год», подписанная рабочим блюминга Дмитрием Богатыренко. Окидывая взглядом прошедший год, Богатыренко разделил его на этапы по количеству слитков, обжатых во время «рекордных» смен:

12 сентября 1935 г.	Огородников	211
22 сентября	Тищенко	214
25 сентября	Богатыренко	219
9 октября	Огородников	230
(?) октября	Богатыренко	239
29 октября	Огородников	243
11 января 1936 г.	Огородников	251
(тот же день, следующая смена)	Черныш	264

В конце он добавил: «Вот чего может достичь энтузиазм» [54].

Такая игра в победителей, широко освещавшаяся в газетной печати (где заметки часто сопровождалась фотографиями), кажется, захватила воображение формирующегося советского рабочего класса. В своих неопубликованных записках Огородников рассказывал: «Жена спрашивает: “Почему ты не бываешь нигде, не ходишь никуда?.. Почему? Это заразная болезнь?” Потому, что я должен уйти рано, подготовить все, посмотреть, что и как там. Работа на блюминге - это заразная болезнь..., если человек заразится этой работой, ему ничего на ум не идет» [55] ...

После того как Огородников и Черныш 11 января 1936 года друг за другом установили два рекорда, они были премированы новыми мотоциклами [56]. За помощь в организации рекордных смен различные награды были розданы также начальникам цеха, включая большие денежные премии, иногда до 10 000 рублей. В марте 1936 года, как раз перед назначением на пост начальника обжимного цеха, Голубицкий в числе четырех магнитогорских передовиков был премирован легковым автомобилем [57].

Стахановское движение заслуживало внимания еще и потому, что оно открыло новые широкие перспективы для советских рабочих, чей стремительный взлет был иногда поразительным. Алексей Тищенко, который уже к семнадцати годам работал грузчиком на донбасском руднике, приехал в Магнитогорск осенью 1933 года и сразу же стал

учеником оператора мостового подъемного крана на блюминге. К маю 1935 года двадцатипятилетний Тищенко был квалифицированным ножничным оператором и в последующие месяцы вступил в соревнование с другими «младотурками» за обжим рекордного количества слитков стали за одну смену [58].

Обучение мастерству таких молодых рабочих, как Тищенко, обычно проходило под руководством кого-либо из немногих имеющих на предприятии опытных рабочих. Старший мастер на стане «300» Михаил Зуев, рабочий-ветеран с пятидесятилетним стажем (ему был тогда 61 год), утверждал, что если в прошлом мастера скрывали секреты своего ремесла, то в социалистическом обществе 1936 года они добровольно передают свои знания новому поколению. Зуева, «мобилизованного» из Мариуполя в Магнитогорск в марте 1935 года, часто привлекали к произнесению речей, обычно под названием «Все дороги нам открыты», где он повествовал молодому поколению о том, как он более тридцати лет работал «на эксплуататоров», а после Октябрьской революции трудился «только для народа» [59].

Увеличение зарплаты некоторым стахановцам, основанное на премиальной системе, было намеренно впечатляющим. Семья Зуевых - Михаил и три сына (Федор, Василий и Арсений), наставником которых был он сам, - вместе заработали за 1936 год почти 54 000 рублей, тогда как сам Михаил Зуев превзошел всех рабочих, получив за год зарплату в 18 524 рубля [60]. В декабре 1935 года Зуев одним из первых среди магнитогорских рабочих получил вторую высшую государственную награду - орден Красного Знамени [61]. На следующее лето он был премирован путевкой в Сочи на всю семью [62].

Вторым после Зуева по уровню заработной платы был Огородников. В 1936 году оператор блюминга заработал 17 774 рубля; часть этих денег была им потрачена на строительство собственного дома. «Дом стоил семнадцать тысяч, - рассказывал Огородников в неопубликованном интервью, - две тысячи своих дал, 7 800 будут вычитывать на двадцать лет, а остальные комбинат взял на себя». До революции, наверное, лишь владелец завода или представитель высшего технического персонала мог накопить такое количество денег и купить частный дом [63].

По-видимому, никто из магнитогорских стахановцев не жил лучше, чем Владимир Шевчук. Мастер среднего сортового стана (стана «500») Шевчук, как сообщала газета, получал в среднем 935 рублей в месяц во второй половине 1935 года и 1 169 рублей в первой половине 1936 года. На вопрос, что он сделал со всеми этими деньгами, Шевчук ответил, что потратил большую их часть на одежду. «У жены три паль-

то, шуба хорошая, у меня два костюма, - рассказывал он, - и в сберкасу положено». Шевчук также имел редкую в те времена трехкомнатную квартиру и в то лето провел со своей семьей отпуск в Крыму. Помимо велосипеда, граммофона и охотничьего ружья, он был награжден орденом Красного Знамени. Сделка с властями завершилась, когда, согласно сообщению прессы, Шевчук «приветствовал» смертный приговор, вынесенный троцкистам в 1936 году, «с чувством глубокого удовлетворения» [64].

Имена Шевчука, Зуева, Огородникова, Тищенко, Богатыренко, Черныша и некоторых других стали нарицательными. В августе 1936 года городская газета, посвященная первой годовщине рекорда Алексея Стаханова, поместила фотографии 20 магнитогорских стахановцев: четырех из прокатного стана, одного из доменного цеха, одного из мартеновского цеха и остальных из других цехов предприятия. Газета сообщала, что имена этих рабочих помещены на Доску почета предприятия, и что они «заработали право рапортовать [о своих победах] Сталину и Орджоникидзе» [65]. Один исследователь предложил различать «рядовых» стахановцев - и «выдающихся», которых по всей стране насчитывалось не более ста (или около того). Логичнее, используя термин того времени, называть их скорее «знатными», чем «выдающимися» [66].

Гласность, окружавшая «знатных» рабочих, конечно, была частью хорошо продуманной стратегии. «Окружать славой людей из народа - это имеет принципиальное значение, - писал Орджоникидзе на страницах «Правды». - Там, в странах капитала, ничто не может сравниться с популярностью какого-нибудь гангстера Аль Капоне. А у нас, при социализме, самыми знаменитыми должны стать герои труда» [67]. Вскоре после публикации статьи Орджоникидзе магнитогорский партийный секретарь Рафаэль Хитаров во время апогея стахановского движения провозгласил стахановцев «революционерами» в производстве [68].

Хитаров сравнивал стахановское движение с партийной работой, приплетая тут же политические рассуждения о повышенной бдительности. Он приравнивал «открытия» на рабочем месте, якобы ставшие возможными благодаря стахановскому движению, к «открытиям» в партийной организации, якобы ставшим возможными благодаря обмену и проверке партийных билетов [69]. Однако не все стахановцы были членами партии. Огородников, которому, по-видимому, мешало вступить в партию его классовое происхождение, писал: «Когда я прокатаю [сталь] и обгоню Богатыренко (члена партии), то на меня

не смотрят. А когда Богатыренко меня обгонит, то это хорошо. Я был как партизан» [70].

Вопрос о том, насколько здоровым было такое напряженное соревнование, как между Огородниковым и Богатыренко, стал одной из главных тем в неопубликованной рукописи о стахановском движении в Магнитогорске, написанной в разгар кампании. Автор ее писал, что гнетущую необходимость погони за рекордами ощущал на себе каждый цех, каждая смена, каждый начальник цеха; отмечал, что машины, не выдерживая гонки, одна за другой выходили из строя, и что один рабочий блюминга в цехе-рекордсмене лишился ноги. Он также писал о «нездоровой атмосфере» в цехах, где расхаживали замасленные рабочие, «думая, что они божества» [71].

Страсти, кипевшие вокруг стахановского движения, были нешуточными. До масштабов всенародного скандала вырос случай с Огородниковым, который 30 марта 1936 года сбежал с комбината в Мокеевку, заявив, что его дискриминировали в цеху. По словам Огородникова, его обозвали «рвачом» и сказали, «что я гоняюсь только за длинным рублем, что я не советский элемент, что я, будто бы, кулацкого происхождения». Потребовалось вмешательство НКТП (Народного комиссариата тяжелой промышленности), чтобы вернуть беглеца в Магнитогорск [72]. Со стахановским движением был связан и другой скандал - принудительное возвращение на предприятие Андрея Дюндикова, прославленного рабочего с четырехлетним опытом работы в доменном цеху, который «улетел» оттуда в гнев, поскольку не мог понять, почему «некоторые» получили машины, а он нет [73].

Чувство возмущения поднималось не только среди знатных стахановцев; напряженно складывались их взаимоотношения и с остальными рабочими, и с управленческим персоналом. Начальник цеха Леонид Вайсберг, признавшись в частной беседе: «мы часто создаем... условия, скажем, несколько лучше, чем обычно, для создания рекорда», высказывал опасение, что некоторые рабочие не сознают, что без этой помощи им никогда бы не стать «такими героями» [74]. Не излагая своего собственного взгляда, Зайцев из мартеновского цеха отмечал, что инженеры возмущались стахановцами, которые, по их мнению, были превращены в героев ценой нещадной эксплуатации оборудования [75].

Зайцев добавил, что некоторые рабочие также считали трудовые рекорды опасными для оборудования; неудивительно, что с начала попыток ввести «стахановские методы» в мартеновском цеху печи все чаще выходили из строя. Между тем в газете «Магнитогорский рабочий» появилось сообщение о лекции одного ученого из Магнитогорс-

кого горно-металлургического института, где тот говорил о неблагоприятном воздействии стахановской практики ускорения сталеплавильных процессов на оборудование. «Такая перегруженность печей, - предостерегал профессор, - является абсурдом». Возражая ему, газета ссылалась на заводскую практику, доказавшую, по ее словам, прямо противоположное [76].

Как подчеркивалось на страницах газеты, стахановское движение сделало возможным «штурмовые натиски» на технические возможности машин и другого оборудования, значительная часть которого была импортирована из капиталистических стран. Утверждалось, что «пересмотр» мощностей оборудования стал возможным путем обнаружения и высвобождения неких «скрытых резервов», что доказывало превосходство советских рабочих и их методов работы, служило утверждению независимости советской страны от иностранцев и иностранных технологий и заставляло усомниться в истинных намерениях иностранных поставщиков - все это, конечно, способствовало повышению политического сознания трудового народа. После каждого нового рекорда советские руководители заявляли, что мощности, запроектированные иностранными инженерами, были «пересмотрены» и «исправлены» «советскими специалистами» [77]. Эти явные или мнимые скачки в производительности приобретали еще большее политическое значение в контексте международной «классовой борьбы». Стахановское движение, утверждал «Магнитогорский рабочий», было «ударом по фашизму» [78].

Тем не менее, как вскоре ощутили на себе руководители, инженеры и рабочие, «пересмотр» мощностей с целью повысить производственные показатели может вызвать и обратный эффект. Когда последовало несколько серьезных несчастных случаев, вплоть до смертельного исхода, из-за которых пришлось приостанавливать или сокращать производство, начались аресты. В августе 1936 года газета сообщила об увольнении начальника обжимного цеха блюминга Васильева (и о назначении на его место Голубицкого). Это произошло после того, как в течение трех дней цех вынужден был работать вполовину своей мощности. Вскоре Васильев был отдан под суд за превышение допустимых мощностей и создание аварийной ситуации на производстве. Но кто определял границы допустимого в ситуации постоянного взвинчивания норм, и как принимались подобные решения, оставалось неясным [79]. Ясно было лишь то, что и чрезмерное рвение в поддержке стахановского движения, и отсутствие такого рвения могут дорого обойтись [80]. Был случай, когда беспартийный инженер, по видимому, выступавший против стахановского движения, навлек на

себя уголовное обвинение и оказался в эпицентре яростной травли со стороны прессы [81].

Рабочие, со своей стороны, вряд ли могли не замечать, что стахановское движение напоминает потогонную систему, налагавшую чрезмерную ответственность на руководителей и создавшую напряженные отношения между руководителями, мастерами и рабочими, что зачастую не шло на пользу интересам производства [82]. Но и за открытое выступление «против» рабочим приходилось платить слишком высокую цену. Так, помощник сталевара, якобы утверждавший, что стахановское движение является попыткой поработить рабочий класс, был арестован в ноябре 1935 года и приговорен к принудительным работам [83]. Не менее важны были и те выгоды, которые сулило приятие политики властей. Стахановское движение превращало наиболее тяжелые виды работ в «горячих цехах» в наиболее престижные, что обеспечивало каждому, кто брался за них, высокий социальный статус и хорошую зарплату [84].

Стахановское движение усилило уже существовавшую склонность обсуждать проблемы промышленного производства исключительно в контексте задачи повышения производительности труда. Проблема производительности труда, в свою очередь, сводилась к вопросу о его «рационализации», то есть об экстраординарных затратах личного труда, которые должны были свидетельствовать о росте сознательности рабочих. Стахановца вскоре объявили новым типом рабочего, а стахановское движение затмило даже ударничество, этот архетип «социалистического труда» (правда, так и не вытеснив его полностью). В течение 1936 года число стахановцев в Магнитогорске росло буквально день ото дня, и к декабрю уже более половины рабочих металлургического комплекса заработали или это звание, или определение «ударник». Впечатляющий рост числа рабочих, удостоенных подобных титулов, красноречиво свидетельствовал о том, сколь широко новые категории и произраставшие из них новые отношения охватывали рабочих и управленческий персонал [85].

Поощряемые материальными и моральными стимулами, рабочие всех возрастов - не только молодые - боролись за честь «перевыполнить» свои нормы на 150-200%: данные о таких свершениях заносились в личное дело рабочего и учитывались при расчете заработной платы; а, если повезет, имя передовика попадало и в городскую печать. Среди рабочих определенно наблюдалось некоторое расслоение, хотя его значение нельзя преувеличивать (для рабочих было важнее, что начальники оставались начальниками). Наиболее существенным обстоятельством было то, что в общей шумихе не только стахановцы,

но и все рабочие в целом оказались под воздействием обширной пропагандистской кампании, неустанно твердившей об их важной роли в жизни общества и об их принадлежности к особой социальной группе [86].

Беспрестанное провозглашение рабочих представителями нового советского рабочего класса встречало сочувственный отклик в большой аудитории. Василий Радзюкевич, приехавший в Магнитогорск в 1931 году из Минска (через Ленинград), вспоминал пять лет спустя, что когда он прибыл, блюминг был еще в строительных лесах. Он участвовал в его строительстве. В 1936 году, когда блюминг отмечал свою третью годовщину, Радзюкевич уже был квалифицированным рабочим на одном из других, еще более новых сортовых станков [87]. Приобретение профессии для таких людей было своего рода Рубиконом. П.Е.Велижанин, после приезда в Магнитогорск 29 декабря 1930 года, волей случая был включен в бригаду нагревальщиков для работы на паровых котлах, которых он никогда до этого не видел. «Я тогда (вспоминал он четыре года спустя) не мог себе представить, что такое “нагревальщик“ и какую он выполняет работу, потому что я до приезда на Магнитострой никогда не видел котельной работы». Но к 1934 году он вполне овладел новой профессией [88].

Судьба Радзюкевича и Велижанина была судьбой десятков тысяч [89]. Они получили рабочие спецовки и настоящие сапоги вместо лаптей, что знаменовало их новое рождение в качестве квалифицированных рабочих. Кроме того, их восхождение в трудовом мире часто сопровождалось переездом из палаток в жилые бараки, затем в бараки с отдельными комнатами, и, наконец (если посчастливится), в собственную комнату в кирпичном здании. Правда, работа зачастую была изнурительной [90]. И остается неизвестным, ощущали ли рабочие, оставаясь наедине с собой, что они пересекли заветную черту, поднявшись от жертв эксплуатации до хозяев производства; от жалких, безграмотных, неотесанных рабов - до строителей нового мира и новой культуры. Но даже если рабочие (вопреки риторике режима) сознавали, что они отнюдь не хозяева, они также знали, что являются частью советского рабочего класса, и что, каковы бы ни были его недостатки, их положение отличается от жалкого существования рабочего при капитализме. Эти аксиомы, казалось, подтверждал их собственный социальный и профессиональный рост.

За призывами к самообразованию стоял конкретный процесс непрерывного обучения, строящегося вокруг трудового процесса. Филатов, приехавший в Магнитогорск в январе 1931 года, на вопрос о его трудовой биографии ответил так: «Я поступил чернорабочим, потом вошел в бригаду и старался повысить разряд и квалификацию.

Если б я был грамотным, я бы учился, но как неграмотный я посещал ликбез». Филатов вскоре «успешно закончил» курсы ликвидации безграмотности и стал учиться уже тому, что имело непосредственное отношение к производству. «Теперь читаю, пишу, решаю задачи, - добавил он, - и... изучаю особенности чертежей» [91]. Именно из таких людей выросло несколько видных стахановцев [92].

Если рабочее место часто сравнивали со школой, школы стали продолжением рабочего места, по мере того как рабочие боролись за овладение грамотностью, профессией и постоянно повышали свое мастерство [93]. В начале 1930-х годов существовало много неформальных курсов и кружков, включая дискуссии на открытом воздухе и на рабочем месте, а в 1931 году ввели еще одну форму повышения квалификации - «технические часы» [94]. Позднее власти различными путями побуждали рабочих к участию в программе так называемого дополнительного рабочего образования (ДРО); наиболее важным стимулом стало введение гостехэкзамена - экзамена по техническому минимуму, аналогичному начальной грамоте [95].

Фактически каждый житель Магнитогорска, даже те, кто работал полную смену, был охвачен той или иной формой обучения - на рабочем месте или в свободное от работы время, что усиливало идущие на предприятии процессы социализации и политизации рабочих [96]. Джон Скотт связывает тягу рабочих к образованию с их стремлением получать дифференцированную заработную плату, с их потребностью быть уверенными, что они получают работу соответственно профилю своего образования или дополнительной подготовки [97]. К этим причинам нужно добавить чувство новизны и, сверх того, удовлетворение от достижения поставленной цели [98]. О тех, кого руководство выделяло «именно как тип нового мастера», говорили, что они «понимают, что успех заключается одновременно и в техническом освоении стана и, так сказать, повышении квалификации людей» [99].

Конечно, рабочие вряд ли могли позволить себе благодущное самодовольство. Удовлетворение их потребностей в еде, одежде и жилье зависело не только от их потенциальных профессиональных достижений, но и - преимущественно - от доступа к централизованной системе снабжения. Помимо того, нельзя сбрасывать со счетов и сильное моральное давление, побуждавшее рабочих демонстрировать свое стремление к самообразованию. Но многие были только рады подхватить громогласные партийные призывы и включиться в непрерывную борьбу за свое развитие.

Только в рамках этого бегло набросанного контекста - того значения, которое придавалось труду и статусу рабочего; связи труда каж-

дого с международной классовой борьбой; использования норм выработки и сдельных расценок для индивидуализации труда и превращения его в количественно измеряемый процесс; одержимости повышением производительности труда и рационализацией трудового процесса, которая вылилась в серию громких кампаний; понимания профессиональной подготовки рабочих как политического образования; важной роли политических организаций на предприятии; сильной потребности рабочих в самообразовании - мы начинаем понимать значение той нарождающейся социальной самоидентификации, которая воплотилась в списке, прикрепленном у входа в барак № 8.

Идентификационные игры

Для советского рабочего роль важного ритуала в определении его места среди других играла его трудовая биография, и среди наиболее важных ее деталей было время и место начала трудового пути. Для рабочих было обычным делом похвалиться друг перед другом тем, кто начал работать в более раннем возрасте: в пятнадцать, в двенадцать лет и т.п. [100]. Наибольшую ценность приобретал первоначальный трудовой опыт, приобретенный в промышленности, особенно на каком-либо из старых и известных промышленных предприятий, таких как Путиловский завод (переименован в Кировский) в Ленинграде, или Гужон (переименован в «Серп и молот») в Москве. Особенно чванился тот, кто мог проследить свою пролетарскую родословную от отца до деда и даже прадеда. Так, предметом гордости могло быть происхождение из «династии операторов доменной печи» Павла Коробова, ученика оператора доменной печи, который в 1937 году в результате головокружительного «выдвижения» превратился в директора Магнитогорского комбината [101].

Детали идентификации рабочего подчеркивали успехи, но идентификация также могла быть и «негативной». Например, если рабочий неоднократно создавал аварийные ситуации, к нему или к ней приклеивался ярлык «аварийщиков», что могло стать причиной увольнения. В 1936 году на страницах «Магнитогорского рабочего» был помещен список «аварийщиков» и таблица частоты аварий [102]. Со временем негативные моменты послужного списка рабочего приобретали все большее значение. Оставалось неизменным одно: каждый был обязан иметь трудовую биографию, причем выраженную в политически значимых категориях.

Если говорить более конкретно, то послужной список рабочего составляли различные документы, такие как анкета, характеристика

и личная карточка (краткая форма личного дела), которые все рабочие заполняли при приеме на работу и куда затем постоянно вносились дополнения. Позже рабочим потребовалось иметь «трудовую книжку», без которой они не могли устроиться на работу [103]. Но практика определения социального облика рабочих на основании их трудовых биографий существовала задолго до введения трудовых книжек [104].

Поскольку практика идентификации людей на основании их трудовых биографий была столь распространенной, проявления ее можно было найти почти в каждом официальном документе. На обороте папки с одним архивным «делом», где хранятся воспоминания рабочих, мне довелось увидеть список лиц, отмеченных в 1933 или 1934 году «ударными пайками». В списке указывались имя, отчество и фамилия, род занятий, партийность, число прогулов, сведения о посещении производственных собраний, о прохождении учебы или дополнительной профессиональной подготовки, внесенных рационализаторских предложениях; указывались проценты выполнения норм и данные об участии в социалистическом соревновании. Что делало такие записи особенно важными, - это то, что они не только собирались и подшивались в «дело», но и были основанием для распределения материальных благ [105]. Трудовые биографии также становились достоянием общественности, превращаясь, таким образом, в важный ритуал, необходимый для достижения признания среди равных себе или у других социальных групп.

Устные рассказы о себе практиковались на «вечерах воспоминаний», которые, в свою очередь, были частью широкомасштабного проекта по написанию истории строительства Магнитогорского комбината. Для создания такой истории (которая так никогда и не была опубликована) у сотен рабочих брали интервью или просили их письменно ответить на вопросы анкеты. Неудивительно, что вопросы были сформулированы с таким расчетом, чтобы затронуть определенные темы (и избежать обсуждения других, нежелательных тем). Большая часть вопросов так или иначе касалась стахановского движения, упомянутого соответственно и в большинстве воспоминаний рабочих (подавляющая часть их была записана в 1935 и 1936 годах) [106]. Поскольку некоторые воспоминания сохранились в рукописном варианте и содержат грамматические ошибки, а другие аккуратно и без ошибок напечатаны на машинке, ясно, что ответы рабочих были, по меньшей мере частично, переписаны заново [107]. Тем не менее было бы ошибкой заключить, что воспоминания рабочих «тенденциозны» и поэтому не имеют особой ценности. Суть дела заключается именно в том,

что рабочих побуждали писать об определенных проблемах и избегать упоминания о других. Сам тот факт, что рабочие иногда «ошибаются» и что их рассказы надо корректировать (как в грамматическом, так и в смысловом аспектах), демонстрирует, что они должны были научиться говорить о себе неким формальным языком [108].

И, конечно, в высшей степени примечательно само то, что воспоминания рабочих фиксировались и превращались в объекты восхищения. В действительности, даже если у магнитогорского рабочего или работницы не брали интервью в рамках проекта создания истории комбината, его или ее достаточно часто побуждали рассказывать свою биографию. Так, раскулаченных крестьян буквально в день прибытия на комбинат подробно расспрашивали об их биографии; это можно было бы расценить как свидетельство того, что раскулаченных воспринимали как потенциальный источник опасности [109]. Но рабочих без «криминального» прошлого также «из соображений безопасности» заставляли указывать свое социальное происхождение, политическое прошлое и вехи трудовой биографии. Часто их приучали воспринимать подобную «исповедь» как нечто само собой разумеющееся, как часть устоявшегося порядка вещей.

Даже когда эти признания касались досуга рабочих, их основная деятельность все равно продолжала оставаться в центре внимания. В 1936 году, к седьмой годовщине начала социалистического соревнования, несколько рабочих Магнитки были опрошены о том, чем они занимаются в свое свободное время. Каждый из десяти ответов, опубликованных в городской газете, начинался с рассуждений о зависимости между выполнением плана и личным, «внутренним» удовлетворением (учитывая, что от выполнения плана зависел и уровень заработной платы рабочего, и степень уважения к нему, это заявление не было столь смехотворным, как может показаться). Практически все опрошенные рабочие заявили, что в свободное время любят читать, и это неудивительно, поскольку чтение и стремление к самообразованию считались тогда необходимыми для каждого. Наиболее же показательным то, что почти все опрошенные, по их собственным словам, проводили свой «досуг», посещая... цех, чтобы, по словам одного из них, «посмотреть, как там дела» [110].

Отождествление себя со своим цехом было развито у рабочих, по видимому, достаточно сильно. Алексей Грязнов, вспоминая в ноябре 1936 года о своем приезде на комбинат тремя годами раньше, когда там была только одна доменная печь (теперь там действовало двенадцать), вел дневник о том, как он стал настоящим сталеваром. В заводской газете были опубликованы выдержки из дневника - рассказ

о том, как развивался своеобразный «роман» между Алексеем и его домной [111]. Городская газета цитировала слова Огородникова, назвавшего Магнитогорск своим «родным заводом» [112]. Прилагательное «родной», обычно означающее «свой по рождению», в данном случае подчеркивало характер отношения рабочих к своему заводу: он дал им рождение. Для этих людей не существовало раздвоенности между домом и работой, между разными сферами их жизни, общественной и личной: все было «общественным», и «общественное» означало «заводское».

Жены рабочих также должны были привыкнуть воспринимать цех как основное в жизни. «У нас на Магнитке, как нигде, по-моему, - заявлял Леонид Вайсберг, - вся семья, больше чем где бы то ни было, участвует и живет жизнью нашего производства». Он утверждал, что были даже случаи, когда жены не пускали своих мужей ночевать домой, потому что они показали себя с плохой стороны в цеху. И подобное осуждение не было мотивировано только денежным вопросом. Жены гордились работой своих мужей и часто принимали живое участие в их производственной деятельности. Женщины создавали суды, чтобы пристыдить мужей за пьянство и заставить работать лучше, а некоторые жены по собственному почину регулярно посещали цех, чтобы проверить, ободрить или отчитать супруга [113].

Какое словесное воплощение обретала новая социальная идентичность и как она становилась действенной (иногда не без участия жен), можно увидеть из длинного письма, сохранившегося в архивах проекта по созданию истории комбината. Это письмо от жены лучшего машиниста внутризаводской железной дороги, Анны Ковалевой, к жене худшего - Марфе Гудзии. Привожу его текст полностью:

«Дорогая Марфа!

Мы с тобою жены машинистов железнодорожного транспорта Магнитки. Ты, наверно, знаешь, что транспортники ММК (Магнитогорского Металлургического комплекса) им. Сталина не выполняют план, срывают снабжение домен, мартена и проката и перевозку готовой продукции. Все рабочие Магнитки обвиняют наших мужей, говорят, что транспортники тормозят выполнение промфинплана. Обидно, больно и досадно это слышать, и тем более обидно, что все это суцкая правда. Каждый день на транспорте большие простои вагонов и аварии. А ведь наш внутризаводской транспорт имеет все необходимое, чтобы план выполнять. Для этого нужно работать по-изотовски. Работать так, как работают лучшие ударники нашей страны. Среди этих ударников и мой муж, Александр Пантелеевич Ковалев.

Он работает всегда по-ударному, перевыполняет нормы, экономит топливо и смазку. Его паровоз хозрасчетный. Мой муж изотовец. Он взял шефство и из 5 чернорабочих подготовил помощников машинистов. Сейчас он взял шефство над паровозом № 71.

Мой муж получает премии почти каждый месяц. 31-го декабря мой муж, как лучший ударник, опять получил премию 310 руб., да и я премирована, получила 70 руб. Машина у моего мужа всегда чистая и исправная. Вот ты, Марфа, нередко жалуешься, что трудно вашей семье жить. А почему так происходит? Потому что твой муж, Яков Степанович, не выполняет плана, у него частые аварии на паровозе, машина у него грязная, и у него большой пережог топлива. Ведь над ним смеются все машинисты. Его знают все транспортники Магнитки с нехорошей стороны, как самого плохого машиниста, и, наоборот, моего мужа знают как ударника (выделено мной - С.К.). О нем написали и расхвалили его в газетах... Везде ему и мне почет. В магазине мы, как ударники, получаем все без очереди, нас переселяют в Дом ударника. Нам дадут квартиру с обстановкой, коврами, патефоном, равно и другими культурными удобствами. Сейчас нас прикрепляют к новому магазину ударников и мы будем получать двойной паек... Скоро будет XVII съезд нашей большевистской партии. Все железнодорожники обязаны так работать, чтобы обеспечить работу Магнитки на полную производственную мощность, и поэтому я прошу тебя, Марфа, поговори со своим мужем по душам, прочти ему мое письмо. Ты, Марфа, разъясни Якову Степановичу, что дальше так работать нельзя. Убеди его, что работать нужно честно, добросовестно, по-ударному. Научи его понимать слова тов. Сталина о том, что "труд - дело чести, дело славы, дело доблести и героизма".

Ты ему расскажи, что если он не исправится и будет работать плохо, то его выгонят и лишат снабжения...

Я попрошу своего Александра Пантелеевича взять на буксир твоего мужа, помочь ему исправиться и стать ударником, больше зарабатывать. Мне хочется, Марфа, чтобы ты и Яков Степанович пользовались почетом и уважением, чтобы вы жили так же хорошо, как и мы. Знаю, что многие женщины, да, может быть, и вы сами, скажете: какое, мол, жене дело вмешиваться в работу мужа. Живешь хорошо, ну и помалкивай. Но это все не так... Все мы должны помогать своим мужьям бороться за бесперебойную работу транспорта зимой. Ну, довольно. Ты меня поймешь, уж и так письмо длинно. В заключение хочу одно сказать - хорошо быть женой ударника. Сила вся в нас самих. Возьмемся вот все дружно, так задачу и выполним. Я жду твоего ответа.

Анна Ковалева» [114].

По словам Анны Ковалевой, муж Марфы, Яков Гудзия, слыл самым плохим машинистом железной дороги, в то время как ее муж, Александр Ковалев, считался лучшим. Хотел ли сам Яков Гудзия видеть себя таковым, в известном смысле, не имело значения - так он выглядел со стороны. Для его собственной пользы самым лучшим было бы принять участие в игре согласно установленным правилам. Паровоз Гудзии был грязным и перерасходовал топливо. Что мог Гудзия представлять собой как личность? Что могла представлять собой его семья? Тем более что после отправки письма Ковалева узнала, что Марфа Гудзия была неграмотной. Но Марфа была не просто «неграмотной» в буквальном смысле слова: она не умела, как, по-видимому, не умел и ее муж, жить и «говорить по-большевистски» - на этом обязательном языке самоидентификации, который служил барометром политической преданности делу [115].

Уметь «говорить по-большевистски» и публично выражать таким образом свою политическую лояльность было главной задачей, но мы должны быть осторожными при интерпретации подобных поступков этих действий. Строго говоря, письмо, приведенное выше, не обязательно должна была писать сама Анна Ковалева, хотя и она могла это сделать. Но что было необходимо, - это то, чтобы она знала (даже если она всего лишь позволила связать свое имя с этим письмом), как должна думать и вести себя жена советского машиниста. Мы не должны интерпретировать ее письмо в том смысле, что она действительно верила в то, о чем писала или под чем поставила свою подпись. Необходимости верить не было. Но было необходимо, тем не менее, продемонстрировать, что ты веришь, - правило, которое, кажется, было хорошо усвоено, поскольку поведение, которое могло быть истолковано как прямое проявление нелояльности, стало к тому времени редкостью.

Хотя процесс социальной идентификации, требовавшей мастерского владения определенным лексическим запасом официального языка, и был столь мощным, он не был необратим. Начать с того, что отдушиной обычно служила брань или то, что называли «блатным языком». Кроме того, из устных и литературных рассказов известно, что человек в один момент своей жизни мог «говорить по-большевистски», а в другой - «как простой крестьянин», прося о снисхождении за свою явную неспособность овладеть новым языком и новыми нормами поведения [116]. Подобная динамика явно проступает в ситуации с Марфой и Анной.

Если жены пишут другим женам, мужьям в известном смысле дозволяется продолжать вести себя неблагоприятным образом. Письма жен, предназначавшиеся для оказания морального давления на мужа дру-

гой женщины, в действительности могли, вместо этого, снять большую часть давления с правонарушителя: жена получала возможность постоянно повторять формулировки, от исполнения которых постоянно уклоняется ее муж. Можно было бы даже сказать, что возродилась открыто не признаваемая «сфера частной жизни», очаг структурного сопротивления, - супружеская пара, вроде бы соблюдающая правила игры и при этом постоянно нарушающая их [117].

Если такие косвенные и непреднамеренные противоречия были встроены в ход игры в идентификацию, то бросить новым правилам жизни и труда открытый вызов было опасно. Но даже это не было невозможным - при условии, что такой вызов будет соответствовать нормам нового языка и, желательно, содержать отсылки к учению Ленина или Сталина. По меньшей мере в одном случае, о котором рассказано в городской газете, людям было позволено использовать для критики политики режима те же самые официально пропагандируемые идеалы и те же самые ритуалы публичных выступлений, которые обычно предназначались для демонстрации политической лояльности.

Женщины, если их высказывания попадали в печать, обычно фигурировали на страницах газеты только в роли преданных жен. Исключением был Международный женский день, 8 марта, когда они попадали в центр внимания в качестве работниц [118]. Другим исключением была недолгая, но поразительная дискуссия в прессе, посвященная введению законов 1936 года «о защите семьи», когда был услышан протест женщин против новой политики. Одна из них заявила, что плата в 1 000 рублей, которую предлагали ввести за оформление развода, слишком высока. Другая указала, что запретительная стоимость разводов негативно скажется на оформлении браков, что, по ее убеждению, было бы плохо для женщин. Третья еще в более решительной форме осудила ограничительные меры против аборт, написав, что «женщины хотят учиться и работать», и что рождение детей отвлекает женщину от «общественной жизни» [119].

Тем не менее, как показывает даже этот пример, поддерживаемая государством игра в социальную идентификацию, как единственная доступная и обязательная форма участия в общественной жизни, оставалась всеохватывающей. Существовали и другие источники для идентификации, помимо большевистской кампании: связанные с прошлым, такие как крестьянская жизнь, фольклор, религия, родная деревня или иное место рождения («малая родина»), или с настоящим, такие как возраст, семейное положение, отцовство и материнство. Людям приходилось также сталкиваться со стереотипами в восприя-

тии пола и национальности. Но все эти способы высказывания о себе неизбежно преломлялись через политическую призму большевизма.

Возьмем вопрос о национальности. В городской газете под заголовком «Живу в стране, где хочется жить и жить» появилось письмо за подписью Губайдули, электрика доменного цеха:

«Я татарин. До Октября в старой царской России нас не считали и за людей. Об учебе, о том, чтобы поступить на работу в государственное учреждение, нам и думать нечего было. И вот теперь я - гражданин СССР. Как и все граждане, я имею право на труд, образование, отдых, могу выбирать и быть избранным в Совет. Разве это не показатель величайших достижений нашей страны?..

Два года я работал председателем сельсовета в Татарской республике, первым вступил там в колхоз и затем проводил коллективизацию. Колхозное хозяйство расцветает с каждым годом в Татарской республике.

В 1931 г. я приехал в Магнитогорск. Из чернорабочего я превратился в квалифицированного рабочего. Меня и здесь выбрали в состав депутатов горсовета. Ко мне ежедневно, как к депутату, приходят рабочие с волнующими их вопросами, просят оказать нужную помощь. Каждого из них я выслушиваю как своего родного брата и немедленно принимаю меры к тому, чтобы каждый рабочий был всем доволен, всем обеспечен.

Я живу в стране, где хочется жить и жить. И если враг захочет напасть на эту страну, я жизнью пожертвую, чтобы его уничтожить и спасти свою страну» [120].

Даже если такое ясное и недвусмысленное выражение официальной точки зрения не было целиком написано самим Губайдули (хотя знание им русского языка могло быть в действительности вполне достаточным для этого, как и у многих татар) [121], здесь важно то, что Губайдули «играл по правилам», из личных ли интересов, или из страха, или из-за того и другого. Возможно, он еще только учился говорить по-русски; но он, несомненно, учился и «говорить по-большевистски».

Каждый рабочий вскоре узнал, что как для членов партии необходимо проявлять бдительность и «активность» в партийных делах, так и для рабочих необходимо, независимо от партийности, проявлять активность в политике и на производстве. Спектр возможных проявлений такой активности расширялся с каждым днем, включая «добровольную» подписку на облигации государственного займа (к чему призывали в своих речах цеховые агитаторы и профсоюзные активисты); участие в периодических субботниках; внесение «рабочих пред-

ложений» по рационализации производственного процесса (количество их учитывалось как показатель лояльности, а сами они обычно игнорировались); и проведение производственных совещаний.

Освещая производственные совещания, «Магнитогорский рабочий» критиковал их тенденцию перерождаться в «митинговщину», из чего можно заключить, что реальные результаты совещаний не всегда совпадали с намерениями организаторов [122]. То же самое можно было бы по большому счету сказать и о так называемых рабочих рационализаторских предложениях [123]. Но если руководство цеха пыталось прожить без подобных ритуалов, ему оставалось только уповать на божью помощь, потому что рабочие часто относились ко всему этому очень серьезно. Согласно Джону Скотту, на производственных совещаниях «рабочие могли высказываться и высказывались в высшей степени свободно, критиковали директора, жаловались на низкую заработную плату, на плохие бытовые условия, нехватку товаров в магазине - короче, ругались по поводу всего, за исключением генеральной линии партии и полдюжины ее непогрешимых лидеров» [124].

Скотт писал в 1936 году, в то время, когда режим поощрял критику высших должностных лиц «снизу», и когда такая добровольная активность популистского толка была обычным явлением. Но столь же часто, тем не менее, официальные собрания сводились к чистой формальности, а проявления активности «снизу» выглядели как любительское театральное представление [125]. И мы знаем из свидетельств эмигрантов, что рабочие удерживались от выражения недовольства из страха перед доносчиками [126]. Но когда «сверху» поступал сигнал, что настало время для откровенных высказываний, рабочие всегда проявляли готовность воспользоваться этим. И горе тому мастеру или парторгу цеха, которому не удалось заручиться поддержкой рабочих и учесть их настроения, перед тем как вынести на голосование проект резолюции или какого-либо нового правила [127].

Некоторые рабочие, без сомнения, ждали любого удобного случая, чтобы войти в доверие к представителям режима, тогда как другие, по-видимому, пытались избежать участия в предписанных свыше ритуалах. Но спрятаться на самом деле было негде. Если перед началом кампании индустриализации фактически две трети населения страны были «единоличниками», то двенадцатью годами позже эта категория населения почти исчезла: практически каждый формально состоял на службе у государства. Проще говоря, для заработка средств к существованию легальных альтернатив государственному найму почти не существовало [128]. В этом отношении примечателен кон-

траст между большевизацией и «американизацией» иммигрантов в Соединенных Штатах.

Американизация - совокупность различных кампаний, способствующих усвоению и принятию иммигрантами американской культуры, - также могла быть в высшей степени принудительной [129]. Но не каждый американский город контролировало одно-единственное предприятие; и даже в этом случае люди могли уехать в поисках лучшей доли. А если они и оставались, то имели возможность достичь определенной степени независимости от градообразующего предприятия, став владельцами магазинов, торговцами или мелкими фермерами. Как арена для маневров американизация, даже принудительная, предоставляла больше возможностей; в рамках ее существовало больше свободы действий, чем в рамках большевизации.

Тем не менее не следует думать, что советские рабочие были пассивными объектами манипуляций в твердых руках деспотического государства. С одной стороны, многие с энтузиазмом восприняли возможность стать «советскими рабочими» со всем тем, что включало в себя это определение - от демонстрации абсолютной лояльности до подвигов беспримерного самопожертвования. Приобретение новой социальной идентичности приносило свои выгоды - от владения «почетной» профессией до оплачиваемых отпусков, бесплатного медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения после окончания трудовой деятельности, помощи из общественных фондов потребления в случае беременности, временной нетрудоспособности, потери кормильца семьи [130]. Новая идентичность давала определенные права, хотя и налагала свои требования.

Тем не менее, несмотря на существование внушительного репрессивного аппарата, все же существовало много общеизвестных уловок, с помощью которых можно было сохранить, скажем так, некоторый контроль над своей жизнью как на работе, так и в свободное время. На ужесточение трудовой дисциплины рабочие отвечали прогулами, текучестью кадров, «волынкой», или же выносили с работы инструменты и материалы, чтобы использовать их дома для личных нужд [131]. Конечно же, власти боролись с этим. Так, 15 ноября 1932 года был издан закон, согласно которому увольнение с работы влекло за собой отказ в предоставлении продовольственных карточек, а опоздание на работу более чем на один час - выселение с места жительства [132]. Но те же самые обстоятельства, которые, в известном смысле, вызвали к жизни этот жесткий закон, чрезвычайно затрудняли его проведение в жизнь.

Форсированное индустриальное развитие в сочетании с неэффективностью и неопределенностью плановой экономики порождало постоянный дефицит рабочей силы. «По всему городу, - писала магнитогорская газета, - висят объявления отдела рабочих кадров комбината, извещающие население о том, что комбинату требуются рабочие в неограниченном количестве разных квалификаций» [133]. Отчаявшись удержать работников и тем более увеличить их число, руководители часто игнорировали инструкции, которые приказывали им увольнять рабочих за нарушение строгих правил или запрещали нанимать рабочих, уволенных из других мест. В ходе борьбы с прогулами, как постоянно жаловалась магнитогорская газета, складывалась ситуация, когда рабочего «в одном месте выгнали, в другом приняли» [134].

Государственная политика всеобщей занятости еще более усиливала реальную власть рабочих [135]. Рабочие обнаружили, что при отсутствии безработицы или «резервной армии труда» руководители и особенно мастера, находясь под жестким давлением плановых обязательств, становились уступчивее. Результатом стало рождение системы взаимоотношений, основанных на неравной, но, тем не менее, реальной взаимозависимости. Рабочие зависели от начальства, которое, умело оперируя данным ему оружием, - государственной системой снабжения, создающей постоянный дефицит, - определяло площадь и местонахождение квартиры рабочего, разнообразие и качество продуктов, которыми он питался, длительность и место проведения его отпуска, качество медицинского обслуживания, доступного рабочему, работнице и другим членам их семей. Но начальство, в свою очередь, зависело от рабочих в деле выполнения плановых заданий.

Это, правда, не означало, что снизилась важность явного принуждения. Пролетарское государство не стеснялось использовать репрессии против отдельных рабочих, особенно если дело касалось основных «классовых интересов» пролетариата. Мы знаем из эмигрантских источников, что власти неумолимо выявляли любые признаки независимой инициативы рабочих и были чрезвычайно чувствительны к их неформальным собраниям, стремясь истребить любой тип солидарности, зародившийся вне государственного контроля [136]. Но всегда под рукой был гораздо более искусный и, в конечном счете, не менее эффективный метод принуждения: возможность определить, кем являются все эти люди.

Я пытаюсь доказать не то, что новая социальная идентичность, основанная на некоем официальном языке, предназначенном для публичного обихода, была ошибочной или же верной, а то, что без нее невозможно было обойтись, и, более того, что она придавала смысл

человеческой жизни. Даже если мы считаем эти черты социального облика абсурдными, мы должны отнестись серьезно к тому, был ли данный рабочий ударником или саботажником, победителем социалистического соревнования или «аварийщиком». Потому что магнитогорские рабочие должны были относиться к этому всерьез. Более того, если магнитогорцы гордились своими достижениями и наградами или были разочарованы своими провалами, мы должны принять реальность этих чувств, даже если мы не согласны с социальными и политическими ценностями, стоявшими за этими социальными оценками.

Хотя новые термины, в которых воплощалась социальная идентичность, требовалось использовать неукоснительно, не следует воспринимать их как некий «механизм гегемонии», пытаясь объяснить этим все и не объясняя ничего [137]. Скорее их можно представить как «игровое поле», где люди усваивали «правила игры» городской жизни. Эти правила доводило до всеобщего сведения государство с явным намерением добиться беспрекословного подчинения, но в ходе исполнения правил стало возможным оспаривать их или - чаще - обходить стороной. Рабочие не устанавливали норм своих взаимоотношений с режимом, но, безмолвствуя, они сознавали, что могут до известной степени видоизменить эти нормы [138]. Такая возможность «поторговаться» с режимом - пусть не на равных - выросла из сочетания ограничений и льгот именно в ходе игры в социальную идентификацию. И большей частью именно в процессе этой игры люди становились участниками общественной жизни или, если угодно, членами «официального» общества.

Революционная правда

Если признать, что за любым актом личного участия в великом деле большевизма (и за самим принятием новой идентичности) стоял неприкрытый эгоистический личный интерес или вездесущее принуждение, то как быть с возможностью существования искренней веры? Без сомнения, бесконечное повторение правильных слов влекло за собой хотя бы частичную интернализацию, превращение этих слов во внутренние категории индивидуального сознания; но можем ли мы пойти дальше и говорить о подлинной широкой поддержке режима, его политики, его пророческой телеологии, помимо интернализации ценностей режима через язык? На этот вопрос, с которого началась данная глава, ответить нелегко, отчасти по причине огромного значения, которое придавали тогда публичным проявлениям лояльности, а отчасти из-за отсутствия источников. Тем не менее, можно наме-

тить выход из этой дилеммы, если начать не с вопроса о существовании искренней веры, а, следуя Люсьену Февру, с обратного: то есть с вопроса о существовании радикального «неверия». Поэтому нашей задачей будет анализ возможных оснований, источников и мотивов полного отвержения режима и его основных заповедей [139].

В течение 1930-х годов СССР превратился в изолированный, замкнутый мир. К середине десятилетия границы были «на замке», что сделало поездки за рубеж недоступными для всех, кроме особо избранных [140]. Более того, на всю информацию, которую могла получить общественность, налагался строгий контроль, и аудитории дозволялось видеть и слышать лишь то, что прошло через фильтры всеохватывающей идеологии.

Марксизм-ленинизм, официальная идеология советского государства, никогда не был политическим курсом: он всегда был и остается титанической мечтой о рае на Земле, мечтой, которая говорит на языке науки. Это не означает, что научное мировоззрение было лишено неясности и двусмысленностей. Напротив, сама противоречивость коммунистического мировоззрения, не говоря уже о ходовых синонимичных идеологемах - Советы, социализм, большевизм, - оказалась очень удобной, позволяя обращаться по мере необходимости к разным ее сторонам, чуть-чуть смещая акценты. Эта двусмысленность официальной идеологии, как и научность, была в числе ее выигранных сторон.

Как гласит учение марксизма-ленинизма, история развивается в соответствии с определенными научными закономерностями, и существующий режим был воплощением этих объективных закономерностей. Таким образом, противостоять режиму было иррациональным и даже безумным. И если марксизм-ленинизм по существу поставил инакомыслие вне закона, то жесткая государственная цензура отняла у людей сами средства для создания оппозиции. Цензоры не пропускали «негативную» информацию, перерабатывали статистические данные и переписывали историю до такой степени, что достойная дискуссия, не говоря уже об основательной критике, из-за отсутствия информации становилась совершенно невозможной [141].

Не менее существенным, чем «профилактическая» роль цензуры, было то, что цензура стимулировала нескончаемый поток информации и комментариев, предназначенных учить людей, как и о чем думать. Цензоры были воистину «социальными инженерами», а средства массовой информации служили им орудием или оружием, как писал Ленин, в битве за «строительство» коммунистического общества. Руководящие указания, исходившие из печатных органов, ра-

дио, и особенно кинофильмов, внедрялись в умы еще и в ходе обучения в школе, которое включало, начиная с раннего возраста, обязательное изучение основ марксизма-ленинизма. Такое погружение в идеологию (хотя, возможно, не столь уж впечатляющее в сравнении с послевоенными американскими стандартами) было экстраординарным для того времени, особенно по масштабу и глубине.

Огромная энергия и ресурсы направлялись на развертывание официальной идеологии, основными столпами которой были великие революционные события 1917 года, победа в гражданской войне и канонические тексты Маркса, Ленина и Сталина. Не менее важно то, что центральная руководящая идея, адресованная массам, была столь же проста в своей основе, сколь глубока по смыслу. Марксизм-ленинизм предлагал всеохватывающую систему, целостное и вполне последовательное мировоззрение, основанное не на ненависти или высокомерии, а на принципе социальной справедливости и на обещании лучшей жизни для всех, включая и призыв к международной солидарности с угнетенными всего мира. Очень напоминая христианское учение (в том, что касается обстоятельств жизни на «том свете»), марксизм-ленинизм пришел к власти, чтобы осуществить триумф обездоленных и историческую победу над несправедливостью, но здесь, в этом мире [142].

Наполненная религиозными обертонами, основанная на научном знании, поддерживаемая цензурой, революционная правда также была воплощена на языке гражданских прав, включавших «социальные права», такие как право на труд, отдых, образование, медицинское обслуживание и т.п. И революционная правда говорила устами высшего авторитета - партии. Партия была у власти; партия вела страну к великим победам; общество было коренным образом преобразовано - разве могло оказаться неправдой то, что говорила партия и ее ведущие лидеры?

В этом отношении едва ли возможно преувеличить роль Сталина. Если Сталин был виртуозом техники авторитарного правления, то одним из главных его инструментов был культ личности Сталина [143]. Запечатленное в статуях и портретах, оттиснутое в металле, выложенное из цветов, вытканное на полотне, изображенное на фарфоре, лицо Сталина было повсюду. Задолго до А.Дубчека и Пражской весны, как заметили два историка-эмигранта, в Советском Союзе уже был социализм с человеческим лицом: мудрым, всепонимающим лицом Сталина [144]. Сталин стал олицетворением грандиозного строительства и роста авторитета страны, который ассоциировался с новыми машинами и технологиями.

Речи Сталина, его катехизисную манеру вопросов и ответов, его склонность сводить к почти абсурдной простоте лозунгов самые сложные проблемы, его логические ошибки легко высмеять [145]. Но Сталин, который жил относительно скромно и одевался просто, «по-пролетарски», усвоил прямой, доступный слог и проявил непостижимую пронизательность в понимании верований и надежд - психологии - своей аудитории. Хотя первоначально его образ строился как политический тип, в середине 1930-х годов, когда механизмы культа пришли в действие, Сталин преобразился в теплую и личную фигуру отца, учителя и друга [146]. Опять-таки легко не придавать значения бесчисленным публичным излияниям любви и благодарности Сталину, трактуя их как циничное исполнение навязанных «сверху» ритуалов, но эти проявления чувств часто были наполнены глубоким волнением и свидетельствовали о благоговении, превосходящем границы разумного [147]. Задолго до телевизионной эры культ привел к доверительной близости между Сталиным и рядовыми людьми, о чем свидетельствовали фотографии вождя, вырезанные из газет, журналов и книг и висевшие в комнатах.

Международная обстановка еще больше уменьшала возможность неверия. В 1930-е годы капиталистический мир находился в глубокой депрессии, а СССР переживал беспрецедентное развитие - контраст, который непрестанно отмечали в магнитогорской прессе, иногда даже в статьях, написанных посетившими СССР американскими рабочими [148]. Более того, капитализм отождествлялся с милитаризмом. Сообщения о постоянной угрозе со стороны «капиталистического окружения» и фашизма, что трактовалось как результат экономического упадка капитализма, помещавшиеся рядом с мирными картинами социально-экономического строительства в СССР, дополнительно укрепляли революционное видение мира [149].

Усиление фашизма и реакция СССР на эту угрозу сыграли важную роль в тонком переосмыслении революционной миссии страны: от строительства социализма к его защите. Эта трансформация наиболее ярко проявилась в освещении Гражданской войны в Испании, которую преподносили как «первую фазу» в смертельной схватке между капиталистическим фашизмом и социализмом. Тогда как гитлеровская Германия решительно помогала силам Испанской Фаланги, СССР, под руководством Сталина, публично поддерживал героическое сопротивление испанского народа - обстоятельство, которым советский народ, кажется, очень гордился. Магнитогорск тоже внес свой вклад в эту кампанию. Осенью 1936 года местная газета сообщала, что накануне 50000 человек собрались на площади заводского управ-

ления для «демонстрации солидарности» с испанскими республиканскими силами [150].

Если может показаться, что у тех, кто жил в СССР при Сталине, практически не было оснований и возможности для радикального неверия в дело коммунизма, это, тем не менее, еще не означает, что повсюду царило некритическое одобрение режима. Джон Барбер, ссылаясь на интервью, взятые у советских эмигрантов в рамках Гарвардского проекта 1950-х годов, подсчитал, что одна пятая всех рабочих с энтузиазмом поддерживала режим и его политику, и лишь незначительное меньшинство противостояло режиму, хотя и втайне. Огромная же масса рабочих, согласно Барберу, занимала нейтральную промежуточную позицию между приверженцами и противниками режима, но при этом в большей или меньшей степени «принимала» режим ради его политики социального обеспечения [151]. Эта оценка, сделанная на уровне здравого смысла, в целом заслуживает одобрения, но требует некоторых пояснений.

Элементы «веры» и «неверия», по-видимому, сосуществовали внутри каждого вместе с некоторым остаточным чувством обиды. Те же самые люди, которые, по мнению Барбера, «отрицали» режим, могли благополучно пользоваться его политикой социального обеспечения и потому питали искреннее чувство благодарности властям. Напротив, даже рассматривая категорию «истинно верующих», необходимо иметь в виду тактику постоянных компромиссов между жесткостью требований - и стремлением найти отдушину, иметь в виду повседневную возможность «поторговаться» и заключить «сделку», оставаясь в пределах четко установленных, но отнюдь не нерушимых границ. Такой границей служило признание справедливости социалистического строя - всегда по контрасту с капитализмом - положение, которое немногие отвергали или хотели бы отвергнуть, какое бы чувство обиды или враждебности по отношению к советской власти они ни таили в себе [152].

Если принятие справедливости социализма, и следовательно законности советского режима, уживалось рука об руку с постоянной двусмысленностью, то двусмысленность приобретала особое качество. Конечно, в рамках любой системы веры необходимо признавать возможность «полуверы» или веры во взаимоисключающие постулаты одновременно [153]. Но «режим правды» в сталинские годы требовал от людей (хотя это и не признавалось открыто) именно такой тактики, потому что научно обоснованная картина мира иногда приходила в противоречие с явлениями повседневной жизни.

Расхождение между жизненным опытом и его революционной интерпретацией, по-видимому, породило своего рода двойственную реальность: очевидной правды, основанной на опыте, и высшей, революционной правды, основанной частично на опыте, но, в конечном счете, на теории. Если расхождения между ними были не настолько шокирующими, как это может показаться на первый взгляд (необходимо учитывать гибкость и приспособляемость теории), то жизнь превращалась в расколотое существование: то одна правда, то другая [154]. Проблемы возникали, когда личность оказывалась между этими двумя правдами, и постепенно у людей развилось чувство опасности от смешивания одной с другой и определенная способность переключаться туда и обратно.

Насколько сознательно люди обдумывали противоречия, которые они наблюдали, и оскорбления, от которых они страдали, - трудно измерить. Кажется, было достаточно распространенной практикой, когда жены и мужа обсуждали между собой стратегию ведения разговоров с соседями, друзьями и знакомыми, бесед с детьми, поведения на публике и на работе. Женщины, по-видимому, играли важную роль советниц и защитниц семьи и дома, что могло обеспечить некоторую степень безопасности для неосторожных высказываний.

Даже при недоступности документов из архивов службы безопасности возможно представить отдельные публичные моменты «катарсиса». Но к чему это могло привести? Предположим, что некоторые рабочие действительно открыто высказывались в цехах, браня «активистов» и лживость ритуальных заклинаний. Это могло быть не безрассудством, а проявлением достойной уважения «пролетарской сути» этих трудолюбивых, самоотверженных и преданных своему делу людей, которым все это просто надоело, и которых жизнь была достаточно, чтобы дать им право высказать вслух все то, о чем молчали другие. Их лаконичные, но резкие слова могли бы моментально уничтожить изнурительную фальшь, но жизнь шла бы по-прежнему, все так же звучали бы речи, продолжались бы подписка на очередной государственный заем, борьба за рост производительности труда и т.д. И в любом случае капитализм был хуже, так ведь?

Если такие моменты «катарсиса» и имели место, было бы ошибкой считать «истинной» только правду житейского опыта. Даже когда теоретическая правда вступала в противоречие с личными наблюдениями и здравым смыслом, она все же составляла важную часть повседневного опыта людей. Без понимания революционной правды невозможно было выжить, невозможно было интерпретировать и понять значительную часть повседневных событий, понять, что от тебя

требуется, что ты вправе или не вправе сделать. Более того, вера в «истинность» революционной правды была не просто необходимой частью повседневной жизни; она была также способом переступить ничтожность обыденной жизни; увидеть мир как осмысленное целое, соотнести мирскую суету с более широкой перспективой. Революционная правда предлагала то, к чему можно было стремиться.

Это чувство целеустремленности, основанной на вере в революционную миссию своего народа, слилось с мощной патриотической струей: патриотические настроения, поощрявшиеся «сверху» со все нарастающей энергией, к концу 1930-х годов достигли своего пика. Некоторые современники приходили в негодование, видя такое «отступление» от принципов революционного интернационализма и коммунизма. Но, конечно, можно сделать и прямо противоположный вывод: что в действительности дело революции выиграло благодаря умелому культивированию обновленного национального самосознания русских [155].

В самом деле, что отчетливо просматривается в удивительно мощном новом национальном сознании, развившемся при Сталине, - это его советский, а не исключительно русский характер; это то, как чувство принадлежности к Советскому Союзу было сплавлено воедино с параллельным, но подчиненным усилением этнических или национальных черт: люди считали себя советскими гражданами русской, украинской, татарской или узбекской национальности. Споры о «великом отступлении» конца 1930-х годов или о предательстве революции, совершенном при Сталине, отвлекают внимание от интеграции страны в период его правления на базе сильного ощущения национальной и гражданской принадлежности к советскому народу. Магнитогорская газета внесла свой вклад в этот процесс, внушая чувство принадлежности к «Союзу» с помощью таких рубрик, как «Один день нашей Родины» и «Повсюду в СССР» [156].

Если столь притягательное революционное мироощущение, напоминавшее «высшую правду» отвергнутой религии, преломлялось в патриотические акции и реальный рост международного престижа страны, мы не должны недооценивать народного желания верить, или, точнее, добровольного отказа от неверия. Нет необходимости утверждать, что именно поддержка народа вынуждала режим осуществить «Великий перелом», чтобы признать, что революционная правда опиралась не только на мощь службы безопасности, но и на коллективные действия миллионов людей, которые принимали участие в них по самым различным причинам, в том числе и из веры в очевидную для них правоту дела социализма - каковы бы ни были его раздражающие недостатки [157].

Дело чести, дело славы, дело доблести и героизма

При отсутствии первоисточников, прямо свидетельствующих о настроениях народа, эти рассуждения о революционной правде остаются до некоторой степени гипотетичными. Косвенные аргументы в их подтверждение, тем не менее, могут быть найдены на обочине великой стройки социализма - в Магнитогорской исправительно-трудовой колонии, или ИТК. Там власти также пытались создать свой вариант идеологии великого дела революции и внушить ее ценности осужденным, но, кажется, с гораздо меньшим успехом.

Магнитогорская ИТК была создана в июле 1932 года. Джон Скотт, отмечая, что среди осужденных была небольшая группа православных священников, справедливо утверждал, что в большинстве своем обитатели колонии были «не политическими преступниками». Поскольку сроки приговоров обычно варьировались в диапазоне от полугода до пяти лет, лишь немногие отбывали «десятку», максимальный тогда срок наказания; большинство рядовых преступников могли впоследствии вернуться в ряды общества [158]. В местах заключения они должны были приобрести полезную специальность и профессиональный опыт, словом, «перековаться». Это было своего рода «сделкой», которую власти предлагали осужденным, и так же, как в среде вольного городского населения, власти возлагали особые надежды на принятие этих условий молодежью, которая, по-видимому, составляла большую часть обитателей колонии [159].

«Каждый, временно лишенный свободы, - с гордостью заявляла газета колонии «Борьба за металл», - не лишен возможности участвовать в великом строительстве СССР» [160]. Из осужденных, за исключением тех, кто был заключен в изоляторах, как и из вольных рабочих, создавали бригады. Бригады осужденных перевозили уголь и железную руду, строили кирпичные здания на левом и правом берегах социалистического города, участвовали в сборке доменных печей и прокатных станов, работали на второй плотине и убирали территорию завода. Как писала газета колонии, «в строительстве Магнитогорского металлургического комбината немалое место принадлежит колонии» [161].

Как и обычных рабочих, осужденных различали по их «классовой позиции», то есть политической лояльности, и по качеству труда; характеристику им давали должностные лица низшего ранга, которые сами зачастую отбывали срок наказания [162]. Труд осужденного, подлежащий минимальной компенсации, измерялся в рабочих днях и процентных нормах [163]. В качестве трудового стимула власти мог-

ли использовать короткие «отпуска», выдачу теплой одежды и валенок, дополнительных пайков, наконец, возможность досрочного освобождения. Те осужденные, которые добивались особенно высоких процентов выполнения плана, которые посещали собрания, произносили речи, организовывали других заключенных для выполнения тех или иных предписаний, заседали в товарищеском суде, доносили о различных нарушениях и о разговорах между осужденными, словом, убедительно демонстрировали свою преданность делу, производились в бригады [164]. В этом новом качестве они могли попасть на Доску почета и пользоваться не только разнообразными привилегиями (по преимуществу связанными с кухней), но даже возможностью оказывать покровительство другим [165].

Тем не менее, представляется сомнительным, что политика стимулирования и выдвижения приспособленцев влияла также и на поднятие производительности труда выше минимального уровня. Как писала «Борьба за металл», один инструктор по культуре («культурник»), в обязанности которого входило убеждать других осужденных, что нехватка еды не является достойной причиной для невыполнения производственного плана, гораздо с большим рвением использовал свое влияние, чтобы получать дополнительную порцию в обед. После этого, писала газета, он мог размышлять про себя: «Все-таки умному человеку в ИТК жить можно» [166]. В другом случае слышали, как осужденный бригадир говорил своим рабочим: «Пуускай штурмуют, а я посмотрю, что получится». Газета добавляла: «Нельзя сказать, что он не участвует в штурме, наоборот, он штурмует фабрику-кухню» [167]. Неудивительно, что фиктивный труд и двойное начисление (явление, которое обычно называли «тухтой») были распространены в колонии даже больше, чем за ее пределами, к большой досаде редакции «Борьбы за металл».

Кроме прямого обмана, тщательное ведение учета в любом случае было затруднено из-за частых перемещений заключенных - и внутри отдельных подразделений Магнитогорской колонии, и из одной колонии в другую [168]. Вдобавок, чтобы следить за всеми осужденными в различных отделениях колонии, в ИТК просто не хватало кадров для ведения учета и проверки данных [169]. Но поскольку сами осужденные были не меньше заинтересованы в том, чтобы должностные лица регулярно составляли и хранили отчеты о ходе трудового процесса (без таких данных прошения о досрочном освобождении не могли быть приняты во внимание), между ними и начальством было достигнуто эффективное «соглашение» [170]. Тысячам осужденных фактически было позволено покинуть колонию до истечения формаль-

ных сроков наказания в награду за «ударный труд» [171]. «Перековались» ли в действительности эти люди?

Осужденные неизменно признавались, что открыли новую страницу своей жизни [172]. Биографические очерки о «перековавшихся» осужденных появлялись почти в каждом выпуске газеты колонии и удивительно напоминали по стилю признания свободных квалифицированных рабочих: осужденные так же трудились, учились, проявляли самоотверженность и занимались самовоспитанием [173]. Но даже если, как полагал Джон Скотт, некоторые осужденные научились «ценить человеческий труд» [174], в любом случае власти при всем желании не могли добиться от них большего, чем минимальное сотрудничество. На заключенных едва ли действовали угрозы и страх позора. Среди обитателей колонии открытое выражение антисоветских чувств, кажется, было обычным делом, как и сознательный саботаж официальных кампаний. В целях создания атмосферы трудового энтузиазма в колонии было проведено несколько совещаний ударников, завершавшихся игрой оркестра и пением «Интернационала», а в ноябре 1935 года ИТК даже провела свое собственное совещание стахановцев, на которое было направлено 1 500 лучших рабочих колонии [175]. Но в остро критичной статье газета колонии описывала, как часто в типичной бригаде рабочий день тратится впустую из-за дезорганизации и из-за того, что среди осужденных «не так уж мало волынщиков» [176]. За одним заключенным, например, числилось 750 прогулов. Бригадиров постоянно обвиняли в отсутствии учета осужденных, сбегавших с работы ради «спекуляции» на базаре [177]. Как сообщалось, некоторые из них агитировали и других не работать [178]. В раздражении газета колонии сетовала: «Мы здесь находимся не для того, чтобы пьянствовать и симулировать, а для того, чтобы строить Магнитострой» [179].

Пропаганда среди осужденных была поставлена широко [180], но и здесь газета колонии неохотно признавала, что мириад мероприятий, направленных на повышение культурного уровня осужденных, не помог в борьбе с упорным и вездесущим употреблением мата [181]. В статье об управлении областной трудовой колонией, автором которой был начальник колонии Александр Гейнеман, говорилось, что заключенные магнитогорского лагеря регулярно получали 16 периодических изданий, не считая газеты «Борьба за металл», что в лагере существовала библиотека на 12 000 томов, регулярно демонстрировались фильмы и спектакли, действовали политические кружки и технические курсы. Но Гейнеман признавал, что чтение не было принудительным и что в колонии не хватало подготовленных руководителей

кружков. К более серьезным проблемам, по его словам, относились борьба с антисанитарией и со старыми тюремными привычками (бранию, воровством, картежной игрой, пьянством) [182].

Не было ясно и то, кто в действительности «контролировал» повседневную жизнь колонии на ежедневном базисе. Гейнеман писал, без сомнения искренно, что управление колонией было непростой задачей. Пять отделений колонии находились на расстоянии в тридцать километров друг от друга, причем одно из них - в восемнадцати километрах от управления [183]. На январь 1933 года в колонии работало только 138 оперативников, 111 человек административного и экономического персонала, а общий штат составлял 287 человек (в то время как «планом» было предусмотрено 457). И это при том, что число осужденных колебалось вокруг 10 000 [184].

По необходимости значительную роль в ведении дел колонии играли осужденные, и угроза насилия со стороны некоторых осужденных по отношению к тем, кто «сотрудничал» с властями, была вполне реальной [185]. Газета колонии поощряла анонимные письма с сообщениями о «недостатках» и обмане [186], но на собрании своих «рабочих корреспондентов» редакция выяснила, что многие из них боялись писать. «Борьба за металл» приводила слова одного из этих корреспондентов, сказавшего, что «стоит только написать в газету, как уже начинают копать - кто, как и почему написал» [187].

В общем, ИТК была лагерем для преступников, а отнюдь не социалистическим городом, пусть даже с изъянами. Осужденные, возможно, меньше страшились перспективы попасть в более суровую по условиям колонию, чем свободные - быть арестованными. Даже после освобождения осужденные были обречены повсюду носить клеймо судимости, которая была зафиксирована в их официальных документах [188]. Правда, по освобождении они получали бумаги, гарантировавшие возвращение им матрасов, одеял, наволочек, полотенец, сапог, брюк, рукавиц и ватников [189]. А тем, кто захотел бы остаться в городе, предлагали место в общежитии и питание до тех пор, пока металлургическое предприятие не найдет им работу и место жительства (завод был даже согласен платить за переезд семьи бывшего заключенного в Магнитогорск). Но, призывая осужденных остаться на строительстве, газета колонии признавала, что «большинство покидает Магнитку, не зная, куда идут» [190]. Они просто не были частью великого дела.

Поразительный контраст ни к чему не стремившимся осужденным представляли раскулаченные крестьяне, настойчиво добивавшиеся социальной реабилитации. Вначале от них ожидали прямо противо-

положного. Так как раскулаченные считались «классово чуждыми» и, следовательно, более опасными, они первоначально жили за колючей проволокой и ходили на работу под конвоем. Каждый день после работы, по возвращении на поселение, их проверяли по списку на контрольном пункте. Считая раскулаченных неисправимыми по причине их классового происхождения, с ними проводили не столь интенсивную пропагандистскую работу [191]. Вскоре, тем не менее, колючую проволоку вокруг поселения убрали. За редким исключением, поселенцам не позволялось переезжать в другой город, и они были обязаны ежемесячно являться к коменданту, чтобы в их «контрольных карточках» поставили специальный штамп. Но раскулаченным крестьянам, жившим на поселении, разрешали устраиваться на работу в индивидуальном порядке, в соответствии с их профессиональными навыками [192].

«Многие из этих крестьян, - комментирует Джон Скотт, - испытывали невыносимую горечь, потому что они были лишены всего и принуждены работать на систему, которая во многих случаях уничтожила членов их семей». Но Скотт добавлял, что большинство «работали усердно». Конечно, они по-прежнему обитали в скверных и тесных бараках, но, по мнению Скотта, «немало их жило относительно хорошо», и «трудовой подъем некоторых из них был воистину героическим». Даже если они сами ни к чему не стремились, на карту было поставлено будущее их детей. Дети раскулаченных, хотя на них и лежало клеймо, могли посещать школу, и многие из них прилежно учились. Мария Скотт, преподававшая в одной из трех школ для таких детей, сообщала, что они вообще считались лучшими учениками в целом городе [193].

Центральные власти придерживались политики интеграции раскулаченных в ряды нового общества, и эта политическая линия после нескольких лет равнодушного исполнения стала восприниматься более серьезно и начала приносить эффект. В июле 1931 года власти издали постановление о восстановлении в гражданских правах тех раскулаченных крестьян, которые в течение пятилетнего срока доказали, что стали честными тружениками. Эффективность этого первого закона была поставлена под сомнение, когда в мае 1934 года было издано новое постановление, разрешавшее раскулаченным подавать прошения о досрочном восстановлении в правах, если они отвечали тем же критериям [194]. На большинство прошений о восстановлении в правах с 1934 года следовали отказы, но к 1936 году отношение к раскулаченным стало более благосклонным. В случае удовлетворения их

просьб просителям позволялось покинуть трудовую колонию, посещать школы и даже (теоретически) вступать в партию [195].

Более того, задолго до 1936 года детям раскулаченных уделялось особое внимание [196]. Согласно постановлению от 17 марта 1934 года, избирательные права этих детей восстанавливались, как только они достигали восемнадцати лет, при условии, что они добьются к этому времени статуса ударников на производстве и проявят активность в общественной работе. В качестве поощрения в газете Трудового поселения начали публиковать списки тех, кто был восстановлен в правах [197]. Какое бы чувство обиды за судьбу своих семей не таили молодые люди, молодежь ничего не теряла и всего могла добиться, вступив в великую кампанию строительства социализма. Как писала об этом газета, «рост социализма в нашей стране идет гигантскими шагами вперед, отсюда каждому спецпереселенцу надо запомнить, что возврата к прошлому нет и не может быть» [198].

В отличие от многих раскулаченных и их детей, мужчины трудовой колонии, составлявшие большинство осужденных, несмотря на все внешнее сходство их жизни с жизнью свободных горожан, остались в стороне от великого дела или влились в него лишь частично. На фоне постоянного и убедительного запугивания, практикуемого режимом, само существование колонии подчеркивало и необходимость участия в строительстве социализма, и то, что возникающая в ходе этого строительства сложная игра в идентификацию была действенной, потому что люди до определенной степени приняли предложенную государством политическую стратегию. Люди заключали свои частные соглашения с режимом не только из простого расчета, чего они могут достичь и чего лишиться. Они принимали цели режима, полностью или - чаще - частично, сознавая, что у них нет других руководящих принципов для мыслей и поступков, и оставаясь при своих сомнениях [199].

«Позитивная» интеграция

В 1931 году немецкий писатель Эмиль Людвиг получил исключительную возможность взять интервью у Сталина. Людвиг затронул деликатный вопрос: «Мне кажется, что значительная часть населения Советского Союза испытывает чувство страха, боязни перед советской властью, и что на этом чувстве страха в определенной мере покоится устойчивость советской власти». Сталин решительно возразил: «Вы ошибаетесь. Впрочем, Ваша ошибка - ошибка многих. Неужели Вы думаете, что можно было в течение четырнадцати лет удерживать власть и иметь поддержку миллионных масс благодаря мето-

ду запугивания, устрашения? Нет, это невозможно» [200]. Сталин был прав, но по другим причинам.

Коммунизм вдохновлял людей настолько, что даже личный опыт и настоящий ужас перед репрессиями не могли заставить «истинно верующих» отказаться от дела социализма [201]. Но в равной степени важно и то, что образ капитализма в СССР сам по себе не был привлекательным. В эпоху экономической депрессии и милитаризма капитализм служил чрезвычайно удобным пугалом, которое всегда было под рукой для оправдания недостатков социализма. Только если бы реальный капитализм и его образ, созданный пропагандой, значительно различались, было бы возможно представить полный отказ от дела социализма в СССР.

Принимая во внимание угрожающую природу тогдашнего капитализма, задача выявления принципиальных различий между делом социализма и реальным советским режимом, и без того затрудненная из-за цензуры, стала намного сложнее. Подобную критику режима вела, конечно, «старая гвардия» революционеров, из числа которых наиболее известен Л.Д.Троцкий. Но то, что говорил и писал Троцкий, было практически неизвестно в СССР. И даже если бы люди имели возможность самостоятельно ознакомиться с его книгами и статьями, еще не известно, приняли бы они или нет его противоречивую концепцию «сталинского термидора». Что значил термидор перед лицом фашистской угрозы и успехов социалистического строительства? Для жителей Магнитогорска скатывание капитализма в пропасть фашизма и восхождение СССР к вершинам социализма представлялось звеньями одной цепи, неразрывно связанной, как они ощущали, и с их собственной жизнью.

Это чувство «неразрывной связи» достигалось посредством игры в социальную идентификацию, частью которой было умение «говорить по-большевистски». С помощью этой новой социальной идентичности государство сумело присвоить себе роль оплота общественной солидарности и сделать оппозицию невозможной. Эмигрантские свидетельства о масштабах доносительства и о степени осознания современниками серьезности ситуации подтверждали представление, что общество при Сталине подверглось «дезинтеграции», и людям для выражения их гнева и сокровенных чувств оставалось только уединение за кухонным столом. В этом смысле «дезинтеграция», если и не столь глобальная, как утверждают некоторые исследователи, была все же значительной. Но в то же самое время людей сплотила в большую политическую общность новая социальная идентичность. Эта «пози-

тивная» интеграция советского рабочего класса влекла за собой определенные обязательства и в целом зависимое положение, но приносила также и выгоды, а из-за отсутствия безработицы давала рабочим и определенный уровень контроля над трудовым процессом.

Процесс «положительной интеграции», благодаря которой люди становились частью «официального общества», предполагал возможность изоциренных, хотя и неравноправных, сделок с режимом. Но для этого важно было овладеть языком и техникой переговоров. Рабочие маршировали в театрализованных праздничных шествиях, их часто вынуждали слушать, а иногда и произносить елейные речи. Но были и случаи, когда им предоставлялась возможность выразить разочарование и даже недовольство, не переступая при этом границы, не оговариваемой специально, но известной всем. У народа не было иного выбора, как только усвоить, что в общественном поведении и даже в собственных мыслях должна пролегать граница между допустимым и недопустимым. Но они также должны были понять, что можно использовать систему с минимальным ущербом для себя [202]. Это были уроки, которые им преподавала сама жизнь.

Жизнь в Магнитогорске учила цинизму и трудовому энтузиазму, страху и гордости. Но прежде всего жизнь в Магнитогорске учила каждого идентифицировать себя и говорить на приемлемом для режима языке. Если и была в истории ситуация, где превыше всего стояло политическое значение слов, или дискурс, то это было при Сталине, в словесной артикуляции своей социальной идентичности [203]. Этот изоциренный властный механизм в условиях великого дела строительства социализма составлял силу сталинизма. Пятьдесят лет спустя рабочие-ветераны в Магнитогорске все еще говорили тем языком, какой мы находим в воспоминаниях их современников, записанных в 1930-е годы. К концу 1980-х, тем не менее, их представление о капитализме радикально изменится, а с ним - их понимание социализма, воплощенного в советском режиме, и лояльность по отношению к нему.

Пер. с англ. Э.Филипповой, О.Леонтьевой

Примечания

1. Цитата из «Слова о Магнитке» (М., 1979). С.104. Елена была дочерью Алексея Джапаридзе, одного из двадцати шести казненных бакинских комиссаров. Она выросла в семье Серго Орджоникидзе. После опыта, полученного в Магнитогорске, она была направлена для дальнейшего «обучения» в лаге-

ря. См.: Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. Т.2. М., 1991. С.219. В своем интервью по телефону в Москве в 1989 году Джапаридзе не проявила горечи.

2. Из воспоминаний П.Е.Чернеева. Он добавляет, что рабочие также вывесили на стенах барака несколько лозунгов, перечень «шести условий», выдвинутых в речи И.В.Сталина от 23 июня 1931 г., и выпустили стенную газету. - ГАРФ, ф.7952, оп.5, д.319, лл.28-29.

3. Reginald Zelnik, «Russian Workers and the Revolutionary Movement», Journal of Social History 6, 2 (1972). P.214-237. Обзор литературы о труде и попытку синтеза см. Tim McDaniel, Autocracy, Capitalism, and Revolution in Russia (Berkeley: University of California Press, 1988).

4. Дональд Филтцер в своей работе дает обзор тех сообщений в прессе, которые содержат «негативную» информацию. - Donald Filtzer, Soviet Workers and Stalinist Industrialization: The Formation of Modern Soviet Production Relations, 1928-1941 (Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 1986). P.76-87. О книге Филтцера пойдет речь ниже. Коллекция Джей К. Заводного (Jay K. Zawodny) в архивах Гуверовского института (Hoover Institution Archives) содержит интервью с бывшими советскими рабочими. Мерль Фейнсод, изучавший партийные архивы Смоленска, - преимущественно сельскохозяйственного региона, - заметил, что «документы содержат неопровержимые доказательства существования широкого массового недовольства советской властью». - Merle Fainsod, Smolensk Under Soviet Rule (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958). P.449. По всей вероятности, подобные свидетельства могут быть обнаружены и в архивных фондах Челябинской областной службы безопасности, которые на сегодняшний день остаются недоступными для исследователя.

5. Данную точку зрения высказал Соломон Шварц, написавший ряд хорошо обеспеченных источниками статей о положении рабочих при Сталине для меньшевистской эмиграционной газеты «Социалистический вестник». Позже на базе своих статей Шварц создал первое крупное исследование данной проблемы на английском языке: Solomon Schwarz, Labor in the Soviet Union (New York: Praeger, 1951). Книга Шварца, написанная в начале второй мировой войны и предполагавшая охватить период с 1928 по 1941 годы, рассматривалась как противоядие советской пропаганде о завоеваниях социализма для людей труда. Автор дал детальное изложение драконовского сталинского законодательства о труде и показал его репрессивную сущность. Вместе с тем он выявил в источниках данные о многочисленных случаях нарушения и обхода тех же самых законов, не указывая, что такое открытие в корне подрывает его главный вывод о «надзоре» советского режима над трудом. Вплоть до появления в 1986 году исследования Дональда Филтцера практически никто не делал попытки пересмотреть устоявшуюся концепцию положения рабочих при Сталине. Филтцер, в сущности, стремился разрешить кажущийся парадокс, возникший в работе Шварца: вопрос о том, как непрерывное и жестокое угнетение рабочих со стороны режима могло сосуществовать с эффективным обманом властей со стороны рабочих.

6. Такова была позиция Л.Д.Троцкого, который стремился точно определить «социальный базис» бюрократии, узурпировавшей власть. Эти взгляды разделяли также меньшевики «Социалистического вестника» (Соломон Шварц, один из ведущих сотрудников меньшевистского издания, безоговорочно принимает этот подход в своем исследовании о труде в Советском Союзе, цитата из которого приведена выше). Вариант все той же концепции мы находим во многочисленных неопубликованных, но, тем не менее, широко известных статьях Джона Барбера, написанных для Бирмингемского центра исследований России и Восточной Европы (The Birmingham Centre for Russian and East European Studies). Советские историки также разделяли представление о том, что «отсталость» выходцев из крестьянской среды негативно воздействовала на «сознательность» рабочего класса в целом. - См.: Вловин А.И., Дробижев В.З. Рост рабочего класса СССР. 1917-1940 гг. М., 1976. Еще одну версию предложил Владимир Андрле, объяснявший готовность рабочих оклеветать невинных людей в обмен на награды неустойчивостью характеристик всего «выбитого из колен и подрубленного под корень общества». - См. Vladimir Andrie, *Workers in Stalin's Russia: Industrialization and Social Change in a Planned Economy* (New York: St. Martin's Press, 1988). Кажется, никто из исследователей не склонен воспринимать преклонение перед диктатором как проявление рационального выбора, сделанного сознательными людьми.

7. Sheila Fitzpatrick, *Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921-1934* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).

8. Filtzer, *Soviet Workers*. P.254-255. Ожидая типично «марксистского» ответа со стороны эксплуатируемых рабочих, Филтцер не смог объяснить реальных проявлений рабочей сознательности, неохотно признавая, что «выражения недовольства не обязательно отражали осознание [рабочими] политического смысла тех или иных событий или тенденций. Часто они принимали самые крайние формы реакционного национализма, антисемитизма и мужского шовинизма». К сожалению, Филтцер не развил эту тему. Тем не менее, его труд о положении рабочих при Сталине содержит немало бесспорных достоинств, и мы не раз обратимся к нему в ходе нашего исследования. Отметим, что Филтцер также довольно странным образом описывает процесс формирования «эксплуататорской» элиты, утверждая, что «зарождающаяся элита» к 1935 году «консолидировала» свои ряды (С.80, 102). В таком случае, вероятно, проявлением консолидации стали «чистки» в рядах элиты, сравнимые с римскими децимациями! Напротив, Владимир Андрле, чье исследование о рабочих 1930-х годов в целом не выдерживает никакого сравнения с трудом Филтцера, предлагает гораздо более аргументированную точку зрения на формирование элиты в рамках «административно-командной системы». - См. Andrie, *Workers in Stalin's Russia*.

9. Текст телеграммы был опубликован в газете «Правда» 30 марта 1932 г. и позже перепечатан в собрании сочинений И.В.Сталина: Сталин И.В. Сочинения. Т.13. М., 1953. С.133. Копию оригинала можно найти в РЦХИДНИ, ф. 558, оп. 1.

10. Эти положения были изложены в Конституции 1936 года: в ст. 12 труд был провозглашен обязательным, а в ст. 118 указан в перечне прав советского гражданина.

11. Приговоры до шести месяцев принудительного труда следовало отбывать на обычном месте работы осужденного лица с сокращением заработной платы (не больше чем 25%). Приговоры свыше шести месяцев также следовало отбывать на обычном месте работы, за исключением случаев, когда приговор был специфицирован как «лишение свободы», что означало направление в трудовую колонию. Новый исправленный Трудовой кодекс РСФСР вступил в действие в 1933 году, заменив кодекс 1924 года. Отрывки из него см.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР / Под ред. И.Голякова. М., 1953. С.367-378.

12. L. Kolakowski, *Main Currents of Marxism*. Vol. 3 (New York: Clarendon Press, 1978). Chaps. 1-3.

13. Уделяя проблеме класса больше внимания, чем многие другие исследователи, Шейла Фитцпатрик утверждает, что большевики, оставшиеся верными своему классовому мировоззрению, в результате дезинтеграции и раскола рабочего класса за время гражданской войны в 1920-е годы были вынуждены «изобрести заново» политическую линию, основанную на классовом подходе. Тем не менее, можно задаться вопросом: не шел ли тот процесс «изобретения заново классовой политики», который она описывает, еще до начала разложения так называемого рабочего класса, - если, конечно, такой класс существовал в действительности? Ни один реально существовавший рабочий класс ни в одной стране мира не обладал теми характеристиками (особенно в области менталитета), которые большевики считали «естественными» для этого класса. Кроме того, Фитцпатрик отмечает противоречие, возникавшее в большевистских классовых дефинициях: несоответствие между социальным происхождением данного лица и его нынешней классовой принадлежностью. Но она упускает из вида другой источник двусмысленности: несоответствие между классовой принадлежностью данного лица - и «объективной» классовой сущностью исповедуемых им идей. Подобное несоответствие обнаруживалось, когда недавних рабочих или даже потомственных пролетариев обвиняли в сокрытии чуждых классовых взглядов и подвергали репрессиям. Фитцпатрик сама подчеркивает, что идея класса неотделима от идеи борьбы против классовых врагов (как бы их ни определяли и где бы ни обнаруживали), указывая тем самым, что эти процессы выходят далеко за рамки проблем некой социальной целостности, изрядно потрепанной в годы гражданской войны. А это говорит о том, что именно озабоченность большевиков глубиной пропасти между реальным советским рабочим классом и тем гипотетическим классом, который они желали бы видеть, привела к появлению многотомных собраний документов, которые теперь могут стать источниковой базой таких научных исследований, как исследование Шейлы Фитцпатрик. В самом деле, как она напоминает читателю, в 1920-е годы была создана широко разветвленная статистическая служба для изучения классовых проблем в социалистическом обществе. - Sheila Fitzpatrick, «L'usage

Bolchevique de la "class": Marxisme et construction de l'identité individuelle», Actes de la recherche en sciences sociales, dir. Pierre Bourdieu, № 85 (November 1990).

14. План предусматривал увеличение числа рабочих и служащих в народном хозяйстве с 11,9 млн. человек в 1928-1929 гг. до 15,8 млн. человек к 1932-1933 гг., но в 1932 г. реальное число занятых составило 22,9 млн. человек. Соответственно в тяжелой промышленности в 1932 г. было занято 6,5 млн. человек против 3,1 млн. в 1928 г. Меньше, чем за пять лет, численность работающих в народном хозяйстве в целом и в том числе в промышленности, удвоилась. - Социалистическое строительство СССР. М., 1936. С.508. После краткого периода незначительного сокращения общей численности работников в стране, с 1934 г. она вновь начинает возрастать. К 1937 г., итоговому году второй пятилетки, общее число рабочих и служащих составляло 27 млн. человек. - Results of Fulfilling the Second Five-Year Plan (Moscow, 1939). P.104. Несмотря на то, что последняя цифра не достигла предусмотренных планом 28,9 млн., мы видим, что за истекшее десятилетие число занятых в народном хозяйстве СССР возросло на 15 млн. человек. Когда вспоминаешь, что к 1921-1922 годам, вслед за первой мировой войной, революцией и гражданской войной, численность рабочей силы сократилась приблизительно до 6,5 млн. человек, включая только 1,24 млн. занятых в промышленности, становится ясно, как далеко продвинулась вперед страна в деле формирования пролетариата для «пролетарской революции».

15. Магнитогорский рабочий [далее - МР], 16 мая 1938 г. Эта цифра была ниже, чем летом 1936 года, когда на металлургическом заводе насчитывалось 25 882 человека, из которых 20 749 человек составляли рабочие, 1 273 - служащие, 1 894 - инженерно-технические работники (ИТР), 1 244 - младший обслуживающий персонал (МОП) и 723 - ученики. В предыдущем году, по данным на август 1935 года, на заводе трудилось 24 114 человек. - См. Техничко-экономические показатели работы завода за десять месяцев 1936 года. Магнитогорск, 1936. Опыт Магнитогорска нашел применение в Восточной Европе после второй мировой войны; наиболее известный пример - создание рабочего города-спутника Нова Гута в предместье Кракова, старого интеллектуального центра. Нова Гута сознательно копировала Магнитогорск (и была построена с советским участием), чтобы сформировать пролетарский «социальный базис» для коммунистического режима и ослабить социальную значимость старой интеллигенции.

16. Согласно Дж. Скотту, «на коксохимическом предприятии в целом было занято около 2 000 рабочих. Из них примерно 10% составлял так называемый инженерно-технический персонал, включая мастеров, административный персонал, плановиков и т.п.». - John Scott, Behind the Urals (Bloomington: Indiana University Press, 1989). P.156; см. также МР, 9 июня 1937 г.

17. Эта цифра включала 21 500 человек, занятых в промышленности, из которых 10 589 человек работали собственно в черной металлургии. - Государственный архив Челябинской области (ГАЧО), ф.804, оп.11, д. 105, л. 37. В декабре 1931 года в Магнитогорске насчитывалось 54 600 рабочих, причем фактически все они были заняты на строительстве. - Российский Государствен-

ный архив экономики (РГАЭ), ф.4086, оп.2, д. 42, л. 28. Численность строительных рабочих резко сократилась к концу 1930-х гг., когда новых строительных работ производилось мало. К началу 1940 года в строительстве было занято 4 200 рабочих, в то время как в конце 1936 года их было 8 800. (Сравнение неточное, так как данные за 1936 год включают инженеров и техников). - МР, 18 декабря 1936 г.

18. Тот факт, что многие из этих рабочих начинали свою трудовую жизнь как неквалифицированные и неграмотные «крестьяне», конечно, повлиял на замысел и непосредственное осуществление их обучения. Но «школу» жизни и работы должны были пройти все рабочие, независимо от их социального происхождения. В числе решений, принятых в 1932 году первой магнитогорской партийной конференцией по так называемому «культурному строительству», было и такое, которое затрагивало необходимость «перевоспитания нового слоя рабочих». - Резолюция первой Магнитогорской партконференции по культстроительству на 1932 г. Магнитогорск, 1932. С.4. Статистические данные по социальному составу советской рабочей силы см.: Рашин А. Динамика промышленных кадров СССР за 1917-1958 гг. // Изменения в численности и составе советского рабочего класса: Сборник статей. М., 1961. С.7-73. О дискуссии относительно опубликованных статистических источников того времени см. следующую работу: John D. Barber, «The Composition of the Soviet Working Class, 1928-1941», CREES Discussion Papers, Soviet Industrialization Project, №16 (Birmingham, England, 1978).

19. Говоря об Англии, Э.П.Томпсон подчеркивал необходимость писать не историю закономерного технологического переворота, а историю «эксплуатации и сопротивления эксплуатации», чтобы избежать таким образом этически безжизненных социологических оценок индустриализации. - E.P.Thompson, «Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism», Past and Present. Vol. 38 (December 1967). P.56-97.

20. Такие опасения были выражены в типичном памфлете-инструкции 1929 года о чистке партии: «Эти новые люди, или молодняк, не видали и не знали, что значит классовая борьба и для чего и какая нужна дисциплина в рядах пролетариата... Для них это производство - не достояние рабочего класса, взятое им с бою у капиталистов, не детище пролетариата, воздвигнутое советской властью, а место, где можно подзаработать для укрепления своего собственного хозяйства». - Коротков И.И. К проверке и чистке производственных ячеек // Как проводить чистки партии / Под ред. Е.М.Ярославского. М., 1929. С.83.

21. Прекрасный образец таких рассуждений можно найти в детской книге Н.П.Миславского «Магнитогорск» (М., 1931). Подобные видения захватили воображение художественной интеллигенции. В 1930 году архитектор Эл Лиссицкий писал, что «благодаря точному разделению времени и ритма работы, заставляя каждого индивида разделять огромную общую ответственность, завод стал настоящим местом образования - университетом нового социалистического человека». Он добавил, что завод стал плавильным котлом социализации для городского населения (что, безусловно, верно, поскольку тогда первейшим долгом населения всего СССР было строительство заво-

дов). - El Lissitsky, Russia: An Architecture for World Revolution (Cambridge, MA: MIT Press, 1970). С.57-58.

22. «Строительство Магнитогорского завода, - провозгласил Центральный Комитет ВКП(б) в 1931 году, - должно стать практической школой создания новых методов и форм социалистического труда». - О строительстве Магнитогорского металлургического завода // Правда, 26 января 1931 г., перепечатано в журнале «Партийное строительство» за февраль 1931 г. (№ 3-4. С.94-96).

23. Moshe Levin, The Making of the Soviet System (New York: Pantheon, 1985). P.37.

24. Согласно мнению Льюиса Сигелбаума, «термин “ударничество” возник в годы гражданской войны, означая выполнение особенно трудных и безотлагательных задач. Он приобрел новое значение в 1927-1928 годах, когда отдельные группы рабочих, в первую очередь комсомольцы, стали создавать бригады для выполнения каких-либо сверхурочных обязательств. Их цели могли варьироваться: от сокращения прогулов и воздержания от употребления алкоголя - до перевыполнения производственных норм и уменьшения себестоимости продукции». - Lewis Siegelbaum, Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935-1941 (New York: Cambridge University Press, 1988). P.40.

25. Lewis Siegelbaum, «Shock Workers», The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History. Vol.35 (Gulf Breeze, Fl.: Academic International, 1983). P.23-27. Один из персонажей повести Валентина Катаева о Магнитогорске, развивая свои мысли о рационализации производства, доводит их до логического завершения, создав, как он ее называет, «теорию темпов»: «Повышение производительности одного хотя бы механизма автоматически влечет за собою необходимость повышения производительности других, косвенно связанных с ним механизмов. А так как все механизмы Советского Союза в той или иной степени связаны друг с другом и представляют собой сложную взаимодействующую систему, то повышение темпа в какой-нибудь одной точке этой системы неизбежно влечет за собой хоть и маленькое, но безусловное повышение темпа всей системы в целом, то есть в известной мере приближает время социализма». В действительности, как показывает и сама повесть, «битва» за рост производительности труда велась скорее за счет непрерывных сверхчеловеческих усилий, чем широкой и постоянной рационализации. Тем не менее, каковы бы ни были методы, главной целью оставалось скорейшее построение социализма. - Катаев В.П. Время, вперед! Роман-хроника // Катаев В.П. Собр. соч. Т.2. М., 1983. С.381.

26. Награды были индивидуализированы, однако в число награжденных могли быть включены и другие. К примеру, профсоюзные списки «рабочих», награжденных за выдающийся труд поездками в отпуск, например, почти всегда включали имена начальников смены и цехов, где трудились эти рабочие. - Магнитогорский филиал Государственного архива Челябинской области (МФГАЧО), ф. 118, оп.1, д. 80, лл. 96-101.

27. Scott, *Behind the Urals*. P.72. Система премирования труда имела свои нерушимые правила. Власти могли сколько угодно возмущаться ростом «незаработанной» оплаты труда, но те, кто по роду занятий отвечали за нормирование выработки и установление сдельных расценок, постоянно ощущали и груз ответственности за выполнение производственных планов, а единственным способом выполнить план было привлечь к сотрудничеству самих рабочих. Стремясь жестко регулировать заработную плату, власть, как и во многом другом, на практике становилась заложницей своей же собственной системы оценки производительности с помощью норм и стремления во что бы то ни стало выполнить эти нормы, пусть даже только на бумаге. - См. Filtzer, *Soviet Workers*. P.232.

28. Расчет заработной платы на основании норм выработки усложнялся из-за лихорадочного ритма производства: вынужденный простой из-за перебоев в снабжении сырьем сменялся «авралом» в конце квартала с целью «наверстать» план. По вопросу о том, как непредсказуемость производства была институционально закреплена и, таким образом, стала предсказуемой, см. Вопросы профдвижения. 1933. № 11. С.65-71 (материалы по Кулаковскому заводу); выходные данные приведены по работе Филтцера: Filtzer, *Soviet Workers*. P.211.

29. Scott, *Behind the Urals*. P.75.

30. Данные по дифференцированной оплате труда за 1933 год см.: Scott, *Behind the Urals*. P.49; соответствующие данные на 1 января 1937 года см.: Обзор работы завода за январь 1937 г. Магнитогорск, 1937. С.17. Со временем средняя номинальная заработная плата в целом возросла, хотя она могла быть и уменьшена, как показывали данные по руднику: Стахановский опыт Магнитогорского рудника: Сборник статей. М., 1939. С.187. Рост номинальной заработной платы часто фигурировал в печати и официальных документах как доказательство прогресса, который стал возможен благодаря революции. Так, некий рабочий из Казахстана, приехавший в Магнитогорск неграмотным в 1932 году, к 1936 году зарабатывал 420-450 рублей в месяц. Такие суммы должны были казаться фантастическими, особенно на фоне рассказов старых рабочих о дореволюционном времени, когда они работали десять часов в день и больше за 75 копеек. Конечно, для основной массы населения реальная зарплата, а следовательно и жизненный уровень, резко падали. - ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 312, л. 295; д. 319, л. 9.

31. Примеры таких инцидентов см., например: ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 306, лл. 23-24. Распространению ударничества в массах препятствовали традиционные формы организации труда, например, кооперативные артели, ликвидация которых составляла одну из целей введения ударничества.

32. Прорабы и бригадиры также ощущали необходимость «выводить» своих рабочих в ударники, и чтобы рабочие были довольны, и чтобы продемонстрировать вышестоящему начальству свой талант руководителя. В сатирическом рассказе, появившемся в заводской газете, говорилось о том, как некий бригадир, за неимением времени для организации социалистического соревнования или проверки процентного выполнения нормативов, тем не

менее, считал необходимым записывать своих подопечных в ударники. В рассказе описывалось, как он собирает бригаду и начинает выкликать рабочих по списку, спрашивая после каждой фамилии: «Включить его в список ударников?» - «Включи его!» - каждый раз отвечает кто-нибудь, и напротив фамилии мнимого ударника появляется галочка. Под конец собрания к списку ударников добавляют и тех, кого бригадир случайно пропустил. Но вдруг бригадир понимает, что забыл назвать самого себя. К этому времени бригада уже разошлась, никого не осталось, чтобы выкрикнуть «включи его», и незадачливый бригадир остался вне заветного списка, сорвав свой собственный план вывести всю бригаду в ударники. - Магнитогорский металл, 28 августа 1935 г.

33. Заводской партийный комитет пользовался значительным влиянием при решении проблем, касавшихся членов партии. Так, рабочий прокатного цеха Миноков, на глазах у которого умер один из его детей, а другой ребенок находился на грани смерти, хотел уехать из города, считая, по-видимому, что дальнейшее пребывание здесь представляет угрозу для здоровья. Вайсберг, начальник цеха, предложил Минокову лучшие жилищные условия и 250 руб. для поездки его жены и ребенка на юг, но Миноков продолжал настаивать на увольнении. В качестве наказания начальник цеха понизил его в разряде; Миноков вспылил и не появлялся на работе в течение двух дней, за что был с позором уволен. Но так как Миноков был членом ВКП(б), партийный комитет заступился за рабочего и воспрепятствовал поспешному увольнению. Все же под давлением партии Миноков был вынужден признать свою вину и написать покаянное письмо, предназначавшееся для публикации в городской газете. - ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 305, лл. 52-55.

34. В конце февраля 1936 года партийный комитет организовал специальное совещание агитаторов, где с докладом, освещающим сущность их работы, выступил секретарь партийного комитета Рафаэль Хитаров. - МР, 14 марта 1936 г.

35. МР, 15 декабря 1936 г.

36. Магнитогорский металл, 3 ноября 1935 г., 30 июня 1936 г. Приведенные реплики были произнесены во время изнурительной процедуры обмена партийных билетов. Как рассказывала газета, в один из так называемых «политдней» 1936 года после выступления агитатора в доменном цеху установилось гробовое молчание. Никто не пытался задавать вопросы или завязать дискуссию. Кто-то из рабочих пожаловался, что они слышали об этом собрании только сегодня. Другой сказал, что у него еще не было возможности хотя бы просмотреть недавнюю речь Орджоникидзе. Третий добавил, что «у нас все делается экспромтом». Газета делала вывод, что налицо явная неподготовленность рабочих к такого рода мероприятиям. - МР, 24 июля 1936 г.

37. См. пример, взятый из статьи в журнале «Вопросы продвижения» (1934. № 7. С.50), на который ссылается в своем исследовании В.Андрле: Vladimir Andrie, «How Backward Workers Became Soviet: Industrialization of Labor and the Politics of Efficiency under the Second Five-Year Plan, 1933-1937», Social History 10, № 2 (May 1985). P.155. Андрле объясняет, что «практика выполнения обязанностей по "общественной работе" в рабочее время была запреще-

на совместным декретом Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета ВКП(б) в марте 1931 года. Она была повторно запрещена промышленными комиссариатами в сентябре 1933 года. Заводское собрание, на котором в сентябре 1934 года прозвучало приведенное выше замечание, издало резолюцию об упразднении подобной практики». И все же подобные агитационные летучки продолжали иметь место.

38. См. захватывающий официальный отчет Н.Д.Ларина, занимавшего в то время пост председателя заводского профсоюзного комитета. Ларин сообщал, что текст речи Сталина был получен в Магнитогорске 22 ноября 1935 года приблизительно в десять часов утра. Тут же, по согласованию с редакцией «Магнитогорского рабочего», было отпечатано около десяти тысяч копий экстренного выпуска газеты с текстом речи, которые предназначались для обсуждения в цехах. Уже в течение дня, по словам профсоюзного руководителя, во всех сменах и бригадах началось обсуждение сталинской речи. Весь профсоюзный актив, - подчеркивал Ларин, - был мобилизован, и обсуждением руководили авторитетные лидеры заводского комитета. Рабочие и работницы, - продолжал он, - взволнованно обсуждали «историческую речь товарища Сталина», и тут же целые смены, бригады, цеха, равно как и отдельные стахановцы брали на себя конкретные обязательства шире внедрять стахановские методы, совершенствовать технологии производства и выполнить производственный план досрочно. - МФГАЧО, ф. 118, оп. 1, д. 80, л. 112. На следующий год, по данным источников, принятие новой Конституции стало предметом обсуждения на 286 собраниях, а также 140 «индивидуальных беседах», в которых приняло участие 22 744 человека. Скрупулезные записи, которые вели агитаторы - указание точного количества проведенных встреч, заданных вопросов и количества «охваченных» людей, - не следует воспринимать как свидетельство формальности, а значит, бесполезности подобных мероприятий (при всей кажущейся очевидности такого вывода). - Там же, ф. 10, оп. 1, д. 139, л. 50.

39. Он жаловался, что проводить политзанятия трудно из-за отсутствия приличной географической карты. - МР, 4 марта 1936 г.

40. См. Scott, *Behind the Urals*, pp. 84-85. Утверждение Скотта, что «до 1935 года... арестов было немного. Но компромат в делах уже копился», повторил, среди прочих, директор советского завода на Украине, который позже покинул страну. См. V.Kravchenko, *I Chose Freedom* (New York: Scribner's Sons, 1946). P.75.

41. Орджоникидзе Г.К. Статьи и речи: В 2 т. Т.2: 1926-1937 гг. М., 1957. С.458.

42. Scott, *Behind the Urals*. P.36.

43. МР, 6 февраля 1938 г. В отношении профсоюзной политики, как представляется, все обстоит иначе. В конце 1937 года Центральный Комитет Союза металлургических рабочих направил в Магнитогорск бригаду для «перестройки» работы профсоюза. В связи с этим 15 марта 1938 года состоялась общезаводская конференция. По существующим нормам местная организация, насчитывавшая 20 000 официальных членов, должна была представить

на такую конференцию 1 500 делегатов; но в первый день на заседании появилось 780 человек, а на второй - только 524. Конференция проходила в разгар кампании террора, что могло бы объяснить массовую неявку; но партийные собрания в годы террора, как правило, посещали исправно. - МР, 24 февраля, 15 марта, 18 марта 1937 г.

44. См., в частности, работу Сигелбаума, чья трактовка стахановского движения как «государственной политики и социального феномена» полностью учитывает весь широкий спектр ассоциаций, вызываемый этими словами: определенный тип рабочего, определенные методы работы, профессиональное обучение и периоды интенсивной трудовой деятельности, активности. Siegelbaum, Stakhanovism. P.XII, 145. Более узкий, чем у Сигелбаума, подход к данному явлению представлен в неопубликованном докладе Франческо Бенвенутти «Стахановское движение и сталинизм, 1934-1938 гг.» (Francesco Benvenuti, «Stakhanovism and Stalinism, 1934-1938»), прочитанном в Центре исследований России и Восточной Европы Бирмингемского университета в июле 1989 года и представляющем собой сокращенную англоязычную версию его труда «Fuoco sui sabotatori! Stachanovismo e organizzazione industriale in URSS, 1934-1938» (Rome, 1988).

45. Площадь перед заводским управлением в центре города, где обычно проходили праздничные торжества и политические демонстрации, была (правда, ненадолго) переименована в площадь Стахановцев. - МР, 12 января и 4 мая 1936 г.

46. ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 313, л. 88.

47. МР, 1 марта 1936 г. Один советский исследователь истории Магнитогорска, чья работа вышла в свет вскоре после смерти Сталина, выявил, что только за 12 дней в январе 1936 года число стахановцев выросло почти вдвое: с 2 496 до 4 471 человека. Он добавил, тем не менее, что из-за перебоев в снабжении, нехватки материалов и инструментов «штурмы» не вели к долгосрочным успехам, а лишь истощали силы, причем рабочие недостаточно заботились об оборудовании. - Сержантов В. Металлурги Магнитки в борьбе за освоение новой техники в годы второй пятилетки // Из истории революционного движения и социалистического строительства на южном Урале. Ученые записки Челябинского педагогического института. Т.1. Вып.1. Челябинск, 1959. С.236-237. Сходную оценку стахановского движения в советской автомобильной промышленности см.: Сахаров В. Зарождение и развитие стахановского движения в автотракторной промышленности. М., 1979. С.144-145.

48. МР, 5 марта 1936 г.

49. ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 397, лл. 45-46, 50. Напротив, Борис Боголюбов, «ссылный специалист», заместитель начальника рудника, утверждал в неопубликованной заметке от 28 ноября 1936 г., что «у нас новые нормы все освоены. Не особенно легко это прошло, но все нормы освоены». - Там же, д. 304, л. 113.

50. Магнитогорский металл, 3 ноября 1935 г.

51. ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 313, л. 25.

52. Там же, д. 312, л. 11.

53. Там же, д. 306, лл. 84-87, 101. Подробнее о том давлении, которое пришлось испытать руководству в разгар стахановской кампании, см.: За индустриализацию, 18 января 1936 г.; Социалистический вестник, 28 декабря 1935 г. и Kravchenko, I Chose Freedom. P.188.

54. Богатыренко также указал, что в цеху на время написания его статьи (август 1936 года) часто возникали ситуации простоя, выходило из строя оборудование, и что обжим 215 слитков стали за смену по-прежнему оставался еще чем-то необычным. Он добавил, что несколько раз вызывал других операторов на соревнование, но не встретил поддержки ни со стороны партии или профсоюза, ни со стороны общественности. - МР, 14 августа 1936 г.

55. ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 312, л. 11.

56. МР, 14 августа 1936 г.

57. МР, 28 января и 1 марта 1936 г.

58. Люди Сталинской Магнитки. Челябинск, 1952. С.104-105.

59. МР, 21 ноября 1936 г.; ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 300, лл. 61-81. В мае 1936 года Матюшенко, старший мастер мартеновского цеха, которому был 61 год, удостоился неожиданного приема в красном уголке своего цеха. Когда его попросили сказать несколько слов, Матюшенко, как сообщала газета, был слишком взволнован. Позже, тем не менее, он рассказал, как в 1934 году начальник цеха впервые назначил его мастером всех четырех существовавших тогда печей с условием, что он должен подумать о кадрах для других восьми печей, которые планировалось ввести в действие в дальнейшем. «Разговор с начальником я понял так, - вспоминал Матюшенко, - что нужно готовить сталеваров на месте. Как только осмотрелся, изучил людей, стал подбирать кандидатов в сталевары прямо из чернорабочих». Он добавил, что, вопреки распространенному мнению, обучение на профессионального сталевара заняло не десять-пятнадцать лет, а два года. - МР, 24 мая 1936 г.

60. МФГАЧО, ф. 10, оп. 1, д. 243, л. 3.

61. Одновременно с ним четыре начальника (Завенягин, Беккер, Гончаренко и Шевченко) и один рабочий (Галиуллин) были награждены орденом Ленина. - МР, 11 декабря 1935 г.

62. МФГАЧО, ф. 99, оп. 1, д. 1091, л. 81.

63. ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 312, л. 14.

64. МР, 27 августа 1936 г.; ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 313, л. 140. Газета также сообщала, что в дома стахановцев доставляют по заказу книги и бакалейные товары. Рабочие, тем не менее, жаловались, что у них нет времени для чтения, и что вместо бакалейных товаров, которые они заказывали, им доставляли суррогаты сомнительного качества. - МР, 8 апреля и 17 июня 1936 г.

65. МР, 30 августа 1936 г.

66. Siegelbaum, Stakhanovism. С.179.

67. Цит. по: Гершберг С.Р. Работа у нас такая: Записки журналиста-правдиста тридцатых годов. М., 1971. С.321. Орджоникидзе ссылался на «изотовцев». Николай Изотов, забойщик на донбасском руднике, за первые три месяца 1932 года превысил свою норму выработки на 474%. Изотов, по существу являвшийся первым стахановцем, был «открыт» Гершбергом. См.:

Siegelbaum, Stakhanovism. P.54-61. В декабре 1938 года государство ввело новую награду – звание Героя Социалистического Труда. Его обладатель автоматически получал орден Ленина. – Ведомости Верховного Совета СССР. 1938. № 23; перепечатано в: Сборник законодательных актов о труде. 2-е изд. М., 1965. С.537-538.

68. По формулировке Хитарова, стахановец представлял собой «новый тип личности» с «широкими горизонтами», «величайшей активностью» и жадной жаждой знаний, что, вместе взятое, требовало от партийной организации большей и лучшей работы. Но сделанная Хитаровым характеристика партийных собраний до начала стахановского движения не была особенно обнадеживающей: «Раньше частенько бывало так: секретарь парткома, готовясь к отчетному докладу, с умилением склоняется над сводками: “охват” соревнованием на предприятии – 80% против 50% в прошлом году... Производственный план еще не выполняется, – от этого никуда не уйдешь, – но ничего, все же большинство рабочих – ударники. Проведено сколько-то производственных совещаний, собрано сколько-то сотен или тысяч рационализаторских предложений. Но сколько совещаний были действительно жизненными, а не сводились к общим разговорам? Сколько рационализаторских предложений было проведено с реальным результатом? Об этом в сводках секретаря обычно умалчивалось... С пропагандой и агитацией тоже получилось по сводкам как будто неплохо: “охват партгучебой” возрастал за год с 70 до 90 %, даже посещаемость увеличивалась, скажем, с 40 до 60 %. Отмечалось, что было выпущено сколько-то стеновых газет, проведено столько-то бесед и чтнок. Но каков был действительный результат агитационно-пропагандистской работы, чему на деле учились и члены и кандидаты партии, насколько в действительности вырастал их идейно-политический уровень, была ли действенной стенная печать и каково было качество проводимых бесед и чтнок с рабочими, – всеми этими вопросами руководитель, находящий удовлетворение лишь в сводках, обычно не интересовался». – Хитаров Р. Стахановское движение и партийная работа // МР, 10 марта 1936 г. Статья первоначально появилась в газете «Правда» за 4 марта 1936 г.

69. Стахановское движение было тесно переплетено с производившимся тогда же обменом партийных документов. Например, под газетной статьей, озаглавленной «Как я подготовился к обмену партийных документов», стояло имя Никиты Паукова, мастера на среднем сортовом стане с внушительным списком наград и трудовых рекордов, зарабатывавшего свыше 1000 руб. в месяц. Пауков приехал в Магнитогорск в сентябре 1934 года, будучи членом партии с 1928 года; во внерабочее время он выполнял обязанности агитатора, организуя собрания в цеху, и занимался в кружке по изучению истории партии. Новый партийный билет ему вручали на специальной торжественной церемонии. В том же году Пауков был награжден автомобилем. – МР, 28 апреля 1936 г.; ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 307, лл. 26-28; д. 312, л. 51.

70. ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 312, л.49.

71. Автором рукописи был И.Ивич (Вернштейн), который написал также историю строительства города. - ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 364, лл. 58-61, 66. Человеком, левая нога которого запуталась в электрических проводах,

когда электричество было по ошибке включено, был Леонид Терехов. Он пролежал в больнице три месяца, был послан на курорт, а затем вернулся на работу, где его радушно встретили. - МР, 23 мая 1936 г.

72. Заместитель директора Хазанов утверждал, что когда начальник цеха Голубицкий давал указания Огородникову, последний ответил: «Что вы говорите, вы здесь - еще месяца нет, а я - полтора года, я лучше знаю». - ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 313, л. 49. Поспешное увольнение Огородникова было, по-видимому, вызвано тем, что Голубицкий наложил на него штраф в размере 250 рублей за «создание угрозы» для работы оборудования. Озлобленный штрафом и тем, что за него никто не вступился, оператор покинул Магнитогорск и приехал на блюминг в Макеевку. Когда магнитогорские должностные лица сообщили об этом в Главное управление металлургической промышленности (ГУМП), Гуревич лично вызвал Огородникова в Москву. 3 мая Огородников встретился с Гуревичем и Орджоникидзе, получил от последнего выговор за то, что своевременно не сообщил в комиссариат о своих проблемах, и приказ вернуться в Магнитогорск. Огородников сообщал, что, встретившись со знаменитым комиссаром, был удивлен тем, насколько «ценят людей», но признавался в нежелании возвращаться и нервничал по поводу своего будущего. Он вернулся в Магнитогорск 10 мая. Атмосфера на блюминге оставалась напряженной. - За индустриализацию, 12 апреля 1936 г.; Магнитогорский металл, 24 апреля 1936 г.; МР, 12 мая 1936 г.; ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 312, лл. 5-11. В связи с этой историей директор завода Авраамий Завенягин опубликовал ловкую самокритичную статью в газете «За индустриализацию» от 25 апреля 1936 года, которая была перепечатана в «Магнитогорском рабочем» 27 апреля 1936 года. Завенягин, по-видимому, был не слишком доволен неблагоприятным для него освещением этого эпизода в центральной печати.

73. МР, 16 марта 1936 г.

74. ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 305, л. 59.

75. Там же, д. 307, лл. 45-46 и д. 397, лл. 45-46, 50.

76. МР, 14 октября 1936 г.

77. Завенягин А. О пересмотре мощностей оборудования и норм // МР, 9 марта 1936 г.

78. МР, 5 апреля 1936 г.

79. По неизвестным причинам газета не упомянула о стахановской кампании, которая в это время была в полном разгаре, хотя это должно было иметь отношение к тому факту, что Васильев «превысил допустимые мощности». - МР, 27 августа 1936 г.

80. ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 309, л. 74.

81. На стане «300» № 1 в ходе стахановской декады в феврале 1936 года, как сообщала городская газета, инженер Кудрявцев (начальник смены), вместо того чтобы мобилизовать рабочих на перевыполнение рекорда, поставленного сменой Макаева, воспользовался случаем для «дискредитации» начальника цеха и смены Макаева, заявив, что начальник цеха приписал макаевской смене несколько лишних тонн. Далее в статье утверждалось, что Куд-

рявцев отказывается организовывать и проводить собрания рабочих своей смены, заявляя, что это дело профсоюза и партийной ячейки, а не инженерно-технического персонала. Вскоре Кудрявцев, отстраненный от должности начальника смены, обвиненный в саботаже, исключенный из инженерно-технического совета (он не был членом партии), был арестован. Новым начальником смены стал Макаев. - МР, 22 января, 30 января, 9 февраля 1936 г.; МФГАЧО, ф. 118, оп. 1, д. 106, л. 23. Неясно, имеет ли этот Кудрявцев отношение к Николаю или Евгению Кудрявцевым.

82. Джон Скотт, признавая, что оборудование и транспорт были перегружены, что их ремонтом зачастую пренебрегали, что техника нещадно эксплуатировалась, тем не менее, считал, что «благодаря стахановскому движению в Магнитогорске в течение второго полугодия 1935 года и почти всего 1936 года были достигнуты весьма значительные результаты», и что, «по большому счету, 1936, стахановский год, был грандиозным успехом». Скотт основывал свою оценку на официальных данных, опубликованных в газете в 1936 году. Но в 1937 году, когда Скотт покинул СССР, эти данные были опровергнуты как недостоверные директором Магнитогорского отделения Государственного банка. Скотт сам признавался, что «было трудно доверять» сведениям о доходах предприятия, и что магнитогорская сталь «дорого стоила и в рублях, и в человеческих жизнях». - Scott, *Behind the Urals*. P.163-166. Один советский очевидец выразил мнение многих магнитогорцев, признавшись, что в условиях стахановского движения одна смена еще могла перевыполнить план, но следующая за ней - уже нет. - ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 306, лл. 77-78. Скотт, по-видимому, был прав в том, что стахановское движение, получившее свое название в честь шахтера, приносило наилучшие результаты в шахтах, где рабочий процесс наиболее легко поддавался интенсификации. - Стахановский опыт Магнитогорского рудника. С.22, 45.

83. МФГАЧО, ф. 118, оп. 1, д. 106, л. 23. Другой рабочий среднего сортового стана, Антон Васильченко, который, по-видимому, был раскулачен в 1931 году, был обвинен в отказе создать условия для установления рекорда стахановцем Шевчуком. Васильченко был арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности по ст. 58 и препровожден в Челябинский областной суд. Детали предполагаемого преступления Васильченко выглядели не особенно убедительно. Он, по-видимому, сыграл роль козла отпущения: газета сообщала о его деле в статье под названием «Классовый враг в цеху». - МР, 30 января 1936 г.

84. Это резко контрастировало с практикой американских металлургических предприятий того времени, где представителей национальных меньшинств, например чернокожих и испаноязычных, обычно ставили на самые тяжелые и опасные виды работ в горячих цехах, что служило показателем низкого социального статуса и этих видов работ, и самих рабочих. - Edward Greer, *Big Steel: Black Politics and Corporate Power in Gary, Indiana* (New York: Monthly Review Press, 1979). P.72-89.

85. Согласно сообщению городского совета от декабря 1936 года, на металлургическом предприятии было 11000 стахановцев и ударников, что составляло 51% всех рабочих предприятия. - МФГАЧО, ф. 10, оп. 1, д. 243, л. 3.

В сентябре 1939 года в Магнитогорске, по официальным данным, насчитывалось 11 150 стахановцев и ударников. Газета, опубликовавшая эту цифру, назвала ее «очковтирательством», не имеющим ничего общего с реальностью. Редакция, без сомнения, имела в виду показатели выпуска продукции, но крайности политики распределения рабочих по этим условным категориям были очевидны. - МР, 5 ноября 1939. В середине 1936 года заместитель директора металлургического предприятия Хазанов обнаружил, что согласно данным администрации завода, на предприятии было 3 663 стахановца, а по данным профсоюзного комитета - 4 441. «У нас в цехах, - комментировал он, - нет достаточно четких признаков для определения стахановцев». Наркомат тяжелой промышленности выпустил несколько инструкций по классификации выдающихся рабочих, большая часть которых строилась на использовании системы показателей количественного выполнения нормативов. Напротив, в директиве, выпущенной в августе 1936 года, Гуревич, председатель ГУМПИ, писал, что стахановцы отличаются от ударников качеством работы, состоянием их рабочего места и оборудования. Это было явной попыткой противостоять тенденции наращивать количественные показатели в ущерб качеству и технике. - Магнитогорский металл, 30 июня и 4 августа 1936 г.

86. Сигелбаум доказывал, что главным мотивом поддержки стахановского движения со стороны государства, помимо желания увеличить производительность труда, было намерение ослабить самостоятельность руководителей производства и создать опору государству в лице новой пролетарской культуры. В ходе стахановской кампании рабочий класс был преднамеренно расколот на узкий привилегированный слой - и непривилегированное большинство, причем авторитет и влияние «рабочей аристократии» обеспечивали всеобщую приверженность ценностям режима, а неизбежная напряженность внутриклассовых отношений тормозила развитие классовой солидарности. Но Сигелбаум пренебрег живучестью «классового сознания», чувством общей судьбы, связывавшей рабочих. Несмотря на крайнюю индивидуализацию и достаточно явное социальное расслоение, рабочие сознавали, что они не хозяева. По словам Моше Левина, который был эвакуирован в СССР из Польши во время войны, «ты не мог подойти к рабочему и сказать ему лично, что он является членом правящего класса. Когда я работал на Урале, рабочие сознавали, кто они есть, и понимали, что всю власть и привилегии имеет начальство». - Siegelbaum, *Stakhanovism*. Ch.6; Moshe Lewin, «Interview with Paul Bushkovitch», *Radical History Review*, 1982. P.295-296. Один бывший советский гражданин свидетельствовал, что рабочие испытывали сильное чувство страха; «но ты знаешь, - добавил он, - мы любили друг друга, я имею в виду, рабочие. Все были в одинаковом положении». - *Twenty-Six Interviews*. Jay K.Zawodny Collection, Hoover Institution Archives, Stanford, California. Vol.1/2.

87. ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 300, лл. 149-154.

88. Там же, д. 315, л. 14; д. 300, л. 47.

89. Елисева В.Н. Борьба за кадры на строительстве Магнитогорского металлургического комбината в годы первой пятилетки // Ученые записки Челябинского педагогического института. Челябинск, 1956. С.221.

90. Анатолий Думкин, приехавший на строительство в июне 1931 г., первое время жил в палатке, затем обучился профессии сварщика и переехал в жилые бараки. Он объяснял, что большинство сварочных масок приходилось придерживать руками. По его словам, очень немногие маски держались на лице сами, но в них было очень жарко и, в любом случае, их приходилось часто снимать для проверки качества работы. Так как на одной и той же секции работало несколько сварщиков из одной бригады, иногда случалось, что одного рабочего, снявшего маску, временно ослепляло пламя сварочной горелки другого. Думкин решил пройти «курсы», чтобы стать сборщиком. Это значило, что он поступил к кому-то в ученики. - ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 300, лл. 40-41.

91. ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 100, л. 110.

92. Алексей Шатилин, донбасский шахтер, приехавший в Магнитогорск в 1931 году, в 1934 году прошел отбор для обучения на оператора доменной печи и стал одним из прославленных магнитогорских стахановцев. - Шатилин А. На домнах Магнитки. М., 1953. С.4-5. Многие стахановцы были опытными рабочими (хотя выполняли менее квалифицированные виды работ). Согласно данным профессионального союза за 1936 год, из 2 335 магнитогорских стахановцев 1 028 имели десять и более лет трудового стажа. Из 3 665 ударников 999 рабочих имели три года и менее трудового стажа и 1 203 человека - десять лет и больше. - МФГАЧО, ф. 118, оп. 1, д. 106, л. 4.

93. Мечтой стахановцев была учеба в Промышленной Академии. Богатыренко, приехавший в Магнитогорск в августе 1932 года, хотел продолжить обучение, но не мог из-за трудностей с языком. У него было четыре класса образования, три из которых Богатыренко - украинец по происхождению - окончил на Украине, а последний класс - в России; он говорил, что «смешал языки». Завенягин обещал прикрепить к нему наставника, чтобы помочь подготовиться к поступлению в академию, но, по-видимому, не сделал этого. Богатыренко отмечает, что его товарищ, оператор блюминга Черныш, учился в техникуме. - ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 304, лл. 174-179. Огородников, сын белорусского крестьянина из Смоленской губернии, был едва грамотен и также хотел, чтобы ему предоставили отпуск для обучения за государственный счет в Промышленной академии. - Там же, д. 311, лл. 11-13, 15. Федор Голубицкий утверждал, что Богатыренко был превосходным рабочим, но с изменчивым настроением и склонным к выпивке, в то время как Черныш имел «очень большую жажду образования» и непрерывно учился. - Там же, д. 306, л. 74. Рафаэль Хитаров отметил, что, в отличие от некоторых стахановцев, Богатыренко отказался стать наставником, сказав: «сам буду работать, пусть смотрят». - Там же, д. 313, л. 34.

94. Романов В.Ф. Магнитогорский металлургический комбинат // Вопросы истории. 1975. № 9. С.108.

95. К концу 1935 года, согласно городской газете, 3 500 человек сдали государственный экзамен по техническому минимуму по основным профессиям. - МР, 2 февраля 1936 г.; см. также Scott, Behind the Urals. P. 218 и ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 200 (все дело). По более точным данным, фабрично-заводское учили-

ше, или ФЗУ, за первые восемь лет своего существования выпустило 3 380 человек. В 1939 году число учащихся составляло более 1000 человек. - МР, 18 октября 1939 г.

96. Развитие трудовых навыков трактовалось гораздо шире, чем приобретение профессии и оттачивание мастерства. Рабочие получали инструкции в виде небольших буклетов, включавших метрические таблицы, таблицу умножения и правила поведения. - ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 301, л. 55. Как писал французский историк Мишель Перро, «производственная дисциплина представляет собой только одну из многих форм дисциплины, и завод, как и школа, армия, пенитенциарная система, принадлежит к группе учреждений, которые, каждое по-своему, вносят свой вклад в процесс создания нормативов и правил». - Michelle Perrot, «The Three Ages of Industrial Discipline in Nineteenth-Century France», John Merriman, ed., *Consciousness and Class Experience in Nineteenth-Century Europe* (New York: Holmes and Meier, 1979). P.149-168; приведена цитата со страницы 149.

97. Джон Скотт был поражен учащимся магнитогорских вечерних школ, которые могли работать восемь, десять, даже двенадцать часов в самых суровых условиях, а потом идти вечером в школу (иногда на голодный желудок), и, сидя на деревянных скамьях в такой холодной комнате, что пар вылетал изо рта на целый ярд, заниматься математикой по четыре часа без перерыва. - Scott, *Behind the Urals*. P.49.

98. Хотя большинство рабочих комбината первоначально участвовали в его строительстве, часть рабочих прибыла туда с Урала или, что встречалось еще чаще, с Донбасса. Но даже от них работа на комбинате требовала усвоения новой трудовой культуры. Так, Григорий Бобров, металлург мартеновской печи № 9, который приехал в Магнитогорск в июне 1934 года со старого сталелитейного завода, вспоминал, что на Белорецком заводе он привык доверять своим глазам больше, чем данным лабораторных анализов. Люди были убеждены, что лаборатория «врет» и что глаза более точны. Приехав в Магнитогорск, Бобров вначале попытался работать «на глазок», как привык; но постоянно слышал: «Не так, отвези сталь в лабораторию, работай согласно лаборатории». Рабочий утверждал, что ему такой подход пришелся по душе; он прошел курсы, должен был освоить все с самого начала. Он признавался, что работать с приборами, безусловно, удобнее, что теперь он доверяет ордометру больше, чем своим глазам. Бобров добавил, что лаборатория находится прямо в цеху и делает необходимые анализы за пять минут. - ГАРФ, ф.7952, оп. 5, д. 304, л. 188.

99. Там же, д. 305, л. 35.

100. Там же, д. 300, л. 52.

101. МР, 28 октября 1936 г. См. также: Рабочие династии. М., 1975.

102. МР, 21 апреля 1936 г.

103. Известия, 21 декабря 1938, перепечатано в: Сборник законодательных актов о труде. 2-е изд. С.92-93. По удачному выражению бывшего советского руководителя с Украины, «трудовая книжка для рядового рабочего стала тем, чем для коммуниста был партийный билет..., рабочий был приговорен

тащить всегда за собой, куда бы он ни направлялся, бремя всего своего прошлого». - Kravchenko, I Chose Freedom. P.312.

104. Логическое обоснование необходимости введения трудовой книжки (которое состоялось в 1938 году) можно найти в центральной прессе еще за 1931 год. См.: Известия, 14 января 1931 г.; цит. также в: Schwarz, Labor in the Soviet Union. P.96-97.

105. ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 301, л. 83 (оборот). Подобным образом, характеристики «лучших стахановцев» в 1938 году включали такие сведения: род занятий, время начала трудовой деятельности, дата вступления в партию, данные о выполнении норм, общественной работе и полученных наградах. - МФГАЧО, ф. 118, оп. 1, д. 153 (все дело). Личная карточка депутата городского Совета включала, кроме имени, отчества и фамилии, пола и национальности, следующие данные: партийность (да или нет; если да, год вступления), социальное происхождение (выбрать из нескольких предложенных вариантов), ударник (да или нет), служба в Красной Армии (да или нет), место работы и домашний адрес. - Там же, ф. 10, оп. 1, д. 121, л. 1.

106. Одна такая анкета включала шестнадцать вопросов, большинство которых касались трудовой деятельности респондентов, хотя некоторые предназначались для установления их социального и географического происхождения, а также периода времени, проведенного ими в Магнитогорске. Руководители также предоставляли аналогичные сведения о себе. - ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 301, л. 79.

107. ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 301 (все дело). Женщины почти не оставили воспоминаний. Одним из немногих исключений была Раиса Тройнина. Там же, д. 319, л. 1 об.

108. ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 318, л. 20. В тексте воспоминаний можно обнаружить достоверные признаки того, что они были, по меньшей мере частично, написаны самими рабочими. Хотя стандартные образные выражения повторяются из текста в текст, можно найти значительные различия в авторском стиле и расстановке смысловых акцентов. Более того, авторы воспоминаний открыто поднимают многие «деликатные» или, иначе говоря, запрещенные для обсуждения темы. И, в отличие от большинства появившихся в газете «писем рабочих», лишь один автор воспоминаний (один из более чем ста мемуаристов!) закончил свои записки восклицанием: «Да здравствует партия большевиков, да здравствует гениальный вождь Сталин, да здравствует мировой гигант [Магнитка]!» - Там же, д. 318, л. 20.

109. Это сообщил автору Луис Эрнст, очевидец, в Донифоне, штат Миссури, 30 апреля 1986 года; его слова подтверждаются свидетельствами бывших «раскулаченных» крестьян, проинтервьюированных в Магнитогорске в 1987 и 1989 годах.

110. МР, 29 апреля 1936 г.

111. Магнитогорский металл, 4 января 1936 г.; ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 306, л. 204-222. Грязнов прежде работал на Белорецком заводе (где в течение 38 лет работал также его отец); а в Магнитогорске был рабкором (рабочим корреспондентом) заводской газеты. В марте 1944 года, незадолго до своей гибели

ли, Грязнов прислал с фронта письмо магнитогорским журналистам, где, среди прочего, писал: «Крепко, крепко обнимаю вас... Поцелую после войны и вас, и любимую мою мартеенокву. Печь мою. Пламя мое. Не вижу я его три года. Скучаю. По цеху скучаю, по металлу, по шуму, по гулу цеховому, по огнеупорной пыли, по соли на рубашке и лице». - Цит. по: Татьяничева Л.К., Смелянский Н.Д. Улица сталевара Грязнова. М., 1978. С.23. Дневник, который Грязнов вел в 1934-1940 гг., никогда не был опубликован полностью, хотя Людмила Татьяничева и Николай Смелянский приводят еще несколько выдержек из него.

112. МР, 12 мая 1936 г.

113. ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 305, лл. 40-41.

114. Там же, д. 303, лл. 3-5.

115. Драматичная и далеко зашедшая большевизация русского языка, не говоря уже о многих других языках, которые звучали на территории Советского Союза, была замечена еще современниками. См.: Селищев А.М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком последних лет (1917-1926). 2-е изд. М., 1928. Тем не менее, составители четырехтомного «Толкового словаря русского языка», изданного в 1935-1940 годах, самоуверенно провозгласили, что назначение словаря - положить «начало новому этапу в жизни русского языка, и вместе с тем указать установившиеся нормы употребления слов». - От редакции // Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Д.Н.Ушакова. Т.1. М., 1935 (страница не пронумерована). См также: Michael Waller, «The -isms of Stalinism», *Soviet Studies* 20, № 2 (October 1968). P.229-234. Интересное сравнение было сделано Виктором Клемперером: Victor Klemperer, *LTI, Lingua Tertii Imperii: Die Sprache des Dritten Reiches* (Leipzig: Reclam, 1991; впервые опубликовано в 1957 году). Отчасти мемуары, отчасти беспристрастное научное исследование, работа Клемперера предлагает читателю забавный анализ склонности нацистов к акронимам и связывает особенности «языка нацистов» (*nazistisch sprechen*) с преследуемой ими целью сохранить веру народа в свою эрзац-религию.

116. Сметливость и лицемерие, освященные веками атрибуты «крестьян», постоянно вызывали изумление властей. См., например: Daniel Field, *Rebels in the Name of the Tsar* (Boston: Unwin, Human, 1976).

117. Эту интерпретацию традиционных для России ролей жены-моралиста и мужа-пьяницы подсказала мне Лора Энгелстейн.

118. Именно как хорошая работница попала в центр внимания печати Нина Зайцева, бригадир рудодробильной фабрики. - МР, 8 марта 1936 г.

119. МР, 1, 11 и 16 июня 1936 г. Уникальность этих высказываний, опубликованных редактором-мужчиной, не только в том, что они принадлежат женщинам. Это был единственный пример выступления против официальной политики, беспрецедентный для магнитогорской прессы сталинской эпохи; приведенные выше слова могут служить показателем того, что часть женщин была весьма недовольна сменой политического курса. Похожие критические письма, опубликованные в «Правде» и «Комсомольской правде», упоминаются в следующей работе: Janet Evans, «The Communist Party of the Soviet

Union and the Women's Question: The Case of the 1936 Decree "In Defense of Mother and Child", Journal of Contemporary History 16 (1981). P.757-775.

120. МР, 28 июля 1936 г. Его заметка была опубликована как часть кампании по всенародному одобрению новой Конституции.

121. В 1938 году в городе было около 15 000 «нацменов», то есть членов национальных меньшинств, - определение, сохранившееся главным образом по отношению к не-славянам, особенно казахам и татарам. - МР, 12 апреля 1938 г. Казахи, в отличие от татар, довольно плохо усваивали русский язык. Один местный мелкий служащий утверждал, что казахи не говорили по-русски и носили свои национальные одежды, в которых было трудно работать. По его словам, они потрясающе работали зимой, но летом предпочитали кочевать (правда, уже не со стадами, а просто со своими семьями), а на заработанные деньги обязательно приобретали коня. - ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 309, л. 38-43. Режим проводил политику обучения национальных меньшинств на их родных языках, но квалифицированных учителей для этого катастрофически не хватало. Во всем Магнитогорском регионе, например, было только 20 казахских учителей. Из них лишь четверо окончили семилетку, а некоторые не смогли окончить и трех классов. Газета нашла одну школу, где казахские дети обучались на татарском языке. - МР, 29 сентября 1936 г.

122. МР, 17 марта 1936 г.

123. В течение первых восьми месяцев 1935 года на коксохимическом предприятии было выдвинуто двадцать два рационализаторских предложения, шесть из которых были приняты (и только пять - реализованы). Остальные шестнадцать были отвергнуты. Газета также указывала, что те рацпредложения, которые удалось успешно внедрить в производство, вносили инженеры и мастера, а не рядовые рабочие. Сам характер освещения этой темы в печати воспринимался как ясный и недвусмысленный наказ профсоюзным и партийным лидерам завода: результаты последующих месяцев должны выглядеть более внушительно. - Магнитогорский металл, 23 августа 1935 г.

124. Scott, Behind the Urals. P.164.

125. Превосходный пример (процесс принятия повышенных трудовых обязательств - приведен в книге Кравченко: Kravchenko, I Chose Freedom. P.189.

126. Несомненные свидетельства страха перед осведомителями содержатся в интервью бывших советских граждан (не из Магнитогорска) в «Twenty-Six Interviews» и материалах Гарвардского проекта по интервьюированию. В те же самые годы практику содержания осведомителей, хотя это было нарушением закона, - широко использовали американские корпорации, что повлекло за собой сенатские расследования и поток негодующих опровержений со стороны промышленников. - Frank Palmer, Spies in Steel: An Exposé of Industrial War (Denver: The Labor Press, 1928).

127. Дело заключалось не в том, что говорить свободно было совсем запрещено; нужно было знать, как и когда высказываться. Скотт описывает собрание рабочих на большом московском заводе в 1940 году. «Я видел, как рабочие поднимались и критиковали директора предприятия, вносили предложения о том, как увеличить производительность труда, улучшить качество

и понизить себестоимость продукции, - писал он. - Потом был поднят вопрос о новом советско-германском торговом пакте. Рабочие единодушно проголосовали за принятие заранее подготовленной резолюции, одобряющей советскую международную политику. Обсуждения не было. Советские рабочие научились понимать, что было их делом, а что нет». - Scott, Behind the Urals. P.264.

128. См: Всесоюзная перепись населения 1926 года. М., 1929.

129. См. исследование Норы Фейерс о жизни иммигрантов в крупном американском металлургическом центре Питтсбурге: Nora Faires, «Immigrants and Industry: Peopling the "Iron City"», Samuel Hays, ed., City at the Point: Essays on the Social History of Pittsburg (Pittsburg: Pittsburgh University Press, 1989). P.3-31.

130. Правовые нормы социального обеспечения см.: Кодекс законов о труде с изменениями до 1 июля 1934 г. М., 1934. С.36-37, 85-92.

131. Это доказывал Филтцер в своей работе «Soviet Workers». См. также Lewin, The Making of the Soviet System. P.255. В то время как Филтцер трактовал все виды так называемого антиобщественного поведения рабочих как «сопротивление», Джон Барбер не считал прогулы или пьянство проявлениями сознательной, заранее обдуманной оппозиции. Возможно, Филтцер зашел слишком далеко в своей интерпретации мотивов, руководивших советским рабочим. Суть дела состоит в том, что отношение режима к тому типу поведения, о котором пишет Филтцер, как к политической проблеме, даже когда такое поведение было более или менее «невинным», заставляло рабочих признать, что опоздание или прогул, хотели они того или нет, является политической акцией со всеми вытекающими отсюда последствиями. - John Barber, Working-Class Culture. P.10-13.

132. Собрание законов и распоряжений. 1932. № 78. Статья 475; Там же. 1932. № 45. Статья 244.

133. МР, 26 июля 1939 г. За первые одиннадцать месяцев 1936 года, по сообщениям прессы, 4 000 рабочих уволились с металлургического комбината и со строительства. - ЦР, 30 декабря 1936. В течение первых четырех месяцев 1937 года уволилось около 1 500 рабочих. Вербовщики, как комментировала газета, тратили государственные деньги, но не сумели нанять ни одного рабочего, да и для того, чтобы удержать рабочих на предприятии, делалось слишком мало. - МР, 25 января 1938 г.

134. МР, 9 апреля 1934. О последствиях дефицита рабочей силы см.: Filtzer, Soviet Workers. P.62, 261.

135. См.: David Granick, Job Rights in the Soviet Union: Their Consequences (Cambridge: Cambridge University Press, 1987). Я признателен Кеннету Штраусу за указание этого источника и за плодотворную дискуссию по работе Филтцера.

136. Один бывший советский рабочий (не из Магнитогорска) рассказывал следующее: «В начале 1930-х я и несколько моих друзей собирались по субботам в одном и том же месте и обычно выпивали пива или вина. Иногда мы пили водку, иногда ходили в кино. Спустя некоторое время партия и комсомольцы стали давить на нас, чтобы мы прекратили наши встречи. Они боя-

лись “групповщины“. Скажем, ты пишешь заявление и просишь в нем о чем-нибудь, и несколько человек подписывают его. Это и есть “групповщина“. Тут же местные коммунисты и профсоюзники вызовут одного парня за другим и отчитают его. Но они не вызовут всю группу; они будут разбираться с каждым по отдельности». - *Twenty-Six Interviews*. II/14.

137. Гарет Стедман Джонс писал, что «не существует такого политического или идеологического института, который нельзя было бы интерпретировать так или иначе как учреждение социального контроля... Поскольку мы все еще живем при капитализме, мы можем, если желаем, безнаказанно предполагать, что в любом случае последние триста лет механизмы социального контроля действовали эффективно». Он также призывал осмотрительно использовать концепцию политической гегемонии, предложенную Антонио Грамши: она, считает Джонс, «может дать только тавтологический ответ на ошибочно поставленный вопрос, если мы обращаемся к этой концепции, чтобы объяснить причины отсутствия у пролетариата революционного классового сознания в том смысле, который вкладывал в эти слова Дьердь Лукач». Когда же Стедман Джонс попытался выдвинуть альтернативное объяснение явной «пассивности» рабочих при капитализме, он все же отступил от собственных принципов подхода к явлениям культуры и языка, преподнося «детерминирующую роль производственных отношений... слишком уж упрощенно» (как он сам отметил в критическом обзоре своего эссе). В то же время Джонс отверг подход, предложенный Мишелем Фуко, лишь потому, что неверно интерпретировал его. Фуко, как считаем мы в отличие от Джонса, нашел выход из дилеммы, столь четко сформулированной Стедманом Джонсом. - «*Class Expression Versus Social Control? A Critique of Recent Trends in the Social History of “Leisure“*», Stedman Jones, *Languages of Class: Studies in English Working-Class History, 1832-1982* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983). P.76-89.

138. «Ты просто должен был быть умным в отношении к ним, - объяснял один бывший рабочий не из Магнитогорска. - Часто ты даже чувствовал удовлетворение от того, что мог обойти все эти ограничения». - *Twenty-Six Interviews*. I/5. См. также: Moshe Lewin, *Interview with Paul Bushkovitch*. P.294-296.

139. Парафразируя слова Люсьена Февра, можно утверждать, что к анализу менталитета сталинской эпохи нужно приступать не как к исследованию чьих-либо частных верований, сопоставляя их с нашей собственной системой определения истины, а как к изучению ряда возможностей, доступных для выбора в рамках «режима правды» данного общества. - Lucien Febvre, *The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century: The Religion of Rabelais* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1982); первоначально опубликовано на французском языке в 1942 году.

140. В 1936 году особым декретом было определено, что пересечение советских границ без паспорта и специального разрешения карается тюремным заключением на срок от одного до трех лет. - *Собрание законов и распоряжений, 1936, № 52*, перепечатано в: *Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР*. С.393.

141. Norman Davies, *Heart of Europe: A Short History of Poland* (Oxford: Oxford University Press, 1984), pp. 37-38. Механизм советской цензуры описан в следующей работе: Fainsod, *Smolensk Under Soviet Rule*. P.364-377. Забастовки, довольно распространенные в 1920-е годы, кажется, прекратились в 1930-е. - Filtzer, *Soviet Workers*. P.81.

142. Как писал Эдуард Халлет Карр, «Большевизм продемонстрировал замечательную способность воодушевлять своих приверженцев на подвиги верности и самопожертвования; и этим успехом большевизм, без сомнения, отчасти обязан своей смелой претензии, аналогичной претензиям римско-католической церкви в тех странах, где она по-прежнему могущественна, служить источником принципов, обязательных для любой человеческой деятельности, включая государственную». - E.H.Carr, *The Soviet Impact on the Western World* (New York: Macmillan, 1949). P.84-85.

143. Роберт Таккер убедительно демонстрирует, что Сталин активно внедрял свой собственный культ, но Таккер интерпретирует культ главным образом как внешнее проявление сталинской мании величия, а не как изощренный метод управления или важный аспект советской массовой культуры. - Robert Tucker, *Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928-1941* (New York: Norton, 1990). Противоположная точка зрения представлена в работе Яна Кершоу, посвященной культу личности Гитлера, где говорится о консолидирующей функции мифов, сложившихся вокруг фигуры фюрера. Опираясь на сохранившиеся донесения СС и гестапо о настроениях народных масс, Кершоу доказывает, что роль «гитлеровского мифа» возрастала в обратной пропорции популярности нацистского движения, что вера в Гитлера компенсировала ту широко распространенную и глубокую антипатию, которую испытывали немцы по отношению к нацистской партии как таковой. Кершоу показывает также, что популярность Гитлера держалась на мифе о «добром царе», согласно которому за любые недостатки и несправедливости нес ответственность не фюрер, а его приспешники, - представление, усиливавшееся непопулярностью местных гауляйтеров или «маленьких гитлеров». Я предполагаю, что выводы Кершоу в большей или меньшей степени справедливы и в отношении сталинского культа, хотя этот вопрос не может быть разрешен без обращения к отчетам НКВД о настроениях народных масс. Но популярность ВКП(б), как представляется, была большей, чем популярность НСП, если, конечно, Кершоу не ошибается, приписывая немцам отвращение к нацизму (СС и гестапо вменялось в обязанность искоренение опасных или потенциально опасных воззрений, и потому эти службы были, конечно, заинтересованы в выявлении оппозиции). Кроме того, если «гитлеровский миф» внезапно и постыдно рухнул вскоре после Сталинградской битвы, то «сталинский миф» продолжал жить в сознании многих миллионов людей вплоть до той фронтальной атаки на покойного вождя, которую развернули советские средства массовой информации летом 1988 года в связи с XIX партийной конференцией. Столь разную судьбу этих двух мифов предопределил, конечно, исход войны; но я предполагаю, что здесь замешано и нечто большее. -

Jan Kershaw, *The Hitler Myth: Image and Reality in the Third Reich* (New York: Oxford University Press, 1987).

144. Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. Книга 1: Социализм в одной стране. М., 1996. С.296; на английском языке: Mikhail Heller and Aleksandr Nekrich, *Utopia in Power* (New York: Summit, 1986).

145. В одном исследовании, посвященном отражению сталинского культа в фольклоре, поток народных песен и сказов о советском вожде расценивается как «искусственный», как мнимо-народные сочинения пропагандистов (вывод достаточно распространенный, но, на мой взгляд, слишком прямолинейный). То, что фольклор сталинской эпохи не пережил диктатора, не дает еще оснований считать, что он не вызывал отклика и при жизни вождя. См.: Frank Miller, *Folklore for Stalin: Russian Folklore and Pseudofolklore of the Stalin Era* (New York: M.E. Sharpe, 1990).

146. Культ личности Сталина возникает не с 1929 года (когда праздновалось его 50-летие), как обычно считают, а после 1934 года; переломным здесь был 1936 год - год принятия новой Конституции. В 1936 году магнитогорские газеты были переполнены выражениями хвалы и благодарности Сталину за «наше счастье» и бесчисленными фотографиями «творца Конституции». - МР, 24, 26 и 27 ноября 1936 г. Переход к теплому отеческому образу Сталина можно заметить в школьных учебниках середины 1930-х годов, когда Сталин начал позировать перед камерой в окружении детей. См.: James Heizer, *The Cult of Stalin, 1929-1939*, Ph. D. dissertation, University of Kentucky, Lexington, 1977. Хейцер выдвигает умозрительное предположение, что Сталину, возможно, нравилось бывать с детьми, в чьих объятиях он находил желанную передышку от бесконечной охоты за врагами и шпионами (С.179).

147. Магнитогорск, например, направил четырех делегатов на Чрезвычайный Восьмой съезд Советов в декабре 1936 года, где была наконец торжественно принята новая Конституция, безудержно восхвалявшаяся почти целый год. Вместе с директором завода Авраамием Завенягиным и партийным секретарем Рафаэлем Хитаровым делегатами на съезд были избраны двое рабочих, в том числе Марфа Рожкова, известная как «лучший оператор» на стане «500» (заводская многотиражка отмечала, что за два года работы в послужном списке Рожковой не было зарегистрировано ни одной аварии). - Магнитогорский металл, 6 июля 1935. По возвращении со съезда Советов Рожкова сказала на собрании в Магнитогорске, что «когда вышел Сталин, мы не знали, как кричать от радости». В статье под заголовком «Огромная радость» она с гордостью объявила, что проголосовала утвердительно по каждому вопросу повестки съезда. Рожкова призналась, что сидела далеко от сцены, и ей было трудно что-либо видеть, но, несмотря на это, рассказывала о радости, которую она испытывала: «Я поднимаю руки за Конституцию, и Сталин поднимает руку за нее. Какое счастье, это, товарищи. Честное слово, мне, кажется, сейчас восемнадцать лет». Что касается другого магнитогорского рабочего, побывавшего на съезде, Михаила Зуева, то его замечания были более сдержанными. Зуев подчеркнул, что «ни один оратор, выступавший в

прениях, не обошел вопроса об укреплении обороноспособности страны. Очень многие говорили о военной опасности». - МР, 14 и 16 декабря 1936 г.

148. МР, 8 июля 1936 г.

149. Эту параллель отмечает Артур Кестлер в своей автобиографии: Arthur Koestler, *Arrow in the Blue* (New York, 1952). P.277-278; см. также сборник *The God that Failed*, Richard Crossman, ed. (New York: Harper and Row, 1950).

150. На трибунах, перед которыми проходила демонстрация, стояли «лучшие» стахановцы, а главная трибуна, где произносили речи видные магнитогорцы, была пристроена непосредственно к постаменту статуи Сталина. В газетном репортаже об этом событии «фашистской угрозе» напрямую противопоставляли «сталь Магнитки» и «сталинское руководство». Репортаж сопровождали фотоснимки, где запечатлено множество транспарантов и портретов в руках участников демонстрации. Лишь на некоторых транспарантах упоминалась Испания; большинство содержали здравицы в адрес советского руководства и лично вождя. Почти на всех портретах было одно и то же лицо. Как было принято, зачитали вслух текст телеграммы, подготовленной заранее местным партийным руководством. В ней не упоминалась война в Испании, которая вроде бы была поводом манифестации; телеграмма была посвящена выражениям признательности в адрес Великого Вождя. Трудно найти более яркий пример роли образа Сталина как олицетворения мощи и воли Советского Союза. - МР, 6 октября 1936 г.

151. Барбер также утверждает на основании интервью с эмигрантами, что рабочих официальная идеология подкупала намного меньше, чем интеллектуалов, и что восприятие рабочими великого дела революции напрямую зависело от их уровня жизни. На эту интересную гипотезу, возможно, прольют дополнительный свет оперативные сводки НКВД о политических настроениях масс. - Barber, *Working Class Culture*. P.8-13. Разумеется, контраст между «пролами» и членами партии лег в основу романа Джорджа Оруэлла «1984», впервые опубликованного в 1949 году. В другой своей книге Оруэлл утверждал, что «социализм в своей зрелой форме является теорией, предназначенной скорее для среднего класса», чем для рабочих, и что «одна из параллелей, сближающих коммунизм и римско-католическую церковь, - это то, что лишь "ученые" могут быть истинно верующими». - George Orwell, *The Road to Wigan Pier* (New York: Harcourt, Brace, 1958). P.173-177.

152. Это, пожалуй, было характерно даже для тех недовольных, которые позже покинули страну, согласно исследованию конформизма при Сталине, проведенному Алексом Инкелесом и Реймондом Бауэром на основе Гарвардского проекта по интервьюированию беженцев 1950-х годов (Harvard Refugee Interview Project). Авторы исследования утверждают, что «проводимая режимом политика социального контроля была направлена на то, чтобы поведение нелояльных граждан внешне не отличалось от поведения лояльных», и что государство достигло своей цели, не оставив гражданам «никакой реальной альтернативы конформистскому поведению». Этого удалось добиться, поскольку «мощные карательные санкции, направленные против неконформистов, дополнялись тщательно продуманной системой поощрения конфор-

мистов», и поскольку население, получив обстоятельные политические уроки того, как «правильно» говорить, поступать и думать, «должно было при любом подходящем случае демонстрировать свое одобрение и поддержку системы политически “корректным” поведением и высказываниями». «Подходящие случаи» подворачивались очень часто, «особенно представителям интеллигенции». Все это верно, хотя Инкелес и Бауэр нигде не объясняют, почему «режим» требовал от людей подобных изъявлений преданности (утверждая лишь, что советские лидеры «окаждали» именно этого). Представленная точка зрения не объясняет, почему мастера, агитаторы, мелкие служащие и бесчисленное множество других людей участвовали в ритуалах «всеобщего одобрения» или даже возглавляли их. Что касается позиции рядовых граждан, то авторы доказывают, что проявления лояльности означали лишь осознание мощи режима. Инкелес и Бауэр, кажется, не понимали, что искреннее одобрение до некоторой степени может сосуществовать со страхом: они пишут, что, «в то время как стабильность либерального общества базируется на лояльности его граждан, возможно, будет правильно сказать, что лояльность советского гражданина базируется на стабильности советской системы». Эта формулировка, при всем ее скрытом юморе, основана все на том же спорном постулате: а именно, что лояльность граждан при советском режиме все время была под вопросом. - Alex Inkeles and Raymond Bauer, *The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian Society* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1959). Chap. 12.

153. Этот подход предложил специалист по истории древнего мира Поль Вейн: Paul Veyne, *Les grecs ont-ils cru à leurs mythes?* (Paris, 1983).

154. См. блестящий анализ этого феномена в жизни интеллектуалов послевоенной Польши - изощренной игры, техники защиты и сокрытия своих собственных мыслей и чувств, которая, в конце концов, превращается во вторую натуру человека, - у Чеслава Милоша. Милош предлагает для описанного им явления название «Кетман», заимствованное из труда Ж.А.Гобино по исламской культуре Центральной Азии (Joseph Gobineau, *Religions et philosophies dans l'Asie centrale*). - Milosz, Czeslaw. *Zniewolony umysl*. Paris, 1980. P.63-87. На англ. яз.: Czeslaw Milosz, *The Captive Mind* (New York: Vintage, 1981).

155. Nicholas Timasheff, *The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia* (New York: Dutton, 1946).

156. Здесь мы можем воспользоваться ценным исследованием Юджина Вебера. Рисуя достаточно спорную в своей простоте историческую картину в довольно-таки импрессионистской манере, Вебер, тем не менее, мастерски показывает, как в течение XIX века население совершенно несхожих регионов Франции выработало национальную идентичность и осознало себя «французами». Вебер, к сожалению, нигде не дает определения этой новой французской идентичности (надеюсь, вероятно, на интуицию читателя) и отказывается раскрыть ее политическое содержание, которое, без сомнения, должно было основываться на революционно-республиканской идеологии. В этом отношении соблазнительно провести аналогию с советской национальной идентичностью, рожденной революцией, хотя французская нация явно пережила советскую. Интересно, что самые блистательные аргументы Вебера носят

лингвистический характер. - Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France (Stanford: Stanford University Press, 1976).

157. Как объясняет рассказчик в романе Василия Гроссмана, «он ведь верил, точнее - хотел верить, точнее - не мог не верить». - Гроссман В. Все течет... Поздняя проза. М., 1994. С.300.

158. В официальном отчете, датированном январем 1933 года, были приведены следующие данные о длительности сроков наказания по 12 869 осужденным: до одного года - 1 354; от одного до трех лет - 6 908; от трех до пяти лет - 2 542; от пяти лет и больше - 2 065. (Магнитогорская прокуратура: архивное дело «Дело № 14 по ИТК за 1932 г.», л. 65. Сохранившиеся дела из Магнитогорской прокуратуры свидетельствуют, что значительное число осужденных, - особенно те, кто был приговорен к пяти годам лишения свободы и более, - было осуждено по статье 78 за хищение социалистической собственности. Из приговоров тех, кто отбывал наказание в ИТК, можно было получить представление о всей гамме статей Уголовного кодекса. Частичный список дел обнаружен в архиве Магнитогорской прокуратуры: Дело «Наряд 34/ц (без названия) 1936 г.», л. 17. Джон Скотт, который справедливо заметил, что приговоры варьировались от нескольких месяцев до нескольких лет, причем в большинстве случаев срок наказания значительно сокращали за отличную работу, сообщил, ссылаясь на слова своего друга, работавшего в администрации ИТК, что преступления примерно 90 % заключенных этой группы были связаны с пьянством. Но среди них было много и профессиональных воров, проституток, растратчиков и убийц. - Scott, Behind the Urals. P.86, 285.

159. Большинство осужденных, как можно утверждать, составляли мужчины до 30 лет, неграмотные или полуграмотные (в 1935 году газета колонии сообщала, что в ИТК было всего 560 женщин). Газета также писала о многочисленных случаях насилия над женщинами, что обычно было следствием пьянок. - Борьба за металл, 5 апреля 1934 г., 6 августа 1935 г.

160. Там же, 8 января 1933 г. «Борьба за металл» уделяла много места информации о правилах подачи прошений о досрочном освобождении (единственным условием было наличие документального свидетельства об отличной работе и общественной активности), рассказам о выдающихся рабочих, жалобам на ужасные бытовые условия, «штурмам» по уборке территории колонии накануне праздников. В честь Дня печати (5 мая 1935 года) газета опубликовала отчет о своей работе, признав, что она доступна не каждому из-за малого тиража, колеблющегося от 1 000 до 3 000 экземпляров, и что редакция не знает всех своих рабочих корреспондентов, число которых, предположительно, превышает 500. - Там же, 11 мая 1935 г.

161. Борьба за металл, 7 ноября 1934 г., 30 марта 1935 г. Жена Николая Кудрявцева, директора строительства мартеновской печи, вспоминала, что ее муж «часто звонит к Гейнеману, начальнику ИТК, что ему нужны рабочие. Гейнеман очень хороший парень, отзывчивый. Прекрасно организует своих рабочих». Она добавила, что в кругу местной элиты Гейнемана самого называли иногда в шутку «итековцем». Шутка, однако, оказалась неудачной - Гейнеман позже был арестован. - ГАРФ, ф. 7952, оп. 5, д. 309, лл. 214, 218.

162. После того как медицинский работник колонии дал положительную характеристику одному осужденному, но забыл упомянуть, что заключенный был сыном священника, т.е. «классово чуждым», каждому сотруднику колонии, ответственному за выдачу характеристик, настоятельно посоветовали определять прежде всего «классовую принадлежность» осужденных. Заключенных разделяли на следующие основные категории: нацмены (представители национальных меньшинств), бывшие члены партии и комсомола, женщины, молодежь и подростки, рабочие, колхозники, и, наконец, «классово чуждые» (кулаки, купцы, священники и т.п.) - единственная категория, зачисления в которую заключенные стремились по возможности избежать. Газета колонии предупреждала, что бывшие кулаки пытались записаться в «средняки» или «бедняки». - Борьба за металл, 5 декабря 1932 г., 5 и 22 января 1934 г. Начальник ИТК Гейнеман признал, тем не менее, что в колонии было почти невозможно отделить «классово близких» от «классово чуждых». - За нового человека, 14 июня 1934 г.

163. Периодически в печати публиковались правила подсчета рабочих дней. Правила, вступившие в действие в середине 1935 года, требовали увязывать подсчет рабочих дней исключительно с процентным выполнением нормы. - Борьба за металл, 30 августа 1935 г.

164. Борьба за металл, 5 января 1934 г.

165. В столовых ИТК, по наблюдению газеты, буйно разрослась система так называемого «блата», позволявшего получать дополнительные продовольственные пайки. - Борьба за металл, 6 февраля 1933 г., 5 апреля 1935 г.

166. Борьба за металл, 17 апреля 1933 г.

167. Там же, 2 декабря 1933 г.

168. Там же, 16 января 1934 г. В течение первых пяти месяцев 1934 года в колонию прибыло 4 710 новых заключенных, или в среднем 940 в месяц, и было освобождено 5 892 или 1 219 в месяц. По словам Гейнемана, эта «текучесть» отнимала уйму времени у администрации и отвлекала ее от выполнения других задач. - За нового человека, 14 июня 1934 г. В декабре 1933 г. в Магнитогорскую колонию прибыли тысячи новых заключенных со всей страны. На митинге, устроенном для вновь прибывших, один из них воздал должное великой стройке социализма, сказав знакомую всем формулу: «О Магнитострое, - сказал он, - знает весь мир, о колонии, работающей на нем - все ИТК Союза». В действительности, как он непреднамеренно проговорился, репутация Магнитогорской колонии была отвратительной: «Я почему-то о МИТК слышал только плохое, но, прибыв сюда, я вижу обратное». Другой подтвердил: «То, что я вижу в МИТК, не имеет ничего общего с тем, что я слышал о ней». - Борьба за металл, 5 января 1934 г. В сентябре 1935 года колонию посетила группа австрийцев, которую встретили криками «Ура!». Прощаясь, австрийцы махали в ответ из открытых окон автобуса и выкрикивали: «Рот фронт!» - Там же, 18 сентября 1935 г.

169. Борьба за металл, 27 ноября 1933 г. Последствия путаницы в записях было легко предсказать. «Несмотря на то что в нашей газете уже писалось о безобразном учете личного состава, - жаловалась газета, - сейчас мы имеем

опять такой же факт, когда человек налицо, а числится “в бегах“». - Там же, 27 января 1933 г.

170. По крайней мере один заключенный, очевидно, читал свое следственное дело. Он направил прошение прокурору, где цитировал правительственный указ от 16 января 1936 г. Когда обнаружили, что этот указ не был обнародован, было заведено новое расследование, чтобы выяснить, как заключенному стало известно об указе и его содержании. Оказалось, что указ упоминался в уголовном деле заключенного. - Магнитогорская прокуратура: архивное дело «Наряд 34/ц (без названия) 1936 г.», лл. 30-31.

171. «Борьба за металл» сообщала, например, что в 1933 году «мы вернули досрочно в общество» 4 294 осужденных, а в 1936 году более 1 000 человек были освобождены досрочно, и еще большее число осужденных все еще ожидало пересмотра их дел. - Борьба за металл, 22 января 1934 г.; Магнитогорская прокуратура: Архивное дело «Наряд 34/ц (без названия) 1936 г.», л. 16. Дела пересматривались НКВД и передавались в прокуратуру, которая, в свою очередь, делала рекомендации для суда. За судом оставалось решающее слово. Требуемая для всей этой процедуры канцелярская работа была огромной и отнимала массу времени. - За нового человека, 14 июня 1934 г.

172. Только раз упоминание о Магнитогорской ИТК появилось в городской газете: в статье Валентина Сержантова рассказывалось о заядлом преступнике Еркине, превратившемся в «самого известного рекордиста» на строительстве второй плотины. Перечисляя достижения Еркина, Сержантов утверждал, что «в нашей молодой солнечной стране творятся величайшие дела... Но самое исключительное по своей замечательности явление нашей жизни - это воспитание и перевоспитание людей... в процессе труда». Газета приводила слова Еркина, который уже был однажды досрочно освобожден за свои трудовые подвиги, что в этот раз «жизнь другая пошла». - МР, 18 апреля 1937 г. Похожие истории о бывших раскулаченных крестьянах появлялись в газете Особого Трудового поселения. - Известия Магнитогорска, 30 марта 1935 г. Некоторые выпуски этой газеты, выходившей нерегулярно, были напечатаны частично на татарском языке (например, выпуски от 30 декабря 1933 г. и 20 февраля 1934 г.).

173. В этом отношении газета колонии часто ссылалась на коллективный труд о строительстве Беломорского канала - Библию исправительной работы, написанную советскими писателями и чинами ГУЛАГа. - Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства 1931-1934 гг. / Под ред. М.Горького, Л.Авербаха, С.Фирина. М., 1934. См.: Борьба за металл, 7 ноября 1934 г. Раскулаченных крестьян также побуждали следовать героическим примерам Беломорстроя. - Известия Магнитогорска, 30 марта 1935 г.

174. Scott, Behind the Urals. P.285.

175. Борьба за металл, 11 декабря 1935 г.

176. Поднявшись в шесть часов утра, заключенные, по словам газеты, травили на еду и прибытие к месту работы больше часа сверх положенного времени. Но и там они не знали, что делать, потому что никто не объяснил им этого заранее. Заключенные шатались с места на место, теряли еще больше

времени, отчасти из-за недостатка инструментов: то гвозди заканчивались, то фанера. Корреспондент газеты отмечал также, что авторитет бригадира слишком слаб, чтобы подгонять рабочих, и что никто из них не знает своих норм выработки. - Борьба за металл, 30 марта 1935г.

177. Борьба за металл, 12 февраля 1933 г.

178. Там же, 8 января 1933 г. Один заключенный будто бы специально поранил себя, чтобы не ходить на работу. - Там же, 9 апреля 1933 г.

179. Там же, 15 января 1933 г.

180. Такое впечатление создается после чтения газеты колонии; это мнение разделял и Джон Скотт: John Scott, Behind the Urals. P.285. Мария Скотт рассказала писательнице Перл Бак, что она однажды видела заключенных, возвращавшихся с работы в сопровождении оркестра, игравшего «очень веселый советский марш». - Pearl Buck, Talk about Russia. P.93.

181. Борьба за металл, 30 января 1934 г.

182. За нового человека, 14 июня 1934 г. Говоря о культурных предпочтениях раскулаченных крестьян, укажем на пьесу «Право первой ночи», поставленную в клубе Центрального поселения. Действие пьесы происходит во времена крепостничества, а конфликт основан на противопоставлении жестоко угнетаемых крепостных и достойных презрения помещиков. Автору рецензии постановка не понравилась. - Известия Магнитогорска, февраль 1934 г.

183. За нового человека, 14 июня 1934 г.

184. Магнитогорская прокуратура: архивное дело «Дело № 14 по ИТК за 1932 г.», л. 66.

185. Заключенный Шилов, который, как о нем говорили, называл ударничество «сплошным блатом», однажды, в два часа ночи, отправился бить коммунистов. Попавшийся ему под руку несчастный клялся, что он не коммунист и не собирается им быть. Не найдя коммунистов, Шилов обратил свой гнев на культурный совет бараков, крича, что туда входят одни дураки и воры, и что те, кто работает, никогда не вступают в культурный совет и не занимаются общественной работой. Никто ему не возражал, - сообщала лагерная газета, - потому что все боялись его физической силы. - Борьба за металл, 18 декабря 1933 г. Несмотря на резкое осуждение поступка Шилова в газете, сообщений о его наказании так и не появилось.

186. В ответах на многие такие «письма» газета извещала анонимных авторов, что их обвинения не могут быть рассмотрены, потому что они не приводят конкретных фактов нарушений. - Борьба за металл, 27 января 1933 г.

187. Там же, 5 декабря 1932 г.

188. Городская газета рассказывала о многих случаях, когда клеймо бывшего заключенного прилипало к человеку на всю жизнь. Примером тому была история Лужнецкого, который работал в пожарной бригаде НКВД и был отправлен в трудовую колонию за то, что вызвал аварию. Лужнецкий отбыл срок приговора и добился освобождения с благоприятной характеристикой, но его отказывались брать на работу как бывшего заключенного. - МР, 1 апреля 1937 г. По положению, изданному в августе 1935 года, работа в трудовой колонии не учитывалась при начислении пенсии. - Собрание указов

РСФСР. 1935. № 20. Ст. 192; перепечатано в «Кодексе законов о труде с изменениями на 1 июля 1938 г.», С.99-100.

189. Борьба за металл, 5 декабря 1932 г.

190. Там же, 12 февраля 1933 г.

191. МР, 17 августа 1988 г. Расследование 1933 года на предприятиях, где использовался труд ссыльных крестьян, пришло к выводу, что их работа (по большей части в строительстве) плохо организована, что они часто простаивают из-за отсутствия материалов и инструментов, что там отсутствует «культурмассовая работа», производственные совещания и выставки трудовых достижений, и что обеденный перерыв обычно слишком затягивается (в одном случае обед длился больше трех часов из-за отсутствия суповых тарелок). К ноябрьским праздникам 1933 года на этих предприятиях существовало 37 культурмассовых бригад, включавших 621 ссыльную крестьянку. - Известия Магнитогорска, 27 июня и 7 ноября 1933 г.

192. ЦР, 8 января 1989.

193. В городе существовало три школы, которые они могли посещать, но не ясно, было ли этого достаточно для всех детей раскулаченных. - Scott, Behind the Urals. P.282-283.

194. Собрание законов и распоряжений. 1931. № 44. Ст. 298; Там же. 1934. № 33. Ст. 257. Обе статьи были позже перепечатаны в сборнике: Коллективизация сельского хозяйства: Важнейшие постановления Коммунистической партии и Советского правительства 1927-1935. М., 1957. С.391, 505.

195. В хранящихся в магнитогорских архивах прошениях раскулаченных о восстановлении их в правах голоса указывался срок, в течение которого они занимались «общественно полезным трудом», данные о степени выполнения плана в процентах и об общественно-политической деятельности, в которой они принимали участие. - МФГАЧО, ф. 10, оп. 1, д. 81, лл. 41-42; и д. 89, лл. 13-17.

196. Знаменитое изречение Сталина «сын за отца не отвечает» было произнесено в 1935 году, но еще в 1933 году Арон Сольц, член президиума Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б), высказался именно за такую политику по отношению к раскулаченным; его статья, адресованная ссыльным крестьянам, была перепечатана в магнитогорской газете. - Известия Магнитогорска, 29 октября 1933 г., 12 апреля 1936 г.

197. Известия Магнитогорска, 1 мая, 11 мая, 12 июня 1934 г.

198. Известия Магнитогорска, 25 июня 1934. Представляется вполне вероятным, хотя доказать это сложно, что, пытаясь смыть с себя пятно своего происхождения, некоторые из детей раскулаченных становились фанатиками.

199. Как написал один наблюдательный советский социолог о настроениях в стране накануне войны: «В войну вступила предвоенная страна, и все, что было в ней..., все народ принес с собой на фронт». Он перечислял «способность к самопожертвованию и подозрительность, жестокость и душевную незащищенность, подлость и наивную романтику, официально демонстрируемую преданность вождю и глубоко скрытые сомнения, тупую неповоротливость бюрократа, перестраховщиков и лихую надежду на авось, тяжкий груз

обид и ощущение справедливости этой войны». - Шубкин В. Один день войны // Литературная газета, 23 сентября 1987 г. С.13. Владимир Шубкин вспоминает один день Сталинградской битвы (23 августа 1942 года), в которой он принимал участие.

200. Сталин И.В. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 года // Сталин И.В. Сочинения. Т.13. М., 1952. С.109. Заслуживает внимания дата беседы: до начала «большого террора» оставалось пять лет.

201. Политические заключенные в ГУЛАГе далеко не всегда испытывали сомнения в революционной правде, утешая себя мыслями вроде: «когда Сталин узнает, он справится с этими мясниками из НКВД», или «они ошиблись только со мной, все остальные виновны». Для таких людей сохранение верности революционной правде было способом оттянуть осознание того факта, что их жизнь и служение делу были не просто напрасными, но и морально предосудительными. См. разговор польских интеллектуалов в советской тюрьме о магнитогорских доменных печах, который передает Александр Ват: Aleksander Wat, *My Century* (New York: Norton, 1988; первоначально опубликовано на польск. яз. в 1977 г.). P.67; а также Milovan Djilas, *The New Class: An Analysis of the Communist System* (New York: Frederick A. Praeger, 1965 [1957]). P.29, 98. Кендалл Бейлс заметил, говоря о новой советской интеллигенции, что «даже ужасы коллективизации, голода и террора можно было объяснить необходимостью момента». - Kenndall E. Bailes, *Technology and Society under Lenin and Stalin: Origins of the Soviet Technical Intelligentsia, 1917-1941* (Princeton: Princeton University Press, 1978). P.259.

202. По удачному выражению Эрика Хобсбаума: Eric Hobsbawm, «Peasants and Politics», *Journal of Peasant Studies* 1, № 1 (1973). P. 13.

203. Я следую той интерпретации трудов Мишеля Фуко, которую предлагает Кейт Джендал в неопубликованной рукописи «Prospects for Work» (1984), которую я использую с разрешения автора. См. также: Michel Foucault, «Politics and the Study of Discourse», *Ideology and Consciousness*, № 3 (1978). P.7-26; первоначально опубликовано как: Michel Foucault, «Réponse à une question», *Esprit* (1968).

**СССР КАК КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА,
или Каким образом социалистическое государство
поощряло этническую обособленность****

Советская национальная политика формулировалась и осуществлялась националистами. Ленинский тезис о реальности наций и «национальных прав» был одним из самых долговечных в его карьере; ленинская теория благотворного национализма легла в основу Союза ССР; а ленинская политика «национального строительства» обернулась необыкновенно успешной государственной кампанией по риторическому слиянию языка, «культуры», территории и «коренизированной» бюрократии. Ленинская гвардия рьяно равнялась на вождя (Н.И.Бухарин, к примеру, окончательно перешел от космополитизма к нерусскому национализму в 1923 году), но подлинным «отцом народов» (хотя и не всех народов и не на все времена) стал И.В.Сталин. «Великий перелом» 1928-1932 гг. обернулся самым экстравагантным прославлением этнического плюрализма из всех, что когда-либо финансировались государством. «Великое отступление» середины 1930-х гг. сузило круг «цветущих национальностей», но призвало к более интенсивному культивированию тех из них, ко-

* © Слезкин Юрий, 2001

** Первый вариант этой статьи был написан для семинара, организованного Программой сравнительного изучения этничности и национализма при Институте международных отношений им. Генри М. Джексона в Университете штата Вашингтон. Я благодарен директорам Программы Чарльзу Хиршману и Чарльзу Ф. Кайесу за их гостеприимство и критику, а также за разрешение опубликовать статью в «Slavic Review». Кроме того, я признателен Питеру Блитстайну, Виктории Бонелл, Джорджу Бреслауэру, Дэниелу Брауэру, Майклу Буровой, Джейн Бербанк, Шейле Фицпатрик, Брюсу Гранту, Дэвиду Холлингеру, Терри Мартину, Н.В.Рязановскому, Реджинальду Зельнику, Берклийскому семинару по изучению России и Восточной Европы и Семинару по русской истории Чикагского университета за полезные дискуссии и комментарии (Прим. автора).

торые обильно плодоносили. И наконец, за Великой Отечественной войной последовало официальное разъяснение, что класс вторичен по отношению к национальности, и что поддержка национализма как такового (а не только русского национализма и «национально-освободительного движения») является священным принципом марксизма-ленинизма.

Если такое изложение событий звучит странно, так это потому, что большинство летописцев советской национальной политики разделяли веру Ленина и Сталина в особые национальные права; хвалили их за энергичное продвижение национальных кадров и национальных культур; бранили за нарушение их собственного (не говоря уж о вильсоновском) принципа права наций на самоопределение и исходили из того, что «буржуазный национализм», с которым воевали большевики, действительно равен культу культурной и политической автономии, который «буржуазные ученые» называли национализмом. Нерусский национализм казался таким естественным, а русская версия марксистского универсализма - такой русской и такой универсальной, что многие ученые не замечали хронической этнофилии советской власти, воспринимали ее как должное или объясняли ее как следствие лживости, слабости или глупости режима.

Данное эссе является попыткой признать серьезность борьбы большевиков за этническую обособленность [1]. Последовательные противники прав личности, они решительно и вполне сознательно отставали коллективные права, не всегда совпадавшие с правами пролетариата. «Первое в истории государство рабочих и крестьян» стало первым в истории государством, которое узаконило этнотерриториальный федерализм, классифицировало всех граждан в соответствии с их биологической национальностью и формально предписало политику правительственного предпочтения по этническому признаку [2]. Как писал И. Варейкис в 1924 году, СССР - это коммунальная квартира, в которой «национальные государственные единицы, отдельные республики и автономные области» представляют собой «отдельные комнаты» [3]. Замечательно, что коммунист-квартировладелец честно укреплял большинство перегородок и не уставал славить обособленность наряду с коммунальностью [4].

«Нация, - писал Сталин в своем первом научном труде, - есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры» [5]. Накануне первой мировой войны это определение было не особенно спорным среди

социалистов. Существовали разные мнения о происхождении наций, будущем национализма, характере докапиталистических национальностей, исторической судьбе национальных государств и сравнительных достоинствах «характерных признаков» наций, но все молчаливо исходило из того, что человечество состоит из более или менее стабильных Schprachnationen, спаянных общим прошлым [6]. Язык и история (она же Schicksalgemeinschaft - и причина, и следствие языкового единства) так или иначе присутствовали во всех разговорах об этнической общности, но и другие, менее очевидные части сталинской формулировки никому не казались эксцентричными. Отто Бауэр, который попытался отделить национальность от территории, исходил из того, что «общность судьбы» - это судьба физического сообщества. Роза Люксембург, которая утверждала, что «принцип национальности» противоречит логике капитализма, считала крупные, «хищные» национальные государства главными инструментами экономического роста. А Ленин, который отвергал идею «национальной культуры», без видимого смущения говорил об особом характере, интересах и ответственности «грузин», «украинцев» и «великороссов». Нации были вредоносными и недолговечными, но они были, и с ними пришлось считаться.

А это, с точки зрения Ленина и Сталина, означало, что у наций есть права. «Нация может устроиться по своему желанию. Она имеет право устроить свою жизнь на началах автономии. Она имеет право вступить с другими нациями в федеративные отношения. Она имеет право совершенно отделиться. Нация суверенна, и все нации равноправны» [7]. Не все нации были равного размера: существовали малые нации и большие (а значит, «великодержавные») нации. Не все нации были равны по степени своего развития: существовали «отсталые» нации (очевидный оксюморон в сталинской терминологии) и «цивилизованные». Не все нации имели одну и ту же экономическую (а значит, классовую и моральную) сущность: некоторые из них были «угнетателями», а некоторые - «угнетенными» [8]. Но все нации - да и все «народности» независимо от степени их «отсталости» - были равны, потому что они были равным образом суверенны.

Вопрос о том, какой класс и при каких обстоятельствах мог потребовать национального самоопределения, был предметом жарких и, в конечном счете, бессмысленных споров: тем более жарких и бессмысленных, что большинство народов Российской Империи не очень далеко продвинулись по пути капиталистического развития и, таким образом, не были нациями в марксистском понимании этого слова [9]. Столь же бескомпромиссной и безрезультатной была борьба Ленина за по-

литическое значение «национального самоопределения» и его предсмертная распря со Сталиным из-за формы советской федерации. В конечном счете, гораздо более «исторической» оказалась совместная борьба Ленина и Сталина за строго территориальное понимание автономии, которую они вели против Бунда и Бауэра и которая кончилась после 1917 года победой обеих сторон (советский федерализм сочетал национальный принцип с территориальным и, по крайней мере в первые двадцать лет, гарантировал культурные права различным диаспорическим остаткам). Наиболее примечательной особенностью этой войны было утверждение, редко оспаривавшееся и до и после 1917 года, что все территориальные границы могут быть описаны как либо «средневековые», либо «современные», причем современность понималась как демократия (границы «сообразно симпатиям населения»), а демократия неизбежно вела к «возможно большему единству национального состава населения» [10]. Границы социалистического государства будут «определяться демократически, то есть согласно воле и “симпатиям” населения», и какая-то часть этих симпатий будет этнического происхождения [11]. Если от этого расплодятся «национальные меньшинства», то и их равные права будут гарантированы [12]. А если равноправие и экономическая целесообразность потребуют создания бесчисленных «автономных национальных округов» «хотя бы самой небольшой величины», то такие районы будут созданы и по возможности соединены «с соседними округами разных размеров» [13].

Но зачем было создавать социалистические этнотерриториальные автономии, если почти все социалисты считали, что федерализм является «мещанским идеалом», что «национальная культура» есть буржуазная фикция, и что ассимиляция - это прогрессивный процесс вытеснения «подвижным пролетарием» «тупого», «медвежьего дикого» «заскорюзлого» крестьянина, «приросшего к своей куче навоза» и почитаемого по этой самой причине злокозненными любителями национальной культуры [14]? Во-первых, потому что ленинский социализм не рос на деревьях. Чтобы вызвать его к жизни, ленинские социалисты должны были «проповедовать на всех языках, “приноровляясь” ко всем местным и национальным особенностям» [15]. Им требовались национальные языки, национальные предметы и национальные учителя («даже одному грузинскому ребенку»), чтобы «полемизировать с “родной” буржуазией, пропагандировать антиклерикальные или антибуржуазные идеи» и изгнать вирус национализма из незрелого пролетария и из собственного сознания [16]. Подобное миссионерство сильно напоминало «систему Ильминского», сформулированную в

Казани в дни ленинской юности [17]. «Только родной язык, - утверждал Н.И.Ильминский, - может подлинно, а не поверхностно направить народ по пути христианства» [18]. Только родной язык, писал Сталин в 1913 году, может сделать возможным «полное развитие духовных дарований татарского или еврейского рабочего» [19]. Обе теории обращения иноверцев рассматривали «родной язык» как вполне прозрачный проводник апостольского послания. В отличие от более «консервативных» миссионеров, которые считали культуру интегральным целым и настаивали на том, что для победы над «чужой верой» необходимо «вести борьбу... с чужой национальностью, с правами, привычками и всею обстановкою обыденной жизни инородцев» [20], казанские реформаторы и отцы-основатели советской национальной политики полагали, что между национальностью и верой нет ничего общего. По Ленину, в марксистских школах должны преподаваться одни и те же марксистские предметы независимо от языка-посредника [21]. Реальность национальной культуры заключалась в языке и кое-каких элементах «обыденной жизни»: национальность была формой. «Национальная форма» была приемлема, поскольку национального содержания в природе не существовало.

Другой причиной терпимости Ленина и Сталина по отношению к национализму (т.е. вере в то, что этнические границы онтологически объективны, преимущественно территориальны, а значит, по праву политизированы [22]) было различие, которое они проводили между национализмом угнетателей и национализмом угнетенных. Первый, известный под именем «великодержавного шовинизма», был беспричинно зловредным; второй был законным, хотя и временным. Первый был следствием случайного превосходства в росте; второй был реакцией против преследования и дискриминации. Первый мог быть ликвидирован после победы пролетариата посредством самодисциплины и самоочищения; второй должен был быть излечен при помощи заботы и такта [23]. В этом смысле лозунги национального самоопределения и этнотерриториальной автономии были жестом раскаяния. Они ничего не стоили и чрезвычайно много значили, ибо относились к «форме». «Меньшинство недовольно не отсутствием [экстратерриториального] национального союза, а отсутствием права родного языка. Дайте ему право пользоваться родным языком, - и недовольство пройдет» [24]. Чем большим количеством прав и возможностей располагает данное национальное меньшинство, тем больше «доверия» оно будет испытывать по отношению к пролетариату бывшей великодержавной нации. Подлинное равенство «формы» обнаружит ис-

торическую обусловленность национализма и базовое единство классового содержания.

«Перестроив капитализм в социализм, - писал Ленин, - пролетариат создает *возможность* полного устранения национального гнета; эта возможность превратится в *действительность* “только” - “только!” - при полном проведении демократии во всех областях, вплоть до определения границ государства сообразно “симпатиям” населения, вплоть до полной свободы отделения. На этой базе, в свою очередь, разовьется *практически* абсолютное устранение малейших национальных трений, малейшего национального недоверия, создается ускоренное сближение и слияние наций, которое завершится *отмиранием* государства» [25].

«Практика» революции и гражданской войны никак не изменила этой программы. Первые декреты большевистского правительства называли победоносные массы «народами» и «нациями», наделяли их «правами» [26], провозглашали их равенство, гарантировали их суверенитет посредством этнотерриториальной федерации и права на отделение, поощряли «свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп» и торжественно обещали уважать национальные верования, обычаи и институты [27]. К концу войны потребность в местных союзниках и признание существующих (часто этнических) территориальных единиц способствовали утверждению этого принципа в деле создания юридически оформленных (и все более этнических) советских республик, автономных республик, автономных областей и трудовых коммун. Некоторые автономии были автономнее других, но «национальный» стандарт оставался нерушимым. «Многие из этих народов не имеют ничего общего между собою, разве только то, что раньше они были в пределах одной Российской Империи, а теперь революция их совместно освободила, но никакой внутренней связи между ними нет» [28]. Согласно ленинскому парадоксу, путь к полному единству содержания лежал через растущее разнообразие формы. «Насаждая национальную культуру» и создавая национальные территории, национальные школы, национальные языки и национальные кадры, большевики намеревались преодолеть национальное недоверие и обратиться к национальной аудитории. «Мы идем вам на помощь при ваших условиях развить свой бурятский, вотский и т.п. язык и культуру, ибо таким путем вы скорее приобщитесь к общечеловеческой культуре, к революции, к коммунизму» [29].

Многим коммунистам все это казалось странным. Разве нации не распадаются на классы? Разве интересы пролетариата не превыше интересов национальной (т.е. националистической) буржуазии? Раз-

ве пролетариям всех стран не пора соединиться? И разве трудящимся молодой советской республики не следует соединиться с особым рвением? Весной 1918 года М.И.Лацис напал на «абсурд федерализма» и предупредил, что «плодить республики» для таких «неразвитых народностей» как татары и белорусы является делом «более чем опасным» [30]. Зимой 1919 года А.А.Иоффе предостерег против растущих национальных аппетитов и призвал «положить конец сепаратизму “буферных” республик» [31]. Весной 1919 года на VIII съезде партии Н.И.Бухарин и Г.Л.Пятаков объявили войну лозунгу национального самоопределения и вытекавшему из него главенству национального принципа над классовым [32].

Ответ Ленина был столь же страстным, сколь привычным. Во-первых, нации существуют «объективно». «Если мы скажем, что не признаем никакой финляндской нации, а только трудящиеся массы, - это будет пустяковеннейшей вещью. Не признавать того, что есть - нельзя: оно само заставит себя признать» [33]. Во-вторых, бывшие угнетатели должны завоевать доверие бывших угнетенных: «Башкиры имеют недоверие к великороссам, потому что великороссы более культурны и использовали свою культурность, чтобы башкир грабить. Поэтому в этих глухих местах имя великоросса для башкир значит “угнетатель”, “мошенник”. Надо с этим считаться, надо с этим бороться. Но ведь это - длительная вещь. Ведь этого никаким декретом не устранишь. В этом мы должны быть более осторожны. Осторожность особенно нужна со стороны такой нации, как великорусская, которая вызвала к себе во всех других нациях бешеную ненависть, и только теперь мы научились это исправлять, да и то плохо» [34].

«Отсталые» нации не достигли еще «дифференциации пролетариата от буржуазных элементов», а потому продолжали находиться «всцело в подчинении своих мулл» [35]. Однако в силу их общего угнетенного положения, все они являлись пролетариями по отношению к более «культурным» нациям. При империализме как высшей и последней стадии капитализма колониальные народы превратились во всемирный эквивалент западного рабочего класса. В условиях диктатуры (русского) пролетариата они будут объектом особой заботы до тех пор, пока экономические и психологические раны колониализма не будут залечены. А пока этого не произошло, нации будут равны классам.

Ленин проиграл спор, но выиграл голосование, потому что, по словам М.П.Томского, среди делегатов не было «ни одного человека, который сказал бы, что самоопределение наций... является нормальным и желательным», но было достаточно много людей, которые счи-

тали это зло «неизбежным» [36]. Гонка за национальным статусом и этнотерриториальным признанием возобновилась с прежней силой. Кряшены нуждались в особой административной единице, потому что они отличались от татар платьем, алфавитом и словарным запасом [37]. Чуваши нуждались в особой административной единице, потому что они были бедны и не говорили по-русски [38]. Якутам полагалось собственное правительство, потому что они проживали компактно и были готовы к самоуправлению [39]. «Примитивным племенам», жившим по соседству с якутами, полагалось собственное правительство, потому что они проживали рассеянно и не были готовы к самоуправлению [40]. Эстонские переселенцы в Сибири имели литературную традицию и нуждались в особой бюрократии, которая снабжала бы их газетами [41]. Угрозычные аборигены Сибири не имели литературной традиции и нуждались в «самостоятельном управлении», которое стремилось бы «вливать в эту темную массу луч просвещения и культивировать их быт жизни» [42]. Местные интеллигенты, чиновники Народного комиссариата по делам национальностей, «инородческие конференции» и петроградские этнографы требовали административной автономии, должностей и финансирования (для себя и своих протезе). Получив автономию, они требовали новых должностей и нового финансирования.

Финансирования не хватало, но должностей и областей становилось все больше. Кроме этнических территорий с разветвленными бюрократиями и образованием на «родном языке», существовали национальные единицы внутри национальных единиц, национальные секции в партийных ячейках, национальные отделы в местных Советах и национальные квоты в учебных заведениях. В 1921 году поляки получили 154 000 новых книг на родном языке, а полупризнанные кряшены получили десять; Коммунистическая партия Азербайджана включала в себя иранскую, немецкую, греческую и еврейскую секции; в состав Народного комиссариата просвещения в Москве входило 14 национальных бюро; и 103 местные партийные организации в Советской России должны были вести делопроизводство по-эстонски [43].

Некоторые сомнения оставались. Один чиновник Наркомнаца утверждал, что языковое самоутверждение не вполне подходит «для национальностей молодых, отсталых и вкрапленных в море какой-нибудь широко развитой культуры». А следовательно, «стремление во что бы то ни стало консервировать и развивать свой родной язык до бесконечности, лишь бы получилась стройная, геометрически-завершенная система народного образования на одном языке, - безжизненно и не считается со всей сложностью и многообразием социально-

культурной организации современной эпохи» [44]. Другие считали, что так как смысл современной эпохи в первую очередь заключается в рационализации экономики, то этнические единицы должны уступить место научно выверенным экономическим образованиям, сформированным на базе природного, промышленного и коммерческого единства. Если военные округа могут игнорировать национальные границы, то почему народно-хозяйственные структуры должны поступать иначе [45]?

Подобные аргументы были не просто отвергнуты. После 1922 года они стали идеологически некорректными. Ленинская страсть, сталинская бюрократия, традиция партийных постановлений и интересы быстро «плодящихся» этнических институтов слились в «национальный вопрос» с настолько очевидным ответом, что когда X съезд партии формально подтвердил курс на политизацию национальности, никто не назвал это неизбежным злом (не говоря уже о буржуазном национализме). Десятому съезду - и лично товарищу Сталину - удалось соединить ленинские темы национального угнетения и колониального освобождения, отождествить национальную проблему с проблемой отсталости и свести все вопросы и все ответы к стройной оппозиции: «великоросс - не великоросс». Великороссы представляли передовую, ранее господствовавшую нацию и нередко грешили этническим высокомерием и бестактностью в форме «великодержавного шовинизма». Все остальные являлись жертвами поощрявшихся царизмом отсталости и «некультурности», а потому испытывали особые трудности в деле реализации революционных завоеваний и иногда поддавались соблазну «местного национализма» [46]. В сталинской формулировке «суть национального вопроса в Р.С.Ф.С.Р. состоит в том, чтобы уничтожить ту отсталость (хозяйственную, политическую, культурную) национальностей, которую они унаследовали от прошлого, чтобы дать возможность отсталым народам догнать центральную Россию и в государственном, и в культурном, и в хозяйственном отношении» [47]. Для достижения этой цели партия должна была помочь им: а) развить и укрепить у себя советскую государственность в формах, соответствующих национальному облику этих народов; б) поставить у себя действующие на народном языке суд, администрацию, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного населения; в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные учреждения на родном языке» [48].

Российской Федерации полагалось иметь столько более или менее автономных национальных государств, сколько в ней национально-

стей (не наций!). Кочевникам возвращались казачьи земли, а «национальным меньшинствам», вкрапленным в чужеродные этнические массивы, было гарантировано «свободное национальное развитие» (немыслимое без собственной территории) [49]. Причем для Сталина подобный триумф этничности был одновременно и движущей силой, и неизбежным следствием прогресса. С одной стороны, «свободное национальное развитие» было обязательным условием победы над отсталостью. С другой стороны, «нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы. Лет 40 тому назад Рига представляла собой немецкий город, но так как города растут за счет деревень, а деревня является хранительницей национальности, то теперь Рига - чисто латышский город. Лет 50 тому назад все города Венгрии имели немецкий характер, теперь они мадьяризированы. То же самое будет с Белоруссией, в городах которой все еще преобладают не-белорусы» [50]. По мере того как это будет происходить, партия будет все активнее заниматься национальным строительством, ибо «для коммунистической работы в городе нужно будет близко подойти к новому пролетарию-белорусу на его родном языке» [51].

Сколь бы «диалектической» ни была логика официальной политики, практическая ее реализация была достаточно последовательной и, к 1921 году, уже вполне устоялась. В каком-то смысле введение новой экономической политики равнялось «снижению» всех остальных областей государственной активности до уровня давно уже нэпманизованного национального вопроса. Нэп представлял собой временное примирение с «отсталостью» в виде крестьян, торговцев, женщин и нерусских народностей. Существовали, среди прочего, специальные женотделы, еврейские секции и комитеты содействия народностям северных окраин. Отсталость постоянно множилась, и каждый пережиток требовал особого подхода, основанного на понимании «специфических особенностей» и готовности к доброжелательной снисходительности. Конечной целью было упразднение всех видов отсталости (а следовательно, всех значимых различий), но достижение этой цели откладывалось на неопределенный срок. Попытки искусственно ускорить темпы были так же «опасны» и «утопичны», как и поведение тех «весьма развитых и сознательных» товарищей из Средней Азии, которые наивно недоумевали: «Что же это такое, в самом деле, без конца плодить и плодить отдельные автономии?» [52]. На что партия отвечала туманно, но твердо: потому что это необходимо - необходимо для преодоления «экономической и культурной отсталости наро-

дов Средней Азии, различий их хозяйственного уклада, бытовых отличий, которые являются особенно важными в жизни наций, не достигших развития капитализма, различий языка» [53]. Пока продолжался переходный период, национальное строительство было делом похвальным.

За одним исключением. Существовал один важный пережиток прошлого, который не обладал независимой ценностью и который следовало терпеть без мягкости и использовать без удовольствия. Это был русский крестьянин. Нэповская «смычка» города с деревней походила на временный союз диктатуры пролетариата с другими отсталыми группами, но ее сущность определялась иначе. «Крестьянская стихия» была агрессивной, зловещей и заразной. Никто не исходил из того, что она диалектически отомрет в результате интенсивного развития, потому что упрямо «сонный» русский крестьянин был не способен к развитию как крестьянин (его отличие от других касалось не формы, а содержания). Отождествив национальность с уровнем развития и разделив население страны на русских и нерусских, X съезд признал и узаконил это различие. Русская национальность была развитой, господствующей, а значит лишенной содержания. Русская территория была не маркирована и по существу состояла из земель, не востребованных другими народностями («националами»). Возражения со стороны А.И.Микояна, что все это выглядит слишком опрятно, «что Азербейджан [sic] в некоторых отношениях выше русских провинций», и что армянская буржуазия не слабее других в деле распространения империализма, были отвергнуты и Сталиным, и съездом [54].

«Последний бой Ленина» на национальном фронте никак не отразился на официальном курсе [55]. Раздраженный «велокорусским шовинизмом» И.В.Сталина, Ф.Э.Дзержинского и Г.К.Орджоникидзе, больной вождь снова прописал старое лекарство. «Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой “великой” нации... должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большей, то неравенство, которое складывается в жизни фактически» [56]. А это требовало все больше «уступчивости и мягкости» по отношению к «“обиженным“ националам», больше сознательных (а значит, не шовинистических) пролетариев в аппарате, больше упора на широкое использование местных языков [57]. В апреле 1923 года XII съезд партии подтвердил и старую стратегию, и новые темпы (единственным делегатом, поставившим под сомнение ортодоксию национального строительства, был некий «рядовой ра-

бочий, токарь по металлу», который робко упомянул марксовых безродных пролетариев, но был призван к порядку Г.Е.Зиновьевым [58]). Крайние мнения представляли Сталин, который утверждал, что русский шовинизм является главной опасностью («девять десятых вопроса»), и Бухарин, который настаивал, что он является единственной опасностью [59]. Решения вопросов национального представительства и этнотерриториальной федерации могли быть разными, но принцип ленинской национальной политики оставался неизменным. (Сталинский план «автономизации» призывал к усилению централизации «во всем основном», но признавал очевидным, что такие неосновные вещи, как язык и «культура», должны находиться в ведении «действительной внутренней автономии республик» [60]). Даже шумное «грузинское дело» не добавило ничего нового: «обиженные националы» жаловались на бестактность, а «великодержавные шовинисты» указывали на господство грузинского языка и блестящие успехи преимущественного выдвижения обиженных националов (согласно Орджоникидзе, на долю грузин, составлявших 25% населения республики, приходилось 43% депутатов тифлисского горсовета, 75% городского исполкома, 91% президиума исполкома и 100% республиканского Совнаркома и Центрального Комитета партии) [61]. Единственное теоретическое новшество, прозвучавшее на съезде, не обсуждалось как таковое и оказалось недолговечным: защищаясь от ленинских эпистолярных обвинений, Сталин вернулся к старой позиции Микояна и попытался лишить русских монополии на империализм и переосмыслить «местный национализм» как великодержавный шовинизм местного значения. Грузины угнетали абхазцев и осетин, азербайджанцы обижали армян, узбеки игнорировали туркмен и т.д. Главным аргументом Сталина против выхода Грузии из Закавказской Федерации было обвинение грузинского руководства в организации кампании по депортации армян - для того, чтобы «превратить Тифлис в настоящую грузинскую столицу» [62]. Из этого следовало, что идея украинизации Киева и белорусификации Минска тоже не была бесспорной, но большинство делегатов либо не поняли Сталина, либо предпочли его не слышать. Великодержавный шовинизм оставался русской прерогативой, местный национализм по-прежнему должен был быть антирусским, чтобы быть «опасностью» (не главной, но достаточно опасной для провинившихся), а национальные территории по праву принадлежали тем национальностям, чьи имена носили.

Но что такое национальность? Накануне Февральской революции единственной формальной характеристикой всех подданных Российской Империи было вероисповедание, причем как русская нацио-

нальная идентичность, так и царская династическая легитимность были связаны с православием. Не все подданные царя и не все православные были русскими, но по негласному общему правилу все русские должны были быть православными подданными православного царя. Неправославные могли служить российскому императору, но не располагали иммунитетом против спорадических попыток обращения их в православие и не обладали равными правами в случае смешанных браков. Некоторые неправославные официально именовались «инородцами», но этот термин, этимологически указывавший на генетическое отличие, обычно употреблялся в смысле «нехристианский» или «примитивный». Последние два понятия отражали до- и послепетровские представления о природе чуждости и к началу двадцатого века часто оказывались взаимозаменяемыми. Новокрещенные общности обыкновенно оставались слишком «отсталыми», чтобы считаться подлинно православными, а все официальные инородцы формально подразделялись согласно вероисповеданию («магометанин», «ламаист») или «образу жизни» («оседлые», «кочевые», «бродячие»). В связи с попытками растущей системы государственного образования охватить «восточных инородцев» [63] и контролировать (и русифицировать) самостоятельные образовательные учреждения нерусских народов империи, «родной язык» также стал политически значимой, хотя и не вполне этнической, категорией. В начале века в России существовали статистические национальности, националистические партии и «национальные вопросы», но не существовало официального взгляда на то, из чего складывается национальность.

Накануне Февральской революции (буквально за день до того, как Николай II отбыл в Могилев, а свободные по случаю локаута путиловские рабочие вышли на улицы Петрограда) президент Академии наук С.Ф.Ольденбург написал министру иностранных дел Н.Н.Покровскому, что, «сознавая свой долг перед родиной», он и его коллеги решили просить об учреждении Комиссии по изучению племенного состава пограничных областей России. «Вопрос о необходимости выяснить с возможной точностью племенной состав областей, прилегающих к обеим сторонам границы России в тех ее частях, которые примыкают к государствам, нам враждебным, имеет в настоящее время исключительное значение, так как мировая война ведется в значительной мере в связи с национальным вопросом. Выяснение основательности притязаний той или другой национальности на ту или другую территорию, где она является преобладающей, будет особенно важно в момент приближения мирных переговоров, так как, если новые границы и будут проводиться в соответствии с определенными стратеги-

ческими и политическими соображениями, национальный фактор будет все же играть по отношению к ним громадную роль», - писал Ольденбург [64].

При Временном правительстве национальный вопрос переместился вглубь материка, и новой Комиссии было поручено изучить население всей России, а не одних только пограничных областей. С приходом к власти большевиков «вся сущность политики... по национальному вопросу» свелась к совпадению «этнографических границ... с административными», а это означало, что большей части российской территории предстояло превратиться в пограничные области, а большей части этнографов предстояло стать администраторами [65].

Времени на обсуждение терминологии не было. Иностранцев и православных сменила недифференцированная коллекция народов, народностей, национальностей, наций и племен, причем никто толком не знал, насколько долговечными (а значит, территориально оправданными) были различные группы. Глава кавказского отделения Комиссии Н.Я.Март, например, считал национальность слишком неустойчивым и сложным понятием, чтобы его можно было втиснуть «в рамки примитивного территориального разграничения», но изо всех сил старался добраться до «этнической первобытности» и «действительного племенного состава» [66].

Самым распространенным «показателем племенного состава» был язык. Партийные идеологи провозглашали «образование на родном языке» стержнем своей национальной политики; наркомпросовские чиновники исходили из «лингвистического определения национальной культуры» [67]; а этнографы привычно считали язык наиболее надежным (хотя и не универсальным) индикатором этнической принадлежности. Так, Е.Ф.Карский, автор «Этнографической карты Белорусского племени», использовал «материнский язык» в качестве «исключительного признака» этнического разграничения и заключил, не без логической шероховатости, что белорусскоязычные литовцы должны считаться белорусами [68]. Из тех же лингвистических соображений среднеазиатские сарты были ликвидированы как народность, различные памирские группы стали таджиками, а термин «узбек» был радикально переосмыслен на предмет включения в него всех тюркоязычных жителей Самарканда, Ташкента и Бухары [69]. Однако одного языка явно не хватало, и в перепись 1926 года вошли две неравные категории «язык» и «национальность», из сопоставления которых следовало, что большое количество людей не говорило на своем «родном языке». Этнографы считали таких людей «денационализированными» [70], а партийные функционеры и местные интеллигенты - не впол-

не легитимными; предполагалось, что русскоязычные украинцы и украиноязычные молдаване должны будут выучить свой «материнский язык» независимо от того, говорили ли на нем их матери.

Что делало «денационализованного» национала националом? Чаще всего речь шла о различных сочетаниях «материальной культуры», «обычаев» и «традиций», вкуче именуемых «культурой». Так, в местах, где «русские» и «белорусские» диалекты сливаются друг с другом, Карский различал людей по одежде и архитектуре жилищ [71]. Со своей стороны, Марр отнес ираноязычных осетин и тальшей к северным кавказцам («яфетидам») на основании их «подлинной народной религии», «народного быта» и «народно-психологической тяги к Кавказу» [72]. Иногда религия, понимаемая как культура, перевешивала язык и становилась решающим этническим индикатором, как в случае с кряшенами (татароязычными христианами, получившими свой собственный «отдел») и аджарцами (грузиноязычными мусульманами, получившими целую республику) [73]. Культуры, религии и языки могли быть усилены топографией (кавказские горцы и обитатели долин) и хронологией (на Кавказе - в отличие от Сибири - оппозиция «коренной - некоренной» не обязательно совпадала с оппозицией «передовой - отсталый» [74]). Физический («расовый», «соматический») тип не использовался в качестве независимого критерия, но иногда (особенно в Сибири) упоминался в качестве вспомогательного [75]. И наконец, ни один из этих признаков не работал в случае степных кочевников, чье «племенное чувство» и «национальное самосознание» были настолько интенсивными, что применение «объективных» индикаторов оказалось делом безнадежным. Языковые, культурные и религиозные различия между некоторыми группами казахов, киргизов и туркмен могли выглядеть незначительными, но их родовые генеалогии отличались такой стройностью и играли такую социальную роль, что у большинства этнографов не оставалось выбора [76].

Понятно, что границы новых этнических образований не всегда соответствовали предложениям ученых. Казахские власти требовали Ташкент, узбекские власти хотели автономии для Ошской области, а московский ЦК формировал одну комиссию за другой. «Впоследствии киргизы [казахи] отказались от претензий на Ташкент, но с тем большей настоятельностью они требовали включения в состав Казахстана трех волостей Ташкентского уезда - Зенгитианской, Булатовской и Ниазбекской. Если бы это требование было полностью удовлетворено, то головные сооружения каналов Боз-су и Салара, питающих Ташкент, оказались бы на территории киргизов в то время как нижние

течения этих каналов проходили бы по территории узбеков, и в частности в Ташкенте. Киргизский вариант привел бы также к тому, что Среднеазиатская железная дорога в 17 верстах южнее Ташкента - у станции Каунгинской (Кауфманской) - была бы перерезана киргизским клином» [77].

Такого рода стратегические соображения, а также более привычные политические и экономические приоритеты на разных административных уровнях не могли не отразиться на форме новых территориальных единиц, но нет никакого сомнения в том, что главным критерием была этничность. «Национальность» имела разные значения в разных регионах, но границы большинства регионов должны были, по возможности, быть «национальными» - и в самом деле, они были поразительно похожи на линии, прочерченные этнографами на картах Комиссии по изучению племенного состава. Большевистское руководство в Москве считало подобную этнизацию государства не методом разделения и властвования, а уступкой национальным претензиям и культурной отсталости, постоянно повторяя вслед за Лениным и Сталиным, что чем аккуратнее «национальное размежевание», тем прямее дорога к интернационализму.

Непосредственным результатом этой политики было появление эклектичной и быстро растущей коллекции этнических матрешек. Все нерусские народы были «националами», имевшими право на собственные территориальные единицы, а все этнические группы, жившие на «чужих» территориях, были «национальными меньшинствами», имевшими право на собственные территориальные единицы. К 1928 году республики могли включать в себя национальные округа, национальные районы, национальные советы, туземные советы, тузрики (туземные районные исполнительные комитеты), аульные советы, родовые советы, кочевые советы и лагеркомы [78]. Надежно огражденные границами, советские национальности принялись развивать и изобретать свои автономные культуры. Залогом успеха считалось как можно более широкое использование родного языка как «фактора социальной дисциплины», «социального объединителя наций» и «основного условия успешного экономического и культурного развития» [79]. Будучи в одно и то же время главной причиной создания автономии и основным средством превращения ее в «подлинно национальную», «родной язык» обозначал официальный язык данной республики (почти всегда обозначенный в ее названии [80]), официальный язык данного меньшинства и материнский язык отдельно взятого гражданина. Быстрое размножение территориальных единиц предполагало, что со временем языки большинства граждан станут офи-

циальными, даже если это означало государственно поощряемое трехязычие (в 1926 году в Абхазии было 43 армянских школы, 41 греческая, 27 русских, 2 эстонских и 2 немецких [81]). Иначе говоря, все 192 языка, выявленные в двадцатые годы, должны были рано или поздно стать официальными.

Чтобы стать официальным, язык должен был быть «модернизован», а это предполагало создание или дальнейшую кодификацию литературного стандарта, основанного на «живом народном языке», графически воплощенного с помощью «рационального фонетического алфавита» (все арабские и некоторые кириллические письменности были заменены на латинскую), и «очищенного от чужеземного балласта» [82]. Чистка (политика радикального лингвистического пуризма) была необходима, потому что если национальности по определению различны по культуре, и если язык является «важнейшим признаком, отличающим одну национальность от другой», то языки должны как можно больше отличаться друг от друга [83]. И вот местные интеллигенты, поощряемые центром (или, если таковых не имелось, столичные ученые, болеющие за «свои народы»), всерьез взялись за построение лингвистических оград. Законодатели литературного узбекского и литературного татарского языков объявили войну «арабизмам и фарсизмам», кодификаторы украинского и белорусского стандарта боролись с «русизмами», а защитники безэлитных «малых народов» освобождали чукотский язык от английских заимствований [84]. Два первых тезиса (из пяти), принятых татарскими писателями и журналистами, выглядели следующим образом:

«I. Основной материал татарского литературного языка должен состоять из элементов родного языка. При наличии в татарском языке соответствующего слова, оно ни в коем случае не может быть заменено иностранным эквивалентом.

II. В случае отсутствия какого-нибудь понятия на татарском языке, оно, по возможности, заменяется:

а) при помощи составления из существующих в нашем языке оснований (корней) новых искусственных слов;

б) при помощи заимствования слова, передающего данное понятие, из числа древнетурецких, вышедших из употребления слов, или же из словаря других родственных татарам турецких племен, проживающих на территории России, с условием, что они будут приняты и легко усвояемы» [85].

Должным образом кодифицированные и, по возможности, изолированные друг от друга (не в последнюю очередь при помощи словарей [86]), различные официальные языки могли использоваться для

обслуживания «трудящихся националов». К 1928 году книги издавались на 66 языках (по сравнению с 40 в 1913 году), а газеты - на 47 (всего 205 нерусских наименований [87]). Сколько человек их читало, не имело принципиального значения: как и в других советских кампаниях, предложение должно было создать спрос (при необходимости насильно). Гораздо более смелым было требование, чтобы для всех официальных функций, включая народное образование, использовался родной язык (т.е. язык одноименной республики и языки местных общин) [88]. Это было необходимо, так как Ленин и Сталин считали, что это необходимо; так как это было единственным способом преодолеть национальное недоверие; так как «речевые реакции на родном языке протекают быстрее, чем на ином» [89]; так как социалистическое содержание доступно националам только в национальной форме; так как развитые нации состоят из трудящихся, чей родной язык равен официальному языку одноименной национальной единицы; и так как внедрение жестких литературных стандартов выявило большое количество людей, которые говорили на неправильных языках или на родных языках неправильно [90]. К 1927 году 93,7% украинских и 90,2% белорусских учеников начальных школ обучались на «родном» языке (то есть на языке, соответствовавшем названию их «национальности») [91]. Средние и высшие школы отставали, но никто не подвергал сомнению принцип полного совпадения этнической и языковой идентичности. Теоретически еврейский школьник из местечка должен был обучаться на идиш, даже если его родители предпочитали украинский, а кубанский ребенок должен был идти в украинскую школу, если, по мнению ученых и администраторов, речь его родителей являлась диалектом украинского, а не русского языка (и не особым кубанским языком, поскольку в таком случае понадобились бы особые грамматики, учебники, школы и территории) [92]. Как сказал один чиновник, «мы не можем принимать во внимание желания родителей. Мы должны учить ребенка на том языке, на котором он разговаривает у себя дома» [93]. Во многих районах СССР эта задача была явно невыполнимой, но конечная цель (полная этнолингвистическая последовательность при социализме как ключ к полной этнолингвистической прозрачности при коммунизме) оставалась неизменной.

Выдвижение национальных языков сопровождалось выдвижением их носителей. Согласно официальной политике «коренизации», руководство всеми этническими группами на всех уровнях - от союзных республик до родовых советов - должно было осуществляться представителями соответствующих национальностей. Это предполагало преимущественный набор «националов» в партийные, советские,

судебные, профсоюзные и образовательные учреждения, а также преимущественную пролетаризацию сельского населения нерусских национальностей [94]. Конкретные цели оставались неясными. С одной стороны, процентная доля данной национальности на всех престижных должностях должна была соответствовать процентной доле данной национальности по отношению к общему населению, что на практике относилось ко всем должностям, за исключением традиционных сельских (то есть как раз тех, которые, по мнению этнографов, и делали большинство национальностей национальными) [95]. С другой стороны, не все территории были равны или равным образом самодостаточны, с явным преобладанием «республиканской» идентичности над всеми остальными. Большинство кампаний по коренизации исходили из того, что республиканские (нерусские) национальности по определению являются коренными, так что если доля армянских должностных лиц превышала долю армян в общем населении «их» республики, никто не жаловался на нарушение ленинской национальной политики (курды контролировали свои сельсоветы; их пропорциональное представительство на республиканском уровне не являлось очевидным приоритетом) [96]. Ни одна из союзных республик не могла соперничать с Арменией, но большинство старалось изо всех сил (Грузия - особенно успешно). Национальность была ценностью; национальных единиц ценнее республики не существовало.

Хотя административная иерархия вступала в противоречие с принципом национального равенства, идея формальной этнической таблицы о рангах была чужда национальной политике 20-х годов. Сталинские различия между нацией и национальностью мало кого интересовали (меньше всех самого Сталина). Диктатура пролетариата состояла из бесчисленных национальных групп (языков, культур, учреждений), наделенных бесчисленными национальными, т.е. «неосновными», правами (на развитие своих языков, культур, учреждений). Национальное разнообразие и национальное своеобразие являлись не только парадоксальными предпосылками будущего единства, но и самостоятельной ценностью. Символическое изображение СССР на Сельскохозяйственной выставке 1923 года включало в себя, среди прочего, «голубые купола павильона среднеазиатских республик (Туркестана, Бухары, Хорезма), огромного павильона, построенного в стиле величественных старинных мечетей Самарканда. Рядом поднимаются белые минареты Азербайджана, цветная вышка Армении, пирамидальная, ярко-восточная постройка Киргизии, тяжкий, замкнутый в решетку дом Татарии, дальше пестрая китайщина дальнего Востока, а за ней юрты и чумы Башкирии, Монгол-Бурятии, Калмы-

кии, Ойратии, Якутии, хакасов, остяков и самоедов, и все они замыкаются искусственно созданными горами и саклями Дагестана, Горской республики и Чечни... Всюду и везде выставлены *свои* знамена, надписи на *своем* языке, карты *своих* пространств и границ, диаграммы *своих* богатств. Национальность, индивидуальность, своеобразность везде и всюду ярко подчеркнута» [97].

Если СССР был коммунальной квартирой, то каждой национальной семье полагалась отдельная комната. «Но к этой общей “советской квартире“, - напоминал Варейкис, - мы пришли через свободное национальное самоопределение, ибо только благодаря этому, всякая, вчера угнетенная нация освобождается от недоверия, которое она вполне законно питала к большим нациям» [98].

Понятно, что не всякое недоверие было законным. Отказ признать Москву «цитаделью международного революционного движения и ленинизма» [99] (а следовательно, единственным центром демократического централизма) являлся националистическим уклоном, в чем на личном опыте убедились, среди прочих, М.Х.Султан-Галиев и Шумский. Этнические права лежали в сфере культурной «формы», а не политического и экономического «содержания», но в конечном счете всякая форма определялась содержанием, а определение границы между тем и другим было прерогативой партии. Однако само наличие такой границы считалось обязательным, хотя и временным, а доля формы оставалась значительной, хотя и «неосновной». Даже ругая Миколу Хвылевого за попытку «бежать от Москвы», Сталин подтвердил свою поддержку всемерного развития украинской культуры и повторил свое предсказание 1923 года, что «состав украинского пролетариата будет украинизироваться, так же как состав пролетариата, скажем, в Латвии и Венгрии, имевший одно время немецкий характер, стал потом латышизироваться и мадьяризироваться» [100].

А что же русские? В центре советской квартиры было огромное аморфное пространство, не вполне похожее на комнату, не украшенное национальными атрибутами, не обозначенное как собственность хозяев и населенное миллионами суровых, но тактичных пролетариев. Русские могли быть полноправными национальными меньшинствами на землях, приписанных другим национальностям, но в самой России у них не было национальных прав и национальных привилегий (потому что они злоупотребляли ими при старом режиме). Война против русских изб и русских церквей была главным делом партии большевиков и главной причиной их заботы о юртах, чумах и минаретах. Этнические квоты в национальных регионах являлись зеркальным отражением классовых квот в России. Русский мог получить предпоч-

тение как пролетарий; нерусский получал предпочтение как нерусский. «Удмурт» и «узбек» были значимыми понятиями, потому что они замещали класс; «русский» был пустой категорией, если он не обозначал источник великодержавного шовинизма (в смысле чиновного «комчванства», а не чрезмерного национального самоутверждения) или историю империалистического угнетения (в смысле российской «тюрьмы народов»). В марте 1923 года Л.Д.Троцкий так сформулировал ленинский принцип: «Одно дело - взаимоотношения великорусского пролетариата и великорусского крестьянства. Здесь вопрос стоит в своем чисто классовом содержании. Это обнажает и упрощает задачу, облегчая тем самым ее разрешение. Другое дело - взаимоотношения великорусского пролетариата, играющего первую скрипку в нашем союзном государстве, и азербайджанского, туркменского, грузинского и украинского крестьянства» [101].

Русские были не единственной «ненацией» Советского Союза. Советские тоже не были нацией (квартира равнялась сумме комнат). Это тем более замечательно, что после марта 1925 года граждане СССР строили социализм «в одной, отдельно взятой стране» - стране с централизованным государством, командной экономикой, определенной территорией и монолитной партией. Кое-кто (из великодержавных шовинистов) отождествлял эту страну с Россией [102], но с точки зрения генеральной линии партии у СССР не было национальной идентичности, национальной культуры и официального языка. Советский Союз, как и Россия, представлял собой чистое социалистическое содержание, лишённое национальной формы.

Но если совершенство социалистического содержания не подлежало сомнению, то у кампании поощрения национальных форм были свои (обычно не очень красноречивые) критики. Так, хотя никто из делегатов XII съезда не выступил против политики коренизации, самыми шумными аплодисментами были встречены немногочисленные нападки на «местный национализм», а не обещания крестового похода против великодержавного шовинизма [103]. Тем временем в Татарской республике великодержавный шовинизм выражался в жалобах на то, «что “вся власть теперь дескать в руках татар”; что “русским теперь живется плохо”; что “русских угнетают”; что “русских сгоняют со службы, не принимают на работу, не принимают учиться в вузы”; “что необходимо поскорей уезжать всем русским из пределов Татарии” и т.д.» [104]. В Поволжье, Сибири и Средней Азии «некоренные» переселенцы, учителя и чиновники отказывались учить языки, которые они считали бесполезными, принимать на работу «националов», которых они считали некомпетентными, обучать детей, которых они называли ди-

карями, и тратить ценные ресурсы на осуществление мер, которые казались им несправедливыми [105]. Украинские крестьяне не выражали энтузиазма по поводу прибытия еврейских сельскохозяйственных колонистов, а еврейским государственным служащим не очень нравилась украинизация [106]. Даже объекты специальной заботы не всегда ценили ленинскую национальную политику. «Политически незрелых» родителей, учителей и учеников, высказывавших «ненормальное отношение» к обучению на родном языке, приходилось силой тащить по пути идишизации и белорусификации (по техническим причинам путь этот редко простирался за пределы средней школы, а потому казался образовательным тупиком) [107]. «Отсталые» белорусские переселенцы в Сибири предпочитали русский в качестве языка обучения, а «чрезвычайно отсталые» представители коренных народов Сибири доказывали, что если в тундре и нужна грамотность, то в первую очередь для того, чтобы истолковывать русские обычаи и пожелания [108].

Пока продолжался нэп, аргументы эти считались неосновательными, поскольку правильным способом преодоления отсталости было бурное и бескомпромиссное национальное строительство, то есть, согласно официальной идеологии, еще большая отсталость. Но в 1928 году нэп кончился, а вместе с ним иссякла терпимость по отношению ко всем пережиткам прошлого. «Революционеры сверху» восстановили первоначальное большевистское отождествление чуждости с отсталостью и поклялись ликвидировать их в течение десяти лет. Коллективизация должна была положить конец идиотизму деревенской жизни, индустриализация неизбежно вела к промышленному прогрессу, а культурная революция отвечала за ликвидацию неграмотности (а следовательно, всякого уклонизма). Согласно апостолам Великого перелома, социализм в «одной, отдельно взятой стране» означал полное совпадение грани «свой - чужой» с границей Советского Союза: все внутренние различия бесследно исчезнут, школы сольются с производством, писатели с читателями, город с деревней и дух с телом.

Но в какой степени все это относилось к национальностям? Значило ли это, что национальные территории будут ликвидированы как устаревшая уступка отсталости? Что нации будут уничтожены, как нэпманы, или коллективизированы, как крестьяне? Некоторые полагали, что значило. Подобно тому как юристы предвкушали отмирание законности, а учителя предсказывали близкий конец формального образования, лингвисты и этнографы ожидали - и нередко желали - слияния и в дальнейшем полного исчезновения языковых и этнических групп [109]. Согласно официально марксистской, а потому обяза-

тельной к употреблению «яфетической теории» Н.Я.Марра, язык является частью социальной надстройки и отражает циклические преобразования базиса. Языковые семьи суть пережитки различных стадий эволюции, приговоренные процессом глобальной «глоттогонии» к полному слиянию при коммунизме [110]. Аналогичным образом, носители этих языков («национальности») представляли собой исторически «преходящие» группы, которые возникали и исчезали вместе с общественно-экономическими формациями [111]: «Национальная культура... в своем дальнейшем развитии, освобождаясь от буржуазной части своей, сольется в единую общечеловеческую культуру... Нация есть историческая категория, преходящая, не являющаяся чем-то изначальным, вечным, и процесс развития нации повторяет в сущности историю развития общественных форм» [112]. А тем временем задача ускоренного изучения марксизма-ленинизма и «овладения техникой» требовала отмены «нелепой» практики языковой коренизации «ассимилированных» групп и максимально широкого использования русского языка [113].

Не тут-то было. Марристы, а позже партийные руководители действительно напали на языковой пуризм [114], но судьба его была решена лишь в 1933-1934 гг., а принцип этнокультурной автономии так и остался неприкосновенным. Как заявил Сталин на XVI съезде в июле 1930 года, «теория слияния всех наций, скажем, СССР в одну общую *великорусскую* нацию с одним общим *великорусским* языком есть теория национал-шовинистская, теория антиленинская, противоречащая основному положению ленинизма, состоящему в том, что национальные различия не могут исчезнуть в ближайший период, что они должны остаться еще надолго даже после победы пролетарской революции в *мировом масштабе*» [115].

Итак, пока существуют «национальные различия, язык, культура, быт и т.д.», будут существовать и этнотерриториальные единицы [116]. Великий перелом в национальной политике заключался в резкой эскалации национального строительства. Энтузиасты русского языка раскаялись в своих ошибках. Советская жизнь должна была быть «национализирована» как можно сильнее и как можно быстрее [117].

Поскольку не было в мире крепостей, которых большевики не взяли бы, плана, который они бы не перевыполнили, и сказки, которую они бы не сделали былью, то мог ли устоять перед ними узбекский язык, не говоря уже о «600-700 обиходных словах», достаточных для общения с ненцами [118]? 1 марта 1928 года Средазбюро ЦК ВКП (б), ЦК Коммунистической партии Узбекистана и ЦИК Узбекистана приняли решение о завершении «узбекизации» к 1 сентября 1930 года [119].

28 декабря 1929 года правительство Узбекистана обязало всех сотрудников Центрального Комитета, Верховного суда и комиссариатов труда, просвещения, юстиции и социального обеспечения выучить узбекский язык в течение двух месяцев (другим комиссариатам было отпущено девять месяцев, а «всем остальным» - год) [120]. 6 апреля 1931 года ЦИК Крымской автономной республики постановил, что доля коренного населения среди совслужащих должна вырасти к концу года с 29 до 50% [121]. А 31 августа 1929 года жители Одессы обнаружили, что их ежедневная газета «Известия» превратилась в украиноязычную «Черноморську комууну» [122].

Однако полная украинизация и казахизация декларировались лишь в городах. Одним из самых примечательных аспектов сталинской революции в национальной политике было резкое увеличение государственной поддержки культурной автономии «национальных меньшинств» (нетитульных национальностей). «Сущность коренизации не совпадает с такими понятиями, как украинизация, казахизация, татаризация и т.д.: они не покрывают полностью понятия коренизации, которое не может быть сведено к вопросам, имеющим отношение *только к коренизации народности* данной республики или области» [123]. К 1932 году на Украине были русские, немецкие, польские, еврейские, молдавские, чеченские, болгарские, греческие, белорусские и албанские сельсоветы, а в Казахстане русские, украинские, «русско-казацкие», узбекские, уйгурские, немецкие, таджикские, дунганские, татарские, чувашские, болгарские, молдавские и мордовские, не считая 140 «смешанных» [124]. Это был всесоюзный праздник этнической плодovitости, веселый национальный карнавал, организованный партией и, по всей видимости, поддержанный Сталиным в журнале «Пролетарская революция» [125]. Выяснилось, что чечены и ингуши - разные национальности (а не просто вайнахи), что мегрелы отличаются от грузин, карелы от финнов, понтийские греки от эллинских, а евреи и цыгане - от всех остальных (хотя и не очень сильно), и что поэтому все они срочно нуждаются в собственных литературных языках, издательствах и системах народного образования [126]. С 1928 по 1938 годы количество нерусских газет возросло с 205 наименований на 47 языках до 2 188 наименований на 66 языках [127]. Считалось скандалом, если северокавказцы украинского происхождения не имели собственных театров, библиотек и литературных организаций; если народы Дагестана имели тюркскую *lingua franca* (а не несколько десятков литературных языков); если культурные запросы трудящихся Донбасса удовлетворялись «только на русском, украинском и татарском языках» [128]. Большинство ответственных должностей и мест в учебных

заведениях входили в сложную систему национальных квот, целью которой было полное совпадение демографии и служебного продвижения (задача головокружительной сложности, если учесть количество административных уровней, на которых можно вычислять демографию и продвижение) [129]. Диктатура пролетариата была вавилонской башней, в которой все языки на всех этажах имели право на пропорциональное количество рабочих мест. Даже бригады ударников на стройках и фабриках должны были по мере возможности создаваться по этническому принципу (знаменитая стахановка Паша Ангелина руководила «греческой бригадой») [130].

Великий перелом был не просто «сорвавшимся с цепи» нэпом. В национальной политике, как и в любой другой, он был последним и решительным боем против отсталости и угнетения, окончательным избавлением от всех социальных (и следовательно, всех без исключения) различий, безоглядным прыжком в царство остановившегося мгновения. Цели Великого перелома были осмыслены лишь в той степени, в какой их достижению мешали злодеи и простофили. После 1928 года реальные и воображаемые нерусские элиты не могли более ссылаться на общенациональные права и общенациональную отсталость. Коллективизация предполагала наличие классов, а это означало, что все без исключения национальности должны были выявить своих собственных эксплуататоров, еретиков и антисоветских заговорщиков [131] (в случае отсутствия классов в дело шли пол и поколение [132]). Жизнь состояла из «фронтов», а фронты - в том числе и национальный - разделяли воюющие классы. «Если по линии русской национальности с самых первых дней Октября очень ярко сказалась внутренняя классовая борьба, то мне кажется, что среди целого ряда национальностей внутренняя классовая борьба только сейчас становится со всей остротой, она становится острее, чем когда бы то ни было» [133]. Порой классовые коррективы к этническому принципу грозили вытеснить сам принцип - как в случае видного партийного идеолога по национальному вопросу, который заявил, что «при острых классовых столкновениях обнаруживается классовая сущность многих национальных особенностей» [134], или молодого этнографа-коллективизатора, который заключил, что «вся система, с которой приходится сталкиваться при проведении в тундре какой бы то ни было работы, которая на поверхностного наблюдателя производит впечатление национальной самобытности..., оказывается лишь системой идеологической охраны крупной собственности» [135].

Однако не все виды национальной самобытности растворились в классовом анализе. Риторика национального своеобразия и практи-

ка этнических квот остались обязательными, и большую часть местных руководителей, «вычищенных» во время первой пятилетки, сменили социально более близкие представители тех же национальностей [136]. Что действительно уменьшилось, так это пространство, отводившееся «национальной форме». Национальная идентичность времен Великого перелома равнялась национальной идентичности времен нэпа минус «отсталость», которую представляли и защищали эксплуататорские классы. Членов так называемого Союза «вызволения» Украины обвинили в национализме не потому, что они отстаивали отдельную идентичность, административную автономию и этнолингвистические права Украины - такова была официальная политика партии. Их обвинили в национализме потому, что их Украина - согласно обвинителям - была крестьянской утопией из далекого, но не затерянного прошлого, а не городской утопией из недалекого, но этнически раздробленного будущего. «Их душе оставалась милой старая Украина, вся в хуторах и помещичьих усадьбах, страна по преимуществу аграрная, с прочной основой для частной земельной собственности... Они враждебно относились к индустриализации Украины, к советской пятилетке, преобразующей эту республику и ставящей ее на самостоятельную крупнопромышленную основу. Они глумились над Днепрогэсом и советской украинизацией. Они не доверяли ее искренности и глубине. Они были убеждены, что без них, без старой интеллигенции никакая настоящая украинизация невозможна, и всего больше боялись они, чтобы не была вырвана из их рук прежняя монополия на культуру, литературу, науку, искусство, театр» [137].

Дальнейшее существование этнических общин и законность их притязаний на культурное, территориальное и политическое своеобразие (которые Сталин считал принципом национальных прав и которые я назвал национализмом) не были поставлены под сомнение. «Буржуазный национализм» заключался в попытках «буржуазной интеллигенции» увести свой народ в сторону от генеральной линии партии - подобно тому, как вредительство состояло в попытках «буржуазных специалистов» пустить под откос советскую экономику. Быть буржуазным националистом значило саботировать национальное строительство, а не участвовать в нем.

В 1931 году «социалистическое наступление» замедлилось, а в 1934 году оно почти совсем остановилось за отсутствием противника. Обращаясь к «съезду победителей», Сталин заявил, что Советский Союз «сбросил с себя обличье отсталости и средневековья» и превратился в индустриальное общество на прочном социалистическом фундаменте [138]. С точки зрения официальной эсхатологии, время было побеж-

дено, и будущее стало настоящим. В отсутствие отсталости, не было более нужды в институтах, созданных для осторожного обращения с отдельными ее проявлениями. Женотделы, евсекции и Комитет содействия народностям северных окраин были закрыты. Наука «педология» была запрещена, потому что она исходила из того, что женщины, национальные меньшинства и выходцы из ранее угнетавшихся социальных слоев нуждаются в особой поддержке на пути в современность. Наука «этнология» была запрещена, потому что она исходила из того, что некоторые советские культуры не перестали быть примитивными. Все несоцреалистическое искусство было запрещено, потому что искусство отражает жизнь, а советская жизнь стала социалистической.

Если следовать решениям X съезда, отождествившим национальность с отсталостью, то и этнические группы следовало запретить. Однако этого не произошло, и национальность, усталая, но довольная, снова подняла голову. Вопреки мнению большинства авторов, «высокий сталинизм» не положил конец политике национального строительства [139]. Он изменил контуры этничности, но не изменил ленинскому принципу единства в разнообразии. Он резко сократил количество национальных единиц, но не покусился на их национальную сущность. Так же как закрытие женотделов не было прелюдией к атаке на половые различия, закрытие Средазбюро не было призывом к этнической ассимиляции. Более того, эмансипированные советские женщины должны были стать более «женственными», а модернизированные советские национальности должны были стать более национальными. Класс был единственно законным «содержанием», и к концу 30-х годов классовые квоты, опросы и свидетельства вышли из употребления [140]. Но различия в «форме» были допустимы, и национальность (самый почтенный и вполне полный вид формы) могла развиваться, крепнуть и украдкой наращивать содержание.

Самым ярким новшеством начала 30-х годов было появление русских как полностью экипированной национальности. По мере отмирания классовых критериев эта не маркированная в прошлом национальность стала не намного менее этничной, чем все остальные. Термин «национал» подвергся критике и в конечном счете экзекуции, потому что в СССР не было больше вненациональных граждан [141]. Поначалу осторожно, но потом все более самоуверенно партия начала снабжать русских национальным прошлым, национальным языком и хорошо знакомой национальной иконографией во главе с Александром Сергеевичем Пушкиным - прогрессивным и вольнолюбивым, но в первую очередь русским. К 1934 году «дерусификация» русских

пролетариев и намеренное отдаление от Москвы в ходе «культурного строительства» стали серьезным преступлением, а не «ошибкой», произошедшей от хорошо понятного нетерпения [142].

И все же русские не стали просто национальностью. С одной стороны, у них не было четко очерченной национальной территории (РСФСР оставалась огромным аморфным остатком, который никем не воспринимался как этническая или историческая Россия), не было своей партии и своей Академии наук. С другой стороны, русские все теснее отождествлялись с Советским Союзом в целом (отсюда и лакуны). Между 1937 и 1939 гг. кириллица сменила латиницу во всех стандартах, созданных в 20-е годы, а в 1938 году, после трехгодичной кампании, русский язык стал обязательным предметом во всех национальных школах. Советское прошлое и высшие эшелоны партийной элиты становились все более русскими [143]. «Интернационализм» (т.е. тесные связи между народами СССР) и позже «дружба народов» (т.е. еще более тесные связи между народами СССР) стали официальной догмой, которая формулировалась с помощью русского языка - новой советской *lingua franca* [144]. При этом никто не говорил о существовании «советской нации» (в отличие от «народа») или о том, что русский должен стать первым языком в национальных районах и учреждениях. Даже в Карелии, где в 1938 году местный финский стандарт был признан «фашистским», осиротевшие носители языка были переведены на наспех кодифицированный «карельский», а не на русский, который уже стал «языком межнационального общения» [145]. Русские начали грубить соседям и украшать свою часть коммунальной квартиры (в которую входила огромная прихожая, коридор и кухня, где принимались все важные решения), но не претендовали на всю квартиру и не подвергали сомнению право других больших семей на их жилплощадь. Жильцы были менее равны, но по-прежнему обо-соблены.

Культура Великого перелома была безродной, переменчивой и карнавальской. Старики вели себя, как подростки, дети вели себя плохо, женщины одевались, как мужчины (но не наоборот), классы менялись местами, слова теряли смысл. Люди, здания, языки и национальности бесконечно множились, мигрировали и растекались по ровному, плоскому ландшафту. Впрочем, пролетарский постмодернизм оказался преждевременным. «Великое отступление» 30-х гг. было мезью буквального смысла - триумфом подлинной коренизации от слова «коренной» («радикальный»). Сила притяжения прикрепила здания к фундаменту, крестьян к земле, рабочих к фабрикам, а советских людей - к СССР [146]. Одновременно с этим и примерно таким же обра-

зом каждый индивид был привязан к определенной национальности, а большинство национальностей было привязано к определенным границам. В начале 30-х гг. - вскоре после возрождения вступительных экзаменов и незадолго до введения студенческих личных дел, трудовых книжек и смертной казни за попытку бегства за границу - все советские граждане получили паспорта, которые формально описывали их при помощи имени, времени и места рождения, прописки и национальности. Имя и прописку можно было изменить, а национальность - нельзя. К концу 30-х гг. каждый советский ребенок наследовал национальность при рождении: личная этничность превратилась в биологическую категорию, независимую от культурных, языковых и географических факторов [147]. А тем временем коллективная этничность становилась все более территориальной. Административные единицы, созданные всего несколько лет назад для обслуживания этнических групп, стали их важнейшим определяющим признаком. Согласно обычному круговому аргументу, «наличие у этнической группы своей национальной территории - республики, области, района, сельсовета - служит доказательством того, что она официально признана народностью... Так, наличие в Челябинской области Нагайбакского района делает бесспорным выделение из татар особой народности - нагайбаков» [148]. Евреи тоже стали нацией после создания автономной области в Биробиджане: «Тем самым еврейские трудящиеся СССР получили главный отсутствовавший ранее признак, который не давал возможности считать их в научном отношении нацией, т.е. свою территорию, свое государственное образование. И получилось, что, как и многие национальности СССР, завершающие процесс своей консолидации в нации, *еврейское национальное меньшинство* стало нацией, получив свое национальное государственное автономное объединение в советских условиях» [149].

Подобный взгляд предполагал два важных нововведения. Во-первых, впервые после 1913 года на сцене появилась формальная этническая иерархия. Этнотерриториальные образования (республики, области, районы) и ранее различались по статусу, но никто всерьез не пытался связать этот бюрократический порядок с объективной и жестко эволюционной иерархией этничности. Со второй половины 30-х гг. студенты, писатели и ударники могли оцениваться по определенной шкале; то же относилось и к национальностям. Во-вторых, если легитимность этнической группы зависела от наличия у нее территории, то очевидно, что потеря территории «денационализировала» этническую группу (но не отдельных ее паспортизованных членов!). Это было тем более важно, что во второй половине 30-х гг. правительство

окончательно решило, что оно больше не хочет управлять 192 языками и 192 аппаратами. Производство учебников, учителей и учащихся не поспевало за повальной национализацией; полностью бюрократизированная командная экономика и недавно централизованная система народного образования нуждались в рациональных и управляемых коммуникационных каналах; а русские «выдвиженцы», которые заняли высшие номенклатурные должности после Великого террора, более сочувственно относились к жалобам на антирусскую дискриминацию (сами пользуясь *классовыми* квотами). К концу десятилетия большинство национальных советов, районов и других небольших образований были расформированы, некоторые автономные республики забыты, и почти все школы и другие учреждения для национальных меньшинств закрыты [150].

Но - и это самое большое «но» всей статьи - те национальности, которые уже имели собственные республики и разветвленные бюрократические аппараты, получили возможность ускорить и расширить строительство компактных национальных культур. Подобно тому, как «реконструкция Москвы» трансформировалась из плана грандиозного переустройства всего городского ландшафта в идею создания нескольких совершенных артефактов [151], национальная политика махнула рукой на бесчисленное количество безродных народностей и сконцентрировалась на нескольких зрелых, полнокровных «нациях». Некоторое сокращение этнических квот и новый упор на советскую меритократию замедлили и кое-где остановили процесс коренизации аппарата, но культ национальных культур и производство национальных интеллигенций стали еще интенсивнее. Узбекские общины за пределами Узбекистана были предоставлены сами себе, но Узбекистан как национальное государство остался на месте, избавился от инородных анклавов и всерьез занялся своей историей и литературой. В советской квартире стало меньше комнат, но те, которые сохранились, любовно украшались семейными реликвиями, старинными часами и фотографиями предков.

Первый съезд советских писателей, открывший новую эпоху в культурной политике, был тяжело-торжественным парадом старозаветных романтических национализмов. Пушкин, Толстой и другие официально реставрированные русские иконы были не единственными национальными гигантами с международной репутацией - все народы СССР имели или собирались вырастить своих собственных классиков, мучеников и отцов-основателей. Украинский делегат сказал, что Тарас Шевченко был «гением» и «колоссом», который «сыграл в создании украинского литературного языка не меньшую роль, чем Пушкин в

создании русского литературного языка, а возможно и большую» [152]. Армянский делегат напомнил присутствующим, что культура его народа «принадлежит к числу древнейших культур Востока», что армянский алфавит старше христианства, и что «по жизненной правдивости образов, по изяществу, по глубине народной мудрости и простоте, по демократичности сюжета» армянский национальный эпос «является одним из лучших образцов мирового эпоса» [153]. Азербайджанский делегат объяснил, что Мирза Фатали Ахундов был не «дворянским писателем», как утверждали некоторые критики, а «великим философом-драматургом», чья «галерея типов так же красочна, разнообразна, характерна, как галерея типов Грибоедова, Гоголя и Островского» [154]. Туркменский делегат рассказал съезду о «корифее туркменской поэзии» Махтум Кули; таджикский делегат отметил, что основателями таджикской литературы являются Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайям «и десятки других блестящих мастеров слова»; а делегат от Грузии произнес чрезвычайно обстоятельную речь, в которой заявил, что «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели «опережает на целые столетия идейное движение в Западной Европе», стоит неизмеримо выше Данте и является «самым великим литературным наследием из всего того, что нам дали средневековый Запад и весь так называемый средневековый христианский мир» [155].

Согласно новой партийной линии, все официально признанные советские национальности должны были иметь свои собственные «великие традиции», которые нуждались в охране, усовершенствовании и приумножении усилиями специально подготовленных профессионалов в специально созданных для этого учреждениях. Степень величия данной культуры зависела от ее административного статуса (от союзной республики до безземельных национальностей), но внутри каждой категории все национальные традиции, кроме русской, должны были быть равноправны. Риторически это не всегда соответствовало действительности (Украину иногда называли второй по старшинству, а Среднюю Азию нередко называли отсталой), но в административном плане все национальные территории должны были быть идеально симметричны - от партийного аппарата до системы образования. Это было давней советской политикой, но активная борьба с искривлениями и массовое производство идентичных институтов по изготовлению национальных культур было нововведением 30-х годов. К концу правления Сталина у всех союзных республик были свои союзы писателей, театры, оперные труппы и академии наук, которые в основном занимались национальной историей, литературой и языком [156]. Республиканские планы, утвержденные Москвой, призывали к про-

изводству все большего количества «национальных по форме» учебников, пьес, романов, балетов и рассказов. (В случае словарей, фольклорных сборников и изданий «классиков» национальная форма грозила перейти в содержание).

Если какая-нибудь республика начинала отставать, Москва спешила на помощь. В течение 1935 и 1936 гг. ГИТИС выпустил 11 театральных трупп с полным набором актеров и готовым репертуаром [157]. Когда национального канона не хватало, государство финансировало переводы русской и западной классики (первыми постановками новорожденной башкирской оперы в 1936 году были «Князь Игорь» и «Женитьба Фигаро» [158]). В конце 30-х годов литературный перевод стал массовой индустрией и главным источником существования для сотен профессиональных писателей. «Дружба народов» предполагала любовь советских национальностей к искусству друг друга. По словам Горького, «необходимо взаимно обменяться знанием прошлого, - для всех союзных республик нужно, чтобы белорус знал, что такое грузин, тюрк и т.д.» [159]. Результатом этого была не только переводческая лихорадка, но и истории СССР, в которых фигурировали разные народы; радиопередачи, которые знакомили советского слушателя с грузинским многоголосьем и белорусским театром; гастроли сотен танцевальных ансамблей; декады азербайджанского искусства на Украине, вечера армянской поэзии в Москве, выставки туркменских ковров в Казани и регулярные фестивали народных хоров, спортивных достижений и пионерских отрядов. С середины 30-х до конца 80-х годов такого рода активность была одним из самых заметных (и по всей видимости, наименее популярных) элементов официальной советской культуры.

Строительство национальных культур было делом почетным, но опасным. В течение десяти лет после первого съезда писателей большинство основателей новых национальных институтов погибло; огромные территории были завоеваны, потеряны и снова завоеваны; великое множество небольших этнических единиц перестало существовать; и несколько народов было насильственно депортировано с их территорий (которые отошли к другим народам). Одновременно с этим русские превратились в «наиболее выдающуюся нацию из всех наций, входящих в состав Советского Союза», и движущую силу всемирного прогресса [160]. Но и тогда законность великих традиций народов СССР не подверглась сомнению. Главными врагами России и всемирного прогресса были «буржуазный национализм», который теперь означал недостаточное преклонение перед Россией, и «безродный космополитизм», который символизировал отрицание коренизации от

слова «укорененность». Даже в 1936-1939 гг., когда тысячи людей были приговорены к расстрелу за буржуазный национализм, «вся советская страна» шумно праздновала 1000-летнюю годовщину со дня рождения основателя таджикской (а не персидской) литературы Фирдоуси, 500-летнюю годовщину со дня рождения классика узбекской (а не чагатайской) литературы Алишера Навои и 125-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко, которого «Правда» назвала «великим сыном украинского народа», который «поднял украинскую литературу на высоту, достойную народа с богатым историческим прошлым» [161]. Относительно немногочисленные национальные герои, которые пострадали в этот период, попали в немилость не потому, что они национальные герои, а потому, что их сочли антирусскими [162]. И когда «Правда» в 1951 году напала на поэта Владимира Сосюру за стихотворение «Люби Украину», официальной причиной была не чрезмерная любовь к Украине, а недостаточная благодарность по отношению к старшему брату [163]. Новым поводом для благодарности была недавняя аннексия Западной Украины и последующее «воссоединение» украинского национального государства - советское (а значит, в основном русское) достижение, широко разрекламированное как исполнение вековых чаяний украинского народа.

Парадоксальным образом, именно в этот период официальной мании русского величия чаяния нерусских народов получили теоретическое обоснование. 7 апреля 1948 года Сталин сказал нечто очень похожее на то, что он говорил о национальных правах в 1913 году: «Каждая нация, - все равно - большая или малая, имеет свои качественные особенности, свою специфику, которая принадлежит только ей и которой нет у других наций. Эти особенности являются тем вкладом, который вносит каждая нация в общую сокровищницу мировой культуры и дополняет ее, обогащает ее. В этом смысле все нации - и малые, и большие - находятся в одинаковом положении, и каждая нация равнозначна любой другой нации» [164].

Это означало, что этничность универсальна, нерушима и по определению моральна. Но и это было лишь увертюрой. Летом 1950 года Сталин взялся за перо, чтобы изгнать дух Н.Я.Марра, одного из последних святых Великого перелома, чье «учение» и ученики каким-то образом избежали участи других «упростителей и вульгаризаторов марксизма» [165]. Согласно Сталину, язык не принадлежит ни надстройке, ни базису. Язык создан «всем обществом» для «удовлетворения нужд... всего общества» - независимо от класса и на протяжении всей человеческой истории. При этом «общество» обозначало этническую единицу, а этнические единицы, как и их языки, живут «не-

сравненно дольше, чем любой базис и любая надстройка» [166]. И так, все встало на свои места: классы и их «идеологии» приходят и уходят, а национальности остаются. В стране, свободной от социальных конфликтов, национальность стала единственной осмысленной идентичностью.

Таково было наследство, которое Сталин завещал своим наследникам, и от которого не отказался Горбачев и его наследники. Хрущев немножко побунтовал: в борьбе за местную инициативу он укрепил позиции национальных элит, а в борьбе с национальными элитами предложил отменить некоторые квоты и даже напугал кое-кого, возродив доктрину слияния наций. Однако слияние должно было произойти при коммунизме, а коммунизм должен был произойти так скоро, что его трудно было принимать всерьез. Единственным практическим шагом в этом направлении была школьная реформа 1959 года, которая предоставила родителям свободу выбора между русскими и национальными школами и сделала второй язык факультативным. Теоретически казахам разрешили не изучать русский; практически русских больше не заставляли изучать казахский [167]. Этнически однородные и уверенные в себе элиты Армении и Литвы не выразили особого беспокойства, «малочисленные» национальные аппараты внутри РСФСР смирились с неизбежным, а демографически ущемленные, но политически крепкие элиты Латвии, Украины и Азербайджана дали бой. Тридцать лет спустя их аргумент суммировал Олесь Гончар: «Учить или не учить родной язык в школе - этот вопрос не может встать ни в одной цивилизованной стране» [168]. Иначе говоря, цивилизованная страна - это национальное государство, официальный язык которого по определению является «родным». Сталинская национальная политика принесла свои плоды.

Цивилизованный сталинизм («развитой социализм») был символом веры «коллективного руководства», на долю которого пришлось сумеречные годы советской власти. Основывая свою легитимность на достижениях «реального» этнотерриториального welfare state, а не на завтрашнем коммунизме и вчерашней революции, подновленное сталинское государство сохранило и классовую вывеску, и национальную структуру [169]. Каждый советский гражданин рождался с определенной национальностью, сживался с ней в детском саду и школе, подтверждал ее в паспорте и нес ее до могилы через сотни анкет, удостоверений и автобиографий. Национальность имела значение при поступлении в учебные заведения и могла быть решающей при приеме на работу, продвижении по службе и определении места воинской службы [170]. Советские этнографы, возвращенные к жизни в конце 30-х годов и обретшие новую миссию после разгрома марризма, не

изучали «культуру»: их главной задачей было поймать, понять и воспеть неуловимый «этнос». Даже за границей, в мире капитализма, самой заметной добродетелью было «национально-освободительное движение».

Каждый народ знал свое место - теоретически на эволюционной шкале между племенем и нацией, а практически сообразно своему территориальному и социальному статусу. Статус данной национальности мог меняться в значительных пределах, но благодаря системе квот наибольшими практическими преимуществами обладали члены «титულных» национальностей, проживавших в «своей» республике. Шестьдесят лет последовательной политики в этом направлении привели к почти полной национализации союзных республик: мощные местные элиты рекрутировались по национальному признаку и искали местной легитимности, апеллируя к национальному чувству [171]. Политические и культурные антрепренеры зависели от субсидий из центра, но регулярно подчеркивали свою приверженность «своему народу» и национальным символам. При этом если политики играли по жестким аппаратным правилам, то главной функцией национальных интеллигенций было воспроизводство национальных культур. Границы возможного определялись цензурой, но культуртрегерство как таковое казалось естественным и партийным спонсорам, и местным потребителям. Национальные интеллигенции в значительной степени состояли из профессиональных историков, филологов и литераторов, которые писали почти исключительно для местной аудитории [172]. Они выпускали многотомные национальные истории, выстраивали национальные генеалогии, очищали национальные языки, хранили национальные сокровища и оплакивали потерю национального прошлого [173]. Другими словами, они вели себя как хорошие патриоты, когда не вели себя как плохие националисты. С течением времени стало все труднее отличать одно от другого, потому что национальная форма незаметно превратилась в содержание, а у национализма не видно было никакого содержания, кроме культа формы. Руководство страны забыло, в чем должно состоять «социалистическое содержание», и когда Горбачев избавился от марксистской словесной шелухи, единственным осмысленным средством общения был всем хорошо знакомый язык национализма.

Очевидно, что роль советского государства в пропаганде национализма не ограничивалась конструктивными мерами. Оно заставляло жрецов национальных культур поклоняться чужим национальным культурам; воздвигло административную иерархию, которая предполагала превосходство одних народов над другими; вмешивалось в дело

формирования и увековечения национальных пантеонов; изолировало этнические группы от их соплеменников и поклонников за границей и поощряло массовые миграции, которые приводили к соперничеству из-за скудных ресурсов, разбавляли аудиторию национальных элит и провоцировали трения вокруг этнических квот. И наконец, оно отказывало своим нациям в праве на политическую независимость - праве, которое является кульминацией всех националистических доктрин, включая ту, что легла в основу Союза Советских Социалистических Республик.

С этим связано еще одно гиблое место советской национальной политики: сосуществование принципа республиканской государственности и принципа личной национальности [174]. Первый исходил из того, что территориальные государства порождают нации; второй предполагал, что нации имеют право на собственные государства. Первый утверждал, что все жители Белоруссии рано или поздно станут белорусами; второй помогал не-белорусам оспаривать это утверждение. Советское правительство декларировало оба принципа, не пытаясь слепить этнически значимую советскую нацию или превратить СССР в русское национальное государство, так что когда ненациональное государство перестало существовать, национальные негосударства оказались единственными законными наследниками. Все, кроме Российской Федерации. Ее очертания были не очень четкими, ее идентичность была не вполне этнической, а ее «титульные» граждане с трудом отличали РСФСР от СССР [175]. Через 70 лет после X съезда партии политика коренизации достигла логического предела: жильцы коммунальной квартиры забаррикадировали двери своих комнат и начали пользоваться окнами, а сбитые с толку хозяева кухни и коридора смотрели по сторонам и чесали в затылке. Может быть, попробовать вернуть что-нибудь из вещей? Сломать стены? Отключить газ? Или превратить свою жилплощадь в обычную квартиру?

Пер. с англ. автора

Примечания

1. Попытка, разумеется, не первая, но - надеюсь - достаточно отличная от предыдущих, чтобы не быть излишней. В первую очередь я обязан Рональду Григору Суни, который недавно изложил свои взгляды на этот предмет: Ronald Grigor Suny, *The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union* (Stanford: Stanford University Press, 1993). О последних трех

десятилетиях см. также: Kenneth C. Farmer, *Ukrainian Nationalism in the Post-Stalin Era* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1980); Gail Warshofsky Lapidus, «Ethnonationalism and Political Stability: The Soviet Case», *World Politics* 36, № 4 (July 1984). P.355-380; Philip G. Roeder, «Soviet Federalism and Ethnic Mobilization», *World Politics* 23, № 2 (January 1991). P.196-233; Teresa Rakowska-Harmstone, «The Dialectics of Nationalism in the USSR», *Problems of Communism* XXIII (May-June 1974). P.1-22; Victor Zaslavsky, «Nationalism and Democratic Transition in Postcommunist Societies», *Daedalus* 121, № 2 (Spring 1992). P.97-121. О поддержке «национальных языков» и двуязычия см. работы Барбары А. Андерсон и Брайана Дж. Сильвера, особенно: Barbara A. Anderson and Brian D. Silver, «Equality, Efficiency, and Politics in Soviet Bilingual Education Policy, 1934-1980», *American Political Science Review* 78, № 4 (October 1984). P.1019-1039; и «Some Factors in the Linguistic and Ethnic Russification of Soviet Nationalities: Is Everyone Becoming Russian?», Lubomyr Hajda and Mark Beissinger, eds., *The Nationalities Factor in Soviet Politics and Society* (Boulder: Westview Press, 1990). Замечательный анализ государственного национализма в нефедеральной коммунистической стране см.: Katherine Verdery, *National Ideology under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausescu's Romania* (Berkeley: University of California Press, 1991).

2. Обзор недавних дискуссий об этнических границах политических сообществ см.: David A. Hollinger, «How Wide the Circle of the "We"? American Intellectuals and the Problem of Ethnos since World War Two», *American Historical Review* 98, № 2 (April 1993). P.317-337.

3. Варейкис И., Зеленский И. Национально-государственное размежевание Средней Азии. Ташкент, 1924. С.59.

4. Остроумную разработку обратной метафоры (коммунальная квартира как СССР) см.: Svetlana Boym, «The Archeology of Banality: The Soviet Home», *Public Culture*, 6, № 2 (1994). P.263-292.

5. Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос. М., 1950. С.22.

6. О более ранних дебатах марксистов по вопросу о национализме см.: Walker Connor, *The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy* (Princeton: Princeton University Press, 1984); H el ene Carr ere d'Encausse, *The Great Challenge: Nationalities and the Bolshevik State 1917-1930* (New York: Holmes and Meier, 1992); Helmut Konrad, «Between "Little International" and Great Power Politics: Austro-Marxism and Stalinism on the National Question», Richard L. Rudolph and David F. Good, eds., *Nationalism and Empire: The Habsburg Empire and the Soviet Union* (New York: St. Martin's Press, 1992); Richard Pipes, *The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism 1917-1923* (Cambridge: Harvard University Press, 1964); Roman Szporluk, *Communism and Nationalism: Karl Marx versus Friedrich List* (New York: Oxford University Press, 1988).

7. Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос. С.51. См. также: Ленин В.И. Вопросы национальной политики и пролетарского интернационализма. М., 1965.

8. Из большинства марксистских исследований русско-польских и русско-финских отношений следовало, что не всякий угнетатель цивилизованнее угнетенного.

9. Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос. С.37. Взгляд на нацию (в отличие от народности) как на «историческую категорию определенной эпохи, эпохи поднимающегося капитализма» вскоре стал трюизмом и был без дискуссии подтвержден на Десятом съезде партии.
10. Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу (1913 г.) // Ленин В.И. Вопросы национальной политики и пролетарского интернационализма. С.32-34, 129.
11. Там же. С.33; Ленин В.И. Итоги дискуссии о самоопределении (1916 г.) // Там же. С.128.
12. Ленин В.И. Критические заметки. С.26.
13. Там же. С.33-34.
14. Там же. С.15-16; Ленин В.И. О праве наций на самоопределение (1914 г.) // Там же. С.81 (сноска); Ленин В.И. О национальной гордости великороссов (1914 г.) // Там же. С.107.
15. Ленин В.И. Критические заметки. С.9.
16. Там же. С.9, 28; см. также: Ленин В.И. О праве... // Там же. С.61, 83-84.
17. Isabelle Kreindler, «A Neglected Source of Lenin's Nationality Policy», *Slavic Review* 36, № 1 (March 1977). P.86-100.
18. Цит. по: Isabelle Kreindler, «Educational Policies toward the Eastern Nationalities in Tsarist Russia: A Study of the П'minskii System», Ph.D. Diss., Columbia University, 1969. P.75-76; в обратном переводе с английского.
19. Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос. С.21.
20. Вениамин, архиепископ Иркутский и Нерчинский. Жизненные вопросы православной миссии в Сибири. Спб., 1885. С.7. Подробнее об этой дискуссии см.: Yuri Slezkine, «Savage Christians or Unorthodox Russians? The Missionary Dilemma in Siberia», Galya Diment and Yuri Slezkine, eds., *Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture* (New York: St. Martin's Press, 1993). P.18-27.
21. Ленин В.И. Критические заметки. С.7.
22. Ср.: Ernest Gellner, *Nations and Nationalism* (Ithaca: Cornell University Press, 1983). P.1; E. J. Hobsbawm, *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality* (New York: Cambridge University Press, 1991). P.9; John Breuilly, *Nationalism and the State* (Chicago: University of Chicago Press, 1985). P.3.
23. Ленин В.И. О национальной программе РСДРП (1913 г.) // Ленин В.И. Вопросы национальной политики. С.41; Ленин В.И. О праве... // Там же. С.61-61, 102; Ленин В.И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение (1916 г.) // Там же. С.113-114.
24. Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос. С.163. То же самое было справедливо и в случае национальных школ, свободы религии, свободы передвижения «и т.д.».
25. Ленин В.И. Итоги дискуссии о самоопределении (1916 г.) // Ленин В.И. Вопросы национальной политики. С.129.
26. Термины «народ» и «нация» были взаимозаменяемы.
27. Декреты Советской власти. М., 1957. Т.1. С.39-41, 113-115, 168-170, 195-196, 340-344, 351, 367.

28. Диманштейн С. Народный комиссариат по делам национальностей // Жизнь национальностей. № 41 (49), 26 февраля 1919 г.
29. Диманштейн С. Советская власть и мелкие национальности // Жизнь национальностей. № 46 (54), 7 декабря 1919 г. См. также: Пестковский С. Национальная культура // Жизнь национальностей. № 21 (29), 8 июня 1919 г.
30. Ненароков А.П. К единству равных: Культурные факторы объединительного движения советских народов, 1917-1924. М., 1991. С.91-92.
31. Там же. С.92-93.
32. Восьмой съезд РКП(б): Протоколы. М., 1959. С.46-48, 77-81.
33. Там же. С.55.
34. Там же. С.106.
35. Там же. С.53. В той же речи Ленин заявил, что в деле социальной дифференциации даже самые «передовые» западные страны стоят далеко позади Советской России (это означало, что их можно рассматривать как единые нации, а не как временно изолированные фронты классовых войн).
36. Там же. С.82.
37. Крючков Ф. О кряшенах // Жизнь национальностей. № 27 (84), 2 сентября 1920 г.
38. Эльмец Р. К вопросу о выделении чуваш в особую административную единицу // Жизнь национальностей. № 2 (59), 11 января 1920 г.
49. Виленский В. (Сибиряков). Самоопределение якутов // Жизнь национальностей. № 3 (101), 2 февраля 1921 г.
40. Богораз-Тан В.Г. О первобытных племенах // Жизнь национальностей. № 1 (130), 10 января 1922 г.; Он же. Об изучении и охране окраинных народов // Жизнь национальностей. № 3-4. 1923 г. С.168-177; Янович Д. Заповедники для гибнущих туземных племен // Жизнь национальностей. № 4 (133), 31 января 1922 г.; ГАРФ, ф.1377, оп.1, д.8, лл.126-127, д.45, лл.53, 77, 81.
41. Четыре года работы среди эстонцев Советской России // Жизнь национальностей. № 24 (122), 5 ноября 1921 г.
42. ГАРФ, ф.1318, оп.1, д.994, л.100.
43. См. «Жизнь национальностей» за 1921 год и ГАРФ, фонд 1318.
44. Сегаль Л. К итогам совещания по просвещению народов не-русского языка // Жизнь национальностей. № 33 (41), 31 августа 1919 г.
45. Трайнин И. Экономическое районирование и национальная политика // Жизнь национальностей. № 21 (119), 10 октября 1921 г.; С.К. Экономическое районирование и проблемы автономно-федеративного строительства // Жизнь национальностей. № 25 (123), 12 ноября 1921 г.
46. Десятый съезд Российской Коммунистической партии: Стенографический отчет. М., 1921 С.101.
47. Там же.
48. Там же. С.371.
49. Там же. С.372.
50. Там же. С.115.
51. Белорусский национальный вопрос и коммунистическая партия // Жизнь национальностей. № 2 (131), 17 января 1922 г.
52. Варейкис И., Зеленский И. Национально-государственное размежевание Средней Азии. С.57.

53. Там же. С.60. Согласно сталинскому определению, «нации, не достигшие развития капитализма», не являлись нациями.
54. Десятый съезд РКП. Стенографический отчет. С.112, 114.
55. См. различные интерпретации в: Moshe Lewin, *Lenin's Last Struggle* (New York: Pantheon, 1968); Richard Pipes, *The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917-1923* (Cambridge: Harvard University Press, 1954).
56. Ленин В.И. К вопросу о национальностях или об «автономизации» // Ленин В.И. Вопросы национальной политики. С.167.
57. Там же. С.168-170.
58. Двенадцатый съезд Российской Коммунистической партии (большевиков). Стенографический отчет. М., 1923. С.462, 552.
59. Там же. С.439-454, 561-565.
60. Цит. по: Ненароков А.П. К единству равных. С.116-117.
61. Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. С.543-545.
62. Там же. С.449.
63. См., напр.: Съезд по народному образованию // Журнал Министерства народного просвещения. Т.50. (Март-апрель 1914 г.). С.195, 242-244.
64. Об учреждении Комиссии по изучению племенного состава населения России. Известия Комиссии по изучению племенного состава населения России. Пг., 1917. Т.1. С.7-8.
65. Герценберг И. Национальный принцип в новом административном делении РСФСР // Жизнь национальностей. № 37 (94), 25 ноября 1920 г.
66. Марр Н.Я. Племенной состав населения Кавказа // Труды Комиссии по изучению племенного состава населения России. Т.3. Пг., 1920. С.9, 21-22. См. также: Марр Н.Я. Об яфетической теории // Новый Восток. 1924. № 5. С.303.
67. «Наиболее богатые ассоциации и наиболее сильные по своей притягательности апперцепции связаны с родным языком». - Сегаль Л. К итогам совещания по просвещению народов не-русского языка.
68. Карский Е.Ф. Этнографическая карта Белорусского племени // Труды Комиссии по изучению племенного состава населения России. Т.2. Пг., 1917.
69. Зарубин И.И. Список народностей Туркестанского края // Труды Комиссии по изучению племенного состава населения России. Т.9. Л., 1925; Зарубин И.И. Население Самаркандской области // Труды Комиссии по изучению племенного состава населения России. Т.10. Л., 1926; Edward A. Allworth, *The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present* (Stanford: Hoover Institution Press, 1990). P.181; Alexandre Bennigsen and Chantal Lemercier-Quelquejay, *Islam in the Soviet Union* (New York: Praeger, 1967). P.131-133; Teresa Rakowska-Harmstone, *Russia and Nationalism in Central Asia: The Case of Tadzhikistan* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1970). P.78.
70. Инструкция к составлению племенных карт, издаваемых Комиссией по изучению племенного состава населения России // Труды Комиссии по изучению племенного состава населения России. Т.1. Пг., 1917. С.11.
71. Карский Е.Ф. Этнографическая карта Белорусского племени. С.19.
72. Марр Н.Я. Племенной состав населения Кавказа // Труды Комиссии по изучению племенного состава населения России. Т.9. Пг., 1920. С.24-25;

- Март Н.Я. Талыши // Труды Комиссии по изучению племенного состава населения России. Т.4. Пг., 1922. С.3-5, 22.
73. Попытка Марра добиться особого статуса для армяноязычных мусульман (хемшил) не увенчалась успехом. См.: Март Н.Я. Племенной состав населения Кавказа // Труды Комиссии по изучению племенного состава населения России. Т.9.
74. Там же. С.59-61. Ср.: Патканов С.К. Список народностей Сибири // Труды Комиссии по изучению племенного состава населения России. Т.7. Пг., 1923. С.3.
75. См., напр.: Патканов С.К. Список народностей Сибири. С.8.
76. См., напр.: Кун Вл. Изучение этнического состава Туркестана // Новый Восток. 1924. № 6. С.351-353; Зарубин И.И. Список народностей Туркестанского края. С.10.
77. Ходоров И. Национальное размежевание Средней Азии // Новый Восток. 1926. № 8-9. С.69.
78. См., напр.: Диманштейн С. Десять лет национальной политики партии и соввласти // Новый Восток. 1927. № 19. С. VI; Временное положение об управлении туземных народностей и племен Северных окраин // Северная Азия. 1927. № 2. С.85-91; Леонов Н.И. Туземные советы в тайге и тундрах // Советский Север: Первый сборник статей. М., 1929. С.225-230; Zvi Y. Gitelman, Jewish Nationality and Soviet Politics: The Jewish Sections of the CPSU, 1917-1930 (Princeton: Princeton University Press, 1972). P.289; Gerhard Simon, Nationalism and Policy toward the Nationalities in the Soviet Union: From Totalitarian Dictatorship to Post-Stalinist Society (Boulder: Westview Press, 1991). P.58.
79. Давыдов И. О проблеме языков в просветительной работе среди национальностей // Просвещение национальностей. 1929. № 1. С.18.
80. После упразднения Горской республики единственной автономной республикой без этнического хозяина, и тем самым без очевидного официального языка, стал Дагестан (см.: Тахо-Годи А. Проблема языка в Дагестане // Революция и национальности. 1930. № 2. С.68-75).
81. Гурко-Кряжин В.А. Абхазия // Новый Восток. 1926. № 13-14. С.115.
82. См.: William Fierman, Language Planning and National Development: The Uzbek Experience (Berlin: Mouton de Gruyter, 1991); Simon Crisp, «Soviet Language Planning since 1917-53», Michael Kirkwood, ed., Language Planning in the Soviet Union (New York: St. Martin's Press, 1989). P.23-45. Цитата взята из: Агамалы-оглы. К предстоящему тюркологическому съезду в Азербайджане // Новый Восток. 1926. № 10-11. С.216.
83. Давыдов И. О проблеме языков в просветительной работе среди национальностей. С.18.
84. См.: Fierman, Language Planning. P.149-163; James Dingley, «Ukrainian and Belorussian - A Testing Ground», Kirkwood, ed., Language Planning. P.180-183; Богораз-Тан В.Г. Чукотский букварь // Советский Север. 1931. № 10. С.126.
85. Бороздин И. Современный Татарстан // Новый Восток. 1925. № 10-11. С.132.
86. Павлович М. Культурные достижения тюрко-татарских народностей со времени Октябрьской революции // Новый Восток. 1926. № 12. С. VIII.
87. Simon, Nationalism. P.46. Количество книг и брошюр на идиш возросло с 76 в 1924 г. до 531 в 1930 г. (Gitelman, Jewish Nationality. P.332-333).

88. См., напр.: Fierman, Language Planning. P.170-176; Gitelman, Jewish Nationality. P.351-365; James E. Mace, Communism and the Dilemmas of National Liberation: National Communism in Soviet Ukraine, 1918-1933 (Cambridge: Harvard Ukrainian Research Institute, 1983). P.96; Simon, Nationalism. P.42.

89. Давыдов И. О проблеме языков в просветительной работе среди национальностей. С.23.

90. Украинский наркомпрос Микола Скрыпник, например, назвал речь жителей Донбасса «не русской и не украинской» и призвал к ее скорейшей украинизации (см.: Mace, Communism and the Dilemmas. P.213).

91. Simon, Nationalism. P.49.

92. Булатников И. Об украинизации на Северном Кавказе // Просвещение национальностей. 1929. № 1. С.94-99; Gitelman, Jewish Nationality. P.341-344.

93. Gitelman, Jewish Nationality. P.342. Цитируется в обратном переводе с английского.

94. См. обзор в: Simon, Nationalism. P.20-70.

95. См., напр.: Бороздин И. Современный Татарстан. С.118-119, 122-123; Диманштейн С. Десять лет национальной политики партии и соввласти. С.V-VI, XVII.

96. Simon, Nationalism. P.32-33, 37.

97. Скачко А. Восточные республики на С.-Х. Выставке СССР в 1923 году // Новый Восток. 1923. № 4. С.482-484. Курсив автора.

98. Варейкис И., Зеленский И. Национально-государственное размежевание Средней Азии. С.59.

99. Сталин И.В. Сочинения. Т.8. М., 1948. С.153.

100. Там же. С.151.

101. Цит. по: Ненароков А.П. К единству равных. С.132.

102. См.: Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980.

103. Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. С.554, 556, 564.

104. Коноплев Н. Шире фронт интернационального воспитания // Просвещение национальностей. 1931. № 2. С.49. См. также: Коноплев Н. За воспитание интернациональных бойцов // Просвещение национальностей. 1930. № 4-5. С.55-61.

105. ГАРФ, ф.1377, оп.1, д.224, лл.8, 32; Амельский Н. Когда зацветают жаркие цветы // Северная Азия. 1928. № 3. С.57-58; Fierman, Language Planning. P. 177-185; Леонов Н.И. Туземные школы на севере // Советский Север: Первый сборник статей. М., 1929. С.200-204; Леонов Н.И. Туземные Советы. С.242, 247-248; Медведев Д.Ф. Укрепим Советы на Крайнем севере и оживим их работу // Советский Север. 1933. № 1. С.6-8; Рысаков П. Практика шовинизма и местного национализма // Революция и национальности. 1930. № 8-9. С.28; Семушкин Т. Чукотка. М., 1941. С.48; Сергеев И. Усилить проведение нацполитики в Калмыкии // Революция и национальности. 1930. № 7. С.66; Simon, Nationalism. P.25, 41, 73-74.

106. Gitelman, Jewish Nationality. P.386, 398, 402-403.

107. Давыдов И. О проблеме языков в просветительной работе среди национальностей. С.22; Коноплев Н. Шире фронт интернационального воспитания. С.50; Валитов А. Против оппортунистического отношения к строительству нацшколы // Просвещение национальностей. 1932. № 5-6. С.68.

108. Скачков И. Просвещение среди белорусов РСФСР // Просвещение национальностей. 1931. № 3. С.76; Ковалевский П. В школе-юрте // Советский Север. 1934. № 2. С.105-106; Нестеренок И. Смотр национальных школ на Таймыре // Советский Север. 1932. № 6. С.84; Прокофьев Г.Н. Три года в самоедской школе // Советский Север. 1931. № 7-8. С.144; Стебницкий С. Из опыта работы в школе Севера // Просвещение национальностей. 1932. № 8-9. С.49-51.
109. О профессиональном аболиционизме в годы первой пятилетки см.: Sheila Fitzpatrick, ed., *Cultural Revolution in Russia, 1928-1931* (Bloomington: Indiana University Press, 1978). О лингвистике и этнографии см.: Yuri Slezkine, «The Fall of Soviet Ethnography, 1928-1938», *Current Anthropology* 32, № 4 (1991). P.476-484.
110. Slezkine, *The Fall of Soviet Ethnography*. P.478.
111. Мapp Н. К задачам науки на советском Востоке // Просвещение национальностей. 1930. № 2. С.12; Асфендиаров С. Проблема нации и новое учение о языке // Новый Восток. 1928. № 22. С.174.
112. Асфендиаров С. Проблема нации и новое учение о языке. С.174.
113. Давыдов И. Очередные задачи просвещения национальностей // Просвещение национальностей. 1930. № 4-5. С.30-34; Ванне М. Русский язык в строительстве национальных культур // Просвещение национальностей. 1930. № 2. С.31-40.
114. Кусикьян И. Очередные задачи марксистов-языковедов в строительстве языков народов СССР // Просвещение национальностей. 1931. № 11-12. С.75; Кротевич Е. Выправить недочеты в строительстве казахской терминологии // Просвещение национальностей. 1932. № 8-9. С.94-96; Fierman, *Language Planning*. P.126-129; Mace, *Communism*. P.277-279; Roman Smal-Stocki, *The Nationality Problem of the Soviet Union and Russian Communist Imperialism* (Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1952). P.106-141.
115. Сталин И.В. Сочинения. Т.13. М., 1952. Курсив автора.
116. Сталин И.В. Сочинения. Т.12. М., 1952. С.365-366.
117. См., напр.: Просвещение национальностей. 1931. № 11-12. С.102-106.
118. Fierman, *Language Planning*. P.177; Евгенийев, Бергавинов. Начальнику Обдорского политотдела Главсевморпути т.Михайлову // Советская Арктика. 1936. № 4. С.65-67.
119. Рысаков П. Практика шовинизма и местного национализма // Революция и национальности. 1930. № 8-9. С.29.
120. Акопов С. К вопросу об узбекизации аппарата и создании местных рабочих кадров промышленности Узбекистана // Революция и национальности. 1931. № 12. С.22-23.
121. Родневич Б. Коренизация аппарата в автономиях и районах нацменьшинств РСФСР // Революция и национальности. 1931. № 12. С.19-20.
122. Mace, *Communism and the Dilemmas of National Liberation*. P.212. См. также: Simon, *Nationalism*. P.39-40.
123. Оширов А. Коренизация в советской стране // Революция и национальности. 1930. № 4-5. С.111.
124. Гитлянский А. Ленинская национальная политика в действии (национальные меньшинства на Украине) // Революция и национальности. 1931. № 9. С.37; Зуев А. Нацмены Казахстана // Революция и национальности. 1932. № 4. С.48.

125. Во всяком случае, так его истолковали благодарные комментаторы. См.: Сталин И.В. Сочинения. Т.13. С.91-92; Революция и национальности. 1932. № 1; Июльский. Письмо т.Сталина - орудие воспитания большевистских кадров // Просвещение национальностей. 1932. № 2-3. С.9.

126. См., напр.: И.К. Индоевропеистика в действии // Просвещение национальностей. 1931. № 11-12. С.97-102; Кусикьян И. Против буржуазного кавказоведения // Просвещение национальностей. 1932. № 1. С.45-47; Жвания И. Задачи советского и национального строительства в Мингрелии // Революция и национальности. 1930. № 7. С.66-72; Саввов Д. За подлинно родной язык греков Советского Союза // Просвещение национальностей. 1932. № 4. С.64-74; Бриль М. Трудящиеся цыгане в рядах строителей социализма // Революция и национальности. 1932. № 7. С.60-66; С.Д. Еврейская автономная область - детище Октябрьской революции // Революция и национальности. 1934. № 6. С.13-25.

127. Simon, Nationalism. P.46.

128. Революция и национальности. 1930. № 1. С.117; Тахо-Годи А. Проблема языка в Дагестане // Революция и национальности. 1930. № 2. С.68-75; Гитлянский. Ленинская национальная политика. С.77.

129. См., напр.: Акопов Г. Подготовка национальных кадров // Революция и национальности. 1934. № 4. С.54-60; Полянская А. Национальные кадры Белоруссии // Революция и национальности. 1930. № 8-9. С.79-88; Родневич Б. Коренизация аппарата в автономиях и районах нацменьшинств РСФСР; Зуев А. Нацмены Казахстана; Попова Е. Коренизация аппарата - на высшую ступень // Революция и национальности. 1932. № 7. С. 50-55; Юабов И. Нацмены Узбекской ССР // Революция и национальности. 1932. № 9. С.74-78; С-ч П. Парторганизации национальных районов // Революция и национальности. 1932. № 10-11. С.143-148; Карнеев И. Некоторые цифры по подготовке инженерно-технических кадров из коренных национальностей // Революция и национальности. 1933. № 3. С.86-92.

130. Хазанский Х., Газелириди И. Культмассовая работа среди национальных меньшинств на новостройках // Революция и национальности. 1931. № 9. С.86-91; Качанов А. Культурное обслуживание рабочих-нацмен Московской области // Революция и национальности. 1932. № 6. С.54-58; Сабирзянов И. Нацменработа профсоюзов Москвы // Революция и национальности. 1932. № 9. С.69-74.

131. Митрофанов А. К итогам партгистки в нацреспубликах и областях // Революция и национальности. 1930. № 1. С.29-36; Martha Brill Olcott, The Kazakhs (Stanford: Hoover Institution Press, 1987). P.216-220; Mace, Communism. P.264-280; Rakowska-Harmstone, Russia and Nationalism. P.39-41; Azade-Ayse Rorlich, The Volga Tatars: A Profile in National Resilience (Stanford: Hoover Institution Press, 1986). P.155-156.

132. Иначе говоря, женщины и дети могли стать и.о. пролетариев. См.: Gregory Massell, The Surrogate Proletariat: Moslem Women and Revolutionary Strategies in Soviet Central Asia 1919-1929 (Princeton: Princeton University Press, 1974); Yuri Slezkine, «From Savages to Citizens: The Cultural Revolution in the Soviet Far North, 1928-1938», Slavic Review 51, № 1 (Spring 1992). P.52-76.

133. Крупская Н.К. О задачах национально-культурного строительства в связи с обострением классовой борьбы // Просвещение национальностей. 1930. № 4-5. С.19.

134. Диманштейн С. За классовую четкость в просвещении национальностей // Просвещение национальностей. 1929. № 1. С.9.
135. Билибин Н. У западных коряков // Советский Север. 1932. № 1-2. С.207.
136. См., напр.: Olcott, *The Kazakhs*. P.219; Rakowska-Harmstone, *Russia and Nationalism*. P.100-101.
137. Заславский Д. На процессе «вызволонцев» // Просвещение национальностей. 1930. № 6. С.13.
138. Сталин И.В. Сочинения. Т.13. С.306, 309.
139. Интересными исключениями являются следующие работы: Barbara A. Anderson and Brian D. Silver, «Equality, Efficiency, and Politics in Soviet Bilingual Education Policy, 1934-1980», *American Political Science Review* 78, № 4 (October 1984). P.1019-1039; Ronald Grigor Suny, «The Soviet South: Nationalism and the Outside World», Michael Mandelbaum, ed., *The Rise of Nations in the Soviet Union* (New York: Council of Foreign Relations Press, 1991). P.69.
140. Sheila Fitzpatrick, *Education and Social Mobility in the Soviet Union 1921-1934* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979). P.235.
141. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934. С.625.
142. Ср.: Сталин И.В. Сочинения. Т.8. С.149-154; Диманштейн С. Больше-вистский отпор национализму // Революция и национальности. 1933. № 4. С.1-13; С.Д. Борьба с национализмом и уроки Украины // Революция и национальности. 1934. № 1. С.15-22.
143. Simon, *Nationalism*. С.148-155.
144. См. речи Сталина на XVII съезде партии и на совещании передовых колхозников Таджикистана и Туркменистана: Сталин И.В. Сочинения. Т.13. С.361; Сталин И.В. Сочинения, ed. Robert H. McNeal. (Stanford, Calif., 1967). Vol. I (XIV). P.114-115.
145. Paul M. Austin, «Soviet Karelian: The Language That Failed», *Slavic Review* 51, № 1 (Spring 1992). P.22-23.
146. Этот пассаж - парафраза замечательной «Культуры Два» Владимира Паперного (Ann Arbor: Ardis, 1985).
147. О паспортной системе см.: Victor Zaslavsky, *The Neo-Stalinist State* (Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 1982). 92ff.
148. Красовский Л. Чем надо руководствоваться при составлении списка народов СССР // Революция и национальности. 1936. № 4. С.70-71.
149. Диманштейн С. Ответ на вопрос, составляют ли собой евреи в научном смысле нацию // Революция и национальности. 1935. № 10. С.77.
150. Simon, *Nationalism*. P.61.
151. Greg Castillo, «Gorki Street and the Design of the Stalin Revolution», Zeynep Celik, Diane G. Favro and Richard Ingersoll, eds. *Streets: Critical Perspectives on Public Space* (Berkeley: California University Press, 1994).
152. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. С.43, 49.
153. Там же. С.104.
154. Там же. С.116-117.
155. Там же. С.136, 142, 77.

156. Zaslavsky, Nationalism and Democratic Transition. P.102.
157. Североосетинскую, якутскую, казахскую, киргизскую, кара-калпакскую, кабардинскую, балкарскую, туркменскую, таджикскую, адыгейскую и калмыцкую (см. Фурманова А. Подготовка национальных кадров для театра // Революция и национальности. 1936. № 5. С.29-30).
158. Чанышев А. В борьбе за изучение и создание национальной культуры // Революция и национальности. 1935. № 9. С.61.
159. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. С.43.
160. Сталин И.В. Сочинения, ed. Robert H. McNeal. Vol.2 (XV). P.203.
161. Хроника // Революция и национальности. 1936. № 8. С.80; Rakowska-Harmstone, Russia and Nationalism. P.250-259; Allworth, The Modern Uzbeks. P.229-230; Yaroslav Bilinsky, The Second Soviet Republic: The Ukraine after World War II (New Brunswick: Rutgers University Press, 1964). P.191. Цитата дается в обратном переводе с английского.
162. Lowell Tillet, The Great Friendship: Soviet Historians on the Non-Russian Nationalities (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1969), passim.
163. Bilinsky, The Second Soviet Republic. P.15-16; Robert Conquest, Soviet Nationalities Policy in Practice (New York: Praeger, 1967). P.65-66.
164. Сталин И.В. Сочинения, ed. Robert H. McNeal. Vol.3 (XVI). P.100.
165. Ibid. P.146.
166. Ibid. P.117, 119, 138.
167. Yaroslav Bilinsky, «The Soviet Education Laws of 1958-9 and Soviet Nationality Policy», Soviet Studies 14, № 2 (October 1962). P.138-157.
168. Цит. по: Isabelle T. Kreindler, «Soviet Language Planning since 1953», Kirkwood, ed., Language Planning. P.49 (в обратном переводе с английского). См. также: Bilinsky, The Second Soviet Republic. P.20-35; Farmer, Ukrainian Nationalism. P.134-143; Grey Hodnett, «The Debate over Soviet Federalism», Soviet Studies 28, № 4 (April 1967). P.458-481; Simon, Nationalism. P.233-264.
169. См.: Lapidus, Ethnonationalism and Political Stability. P.355-380; Zaslavsky, Nationalism and Democratic Transition; Farmer, Ukrainian Nationalism. P.61-73.
170. См.: Rasma Karklins, Ethnic Relations in the USSR: The Perspective from Below (Boston: Unwin Hyman, 1986).
171. Roeder, Soviet Federalism. P.196-233.
172. Rakowska-Harmstone, The Dialectics. P.10-15. Ср.: Miroslav Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe (New York: Cambridge University Press, 1985).
173. Farmer, Ukrainian Nationalism. P.85-121; Allworth, The Modern Uzbeks. P.258-259; Simon, Nationalism. P.281-282.
174. См. чрезвычайно изящный анализ этой проблемы: Rogers Brubaker, «Nationhood and the National Question in the Soviet Union and Post-Soviet Eurasia: An Institutionalist Account», Theory and Society. 23, № 1 (February 1994). P.47-78.
175. Victor Zaslavsky, «The Evolution of Separatism in Soviet Society under Gorbachev», Gail. W. Lapidus and Victor Zaslavsky, with Philip Goldman, eds., From Union to Commonwealth: Nationalism and Separatism in the Soviet Republics (New York: Cambridge University Press, 1992). P.83; Leokadia Drobizheva, «Perestroika and the Ethnic Consciousness of the Russians», ibid. P.98-111.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Кабытов П.С., Леонтьева О.Б.</i> Введение. Зенит «прекрасной эпохи»: сталинизм глазами американских историков.....	3
<i>Майкл Дэвид-Фокс.</i> Семь подходов к феномену советской системы: Разные взгляды на первую половину «краткого» XX века.....	20
<i>Питер Холквист.</i> «Осведомление - это альфа и омега нашей работы»: Надзор за настроениями населения в годы большевистского режима и его общеевропейский контекст.....	45
<i>Альфред Дж. Рибер.</i> Устойчивые факторы российской внешней политики: попытка интерпретации.....	94
<i>Катерина Кларк.</i> Становление советской культуры (из кн. «Петербург: тигель культурной революции»).....	146
<i>Шейла Фицпатрик.</i> «Приписывание к классу» как система социальной идентификации.....	174
<i>Дэвид Джоравски.</i> Сталинистский менталитет и научное знание.....	208
<i>Стивен Коткин.</i> Говорить по-большевистски (из кн. «Магнитная гора: Сталинизм как цивилизация»).....	250
<i>Юрий Слезкин.</i> СССР как коммунальная квартира, или Каким образом социалистическое государство поощряло этническую обособленность.....	329

АМЕРИКАНСКАЯ РУСИСТИКА:

ВЕХИ ИСТОРИОГРАФИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Антология

Редактор Т.И.Кузнецова
Художественный редактор Л.В.Крылова
Компьютерная верстка, макет Л.Л.Паймулина

ЛР № 020316 от 04.12.96. Подписано в печать 26.02.01. Формат 62х94/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman». С.83.
Усл.-печ. л. 25, 38. Тираж 1000 экз. Заказ 1/91

Издательство «Самарский университет»,
443011, г.Самара, ул. Акад. Павлова, 1.

Отпечатано в типографии ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АГНИ».
443110, г.Самара, ул. Мичурина, 23.

